

ЖИЗНЬ И ВРЕМЯ ЧОСЕРА



**THE LIFE AND TIMES
OF CHAUCER**
by **John Gardner**



Alfred A. Knopf
New York
1980

Джеффри Чосер (1340—1400).

С миниатюры XV века к «Кентерберийским рассказам»
Поэт изображен в роли пилигрима, направляющегося в Кентербери.

**Джон
Гарднер**



**ЖИЗНЬ
И ВРЕМЯ
ЧОСЕРА**

перевод с английского



**Москва
•Радуга•
1986**

ББК 83.34ВЛ
Г20

Перевод В. ВОРОНИНА

Предисловие З. ГАЧЧИЛАДЗЕ

Редактор З. ФЕДОТОВА

Гарднер Дж. Жизнь и время Чосера. — Пер. Г20 с англ.; предисл. Гаччиладзе З.; коммент. Воронина В. — М.: Радуга, 1986. — 448 с.

Книга Джона Гарднера представляет собой серьезное документированное и одновременно увлекательное жизнеописание английского средневекового поэта Джеффри Чосера.

Из нее мы узнаем, в чем поэт был традиционен, отдавая дань господствующим этическим, религиозным, философским воззрениям, в чем проявлял самобытность и оригинальность, что сделало его гениальным художником слова.

Мир средневековой Англии, в которой жил Чосер, ее люди, культура, традиции и нравы предстают удивительно ярко и осязаемо

Рекомендуется широкому кругу читателей

Г $\frac{4603000000-567}{030(01)-86}$ 67-86

ББК 83.34Вл

© John Gardner, 1977

© Предисловие, перевод на русский язык, комментарий
издательство «Радуга», 1986

Джон Гарднер и его книга о жизни и времени Чосера

Джон Гарднер (1933—1982) как писатель и исследователь представляет собой исключительно яркую фигуру в послевоенной американской литературе. Выступив на литературном поприще в 60-е годы, он уже через десять лет стал одним из ведущих прозаиков страны. И хотя творческий путь его был недолгим (не достигнув пятидесятилетия, Гарднер погиб в автомобильной катастрофе), он оставил немало значительных по своей проблематике и эстетической ценности произведений.

Среди научных трудов Джона Гарднера следует выделить работы, посвященные Уэйкфилдскому циклу средневековых английских мистерий и староанглийской христианской поэзии, монографию «Поэзия Чосера», переводы средневековых стихотворных произведений на современный английский язык (в частности, поэмы «Смерть Артура» и анонимных сочинений XIV века, приписываемых автору поэмы «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь») и другие.

Нас особенно привлекает Джон Гарднер — романист, привлекает многообразие тематики его произведений. Иногда он обращается к прошлому. В романе «Гибель Агатона» (1970) идет речь о Спарте за несколько столетий до нашей эры; «Грендель» (1971) носит название чудовища из англосаксонского эпоса «Поэмы о Беовульфе»; в основе произведения «Язон и Медея» (1973), как свидетельствует уже название, лежит греческий миф об аргонавтах. Однако, используя образы прошлого, автор пишет о сегодняшнем времени, отражает жизнь и чаяния своих современников, ставит волнующие их проблемы. Ряд его произведений написаны специально для детей — «Дракон, дракон» (1975), «Гуджекин, сборщица чертополоха» (1976) и другие. За интересными, интригующими приключениями в них всегда чувствуется светлое начало и вера в силу добра.

Утверждение гуманистических идеалов, противопоставление высоких нравственных ценностей бездуховности и нигилизму характерно для всего творчества Гарднера. По его собственным словам, он творил во славу литературы и жизни. Писатель

обычно не вдается в дидактику, не морализирует, он лишь рассказывает, излагает факты, ставит проблему, предоставляя возможность читателю самому сделать вывод. В основе эстетических взглядов Гарднера — глубокое понимание органической связи искусства с жизнью. Он всегда был сторонником реалистического искусства.

Особенно волновала писателя судьба человека, его сокровенные чувства, стремление найти себя, найти взаимопонимание с окружающими, найти друзей. Он никогда не терял веры в человека. В его романах «Диалоги с Солнечным» (1972) и «Никелевая гора» (1973) выражен протест против бездуховности экономического прогресса и всеотрицания бунтующей молодежи. Им противопоставляет писатель простые и искренние человеческие чувства и сознание общественного долга. Поиски истинных ценностей жизни составляют идейную основу романа «Королевский гамбит» (1974), в котором, подобно «Моби Дику» Мелвилла, изображаются скитания героя, преследующего призрачный корабль по безбрежным просторам океана. Очень интересны и рассказы Гарднера из сборника «Искусство жить» (1981), в которых писатель определяет свое эстетическое и художественное кредо, свою нравственную позицию. Проблеме нравственной позиции писателя, анализу сущности и задач художественного творчества посвящены работы Гарднера «О нравственной литературе» (1978), «О становлении романиста», вышедшая в свет после смерти писателя, которые по праву можно считать выдающимся явлением американской мысли последних лет.

Советским читателям уже знакомы некоторые произведения Джона Гарднера. На русский язык переведены его романы «Королевский гамбит», «Никелевая гора», «Осенний свет» и ряд рассказов.

Настоящая книга, посвященная жизни и эпохе Чосера, написана в характерной для Гарднера манере, сочетающей творческую фантазию художника с эрудицией ученого.

Интерес Гарднера к Чосеру объясняется не только его увлеченностью английской средневековой литературой, но также исключительным значением творчества и личности самого Джеффри Чосера. Вначале Гарднер намеревался написать большой труд, освещающий жизненный и творческий путь этого писателя. Но обилие материала и одновременно недостаток фактических данных в биографии Чосера, вызывающий необходимость строить гипотезы, побудили его написать две отдельные книги: «Поэзия Чосера» (1977), где дан объективный анализ дошедших до нас произведений поэта, и «Жизнь и время Чосера» (1977), где на фоне событий XIV века представлена его

биография, частично воссозданная на основе авторских догадок и предположений, что делает эту книгу по своему характеру более субъективной в сравнении с первой.

Издание на русском языке книги Гарднера «Жизнь и время Чосера» — событие знаменательное, показывающее растущий в нашей стране интерес к зарубежной классике. Состоявшаяся в МГУ в январе 1985 года всесоюзная научная конференция на тему «Западноевропейская средневековая словесность. Актуальные проблемы изучения» показала, что вопросами зарубежной литературы серьезно занимаются многие советские ученые. Большинство выступавших, среди них А. Ф. Лосев, Б. И. Пуришев и С. С. Аверинцев и другие, касаясь связи средних веков и Возрождения, отстаивали принцип культурной преемственности в переходе от средневековья к Возрождению. Особенный интерес поэтому представляет творчество писателей, стоявших на рубеже эпох, таких, как великий Данте, «последний поэт средневековья и в то же время первый поэт нового времени» (Ф. Энгельс).

В английской литературе таким писателем является Джеффри Чосер. Хрестоматийные данные о нем можно найти в любом литературном справочнике. Он родился около 1340 года в семье виноторговца, бывшего поставщиком королевского двора. В молодые годы занимал некую должность в свите жены одного из английских принцев; позднее принимал участие в военном походе короля Эдуарда III во Францию, находился на государственной службе, выполнял дипломатические миссии во Фландрии и Италии, работал контролером в лондонской таможне, стал членом парламента и т. д. Он пережил период, когда, впав в немилость, был лишен должностей и испытал нужду. Незадолго до смерти, после вступления на престол Генриха IV, ему была пожалована довольно крупная рента. Чосер умер в 1400 году. Его, первого из поэтов, похоронили в Вестминстерском аббатстве, в той части, которая позднее стала называться «уголком поэтов».

В истории английской литературы творчество Джеффри Чосера — явление исключительно важное. Его называют отцом английской поэзии, провозвестником английского Возрождения. Неоценимы его заслуги и в области английского литературного языка. Для того чтобы лучше понять значение Чосера, необходимо вспомнить некоторые особенности исторического и культурного развития Англии.

Первые литературные памятники, сохранившиеся на Британских островах, написаны на англосаксонском языке — на языке тех германских племен, которые в V—VI веках нашей эры пришли с континента и обосновались на островах, оттеснив коренное население. Литература на англосаксонском языке

развивается вплоть до XI столетия, явившегося для Англии переломным периодом. В 1066 году норманны, т. е. скандинавы, разбив в сражении англосаксонского короля Гарольда II, захватили власть в стране. Пришельцы говорили на французском языке, который они усвоили как язык более высокой культуры при завоевании в предшествующие века территории Северной Франции. Поэтому с приходом норманнов в Англии в отношении языка создалось очень своеобразное положение: низшие слои общества говорили на англосаксонском, высшие — на французском, а языком церкви и науки, как и повсюду в Европе, был латинский. На протяжении последующих столетий происходит их постепенное смешение, а XIV век знаменует новый этап в развитии английского языка. Но литературный язык еще не сложился, существовали разные диалекты, и некоторые авторы писали по-французски. Примером многоязычия, все еще сохранявшегося в эпоху Чосера, может служить творчество его современника Джона Гауэра: из трех дошедших до нас произведений этого автора одно написано на латинском, второе на французском, а третье на английском языке.

Заслуга Чосера состоит в том, что он полностью перешел на английский язык. Он писал на лондонском диалекте, который и стал после него основой английского литературного языка. Поэтому роль Чосера в создании английского литературного языка можно сравнить с ролью великого Данте в истории создания итальянского литературного языка.

Чосер вырос на культурных традициях позднего средневековья, он широко использует средневековые сюжеты, литературные формы и приемы в таких произведениях, как «Книга герцогини», «Дом славы», «Птичий парламент». Однако Чосер выражает и отстаивает собственные взгляды и, используя уже известные сюжеты, дает им свою, оригинальную трактовку. Так, в его большой поэме «Троил и Хризеида» сюжет средневекового рыцарского романа приобретает черты, свойственные уже литературе эпохи Возрождения. Первый период в творчестве Чосера принято называть французским из-за заметного влияния на творчество Чосера французской куртуазной литературы. Переломным моментом в творчестве писателя явились 70-е годы: поездки в Италию дали ему возможность познакомиться с итальянской литературой раннего Возрождения, с произведениями первых писателей-гуманистов. Чосер использует достижения итальянского Возрождения, но создает произведения в собственной реалистической манере, произведения, отражающие его эстетические взгляды и его отношение к современности.

Подлинной основой творчества писателя была сама жизнь. По роду своей деятельности он сталкивался с разными условиями населения и хорошо знал их быт. Служба при дворе позволила Чосеру познакомиться с вкусами и нравами аристократического общества, а работа в таможне — с деловой и коммерческой средой. Будучи выходцем из городской среды, он тем не менее иногда жил в провинции и хорошо представлял себе положение в деревне. Жизненный опыт много видевшего человека нашел отражение в «Кентерберийских рассказах», написанных талантливым, зрелым мастером.

Подобно «Декамерону» Боккаччо, произведение Чосера представляет собой серию рассказов, обрамленных соединяющей их рамкой. Отправляющиеся на поклонение в Кентерберии пилигримы, чтобы приятнее провести время в пути, рассказывают разные истории. Рассказчики, с которыми мы знакомимся в прологе, представляют почти все сословия Англии — от рыцаря до простого крестьянина. Каждый из них излагает историю, соответствующую его интересам. Отсюда сочетание в произведении различных по характеру рассказов: эпизод рыцарского романа сменяется забавным городским фавлю, а едкая сатира — назидательным повествованием. Хотя по службе Чосер был связан с королевским двором, где поддерживался культ рыцарства, он иногда посмеивается над условным, традиционным описанием рыцарских подвигов (например, в рассказе о сэре Топасе). Он рисует подлинную жизнь, которую прекрасно знает, правдиво раскрывает образы различных слоев английского общества.

Реализм «Кентерберийских рассказов», блестящее изображение в них народной стихии, тонкий юмор, высокая художественность поэтического языка и мастерство версификации характеризуют Чосера как писателя, стоящего на грани двух эпох, и как провозвестника английской литературы Возрождения.

Отсюда понятно, почему Чосер всегда привлекал к себе внимание читателей и исследователей. Еще при жизни он получил признание на родине и во Франции, где его сравнивали с Овидием. Видные поэты XV века (Лидгейт, Окклив) считали себя его учениками. Наследие Чосера сыграло свою роль в становлении английской литературы Возрождения. К нему обращались писатели XVI века, такие, как Дж. Хейвуд, Дж. Скелтон, Т. Уайет, Эд. Спенсер и другие; Шекспир в пьесе «Троил и Крессида» использовал образы одноименного произведения Чосера.

Первая биография Чосера, написанная Джоном Леландом, была опубликована в 1545 году. Сведения о нем имеются в английских, французских и немецких энциклопедических изданиях XVI века. «Кентерберийские расска-

зы» и другие произведения Чосера сохранились в многочисленных рукописях. Английский первопечатник У Кэкстон издал сочинения Чосера в 1477 и вторично в 1484 году. После этого они многократно переиздавались. Популярность писателя была так велика, что ему приписывались произведения других авторов. Сегодня, по прошествии шести веков, интерес к нему не только не ослаб, но даже возрос.

Джон Гарднер начинает свою книгу фразой о том, что в английской литературе нет поэта, более достойного внимания биографа, чем Джеффри Чосер.

Несмотря на богатейшую специальную литературу, целиком проследить жизненный путь автора — задача далеко не простая. В XIV веке труд писателей не слишком высоко ценился и мало заботились о том, чтобы сохранить для потомков полные биографические сведения о них, даже о таком еще при жизни признанном авторе, как Чосер. Заметим, что о Шекспире, который жил двумя столетиями позже, сохранились весьма скудные данные. О Чосере несравненно больше материалов, ибо на протяжении всей своей жизни он находился на государственной службе. К хранению официальных документов в Англии, наоборот, относились очень бережно. Так, первая опись объектов, подлежащих налоговому обложению, была произведена еще при Вильгельме Завоевателе в 1086 году, и эти материалы («Книга Страшного суда») тщательно сохранялись и сейчас являются гордостью расположенного в Сити Лондонского архива. Здесь и в других местах хранятся документы двора, государственных и юридических учреждений, частных лиц, заключающие в себе много интересного для изучающих историю страны.

В сборе материалов по биографии Чосера принимали участие историки, архивариусы, эксперты-каллиграфисты, филологи. Найденные документы помогли представить более или менее точно служебную деятельность Чосера, работавшего на разных должностях при трех королях: Эдуарде III, Ричарде II и Генрихе IV. Но архивные данные мало что могут рассказать о Чосере-писателе. Сам автор о себе говорит мало, пишет иронически, нередко подтрунивая над собой. Так что любой вывод в отношении Чосера требует тщательного анализа и размышления.

Что же представляет собой книга Гарднера — биографический роман или литературоведческое исследование? Для первого в ней слишком много научного материала, для второго — вымысла и предположений. Книга представляет собой нечто среднее между биографическим романом, эссе и литературоведческой работой. Герой в ней действует на протяжении всего повествования, от своего рождения до смерти. В ней

ощущается и яркость художественного вымысла Гарднера-романиста, и его глубокие познания ученого. Хотя книга представляет собой жизнеописание Чосера, в ней широко использованы материалы из его произведений, рисующие людей, быт, нравы того времени, а главное, показывающие отношение поэта к происходящему.

Но всех этих данных недостаточно, чтобы полностью раскрыть личную судьбу писателя, его внутренний мир. Поэтому Гарднер откровенно заявляет, что считает своей задачей составить биографию Чосера так, «как если бы история его жизни была предметом изображения в романе». Вместе с тем автор решительно отвергает небрежное отношение к историческим подробностям и подчеркивает, что в своей работе он строго придерживается исторических фактов.

Действительно, в книге много предположений и догадок, но они никогда не лишены основания. Сочетая работу исследователя и романиста, Гарднер строит свои предположения, сопоставляя факты и опираясь на совокупность данных о Чосере, его окружении и эпохе. Ориентируясь на лучшие авторитеты, «я старался придать своему повествованию интересную форму», — пишет он.

И можно с уверенностью сказать, что Гарднеру это в полной мере удалось. Хотя книга пестрит историческими экскурсами, хотя в ней приводятся мнения многочисленных ученых-историков и чосероведов, она читается легко и с интересом. Читатель погружается в совершенно другую эпоху, эпоху, когда люди не только иначе одевались и сражались в железных доспехах, но когда они имели иные нравы и иные понятия.

Исторические экскурсии — не просто иллюстрирующий жизнеописание материал. Название книги включает слово «время». Гарднер пишет во введении: «Идея состояла в том, чтобы нарисовать беглый портрет поэта в освещении, отбрасываемом на него эпохой, обстановкой, его общественным положением». Только в неразрывной связи с особенностями общественного уклада того времени можно правильно представить жизнь писателя и своеобразие его творчества, показать Чосера как учтивого царедворца и раскрыть то новое и смелое, что содержат в себе его произведения.

XIV век в Англии был временем острых событий и потрясений. Начало Столетней войны между Англией и Францией, страшная эпидемия чумы, все более обостряющиеся противоречия между королевской властью и парламентом, тяжелое положение народных масс, знаменитое крестьянское восстание 1381 года, возглавляемое Уотом Тайлером, — все это расшатывало основы феодальной системы.

Поскольку деятельность Чосера была связана с двором, Гарднер дает характеристику английских королей — от Эдуарда II до Генриха IV. В книге показаны придворные интриги, борьба за власть, фавориты и фаворитки, старающиеся воспользоваться своим влиянием, подробно объясняются причины низложения и убийства Эдуарда II и Ричарда II. Рассказывая о дипломатических поездках Чосера и его участии в военных действиях на континенте, автор касается некоторых этапов войны с Францией, рассматривает отношения Англии с Испанией и с другими европейскими странами.

Не все исторические события верно оцениваются в книге. Так, например, интересно описан ход восстания 1381 года, но до конца не выявлены его социальные корни, не показана роль народа и его вождей. В то же время придворные нравы, интриги, детали личной жизни отдельных персонажей, в том числе самого Чосера, иногда представлены слишком подробно. Но в целом яркая и убедительная характеристика эпохи дает читателю возможность представить исторические сдвиги, происходившие в Англии XIV столетия.

Чосер начал свою деятельность при Эдуарде III, который пытался возродить культ рыцарства. Сам король был страстным участником турниров, так же как и его старший сын Эдуард (названный по цвету своих доспехов Черным принцем), прославившийся исключительной храбростью и ратными подвигами. Но времена менялись, изобретение пороха привело к новым формам сражений, и рыцарей, закованных в латы, неизбежно должны были сменить воины другого типа; а власть короля и феодальной верхушки общества сталкивалась с интересами богатевших и усилившихся городов.

Городская жизнь XIV столетия представлена в книге в связи с судьбой главного героя: речь идет о тех кварталах Лондона, где он жил, о его окружении, о деятельности отца поэта. Мы узнаем о том, какие обязанности лежали на Чосере при дворе, в чем состояла его работа в таможене и с какими трудностями она была связана.

Чосер принадлежал к числу наиболее образованных людей своего времени, и, чтобы показать культурные традиции, на которых он вырос, Гарднер делает довольно пространственный обзор средневековой научной мысли, пишет о ведущей роли Оксфордского университета, о наиболее известных его представителях. В теологических и философских дискуссиях он видит зарождение свободной мысли и начавшуюся оппозицию церковной идеологии. Особое внимание уделяется одному из наиболее значительных деятелей XIV века — Джону Уиклифу, стоявшему у истоков той борьбы с

римской церковью, которая полтора столетия спустя вылилась в мощную волну Реформации.

Гарднер пытается анализировать позицию самого Чосера, используя для этого отрывки из его произведений, в которых нашли отражение взгляды и идеи крупнейших мыслителей эпохи. Отдельные места «Кентерберийских рассказов» и общий пафос критики, направленной против коррупции духовенства, дает автору основание видеть в них в какой-то мере отражение идей Уиклифа. Можно полагать, что с этими идеями Чосер был знаком, ибо Уиклифу оказывал помощь Джон Гонт — друг и покровитель самого поэта.

Многочисленные исторические события под пером Гарднера-романиста предстают не в виде сухих фактов, но полными жизни и движения. Книга передает колорит эпохи, раскрывает перед читателями многие стороны быта и нравов того времени. Красочное изображение одежды, пиршеств, турниров, рыцарского одеяния, оружия перемежается с показом жестокости нравов и самоуправства феодальной верхушки общества. Чосер, знакомый с людьми разных положений и званий, находившимися при дворе, в том числе с поэтами и художниками, конечно, присутствовал на увеселениях и турнирах, которые, как пишет Гарднер, «превосходили своей яркой зрелищностью едва ли не все, **что** видим мы, современные люди». В век Чосера ценилась пышность и красочность. Грандиозными представлениями **были** мистерии — пьесы на библейские темы, которые во время религиозных праздников горожане исполняли на городских площадях. С еще большей пышностью ставились при дворе красочные пантомимы, так называемые «маски».

Описания автора оживляются цитатами, приводимыми из древних летописей, из произведений Чосера, Гауэра, Ленгланда и других авторов. Так, при описании турниров, часто устраиваемых при дворе Эдуарда III, Гарднер использует рассказ рыцаря из «Кентерберийских рассказов» для подтверждения того, что Чосер хорошо разбирался в рыцарских поединках, в этом «смертоносном виде спорта», по выражению автора. «Самая жестокая разновидность современного футбола (видимо, американского футбола. — З. Г.) показалась бы по сравнению с турнирными боями развлечением для кисейных барышень». Подобные сравнения с современностью неоднократно проводятся в книге. Гарднер не позволяет читателю полностью погрузиться в эпоху средневековья и постоянно возвращает его к нашему времени, напоминая о нем примерами и параллелями. Парадное шествие вокруг арены, открывающее турнир, Гарднеру кажется прообразом «парада артистов и животных на манеже современ-

ного цирка», а распорядителя турнира он называет средневековым «рефери». Касаясь походов Черного принца в Европу, он говорит о его войске как о «громоздком средневековом эквиваленте современного десантно-диверсионного отряда», а суммы, названные в средневековых денежных знаках, переводит в доллары, с учетом современной инфляции.

Увлекательный рассказ об эпохе Чосера далек от романтической идеализации. Автор трезво оценивает средневековье, ясно видит его противоречия, его темные и светлые стороны. Он называет средние века «временем боли, мужества и высоких устремлений». Описывая даже самые привлекательные и эффектные стороны жизни XIV века, Гарднер постоянно предупреждает читателя, что нравы и быт, суеверия и предрассудки той эпохи, несомненно, испугали бы его. Интересно сравнение средневековой и современной системы образования. На страницах книги Гарднера нередко встречаются имена мыслителей и писателей, таких, как Эдгар По, Бертран Рассел, Зигмунд Фрейд, Томас Элиот, Роберт Фрост, Ингмар Бергман и др. Жизнь Чосера и его время предстают в произведении Гарднера насколько возможно полно и ярко, но они оцениваются глазами современного исследователя и писателя.

Талант Гарднера-романиста особенно раскрывается в портретах исторических лиц. Перед нами не бледные тени королей, принцев, полководцев или писателей, но живые люди, с особенностями их характера, с достоинствами и недостатками, которые раскрываются в своем отношении к служебному долгу, к друзьям, к семье. Таков образ короля Эдуарда III, который представлен на фоне своей многочисленной семьи. Его сын, несравненный по храбрости Черный принц, показан и на поле боя, и в личной жизни. Особое внимание уделено Джону Гонту — четвертому сыну короля Эдуарда, который был другом и покровителем Чосера. «При среднем росте и обычном телосложении Гонт, по единодушным отзывам современников, производил впечатление человека, абсолютно уверенного в себе». Как пишет Гарднер, он вырос в окружении поэтов, среди которых был и французский поэт Жан Фруассар, но предпочитал водить дружбу с философами, теологами и знатоками политической теории. Этот образ проходит через всю книгу — от первой встречи с Чосером в юном возрасте и до смерти поэта. Образы людей разных профессий и званий встречаются по ходу повествования: Фруассар — любимец королевы Филиппы, жены Эдуарда III; преданный своему учению Джон Уиклиф; ратовавший за народ священник Джон Болл; литературные друзья самого

Чосера — его ученики и последователи Томас Окклив и Джон Лидгейт, французский поэт Дешан и многие другие.

На фоне своего времени и галереи выведенных образов предстает и сам поэт со своими обязанностями официального лица, со своими интеллектуальными и художественными интересами

Во многих моментах жизнеописания ощущается метод творческого воссоздания биографии поэта. Так, например, сведений об образовании, которое получил Чосер, не сохранилось. Поэтому Гарднер приводит данные о школьных программах того времени, описывает курс обучения, который считался образцовым, рассказывает, в каких учебных заведениях учились люди его круга и достатка. Он разъясняет, какими знаниями должен был обладать Чосер, занимая различные государственные должности и выполняя миссии, с которыми его неоднократно посылали за границу. Это приводит его к заключению, что поэт, по всей вероятности, получил юридическое образование. Таким образом, в своих гипотезах и предположениях Гарднер исходит не из чистой фантазии, а основывается на соответствующих данных, определяемых нормами и традициями эпохи средневековья.

В отдельных случаях Гарднер как романист позволяет себе художественное домысливание, например когда изображает Чосера и Джона Гонта беседующими о Ленгленде или когда приводит различные причины, побудившие Чосера побить францисканского монаха (факт, засвидетельствованный в архивных данных), и т. п. Но в целом авторская фантазия несколько не вредит общему замыслу книги, ибо соответствует тому, что действительно могло бы произойти, учитывая тогдашние нравы и характер изображаемых людей. Некоторые высказанные Гарднером соображения остаются спорными, хотя он старается быть объективным и сам указывает на существование других точек зрения

Сочетание художественного вымысла и глубокой эрудиции делает книгу Гарднера впечатляющей и убедительной, а ее язык, живой, яркий, в некоторых случаях с оттенком иронии, напоминает порой творческую манеру самого Чосера.

В данной книге Гарднер не ставил своей целью анализ творчества Чосера. Этому вопросу, как говорилось выше, он посвятил специальный труд, над которым работал параллельно и который издал в том же, 1977 году. Именно в нем Гарднер исследует особенности поэзии Чосера, ее роль в истории развития английской литературы, определяет отношение поэта к культуре средневековья и Возрождения. И все-таки отдельные замечания о твор-

честве поэта можно встретить и в этой книге. Так, Гарднер не соглашается с исследователями, которые считают, «что все мышление и творчество Чосера носит средневековый характер». Подробно рассматривает он направления средневековой философской мысли, воспитавшей поэта, но параллельно этому анализирует его связи с Италией, с итальянскими писателями, особенно с Данте, задается вопросом о возможности его встречи с Петраркой и показывает, что путешествие в Италию стало поворотным моментом в его творчестве.

Гарднер правильно подчеркивает, что Чосер, как и Шекспир, писал для всех — и для знатоков, и для простого народа. Отсюда его неувядаемая слава и огромная популярность.

Биография великого поэта написана Гарднером тоже для всех — и для специалистов-филологов, и для широкого круга читателей, интересующихся английской литературой и культурой.

3. *Гачечиладзе*

ВВЕДЕНИЕ

Н и один поэт во всей английской литературе, даже сам Шекспир, не обладает большей привлекательностью как человек и художник, чем Джеффри Чосер, и нет поэта, более достойного внимания биографа. На первый взгляд кажется, что написать его биографию куда как просто. Ведь мирозерцание Чосера, несмотря на всю сложность философских систем и общественных нравов, под воздействием которых складывалось его сознание, прозрачно и ясно, как погожее апрельское утро в Англии, а благодаря тому, что правительство, пользовавшееся услугами Чосера, тщательно регистрировало каждую мелочь, у нас имеются многочисленные факты, позволяющие придать биографии документальную точность. Но, оказывается, поведать историю жизни Чосера намного труднее, чем можно было бы предположить. В своих стихах Чосер не говорит о себе — разве что в шутку и по несерьезным поводам. Нигде, ни в одной строке, не высказывает он нам определенного мнения о том или ином своем знакомом, не делится своими личными чувствами — даже горем, испытанным после смерти жены. А что до зафиксированных в документах внешних фактов биографии Чосера, то они при всей своей многочисленности часто запутывают, сбивают с толку, притом не столько потому, что личность поэта и его эпоха загадочны для нас (хотя это действительно так), сколько потому, что важнейшие соединительные элементы общей картины — личные чувства Чосера и общественные настроения, формировавшие облик его времени, — сплошь и рядом навсегда утрачены, как невозстановимые фрагменты старинных фресок. Они навеки исчезли из мира, растаяв словно дым. Сколько ни ломай себе голову в поисках намеков и ключей к разгадке тайн в официальных документах XIV столетия, традиционные предположения биографов Чосера почти всегда остаются только предположениями, а факты — только фактами.

Впрочем, что же тут удивительного, когда мы и себя-то,

сегодняшних, как следует понять не можем, собственные-то свои биографии как следует не напишем, хотя под рукой у нас, казалось бы, полная, исчерпывающая информация. Поскольку от этого жившего в далекую эпоху мудрого, мягкосердечного и нежно любимого всеми (по единодушным свидетельствам его современников) старого поэта ничего не осталось, кроме сухих и мало что объясняющих архивных документов, да какого-то количества прекрасных, полных иронии и скрытого смысла стихов, да двух-трех портретов, да еще нескольких высохших костей, измерив которые, если только это действительно останки Чосера, мы узнали, что это был человек среднего для своего времени роста (около 165 см), нам придется, за неимением другого выбора, сочинять биографию Чосера, как если бы история его жизни была предметом изображения в романе, воссоздавать ее с помощью игры, фантазии из праха и тлена канувшего в прошлое мира. Подобным же образом и сам Чосер воссоздавал в воображении античный мир, облачая молодого Троиля в доспехи крестоносца и украшая легендарные Афины Тезея крепостными баинями с зубчатыми стенами, просторными аренами для проведения турниров и залитыми солнцем английскими садами. Из этого, разумеется, не следует, что биограф волен бесцеремонно обращаться с историческими подробностями или, отбрасывая в сторону одни возможные толкования фактов, отдавать предпочтение другим, более эффектным с точки зрения литературной подачи. Но хотя я строго придерживаюсь в этой книге исторических фактов, я все же стремился не к академическому историцизму, а, скорее, к сочетанию исторической правды с отображением незыблемых, непреходящих сторон жизни людей. Ведь людские страсти живут из поколения в поколение, из века в век, и лучшие поэты, испытывая их сами или подсматривая у других, хитроумно запечатлевают их в своих творениях. Строить предположения на этот счет, пытаться угадать (ибо никому теперь не дано узнать наверняка), когда и где переживал поэт то, что он описывает, — эта задача привлекает писателя никак не меньше, чем историка. Как бы ни была насыщена книга историческим материалом, все равно я не историк, а романист и поэт, литературный ученик Чосера, пишущий через много столетий после него. Исторический фон предстает в книге лишь в каких-то мгновенных своих проявлениях. Так, будто освещенные вспышкой молнии, являются нам в застывшем виде события, развитие которых — по сравнению с историей одной-единственной чело-

веческой жизни — было столь же медлительным и грозным, как движение материков по поверхности Земли. Я не претендую на то, чтобы объяснить подобные исторические движения или даже связать их друг с другом. Я лишь хочу выразить мое собственное представление об их неуловимо тонком и вместе с тем глубоко воздействии на героя этой книги, каким он мне видится.

Что за человек был Джеффри Чосер? Начинают отвечать на этот вопрос как будто бы спокойно и уверенно, но почти сразу же теряют уверенность, принимаются лихорадочно рыться в его стихах, испытывая все большую растерянность, и вот уже несут нечто уклончивое, гадательное.

Чосер и Шекспир значат для английской поэзии то же, что Бах и Бетховен для музыки. Каким бы, невозмутимо спокойным ни выглядел Шекспир на своем известном портрете, это был неистовый романтический гений, человек, который, как и Бетховен, знал, кажется, все о человеческих страстях и бесстрашно представлял напоказ свои знания. Творя свои пьесы, он исходил не из теории драмы, а из импульсов, рождаемых столкновением противоборствующих страстей. Как поэт он был готов идти на любой эстетический риск. Чосер, напротив, подобен в своем творчестве уравновешенному, «хорошо темперированному» средневековому Баху. Это поэт-философ, более спокойный и абстрактно мыслящий, более сдержанный, более приверженный форме и этикету, чем любой поэт эпохи Возрождения. Хотя на самом деле Чосер был «трудным» поэтом, он выдавал себя за наивного и веселого рассказчика, который избегает касаться темных сторон человеческой жизни и с надлежащим тактом усердно развлекает принцев. Несмотря на то что он бывал безжалостным карикатуристом, когда изображал под видом персонажей поэм своих знакомых, Чосер даже в самых сатирических своих выпадах оставался верным служителем и певцом гармоничного, заполненного божеством мироздания «гольбергских вариаций».

Это сравнение, разумеется, грешит чрезмерной упрощенностью. Ведь в некоторых своих настроениях Шекспир, если можно так выразиться, больше «классик», чем Бах, — например, в сдержанной, совершенной по форме «Буре». Но сильнее всего впечатляет нас в пьесах Шекспира неожиданный взлет чувства — проблеск темной тайны, когда ведет невнятную речь Гамлет или неистовствует

Лир, головокружительное рассуждение о королеве Маб, сюрреалистически меткое замечание шута, мягкая, успокаивающая и совершенно идиотская логика какого-нибудь доброжелательного тупицы, короче говоря, переплетение безумия, глупости, муки и душевного смятения, — и на фоне этого мрака яркой молнией вспыхивает ясное сознание, когда герои Шекспира в простых и прекрасных выражениях открывают нам, что все это значит. Точно так же в некоторых своих настроениях Чосер, чья тщательно выверенная техника, бесконечная переработка написанного и неусыпная забота о форме, не говоря уже о прочем, делают его поэзию образцом классического искусства, бывает подобен Бетховену: так же исповедален, самобытен и одержим (по-своему, на более мягкий лад) стремлением потрясать. Если Бетховен напал на претенциозную, стилизованную музыку, освобождая композиторов и их искусство из-под власти вкусов «сиятельной черни», то Чосер в своей более мягкой, но при всем том уничтожающей манере высмеивал, а иной раз творчески преобразовывал те пустые, искусственные поэтические формы, которые были в его время так популярны среди второстепенных французских и итальянских поэтов: видения, истории о святых, свершивших подвиги любви, и т. д. Эти формы, пока за них не взялся Чосер, имели своим назначением не столько служение истине и красоте, сколько развлечение придворной знати. До Чосера процветала, особенно во Франции (если не считать одного шедевра, «Романа о Розе»), поэзия для слушателей, потягивающих вино, поэзия для людей, находящихся под домашним арестом; иными словами, это были развлекательные стихи, призванные помочь любителям уединенных замков скоротать долгий вечер. В некоторых случаях слушать стихи было чуть ли не единственным занятием, дозволенным этим ценителям поэзии, которых содержали как узников в их собственном замке или замке другого крупного феодала: король Франции Иоанн, взятый в плен Черным принцем, или безумная Изабелла, королева английская, заточенная вскоре после расправы над ее любовником Роджером Мортимером, могут служить наглядными тому примерами. Чосер освободил поэзию от побрякушек придворной парадности, от философской узколобости, от вычурной манерности и мертвящей рассудочности. Подобно Бетховену, Чосер иногда исповедовал еретические взгляды, хотя по натуре своей он не был человеком, способным проповедовать какие-либо взгляды с революционным пылом Джона

Уиклифа или, скажем, Уота Тайлера. И как Бетховен или как Шекспир, Чосер находил огромное удовольствие в смачной, нарушающей приличия шутке, игре слов, мистификации, убийственно верной карикатуре.

Однако при всем сходстве с романтиками Джеффри Чосер не был певцом обдуваемых всеми ветрами утесов и скалистых вершин, таким неистовым индивидуалистом демонического склада. Он мечтал об усовершенствовании общественного строя и с пониманием, даже сочувствием относился к угнетенным, особенно женщинам. Но в отличие от своего современника поэта Уильяма Ленгленда, автора обличительного «Видения о Петре Пахаре», Чосер реагировал на социальное зло своего времени не протестами и диатрибами, а молитвами да легкими комедийными уколами, самое большое мягкой сатирой. Каким бы неверным в ряде деталей ни был портрет Джеффри Чосера как человека, в общем-то, довольно жизнью, который пописывает стишки, когда бывает не слишком обременен работой на таможене, разъездами — то в Париж, то в Геную — по поручению короля, парламентскими прениями, семейными хлопотами, отправлением религиозных обязанностей, заботами о загородном доме в Кенте и прочими делами, портрет такого представительного, полного придворного, который, держа в двух пухлых пальцах левой руки бокал с вином, кропает на досуге поэмы, экспериментируя со стихотворной формой и безмятежно пестуя английскую поэзию с чувствами, столь же невозмутимо ясными, как семь небесных сфер, в которые он верил вместе с Платоном (и в которые будет потом верить Бах), — этот образ соответствует в общих чертах тому представлению о себе, которое любил создавать у своих читателей сам поэт в многочисленных восхитительных автопортретах и репликах в сторону. Вот, к примеру, комический эпизод из поэмы. «Дом славы»: золотой орел, унося насмерть перепуганного беднягу Джеффри все выше в небо, мягко попрекает его тем, что он лишь переписывает истории о любви, почерпнутые в старых книгах, ничего не замечая вокруг себя, не зная,

*Как поживает твой сосед,
Ни радостей его, ни бед,
Не видя ровно ничего
Чуть дальше носа своего.
Едва закончив труд дневной,
С таможни ты спешишь домой —
Не отдохнуть и не поесть,
А поскорей за книгу сесть*

*И ну читать до столбняка,
В глазах не зарябит пока... **

Чосер, конечно же, был серьезным поэтом при всей его любви к комичному. Чем больше мы узнаем о том, как он работал — а за последнее время исследователи узнали много нового о поэтической технике Чосера, — тем яснее нам становится, насколько серьезно он относился к овладению поэтическим мастерством, которому «так долга учеба». Но, со свойственным ему стремлением держаться в тени, Чосер не выставлял напоказ своего серьезного отношения к искусству. Подобно Шекспиру, он писал в равной мере как для партера, так и для галерки, как для молодых, так и для лукавых старых философов. Поэтому поэзия его, как и поэзия Шекспира, очаровывает сразу же, как только преодолеешь трудность понимания его старинного языка. Вместе с тем именно потому, что поэзия Чосера воздействует на многих уровнях, доставляя наслаждение при каждом новом обращении к ней, обнаруживается такой парадокс: чем лучше ты знаешь эту поэзию, тем труднее тебе объяснить, в чем ее «смысл» и что за человек был Чосер.

Каждый образованный англичанин (как и любой другой представитель англоговорящего мира) обладает — или по крайней мере думает, что обладает, — верным интуитивным пониманием Шекспира как личности и как творца пьес, во всяком случае наиболее известных. Еще несколько лет тому назад можно было бы сказать, что то же самое суждение справедливо и в отношении Чосера. Но, несмотря на веселые интонации его прозрачных стихов, несмотря на всю чистоту и ясность его поэтического голоса, наши представления о Чосере как о человеке в последнее время затуманились в результате научной полемики: разные ученые по-разному понимают его личность, причем каждый лагерь до зубов вооружился фактическими данными. По существу же, проблема заключается вот в чем: читатели, которых в течение долгого времени обманывала кажущаяся открытость поэта, стали теперь недоверчивы, подозрительны и готовы поверить любым домыслам о том, кто некогда казался им таким безобидным, милым проказником эльфом.

Чосер с присущим ему стремлением оставаться в тени любил скрывать многоплановую сложность своих поэти-

* Здесь и далее перевод произведений Чосера, за исключением «Кентерберийских рассказов», на которые дается отсылка, выполнен В. Ворониным.

ческих творений; как и всякий мастер своего дела, он добивался того, чтобы, невероятно трудное выглядело у него легким и простым, а достигнутое с великим тщанием казалось самоочевидным в своей гармонической цельности. Вот почему ему удавалось вводить в заблуждение большинство исследователей его творчества — от живших в XVI столетии до совсем недавних — своей кажущейся наивностью. Поэмам, так же изощренно аргументированным и тщательно отделанным, как стихи Джона Донна, но несравненно более длинным, он придавал видимость такой легкости, словно они свободно перетекли из его чернильницы на бумагу, как весело журчащая вода из родника. И эта обманчивая простота дезориентировала прежних исследователей.

Ныне положение изменилось. Столетиями продолжавшаяся работа по сбору, сопоставлению и изданию текстов произведений Чосера, новые филологические исследования и исторические изыскания принесли свои плоды: теперь мы смогли разглядеть, что Чосер был глубже и шире образован, более тверд в своих философских и религиозных убеждениях, а в некоторых отношениях и более строг в своей оценке людских глупостей и грехов, чем предполагалось раньше. За минувшую четверть века поэзия Чосера стала золотой жилой для исследователей, неиссякаемым источником ученых книг и статей, иногда отличных, но чаще всего отчаянно скучных. Характер использования Чосером риторических приемов, символов и всякого рода аллюзий, его каламбуры и шутки на эротические, религиозные и математические темы, место алхимии, физики и психологии сновидений в его поэзии — вот примеры тематики таких исследований. За редкими исключениями они слишком специальны по своему характеру («адвентистская традиция в патристической экзегетике и схоластическом мышлении применительно к «Дому славы» Чосера»), слишком усложненно наукообразны и педантичны, слишком перегружены латинскими цитатами и сухими полемическими выпадами ересиархов, чтобы быть доступными или полезными читателю-неспециалисту. Но возникающий из всей этой совокупности исследований образ Чосера (я постараюсь придать на страницах моей книги живой колорит этому схематическому портрету) принадлежит к числу интереснейших открытий литературоведов нашего столетия.

Представления прежних исследователей о личности Чосера, в основе своей верные и очевидные, не оспари-

ваются никем, кроме безответственных фанатиков. Это был мягкий и благоразумный человек; проникательный и, как правило, исполненный сочувствия наблюдатель людей; ясный, здравомыслящий ум. Но оказалось, что в своих причудливых поэмах-видениях, рассказах и лирических стихах Чосер выразил неизмеримо больше, чем можно было предположить; обнаружилось также, во всяком случае после выхода в свет в 1966 году полного свода «Фактов биографии», что в своей повседневной жизни он делал много больше, притом иной раз несколько иначе, чем думалось его более ранним биографам. Нельзя сказать, чтобы недавно обнаруженные новые сведения о Чосере коренным образом изменили общие биографические концепции последних пятидесяти лет. Догадки и новые интерпретации, которые выдвигались одна за другой кропотливыми исследователями, вновь и вновь просеивавшими факты, по большей части просто подтверждали прежние теории, дополняли картину, исправляли мелкие ошибки, а подчас усугубляли старые недоумения. Но если было обнаружено не слишком много новых данных о местах, где бывал Чосер, наградах и почестях, которых он удостоивался, или расходах, которые он производил, зато претерпевала большие изменения вся картина окружающей его действительности. Изменились наши представления о его друзьях и покровителях, о его привычном социальном ландшафте, о его среде. Специалисты, изучающие историю общества, политики и литературы, все более радикально пересматривают свои представления о XIV веке. Король Ричард II, например, которого некогда считали глупейшим из английских королей (таким и изобразил его Шекспир), в последнее время снискал у историков репутацию одного из самых одаренных монархов той эпохи, умного, ясно мыслящего и дальновидного человека, чья политика была обречена на провал отчасти в результате противодействия неподвластных ему сил, а отчасти по причинам, заложенным в его собственном характере: то был непримиримый идеалист в эпоху волков. (Впрочем, теперь начали реабилитировать и волков.) Новые исторические исследования привели нас к иному пониманию экономической жизни города и деревни той эпохи; пересмыслению роли так называемой «партии Гонта», которая на самом деле и не существовала (Джон Гонт — друг, покровитель, а впоследствии и свояк Чосера), в борьбе короля и парламента; уяснению конкретных последствий эпидемий чумы и бунтов, вновь и вновь опустошавших средневековую Англию, и значений торговых соглашений и

договоров, к заключению которых приложил руку и сам Джеффри Чосер, ездивший для этого по поручению короля во Францию и Италию.

Однако, несмотря на такой решительный пересмотр традиционных исторических представлений, несмотря на изменение всей картины той эпохи и появление добавочной информации, никто, как это ни странно, до сих пор не попытался создать точную и полную биографию Чосера, которая отражала бы наш новый уровень знаний. Подумать только, об одном из двух величайших английских поэтов имеются в настоящее время (если не считать занимательных, но устаревших книг) только лишь труды для специалистов — в большинстве своем это исследования аспектов поэзии, которая рассматривается в полном отрыве от жизни поэта и его эпохи! Конечно, не так уж трудно понять причину, по которой Чосеру давно не посвящались биографические исследования. Во всем его поэтическом наследии почти нет вещей, написанных на случай или приуроченных к какому-то определенному событию — в сущности, мы редко можем с уверенностью назвать дату создания той или иной его поэмы. Но зато, зная, что это был за человек, кто были его друзья и в каком мире он жил, мы сумеем лучше понять своеобразие его поэзии.

И вот я собрал воедино все доступные научные материалы в надежде разобраться в них и попытаться выяснить, много ли можно рассказать — или довообразить — о характере Чосера, как он жил и умер, как писал стихи, как нам лучше читать его поэзию. Под «доступными материалами» я, понятно, подразумеваю целые горы трудов, посвященных как истории Англии XIV века вообще, так и Чосеру в частности, не говоря уже о работах по философии той эпохи, теории риторики, экономике и т. д. Я не претендую здесь на большее, чем попытку выразить свое более или менее точное представление обо всем этом. Моя идея состояла в том, чтобы нарисовать беглый портрет поэта в освещении, отбрасываемом на него эпохой, обстановкой, его общественным положением; изложить историю его жизни на фоне картины жизни дворов, при которых он служил; выделить некоторые характерные детали времени, его гримасы, расхожие мнения, привычные тревоги и прежде всего обрисовать благородство и величие Чосера при помощи кратких и общих замечаний о его творчестве. Как сразу же заметит читатель, образ Чосера, встающий со страниц этой книги, в чем-то несет на себе печать моих личных пристрастий, но ведь

я же и не стремился дать сугубо научную компиляцию суждений других людей о Чосере и его творчестве, хотя, признаться, я прочел все, что мог найти, и включил в мои размышления о жизни и поэзии Чосера все мнения, согласующиеся с живым образом этого человека во плоти и крови, существующим в моем воображении, заботясь лишь о том, чтобы на цветном портрете, что видится мне, не было ни лишних ушей, ни обрубков вместо пальцев. Я старался быть благоразумным и более или менее объективным, принимать версии других исследователей и подавлять свои собственные предубеждения, но и моей книге наверняка присуц в какой-то мере недостаток, который я замечаю в книгах других авторов, где портрет поэта получается до странности похожим на самого биографа.

Впрочем, в одном я сознательно тенденциозен. При всем моем стремлении согласовать чужие мнения с моим собственным кое-чего я все-таки не принял, а именно концепций тех исследователей, которые начинают с утверждения, что все мышление и творчество Чосера носит средневековый характер, а кончают попыткой втиснуть эту его «средневековость» в рамки такого узкого определения, при котором все то, что видно в его поэмах невооруженным глазом, например юмор, объявляется несуществующим. Так, в некоторых недавних работах — ныне отвергнутых большинством исследователей — с помощью «научного» передергивания, когда идеи, ну, скажем, Августина Блаженного, жившего за десять веков до Чосера, выдаются за господствующие идеи XIV столетия, обосновывается тезис, будто Чосер вопреки всем нашим понятиям не был гуманным поэтом, добродушным любителем комичного. Спору нет, Чосер часто использует в своей поэзии христианскую символику, библейские аллюзии, системы подробностей, создающие нечто вроде расширенной аллегории, и при неверном истолковании этих особенностей его творчества в них можно усмотреть черты родства с пуританской скованностью Джона Беньяна или христианской язвительностью Джонатана Свифта. А в историческом контексте средневековья можно усмотреть в них жесткий религиозный догматизм, презрение к земной жизни — нечто родственное тому презрению, с которым Августин пишет в «Исповеди» о своем вольнодумном дохристианском прошлом, или тому осуждению, с каким отзывается англосаксонский философ Алкуин о язычнике Вергилии, которого постоянно цитирует. И вот, обрисовав Чосера в этих мрачноватых тонах, нам пред-

лагают отречься от его многосложной поэзии ради примитивных и весьма узколюбых теорий.

Продуманная литературная критика, как и всякая продуманная попытка уяснить что-либо, основывается в общем-то, на принципе сопоставления и исключения. В одном старом анекдоте у мужа спрашивают «Как поживает ваша жена?» — а он спрашивает в ответ. «По сравнению с чем?» Чосер был верующим христианином, но не таким ревностным, как, например, апостол Петр. Он интересовался теорией монархии, но не так глубоко, как Ричард II. Определенные элементы христианского вероучения, определенная манера оперировать символами и аллюзиями были составной частью общего литературного стиля той эпохи. Многие в поэзии Чосера являются отражением этого стиля, многие — нет. Для того чтобы понять истинный смысл поэзии Чосера, понять его отношение к отчасти традиционному, отчасти самобытному содержанию, критик должен определить, какие элементы его поэзии принадлежат к обычному средневековому стилю (что общего, например, имеет Чосер с автором «Сэра Гавейна и Зеленого рыцаря» или с автором «Петра Пахаря»), какие элементы образуют его индивидуальный стиль и какая связь существует между первыми и вторыми. Большинство чосероведов единодушно считают, что после такого отделения «традиционного» (пользуясь терминологией Т. С. Элиота) в творчестве Чосера от плодов «индивидуального таланта» становится видно, насколько выделяется Чосер среди поэтов-современников своей исключительной самобытностью.

Хотя общепринятое мнение о самобытности Чосера, в общем-то, не нуждается в защите, будет бесполезно, приступая к попытке воссоздать его творческую личность, задать вопрос: в чем именно заключалось родство Чосера с современными ему поэтами и в чем состояла его поэтическая индивидуальность? Конечно, самобытность Чосера-поэта проявлялась буквально во всем — и в частности, в характерном только для него выборе тем, в пристрастии к определенным объектам изображения, в предпочтении, отдаваемом тем или иным предшественникам (поэтам, философам, религиозным мыслителям), в его отношении, ну, скажем, к женщинам или к деньгам. Но при сравнении вкусов и предпочтений Чосера со вкусами и предпочтениями английских поэтов — его современников обнаруживаются, как мне кажется, такие

отличительные черты, которые не бросаются в глаза сразу. И пожалуй, существеннейшая из них заключается вот в чем: почти во всех своих произведениях Чосер глубоко озабочен одним серьезным философским вопросом — вопросом о природе любви и ее духовном воздействии. Разумеется, Чосер писал в пору одного из высших взлетов мировой любовной поэзии, но его подход к теме любви является тем не менее одним из важнейших компонентов его творческого своеобразия.

Некоторые исследователи, прибегнув к слишком вольной, на мой взгляд, трактовке, сводят основную тематику Чосера к центральной, как принято считать, теме всей средневековой литературы: «В чем истинное назначение земной жизни?» Тема эта, такая же старая, по чьему-то меткому выражению, как Гомерова «Илиада», обрела особую актуальность для средневекового христианина, в сознании которого «земная жизнь», будучи одновременно чем-то и глубоко привлекательным, и внушающим подозрения, вступала — чего не было во времена Гомера — в драматическое противоречие с обещанным вечным блаженством души. Чосер, должно быть, не раз размышлял над этой проблемой, возвращаясь с таможи, где он служил, к себе домой — в красивый надвратный домик Олдгейтских ворот лондонской городской стены. Вот он неторопливо шагает вдоль берега Темзы, заложив руки за спину, опустив голову и уставив невидящий взгляд своих больших глаз прямо перед собой, — вроде бы ничем внешне не примечательный королевский чиновник, в довольно строгом костюме, полноватый, с легким румянцем на щеках. Возможно, он продолжал раздумывать над проблемой цели жизни, щурясь в своих средневековых очках (изобретенных Роджером Бэконом с полвека назад), и в домашней тиши поздно вечером, когда дети спали, а Филиппа сидела в другом конце слабо освещенной комнаты с закрытыми ставнями, вышивая алые и золотые цветы.

Читая при трепещущем свете свечи свой собственный экземпляр книги Макробия «Комментарий к сну Сципиона» и задумчиво поглаживая бороду, он, должно быть, переворачивал в голове все сложные аспекты проблемы, все ее многочисленные, но всегда не вполне удовлетворительные решения начиная от *carpe diem** и кончая теологическими концепциями Макробия и апостола Павла. Это был вопрос вопросов для христианина, считающего

* Здесь — лови мгновение, наслаждайся жизнью (лат.)

земную юдоль ниспосланным ему испытанием, но для Чосера еще важнее в каком-то смысле было то, что вопрос этот лежал в основе большинства серьезных поэтических произведений, по которым он мерил свой собственный творческий рост. Должно быть, этот вопрос слишком мучил его и, как всякий мучительный вопрос, в конечном счете носил личный характер. Вот он, Джефффри Чосер, трудится как вол, живет честно, по законам божеским и человеческим, тогда как его компаньон Ник Брембр, этот здоровенный мужлан и ворюга... Одно дело — уверять, возведя очи горе: «Что жизнь земная? Глен и прах, поверьте! Пути людские — все — ведут нас к смерти...» — как писал он недавно в поэме «Птичий парламент», а другое дело — противиться соблазнам лукавой искусительницы Жизни в эти дни изобилия, наступившие при Ричарде II, когда устраиваются такие блистательные увеселения и так радостно полощутся на шпильях алые стяги. Того же мнения придерживались все современные поэты.

Еще в юности, в эпоху правления Эдуарда III, Чосер не раз присутствовал при том, как при дворе какого-нибудь провинциального феодала исполнялась анонимная поэма «Смерть Артура», написанная аллитерационным стихом, и, конечно же, узнавал эту общую тему манящих соблазнов мира сего. Безымянного автора поэмы интересовали национальные чувства, политика, война — в особенности большая война Эдуарда III во Франции — и беспокоило странное взаимное переплетение добра и зла в государственных делах, и особенно коварная взаимосвязь между царственной славой и чрезмерной гордыней. Изложив в стихах легенду о войне короля Артура с римским императором Люцием, он с помощью образно-драматических средств показал в этой прозрачной аллегории войны, которую вел Эдуард, до какой степени Артур был одновременно величествен и чудовищен. Богатство и власть, величие мира сего и высокомерная гордость находятся в близком родстве. Но дальше этого автор «Смерти Артура» не пошел. Хотя его поэма была по-настоящему выдающимся произведением искусства по сравнению с любой поэмой, написанной после эпохи англосаксов, он оказался слишком преданным последователем старых богословских учений, чтобы глубоко вдуматься в подлинно драматичный вопрос о взаимном проникновении добра и зла. Чосер рано понял, что он сможет написать об этом лучше. Зато другой современный поэт, Уильям Ленгленд, или Долговязый Уил, как он сам

себя называл, тощий и рябой, носивший длинную черную рясу и распекавший своих слушателей — селян и горожан, обитателей провинциальных городков (Чосер сторонился его, как чумы, но ревниво следил за его поэтическими успехами: за тем, в какие феодальные замки приглашали его читать свои стихи; за тем, как расплзались по всей стране списки его поэмы), — несмотря на свою простецкую внешность, был человеком, способным разглядеть как изъяны в вероучении, так и несовершенства в устройстве жизни и попытаться найти средства исправить дело. То, что в теории выглядит правдой (как кажется нам истинным то, что видишь во сне), может оказаться на практике, при попытке применить это к реальной действительности, где одно растет, другое убывает, а третье больно ранит, уже не правдой, а кривдой, непродуманным вздором. В своей поэме «Видение о Петре Пахаре» Ленгленд изобразил этот конфликт идеального с реальным при помощи такого приема: он поочередно то наблюдает реальную жизнь, где царят беспорядок и глупость, а добродетель бьется изо всех сил, чтобы выжить, то засыпает и видит во сне тот или иной выход из положения, который оказывается на поверку иллюзорным. Круг тем у Ленгленда — как и у самого Чосера — был бесконечно широк: нищета деревни, церковный календарь, несправедливое налогообложение, болезни, продажность придворных короля Ричарда, семь смертных грехов, несправедливый образ жизни монахов, ухудшение погоды в Англии... Но главное тут вот в чем: Ленгленд добирался до самой сути дела; видя, что мир постоянно меняется (одна из аллегорических героинь его поэмы, «леди Мзда», способна принести пользу и причинить вред в зависимости от обстоятельств), он хорошо понимал, что человеческая правда неизбежно должна быть свойством ума и сердца — духовным качеством, которое становится понятным, воплотившись в каком-нибудь образце человека — например, в добросовестном английском пахаре Петре или в Христе (в видении Ленгленда оба они сливаются воедино). Как совершенно верно заметил однажды Чосер в беседе с Джоном Гонттом (к сожалению, записи беседы не сохранились), Ленгленд трактует в своих тяжеловесных, порой хромающих стихах вопрос «об истинном назначении земной жизни». При этом Ленгленд отнюдь не довольствовался повторением старых, избитых изречений, догматов многовековой давности. Он решительно отвергал позу бездействия — позу святых на изображениях XIII века с беспомощно воздетыми к небу

руками, — нетерпеливо обрывал всякое обсуждение рабочего вопроса: «Вправе ли я предаваться радостям земной жизни?» («Избегайте роскоши, не причиняйте людям ненужной боли, не давайте одурачить себя с помощью папских индульгенций и доедайте до конца свой суп» — таков был его совет.) Ленгленд выдвинул не больше и не меньше как положительную программу, способ согласования идеального и реального в духе Правды. «Братья, я показал вам Петра, — восклицает Уил Ленгленд, стуча в землю своим посохом. — Теперь следуйте его примеру». (Чосер улыбнулся, искоса взглянув на свою удлиненную тень на стене. Если не считать тона и грозно стучащего посоха, они с Ленглендом имели друг с другом больше общего, чем ему, джентльмену, можно было бы без неудовольствия признать.)

Где-то в окрестностях Йорка, где венчался Эдуард III, а может быть, в соседнем Ланкашире жил человек, оспаривавший славу Чосера как первого поэта Англии. Ныне его называют поэтом — автором «Гавейна». Недавно обнаруженные новые данные позволяют предположить, что это был священник по имени Джон Мэсси, брат живописца Гуго Мэсси, который, возможно, сделал иллюстрации в рукописи поэта: на одной из иллюстраций, выполненных в манере фресковой живописи, имеется подпись «Гуго»; другие биографические подробности как будто тоже подтверждают эту догадку. Чосер и Джон Мэсси — если его действительно так звали, — возможно, были знакомы. Одна из поэм, авторство которой обычно приписывают Джону Мэсси, «Святой Эрквенальд», свидетельствует о неплохом знании Лондона, а Чосер, вероятно, не раз бывал в Йоркшире, где находились загородные имения нескольких его друзей. Может быть, на известнейшую поэму Мэсси намекал Чосер, когда писал в «Кентерберийских рассказах» о «старинном вежестве Гавейна», а в ряде мест «Книги герцогини» он, похоже, вспоминал «Жемчужину» — другую поэму Мэсси. Если оба поэта были и впрямь знакомы или знали друг друга по литературным произведениям, они наверняка оцущали некоторое духовное родство. Мэсси был джентльменом до кончиков ногтей, в остроумии мог поспорить с Чосером и не хуже Чосера умел передавать в стихах, написанных по-английски, соблазнительную суть этой искусительницы — английской действительности. И главное, он разбирался в проблематике «Земной жизни».

В четырех своих взаимосвязанных поэмах «Жемчужи-

на», «Чистота», «Терпение» и «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь» — Мэсси искусно и изобретательно трактует две популярные у средневековых авторов темы: чистоты (свойственной божественной природе и, кроме того, душевному состоянию младенца или святого, которые, будучи безгрешны, попадают прямо на небо) и терпения (терпимости всевышнего и, кроме того, душевного состояния кающегося грешника, который верно служит господу и ожидает от него прощения). Никакой другой поэт во всей английской литературе не создал более сочных и лиричных картин простой жизни на лоне природы и придворной жизни в мире гобеленов, драгоценностей, прекрасных дам и красавцев воинов, музыки, изысканной кухни и рыцарского ритуала. Вот где безраздельно царит эта сладкая, обольстительная земная жизнь в самых ее прекрасных проявлениях. Вот где, казалось бы, нам придется столкнуться с великим вопросом: «В чем истинное назначение нашего земного существования?» Ничуть не бывало! Правда, кое в чем священник все же обнаруживает себя. Так, в «Чистоте» Мэсси советует мужу избегать близости с женой при свете, ибо это может осквернить любовь, низвести ее до плотской страсти. Но подобные моменты в его поэзии обращают на себя внимание как раз в силу того, что они редки. Подлинные проблемы в его творчестве, проблемы, движущие сюжет, совсем иные. В поэме «Жемчужина» добропорядочному и набожному христианину является во сне видение его умершей дочери, и он, понимая, что это грех, все же чувствует, что любит дочь больше, чем любит бога. Поэма «Чистота» представляет собой яркий, живой пересказ ветхозаветных историй, в которых одни купаются в грязи, греша против чистоты, другие испытывают сомнения, греша против терпения, тогда как лучшие, мужественно балансируя у опасной грани, ведут себя как можно более благородно. Библейский Иона, герой поэмы «Терпение», очень досадует из-за того, что господь бог отказался от своего намерения разрушить Ниневию, поставив его, Иону, в глупое положение после всех его страшных преступлений, покуда ему не открывается истина: если бы господом руководило не терпение, а стремление доказать свою правоту, он давным-давно разрушил бы весь мир. А в поэме «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь» идеальный придворный изменяет своим принципам не из любви к богатству, славе или женищине, а просто из страха лишиться жизни. Для Джона Мэсси, так же как и для Уильяма Ленгланда (да и для самого Платона), пред-

ставляется очевидным, что люди стремятся не к страданию, а к удовольствию и что самые большие муки в жизни, как правило, причиняет нам не жажда иметь еще больше драгоценностей, еще больше любовниц (или любовников), еще больше яств за пиришественным столом, а утрата любимых детей, публичное унижение, сомнение в том, что бог все видит, страх и беспомощность перед лицом смерти. Изменивший своему кодексу чести рыцаря и христианина ради обладания куском зеленой материи, наделенной (как он надеется) волшебной силой, сэра Гавейн впадает с формальной точки зрения в грех гордыни. Но сводить к этому мораль поэмы значило бы допускать чрезмерную прямолинейность. Подлинный грех Гавейна состоит в том, что он, как всякий человек, охвачен горячим до грусти желанием жить, избежать смерти — грех, прощительный и в глазах господ, и в глазах окружающих. Когда Гавейн возвращается ко двору Артура, рассказывает о своем «постыдном поступке» и показывает зеленый пояс, который он носит теперь как напоминание, придворные весело смеются, радуются тому, что он остался жив, и решают все надеть точь-в-точь такие же зеленые пояса, как у сэра Гавейна. Эта поэма, проникнутая духом исключительного благородства и исключительной терпимости, завершается девизом, представляющим собой вариант девиза ордена Подвязки. Он поставлен там очень к месту. Подобными же возвышенными побуждениями руководствовался король Эдуард, когда, подняв с пола женскую подвязку — ее обронила его любовница, дама в высшей степени достойная, — он сказал по-французски, ибо французский был языком, на котором он в основном говорил: «Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает» — и учредил благородный орден.

Нельзя полностью исключать возможность того, что любимым поэтом при дворе короля Ричарда II был, во всяком случае какое-то время, не Чосер, а человек по имени Джон Гауэр, «нравственный Гауэр», как назвал его Чосер, посвятивший ему в последний момент «Троила и Хризиду», притом едва ли назвал его так в насмешку. Гауэр писал стихи на трех языках: на латыни, французском и английском. Англоязычная его книга несет на себе явную печать влияния Чосера и нестрит заимствованными у него строчками (справедливости ради надо заметить, что и Чосер не остался у него в долгу). Лучшая вещь Гауэра — это написанная латинскими стихами поэма «Глас вопиющего», первая треть которой представляет

собой весьма проникательное (если учесть, что оно сделано «по горячим следам») описание Крестьянского восстания 1381 года, хотя наиболее читаемой его поэмой является, естественно, «Исповедь влюбленного», так как она написана по-английски. Говорить о Гауэре коротко и в общих чертах почти невозможно, но мы все-таки отметим вот что: это был человек чрезвычайно острого и логического толка и обладал удивительной наблюдательностью. К сожалению, он не придавал особого значения этой своей способности, столь ярко проявившейся в «Гласе вопиющего»

«Исповедь влюбленного» имеет следующую композицию: влюбленный исповедуется своему духовнику, знатоку в делах любви, а поскольку в продолжение этой нескончаемой исповеди время как бы остановилось, духовник и влюбленный имеют возможность рассказывать друг другу истории, иллюстрирующие добродетели и пороки религии любви. Таким образом, эта поэма, помимо всего прочего, является, подобно «Кентерберийским рассказам» или «Декамерону» Боккаччо, сборником рассказов в драматическом обрамлении. Как произведение, посвященное любовной религии, то есть полусерьезному-полушутливому имитированию придворным влюбленным христианской веры (так, он «поклоняется» своей даме, «молит» ее явить свое «спасительное милосердие» и т. д.), эта поэма может быть поставлена в один ряд с некоторыми поэмами Чосера, такими, как «Книга герцогини» и «Троил и Хризеида». И духовник, и влюбленный в поэме Гауэра не очень умны — странно, но этот факт ускользнул от внимания большинства литературоведов. Пересказывая старые истории, знакомые его слушателям, Гауэр слегка изменяет детали, переставляет акценты, здесь чуточку преувеличивает, там делает вид, будто потерял нить повествования, и тем самым искусно и изящно дает понять своей аудитории, какая путаница царит в мыслях у духовника и влюбленного и насколько они в конечном счете ребячливы — впрочем, как и все те, кто запутался в тенетах пылкой любви. В результате поэма стала восхитительным развлечением для двора (правда, обреченным на самоуничтожение в тот момент, когда уйдет в прошлое тот просвещенный двор, ради которого все это писалось), литературной забавой, способом беззлобно высмеять мечтательных рыцарей и придворных дам, а заодно всех глупцов, не понимающих литературных шуток, и лукаво поздравить людей, достаточно религиозных философич-

ных и воспитанных, чтобы уловить иронию. Можно не сомневаться, что Джеффри Чосер, каким бы мягким и добросердечным ни был его характер, не мог не улыбаться.

Внешне темой Гауэра является тут любовь, и, подобно Чосеру (и Августину за десять веков до него), он, работая эту тему, отождествляет Женщину с земной жизнью. Подобно тому как придворный влюбленный, потерявший голову от любви к чужой жене, может пожелать, чтобы его дама сердца дала ему больше того, на что он вправе рассчитывать, так и чувственный, духовно ограниченный человек может захотеть получить от земной жизни больше, чем позволяет ему providение. Так в чем же истинное назначение земной жизни? «Держитесь с ней отчужденно, — говорит нравственный Гауэр. — Пусть ваше рукопожатие будет легким, как бы поспешным, но ни в коем случае не крепким». Иными словами, отнюдь не любовь является темой Гауэра; любовь служит ему только отправным пунктом для перехода к догматам веры. Как и в более ранних своих поэмах, «Зерцале размышляющего» и «Гласе вопиющего», Гауэр с интересом наблюдает добродетели и пороки мира сего и стремится дать хороший совет. Не такая уж плохая программа, но только не следует смешивать ее с программой Джеффри Чосера.

Чосер был певцом любви — подлинным, а не кажущимся. Всякий человек может в ту или иную пору своей жизни разделять взгляд Гауэра на любовь — широкий, зрелый, философский. Так же смотрит на любовь и молодой Трои; но вот его грудь пронзает незримая стрела; он чувствует в сердце острую, отнюдь не воображаемую боль, муку пополам с невыразимой радостью, которую испытывал каждый из нас, и ему ничего не остается, как очертя голову устремиться навстречу любви, что бы ни говорили религия и философия. Так происходит почти во всех поэтических произведениях Чосера. Он не пересказывает хвастливых историй о подвигах рыцарей короля Артура (если не считать комической любовной истории, рассказанной батской ткачихой), не предлагает грандиозных изображений человека, как Ленгленд или Гауэр в «Зерцале» или «Гласе вопиющего». Он пишет о счастливых и несчастных влюбленных, соблазнительях, верных мужьях, обезумевшем вдовце, злобном гомосексуалисте и — снова и снова — о прилежном и уравновешенном философе, размышляющем о любви и пытающемся найти несомненные истины в мире, где нет ничего несомненного, о себе. И даже когда он пишет о других вещах: проделках жуликов — кармелитов и приставов церковного суда, —

мученичестве святой, невзгодах богачей и горестях бедняков или же о конфликте господ и подданных,— ключом к пониманию неизменно служит философия любви в широком бозцианском смысле (о которой мы еще будем говорить далее).

Итак, напрашивается вопрос: какова же была позиция Чосера по отношению к любви? Считал ли он вслед за Августином, жившим за много столетий до него, что любовь бывает либо благотворительной, в старом значении слова — бескорыстной, исполненной сострадания и желания помочь, либо плотской, то есть резко эгоистичной? Или же он, подобно Платону, склонялся к мнению, что любить женщину, или кольцо с изумрудом, или что-либо еще — значит обладать способностью к более благородной и возвышенной любви? Сказать, что Чосер занимал в этом вопросе сугубо августинианскую позицию, значило бы отнести его к разряду средневековых поэтов в том догматически узком понимании средневековья, которое было порождено в основном эпохой Возрождения. Сказать же, что он склонялся (больше, чем Августин) к платонизму, что он находил способы, оправдывать лежащую в основе человеческой природы любовь к жизни — к породистым скакунам, красивым женщинам, верным друзьям, — значит отождествить творчество Чосера с тем аспектом средневековья, который достиг полного, или, во всяком случае, вполне осознанного, расцвета в эпоху Возрождения и который мы обычно связываем с понятием «современный». В жизни Чосер, конечно, вовсе не обязательно должен был стать либо августинианцем, либо платоником (да и само это противопоставление ложно). Людям, в том числе и гениям, чаще всего не свойственно доктринерство. В большинстве своем люди, даже мудрейшие из них, просто-напросто плывут по течению, воздерживаясь от высказывания определенных мнений, строя догадки и предположения, с надеждой хватаясь за то, что можно использовать в данный момент, вслепую перебирая эмоцию за эмоцией вплоть до гробовой доски. И это было особенно верно в отношении людей, живших в конце XIV века, после того как Уильям Оккам разрубил узел, связывавший науку с религией. Картина упорядоченного мироздания, нарисованная Фомой Аквинским в «Сумме теологии» — сочинении, написанном в XIII столетии, — оказалась чуть ли не полностью отвергнутой, во всяком случае в Англии, под одновременным натиском идей Роберта Гростеста и Роджера Бэкона, которые благодаря открытиям в области

оптики обнаружили, что в мире нет ничего определенного, за исключением знаний, полученных через богооткровение в Библии, но даже и тут предпринимались попытки применить историко-критический подход. Эта средневековая формулировка принципа неопределенности стала идеей огромного значения для своего времени, а в XIV веке ее значение еще больше возросло благодаря знакомлению с ней более широкого круга лиц. Оксфордские философы — ученики Бэкона (с некоторыми из них Чосер, вероятно, дружил) — донесли эту идею до сознания своих образованных современников, и она чувствительным нервом проходит через все творчество Чосера. Глубокая неуверенность в миропорядке (лишь божеская любовь и милосердие не ставились им под сомнение) была одной из причин, позволивших Чосеру скептически относиться к суровым старым богословским учениям, утверждать в своем творчестве земную жизнь и воспевать любовь так, как это не смог бы сделать поэт, меньше знакомый с современной наукой и философией, — Джон Гауэр, например.

Мы видим, что интуитивно удовлетворяющее нас традиционное представление о Чосере, согласно которому он был не мрачным сатириком, презиравшим все земное, а добродушным и исполненным сочувствия к людям юмористом, слугой возлюбленных, как он сам называл себя в «Троиле», человеком, радовавшимся жизни и влюбленным в нее, хотя порой настроенным к ней весьма критично, по-прежнему сохраняет — во всяком случае, в общих чертах — свою достоверность. Оно согласуется и с историей жизни самого Чосера, и с характером того общества, в котором он вращался, и с его поэзией. В антитезе Роджера Бэкона «опыт» (научный эксперимент или прямое наблюдение) против «авторитета» Чосер был прежде всего на стороне живой жизни, хотя и к авторитету относился со здравым уважением, благодаря чему в свой ненадежный век сумел сохранить голову на плечах. Традиционное представление о Чосере, кроме того, согласуется с многочисленными данными, свидетельствующими о том, что эмоционально Чосер был теснее всего связан с тем течением средневековой мысли, представители которого — Боэций, Макробий и Бонавентура, — исповедовавшие своего рода христианский неоплатонизм, рассматривали (подобно Платону) земную жизнь как лестницу, ведущую человека к богу (с помощью поста и молитвы, добавил бы Бонавентура). Чосер одинаково умел ладить и с этим, и с тем светом, с жизнью земной и

грядущей, хотя ему было лучше, чем кому бы то ни было, известно, как трудно тут сохранить надлежащее равновесие.

У Чосера был наблюдательный, критический ум, о чем свидетельствует вся его поэзия. Ни один недостаток в мужчине, женщине или стихотворении не ускользал от его внимания. Но, подмечая эти недостатки, он больше развлекался, чем осуждал. Ему доставлял истинное удовольствие окружающий зеленый средневековый мир со всеми его обитателями; он извлекал наслаждение даже из скверных стихов, которые под старость часто пародировал, иронически восхваляя их. Пусть другие насмеются над слабыми виршиами, приводящими в восторг не слишком утонченных английских феодалов, — он, Чосер, видел, какие возможности повеселиться и подурачиться таят в себе эти скачущие размеры и хромающие рифмы. Вот почему, невзирая на всю свою репутацию «серьезного» поэта, он мог весело написать:

Внемлите, судари! Сейчас
Я вам поведаю рассказ
Веселый и забавный.
Жил-был на свете сэр Топас,
В турнирах и боях не раз
Участник самый славный *

В мрачную, тревожную эпоху, какой она видится нам из сегодняшнего дня, Чосер был спокойным оптимистом, ясно мыслившим, полным веры. При всей своей любви к иронии — отенок иронии лежит на всех его поэтических произведениях — он утверждал земную жизнь (не говоря уже о будущей) каждой клеточкой своего большого сердца. Радость, удовольствие без малейшей примеси сентиментального простодушия — таково впечатление, которое по сей день оставляет поэзия Чосера и личность автора, встающая со страниц его поэм. Это не бесхитростная доверчивость легковверного человека в легковверный век: никакой другой поэт не писал более пронизательно об обезкураживающей сложности бытия. Но, несмотря на все смутные движения ума и сердца, несмотря на всю неясность грандиозного замысла господня, жизнь была в глазах Чосера великолепна, но, к сожалению, слишком коротка. И когда мы читаем его

* Чосер Джеффри. Кентерберийские рассказы. М., Художественная литература, 1973, с. 198. — (Библиотека всемирной литературы). — Перев. с англ. И. Кашкина и О. Румера. — Всюду далее цитаты приводятся по этому изданию

теперь, шесть столетий спустя, он нас немедленно убеждает.

Я почти не касался в этом введении той специфики, с которой читатель столкнется в ходе чтения книги. Как я уже говорил, время от времени речь будет идти о конкретных моментах истории Англии XIV века. Как дипломат и любимый придворный, поэт Чосер находился в центре многих исторических событий своей эпохи, и его непосредственно затрагивали крутые повороты истории. Даже те события, в которых он сам и не принимал участия, иногда способны пролить свет на его личность и его творчество. Что касается моей версии жизнеописания Чосера, то я стремился не к сногшибательной оригинальности, а к полноте, точности и, насколько возможно, писательской живости в изложении фактов. Иными словами, я старался придать своему повествованию интересную форму, ориентироваться на лучшие авторитеты и избегать распространенных ошибочных представлений. Не раз высказывались догадки, что Чосер родился в небогатой семье; что он был неудачно женат; что на склоне лет он много болел и его поэтический дар угас; что, будучи человеком расточительным, он умер в бедности или даже — как полагали такие его ранние биографы, как Уильям Годвин, — в тюрьме. Вероятно, в некоторых случаях так и не удастся неопровержимо доказать, что одни биографы были правы, а другие ошибались, но я в моей версии биографии Чосера — местами гипотетической и, как правило, опирающейся на труды других исследователей — утверждаю, что все перечисленные выше догадки не соответствуют действительности. Чосер был сыном сравнительно богатых родителей и благодаря прилежанию, юридическим способностям, уму и необычайному обаянию, которым не мог не обладать посланец в Италию (однажды он ездил туда, чтобы занять для короля денег), он всю жизнь преумножал свои богатства — во всяком случае, на бумаге, ибо во времена Чосера не так-то легко было иной раз получить деньги, которые тебе должно было правительство. Каковы бы ни были обстоятельства его женитьбы на Филиппе Розет — мы довольно подробно рассмотрим эту любопытную историю позже, — Чосер был счастлив в браке, любил своих детей и преданно относился к своему давнему другу, а впоследствии свояку — Гонту. Чосер почти до самой смерти был здоровым, сильным, энергичным человеком, в политике он придерживался консервативных взглядов, опасался крестьянской стихии (как потому, что ему было

что терять, так и по другим причинам) и не доверял усиливавшейся палате общин, даже когда сам заседал в ней. Он был не только роялистом в широком смысле этого слова, не только членом партии короля, но и таким приверженцем королевской власти, который готов был пойти на риск тесного политического содружества с Ричардом II, несмотря на угрозы выступивших против короля феодалов. Последние годы своей жизни Чосер провел, устраивая свои пошатнувшиеся дела, занимаясь — без особого энтузиазма — юриспруденцией и выполняя поручения короля. В перерывах между этими занятиями он, когда было время и настроение, перерабатывал и шлифовал всю совокупность своих поэтических произведений, многие части которой он так и не успел привести в порядок. Чосер умер, оставив некоторые свои вещи незавершенными, сняв концовки у других, не поместив большие фрагменты в предназначенный для них контекст. Умер он от старости. (Ему было тогда пятьдесят девять или шестьдесят лет, но его шестьдесят нельзя равнять с нынешним шестидесятилетним возрастом. В шестьдесят пять лет Эдуард III, этот закаленный воин, превратился в дряхлого, слабоумного старика.)

Рассказывая о жизни Чосера, я с неизбежностью буду касаться там и тут его поэзии, благодаря которой, собственно, и вызван наш интерес к личности этого мудрого и мягкого королевского чиновника. Однако моя книга не литературоведческое исследование поэзии Чосера. Иной раз его стихи бросают свет на факты его биографии, иной же раз — причем чаще, чем это признают современные литературоведы, — они впрямую комментируют поступки людей, события и идеи языком, понятным его читателям-современникам. Главная причина, по которой я стараюсь не вдаваться здесь в разбор поэзии Чосера, заключается в том, что я надеюсь написать о ней так подробно, как она того заслуживает, в следующий раз.

ГЛАВА 1

Родословная Чосера и несколько слов об истории Англии XIV века

Джеффри Чосер родился, скорее всего, в 1340 году, а возможно, где-нибудь в начале 1341 года или незадолго до 1340 года. Назывались и другие даты — начиная от 1328 года (считать эту дату годом рождения Чосера предложил комментатор елизаветинской эпохи Спейт, и его предположение потом некритически принималось на веру целые столетия) и кончая 1346 годом, — но профессор Джордж Уильямс, проанализировав все имеющиеся данные, внес в этот вопрос достаточную ясность, не допускающую сколько-нибудь обоснованных сомнений¹.

Отец Чосера, Джон Чосер, родился в 1312 или 1313 и умер в 1366 году. Это был богатый и влиятельный виноторговец, «гражданин Лондона», как он с гордостью себя называл. Он достиг мастерства в своем ремесле и являлся членом гильдии. В средние века в мире жило гораздо меньше людей, чем сейчас. Все чиновники короля Эдуарда, по-видимому, были знакомы друг с другом — во всяком случае, знали друг друга в лицо. Даже в таком большом по тем временам городе, как Лондон (совсем крохотном по сравнению с современным Лондоном, но очень тесно заселенном: лондонцы жили скученно в маленьких комнатухах, точь-в-точь цыплята в корзине на рынке), большинство людей всю жизнь проводило в своих кварталах, общаясь в основном лишь с соседями да еще с уличными торговцами и лавочниками, торговавшими овощами и фруктами, кухонной утварью и хозяйственными мелочами. Кожевники общались с кожевниками, виноторговцы — с виноторговцами. Богачи, как правило, водили компанию с богачами: с одними встречались на вечеринках, с другими по-соседски дружили. Жили они в спокойных и более благоустроенных районах своих ремесленных кварталов, в больших, основательной постройки домах, куда с появлением достатка сбегали от шума, вони

и тесноты районов, населенных бедным людом, в которых к тому же можно было стать жертвой нападения темных личностей, обитающих «в предместьях городских, в трущобах», где, как напишет потом Чосер в «Прологе слуги каноника» из «Кентерберийских рассказов»:

Таясь до времени, забились в норы
По тупикам грабители и воры,
Где, днем не смея носа показать,
К ночи на промысел выходит тать.

Во всем Лондоне насчитывалось тогда около 40 000 жителей. Он не походил на нынешний гигантский Лондон, в котором простирающиеся на мили и мили кварталы дешевых жилых домов и фабричные районы окружают изысканный, весь в арках и колоннах, исторический центр. Это был обнесенный стенами город с живописными парками и садами, с легким доступом к рекам и полям, с витавшими в воздухе запахами сена и конского навоза — куда более приятными, чем запахи наших современных городов. Хотя дома в средневековом Лондоне отапливались дровами, а с уборкой мусора дело обстояло плохо, город все равно выглядел, как описывал его столетия спустя Уильям Моррис, «миниатюрным, белым и чистым» — по крайней мере относительно.

Наш «лондонский гражданин» Джон Чосер был настолько богат (отчасти благодаря состоянию своей жены), что занимался приобретением недвижимости. Он владел участками земли и домами, разбросанными по всему Лондону и даже за его пределами — например, в Ипсвиче. Один лондонский дом, жить в котором было по средствам только очень состоятельному человеку, — каменный особняк с деревянным верхом на узкой и тенистой Темз-стрит в фешенебельном конце Винтри-Уорд (рядом с нынешней улицей Странд), выходивший фасадом на реку и фруктовые сады на другом берегу, — он завещал своему сыну Джеффри². Когда Джон Чосер впервые поселился в этом доме, установить не удалось. Первое письменное упоминание, связывающее Джона Чосера с домом на Темз-стрит, датируется 25 июля 1345 года, когда он был вызван в суд по иску приорессы женского монастыря Честнат-конвент, отдавшей ему этот дом в ленное владение; истица требовала уплаты аренды за последние два года (это была не арендная плата в современном смысле слова, а, скорее, что-то вроде феодальной дани). Очевидно, он уплатил долг и продолжал владеть домом вплоть до своей смерти, после чего дом перешел к его вдове Эгнис,

а в конечном счете — несомненно, уже после смерти Эгнис — к Джеффри, который в 1381 году уступил его некоему Генри Хербери, богатому и влиятельному вино-торговцу, как видно, жившему в этом доме по соглашению с матерью Джеффри Чосера и его отчимом, Бартоломью Аттечепелом.

Итак, нам придется основательно подправить традиционный портрет юного Джеффа Чосера, прислуживающего чумазой, гомонящей на разных языках матросне в пивной, которую содержали его родители. Портрет этот, явившийся плодом поэтической фантазии ранних биографов (хотя Уильям Годвин, надо сказать, усомнился в его достоверности), был снова выставлен на обозрение — сплошная позолота по гипсу! — первым современным чосероведом Ф. Дж. Фэрниваллом, который писал:

«Мы видим его мальчиком в отцовской винной лавке или таверне на узкой Темз-стрит. Он наверняка оживленно болтает с английскими и иноземными моряками и горожанами, заглянувшими выпить вина. А может быть, шустрый и ловкий парнишка с веселыми чертенятами в глазах, он валандается в Уолбруке — речушке, протекающей рядом с домом отца, или ловит рыбу в Темзе, или, наломав на майский праздник душистых веток, украшает венком шест отцовской таверны. В школе — вероятно, это была школа при соборе св. Павла — он был непременным участником всех игр и проказ, бегал смотреть все грандиозные представления, которые устраивались на Смитфилдской площади и на улицах Лондона, но при всем том, осмелюсь утверждать, хорошо учился и любил читать — ведь у мальчика уже были задатки будущего писателя. Затем он поступил на службу в качестве пажа супруги принца Лионеля и получил форменную одежду: короткий плащ, короткие штаны красно-синего цвета и туфли — и 3 шиллинга 6 пенсов в придачу на покупку необходимых мелочей...»³

Возможно, в этом портрете есть крупницы правды: у отца Чосера, помимо прочего имущества, могла быть и винная лавка, даже не одна, а самые респектабельные питейные заведения XIV века могли быть бойкими местечками, такими же шумными и развеселыми, как нынешний английский паб перед закрытием, но мы можем с не меньшим основанием нарисовать в воображении портрет юного Джеффри Чосера — мальчика из богатой семьи, который живет в спокойной обстановке отцовского

дома под присмотром слуг и обучается у частных учителей, поскольку его родители, заботясь о будущем сына, почти наверняка не жалели денег на его образование и, может быть, специально готовили его для службы при дворе. Маловероятно, чтобы он когда-либо занимал скромную должность пажа графини Ольстерской, жены принца Лионеля, хотя и в самом деле служил при ее дворе в каком-то качестве, что касается сохранившихся записей о подаренных ему одеждах и деньгах на расходы, то они, если правильно их истолковать, свидетельствуют не о скромности его положения, а об относительно высоком придворном ранге. Ко всему этому мы еще вернемся. Пока же достаточно подчеркнуть, что Чосер отнюдь не был человеком низкого происхождения.

Социальное положение предков Джеффри Чосера не вполне ясно; с определенностью можно сказать лишь то, что во времена деда Джеффри — отца Джона Чосера — это было недавно разбогатевшее, но уже вполне буржуазное семейство, если только термин «буржуазный» имеет смысл применительно к миру лордов и вассалов, мастеров и подмастерий, свободных и крепостных. Члены этой семьи, занимаясь основным своим ремеслом, пускались во всяческие побочные финансовые предприятия, сутяжничили, использовали все средства, чтобы выдвинуться и нажить состояние. О положении семейства Чосера в обществе кое-что говорят те фамилии, под которыми дед Чосера фигурировал в различных судебных тяжбах.

Выбор фамилии был в средние века сплошь и рядом делом случая. Фамилии давались по месту происхождения (так, фамилия Гонт — это англо-нормандское название города Гонт, где родился Джон Гонт), по имени отца (Уильямсон — сын Уильяма), по профессиональному занятию (Уот Тайлер — кровельщик, хотя некоторые, непонятно почему, производят эту фамилию от слова «портной») или даже — особенно когда речь идет о королях — по особенностям характера или репутации (Педро Жестокий). По мере того как человек менял места жительства, профессии и привычки, менялась и его фамилия. Дед поэта Роберт Чосер происходил из семьи, которая имела родственников в Лондоне, но жила по большей части в Ипсвиче и носила фамилию «le Taverner» (прадеда поэта звали Эндрю ле Таверне). Это значит, что они — по крайней мере некоторые — были трактирщиками — владельцами или содержателями таверн, членами гильдии и принадлежали, условно говоря, к мелкой буржуазии. Закон проводил различие между трактирщи-

ками и виноторговцами: первые торговали в розницу, тогда как вторые являлись оптовиками, занимавшими высокое положение в обществе. Однако семья, владеющая несколькими тавернами, могла с выгодой для себя заняться оптовой виноторговлей, благо розничная торговля была у нее в руках. В Лондоне дед поэта Роберт Чосер жил на Кордуэйнер-стрит (что значит «Улица сапожников» или «Улица кожевников»), в лучшем районе кожевненного квартала, и был известен как Роберт Сэддлер («седельщик») и как Роберт Чосер (от французского *chaussier* — «сапожник»). Как место жительства Роберта Чосера, так и его фамилии побудили некоторых исследователей предположить, что он был кожевными дел мастером. Но более вероятным представляется другое объяснение: он никогда не был кожевником (это нам известно с большой долей вероятности), а поселился на Кордуэйнер-стрит потому, что преуспевающему виноторговцу пришлось по вкусу этот фешенебельный район. Помимо того, дед Чосера упоминается в судебных отчетах как Роберт Деннингтон (точно так же, как его отец, прадед поэта, упоминается и под именем Эндрю Деннингтон) — это наводит на мысль, что он либо родился, либо когда-то жил, либо имел собственность в Деннингтоне (графство Суффолк); наконец, он фигурирует как Роберт Малин (очевидно, это значит: Роберт из Большого Линна), Роберт Ипсвич и Роберт Малин ле Чосер — что бы это ни значило. Во всех этих городах у него, как нам известно, были родственники.

Скорее всего, Роберт стал лондонским виноторговцем благодаря процветанию семейного трактирного промысла. Он еще больше укрепил свое положение, женившись на женщине со средствами, у которой, возможно, имелись знакомства и связи в кругу виноторговцев: ведь браки по расчету были среди людей его класса правилом, нормой — так же как среди крестьян и королей. О ее связях в мире виноторговли, похоже, свидетельствует и тот факт, что, хотя первым ее мужем был не виноторговец, а купец-бакалейщик по имени Джон Хейраун (Херон), после смерти Роберта она вышла замуж снова за виноторговца Ричарда Чосера — как видно, двоюродного брата Роберта. В том, что она была богата, сомневаться не приходится: Мэри Чосер, бабка поэта, происходила из зажиточной ипсвичской семьи Уэстхейлов (или Уэстхоллов). Тут следует отметить, что, если в сельской местности женщин, даже самого высокого положения, могли покупать и продавать, как скот, в городах картина была иная. В городах

женщина могла юридически владеть собственностью и даже сама вести свои дела. То обстоятельство, что дважды мужьями бабки Чосера становились виноторговцы, заставляет думать, что либо в ее состоянии, либо в занимаемом ею положении было нечто такое, что делало брак с ней особенно заманчивым именно для виноторговцев. Роберт Чосер приумножил свое богатство, занявшись ввозом вина из-за границы, и выдвинулся настолько, что в 1308 и 1310 годах назначался помощником королевского виночерпия и сборщиком королевских податей; прибыльная эта должность могла озолотить даже человека, обремененного совестью, чего никак нельзя было сказать о большинстве сборщиков.

Есть немало других доказательств того, что Чосеры заняли видное место в среде виноторговцев. Как говорилось выше, после смерти Роберта Чосера (он умер не раньше 1312 и не позже 1315 года) овдовевшая Мэри, бабка Джеффри, вышла замуж за родственника покойного — Ричарда Чосера. Ричард тоже занимался виноторговлей и впоследствии получил должность помощника королевского виночерпия в Лондоне и окрестностях. Виноторговцем стал, когда вырос, и сын Мэри Чосер от первого брака Томас Хейраун, а также другой ее сын — Джон, отец поэта.

Судя по документам об имущественных правах Роберта Чосера и его потомков, равно как и других членов семейства Чосеров, они выдвинулись в обществе отчасти благодаря деловой хватке, проявленной при покупке недвижимости. Скупка земельных участков в городах, вернее, получение их путем переуступки феода, являлась для сельских дворян и для богатых представителей городской буржуазии во времена Роберта Чосера одним из способов приобрести влияние и власть, подобно тому как во времена его внука Джеффри верным способом обрести вес в обществе стала скупка земли в сельской местности: эпидемия чумы, обрушившаяся на Англию несколькими повторными волнами, повыкосила землевладельцев, освободив место для новых лендлордов, а опустошения, производимые чумой в перенаселенных городских кварталах, и наплыв в город голодных крестьян сделали жизнь в столице значительно менее привлекательной, чем прежде.

Итак, изучение судебных протоколов дает нам некоторое представление о размерах состояния семейства Чосеров. 29 октября 1315 года Мэри, вдова Роберта Чосера, подтвердила, что она должна 70 фунтов стерлин-

гов (16 800 долларов в переводе на современные деньги)⁴ человеку по имени Николас Холвефорд, и обещала уплатить половину этого долга к февралю следующего года, т. е. в трехмесячный срок, а вторую половину — к пасхе. В качестве обеспечения она предложила свои земельные владения и движимое имущество в городе Лондоне и других местах. Этот факт иногда истолковывают как свидетельствующий о том, что Роберт Чосер оставил после смерти одни долги, но подобное объяснение кажется нам весьма далеким от истины. Уплатить столь большую сумму в такой жесткий срок было по силам лишь очень состоятельному человеку; предложенным ею обеспечением истец удовлетворился, и на него даже не был наложен предварительный арест. Если не ошибаюсь, Дж. М. Мэнли первым высказал мысль, что деньги, по всей вероятности, занимала сама Мэри Чосер. «Как бы то ни было, — пишет Мэнли, — ясно одно: она владела в Лондоне и за его пределами собственностью, которая считалась хорошим обеспечением для этой суммы»⁵. Томас Хейраун (дядя поэта), умерший в 1349 году, распорядился в завещании, чтобы его брат Джон Чосер, которого он назначил своим душеприказчиком, распродал его многочисленные владения в Лондоне. А когда все в том же чумном 1349 году умер отчим Джона Чосера Ричард, он оставил достаточно средств, чтобы оплатить расходы на вечное поминовение ежедневной заупокойной мессой его самого, его покойной жены Мэри и пасынка Томаса Хейрауна. (Сколько времени длилась эта вечность на практике, мне установить не удалось.) О богатстве Ричарда Чосера красноречиво говорят и те большие суммы, которые он несколько раз вносил в качестве своей справедливой, как оценивалось, доли в займы, предоставлявшиеся крупнейшими лондонскими купцами королю; однажды он предоставил компании во главе с Уолтером Чиритоном и Джоном Уэсенхемом, собиравшей средства на заем королю, 500 фунтов стерлингов (120 000 долларов на современные деньги).

Но самые любопытные из дошедших до нас записей в судебных отчетах относятся к курьезной истории, связанной с именем Эгнис Малин.

В Ипсвиче жила сестра Роберта Чосера Эгнис, вздорная особа, приходившаяся ему, как вдова Уолтера Уэстхейла, брата Мэри Чосер, также и родственницей со стороны жены. Эта Эгнис Уэстхейл, урожденная Малин, оставила свое имя в анналах истории благодаря тому, что после смерти Роберта Чосера, деда Джеффри, она предприняла попытки захватить его ипсвичские владения в надежде

присоединить их к своим собственным. С этой целью она, войдя в сговор с неким Джеффри Стейсом и другими, похитила сына покойного Роберта Чосера Джона, тогда еще подростка, и вознамерилась насильно женить его на своей дочери Джоун (его двоюродной сестре и по отцовской, и по материнской линии). Исполненные праведного гнева, Ричард Чосер, отчим Джона, и Томас Хейраун, его единоутробный брат, посакали — вероятно, в сопровождении вооруженных и готовых на все слуг — в Ипсвич, отбили юного Джона Чосера, а заодно и имущество стоимостью, как указывала в своем иске Эгнис Малин, в 40 фунтов стерлингов (около 9600 долларов). Лондонские Чосеры предъявили встречный иск и после длительного судебного разбирательства получили право на возмещение убытков в размере 250 фунтов стерлингов (60 000 долларов), а Эгнис Уэстхейл и ее сообщник Джеффри Стейс, оказавшиеся не в состоянии уплатить эту сумму, были заключены в тюрьму Маршалл-си. Два года спустя Стейс, теперь уже муж Эгнис Малин, показал под присягой, что Джон Чосер больше не имеет никаких претензий в отношении уплаты штрафа, и супружескую чету выпустили на свободу. Некоторые биографы Джеффри Чосера изображают дело так, будто Джон Чосер великодушно простил им долг. Однако это представляется крайне маловероятным. Буквально за несколько дней до того, как Стейс объявил 13 июля 1328 года о том, что вопрос о долге урегулирован, он занял ровно 250 фунтов стерлингов.

Так или иначе, предки Чосера принадлежали к породе крутых, неуступчивых, алчных, загребущих людей. Типичные представители состоятельного и идущего в гору купеческого семейства начала XIV столетия, они без колебаний обнажали мечи (Джона Чосера похитили силой оружия, «а именно будучи вооружены мечами и луками со стрелами»), без колебаний женились, коль это сулило выгоду, без колебаний обращались в суд. Они не были равнодушными к деньгам праведниками и не стали бы отказываться из любви к ближнему от больших сумм. Впрочем, Джон Чосер не был и злопамятен. Вскоре после того, как ему уплатили долг (а долг, судя по всему, был-таки уплачен), он позволил своей тетушке Эгнис и Джеффри Стейсу купить то самое имущество, которое они пытались у него украсть.

Наверное, в ту пору Джон Чосер вообще отличался большей душевной открытостью и отзывчивостью, чем это было в обычае. Примкнув к ополчению, собранному

лондонским скорняком Джоном Бедфордом, он выступил на стороне известного своим благородством старого графа Ланкастера, который поднял восстание против Роджера Мортимера — советника и супруга королевы Изабеллы (матери Эдуарда III), — добившегося незадолго до этого заключения позорного для Англии мирного договора с Шотландией. Ланкастер со своими сторонниками потерпел поражение. В январе 1329 года против Джона Чосера было возбуждено в суде дело по обвинению его в участии в восстании, а поскольку Чосер не явился в суд, чтобы защитить себя от этого обвинения, он был объявлен вне закона (22 мая 1329 года), в каковом качестве и пребывал вплоть до свержения и казни Мортимера стараниями молодого короля Эдуарда III в 1330 году. Ослепший к тому времени граф Ланкастер («слепой Генрих») и все, кого обвинили вместе с ним, были тут же помилованы. Статный, закалившийся на войне и возмужавший Джон Чосер, снова появившись на людях, склонен был предать забвению старые неприятности, тем более приключившиеся в далеком Ипсвиче. Но при этом он (как и его талантливый наследник много лет спустя) ни при каких обстоятельствах не упускал возможности округлить свое состояние или занять более высокое положение и уж тем более не был склонен прощать кому бы то ни было долги.

Мало-помалу Джон Чосер занял в жизни прочное положение как лондонский виноторговец, королевский чиновник средней руки и мечтающий о карьере честолюбца. Он, по всей вероятности, сумел извлечь выгоду из своей службы дому Ланкастеров и уж наверняка — из своей дружбы с богатыми купцами, торгующими с заграницей, с которыми он теперь ежедневно общался. По всем дошедшим до нас свидетельствам, это был человек замечательный, необычайно приятный, пользовавшийся всеобщей любовью в кругу виноторговцев и уважением в среде судейских и ростовщиков. Приветливый, любезный и соблюдающий должную почтительность в присутствии знатных лиц, которые часто приглашали его на службу, он мог быть решительным и даже жестоким, когда этого требовали обстоятельства. Человек не робкого десятка, он готов был принять участие и в справедливой войне, и в кабацкой драке. Его работа получала сердечное одобрение и регулярно вознаграждалась (так же как и работа его сына впоследствии). К 1338 году, когда ему было лет двадцать пять — двадцать шесть (начало зрелого возраста по средневековым меркам), Чосер,

по-видимому, выдвинулся настолько, что оказался в свите короля Эдуарда III, посетившего со своими спутниками Фландрию и поднявшегося затем вверх по Рейну, чтобы заключить союз с фламандским королем Людовиком IV (Поскольку сохранились лишь скудные, отрывочные письменные упоминания, существует — правда, очень малая — вероятность того, что речь идет в них о каком-то другом Джоне Чосере и что миссия эта носила характер военной экспедиции⁶.)

Какие обязанности выполнял Джон Чосер в этой поездке, выяснить так и не удалось; в его охранной грамоте лишь сказано, что он находится на службе у короля и состоит в его распоряжении. Возможно, что он участвовал в поездке, как это по традиции предполагают исследователи, в качестве авторитетного специалиста по винам, поставщика огромного и все разрастающегося королевского двора. Если это предположение верно и если при Эдуарде III соблюдались, хотя бы в общем и целом, ордонысы Эдуарда II о королевском дворе и гардеробе, то Джон Чосер, скорее всего, входил в штат служителей при главном виночерпии, разъезжал по городам и весям в поисках первоклассного вина и закупал его «ради снабжения королевского двора», заботясь о том, чтобы «поставки и покупки совершались с наименьшим ущербом и беспокойством для купцов, как то определит виночерпий, но всегда памятуя, что господин наш король пользуется привилегией платить свои старые цены и всеми прочими привилегиями, которые принадлежат ему в силу его преимущественного права»⁷. Между прочим, если вино, приобретенное таким образом, оказывалось недостаточно хорошим, то слуги топорами пробивали днище бочки, и ее содержимое хлестало на пол погреба или на землю, а человек, который от имени короля купил это вино, должен был расплачиваться за него из собственного кармана. Эта унижительная и безжалостная процедура была специально рассчитана на то, чтобы разорить человека и морально раздавить его, ибо предполагалось, что он умышленно злоупотребил деньгами из королевской казны. (Вся ирония в том, что правила эти сочинил Хью Диспенсер-младший, который сам прославился подобным казнокрадством, только в гораздо большем масштабе.) Если в обязанности Джона Чосера не входило заниматься поисками или закупкой вин, то он предположительно мог служить благодаря своему опыту «пробовщиком» вина перед подачей его на стол; консультантом, советовавшим, какое вино подавать тому или иному гостю либо королю в том или

ином конкретном случае; специалистом по доставке, разгрузке и хранению вина; наконец, ему могли поручить планирование закупок вина и учет его потребления (а также пива и эля), в общем, надзор за порядком в многосложном питейном хозяйстве короля, составлявшем большую статью расходов.

Какую-нибудь из этих или подобных обязанностей, возможно, и выполнял Джон Чосер в 1338 году. Об этом как будто бы говорит и назначение его впоследствии на должность помощника королевского виночерпия. Никакой богатый лондонец не считал бы выполнение таких обязанностей ниже своего достоинства. В конце концов это было позднее средневековье, когда королей почти обожествляли, видели в них основу общественного строя, и дворянин, которому поручалось выносить королевские простыни, становился близким к королю человеком, поверенным сокровеннейших его тайн, и утверждался — как в собственных глазах, так и в глазах окружающих — в мысли, что он облечен величайшим доверием и выполняет ответственнейшее дело. Однако мне кажется сомнительным, чтобы Джону Чосеру было поручено что-то в этом роде. Все виды работы, которые я упомянул (и которые традиционно упоминаются исследователями в связи с этим периодом жизни отца поэта), предполагают слишком большую близость к окружению короля. Виночерпий и все его подручники — поставщики, эконоы и пробовщики — являлись постоянными служителями двора его величества, всегда были на глазах у короля. Пускай они выполняли работу слуг, зато стояли рядом с тронном. Джон Чосер не принадлежал к числу этих постоянных приближенных монарха, он был человеком со стороны, специалистом, приглашенным для выполнения определенной работы во время дипломатической, судя по всему, поездки 1338 года. Так в чем же состояла его работа в действительности?

Остановимся поподробнее на обязанностях, которые он выполнял впоследствии в качестве помощника королевского виночерпия в Саутгемптоне. Должность помощника предполагала исполнение всей настоящей работы за привилегированного придворного в звании королевского виночерпия, который получал вознаграждение того или иного рода за свою синекуру, но обычно был занят прислуживанием королю или представительством в какой-нибудь королевской миссии, а до дела у него никогда не доходили руки. Работа Джона Чосера в должности помощника — он оказался подходящим кандидатом на эту должность отчасти благодаря своим связям с купцами, ведущими

заморскую торговлю, а отчасти благодаря давним заслугам отца в качестве помощника виночерпия и сборщика податей — требовала от него каждодневного многочасового присутствия на службе в ведомстве, имевшем для короны чрезвычайно важное значение: пошлины на вино и налоги с виноторговли являлись одним из основных источников дохода казны, а приобретение королем самых лучших вин, какие только можно достать, было вопросом престижа. Это была нелегкая, утомительная работа, пусть даже выгодная и в финансовом смысле, и в смысле занимаемого общественного положения; она заключалась главным образом во взимании таможенных пошлин, тщательном учете ввозимого и вывозимого вина и отборе подходящих вин для отправки — за хорошую цену — в королевские погреба. В сущности, это был тяжкий, однообразный труд, хотя и престижный. Итак, Джон Чосер не занимал такого высокого положения, о котором, казалось бы, свидетельствовало его место в личном окружении короля, но и не был человеком такого низкого общественного положения, которое приписывали ему ранние биографы.

Пожалуй, в интересах ясности нелишне будет еще немного продолжить обсуждение этого вопроса. Как мы уже говорили, биографы Чосера времен королевы Виктории имели склонность изображать поэта по традиционному шаблону — этаким бедным гением, который благодаря талантам и усердию выбился из нищеты к преуспеянию, хотя бы кратковременному. Поэтому они делали слишком далеко идущие мрачные выводы из многочисленных документов ратуши по поводу загрязнения отбросами улицы Темз-стрит и в особенности речки Уолбрук, к которой примыкали земельные владения Джона Чосера. С 1278 по 1415 год русло этой речушки периодически оказывалось «забитым всяческой грязью, помоями и нечистотами, которые сваливали туда жители домов, расположенных вдоль ее берегов, чиня большое беспокойство и ущерб всему городу»⁸. При ознакомлении с подобными документами может показаться, что речь идет о захудалом районе, трущобе, но это представление — оптическая иллюзия. «Беспокойство» — помои и нечистоты — было обычным явлением в Лондоне XIV века. Бедняки относились к подобным вещам как к неизбежным фактам жизни. Но среди владельцев участков земли на Темз-стрит были и политически влиятельные гасконские виноторговцы, из которых многие становились мэрами города, и хозяева внушительного размера домов, в которых про-

водились цеховые собрания ножовщиков, паяльщиков и стекольщиков; наконец, там были расположены городские дворцы графов Вустера и Ормонда и огромный дом виноторговца Генри Пикарда, который, по дошедшим до нас сведениям, однажды в 1363 году «принимал у себя на пышном пиршестве английского короля Эдуарда III, французского короля Иоанна, короля шотландцев Давида, кипрского короля (все они находились тогда в Англии) Эдуарда, принца Уэльского [Черного принца] и многих других знатных особ, а потом открыл свой банкетный зал для всех желающих сыграть в кости»⁹. Там же стоял и дом семейства Ипр, в котором в один прекрасный день 1377 года мирно обедал в гостях крупнейший из феодалов Джон Гонт, когда вбежавший в зал воин сказал, что Лондон поднялся против него с оружием в руках и что, «если он не поспешит, этот день станет для него последним. Услышав это, герцог столь стремительно вскочил из-за стола, за которым он лакомился устрицами, что ушиб о скамью обе ноги. Было подано вино, но в спешке он даже не пригубил его и бежал вместе со своим спутником Генри Перси через калитку позади дома к Темзе; прыгнув в лодку, они налегли на весла и гребли без передышки, покуда не добрались до дома возле Кеннингтонского замка, где в это время находилась принцесса Уэльская с новорожденным сыном Ричардом, молодым принцем, которой он и изложил свою жалобу»¹⁰. Люди этого сорта не загрязняли нечистотами окрестные речки (по словам Стоу, одного из первых биографов Чосера, жившего в эпоху королевы Елизаветы, Уолбрук с берегами, уложенными кирпичом, еще в 1462 году представлял собой «чистую речку со свежей проточной водой») и могли позволить себе жаловаться городским властям на засорение Уолбрука.

Если мы отбросим за несостоятельностью версию, по которой Джон Чосер принадлежал к ближайшему окружению короля Эдуарда III (поскольку его имя не значится в хозяйственных документах двора) и если мы, с другой стороны, полностью откажемся от устаревшего представления о Джоне Чосере как о безвестном трактирщике (вспомним, что он жил в районе богачей, что он был достаточно замечен среди сторонников слепого Генриха Ланкастера, чтобы его выделили и предали суду, и что он владел недвижимостью не только в Лондоне, но и в графстве Кент, где, кстати, имела какую-то недвижимость и его жена и где он подыскал — видимо, для того, чтобы упрочить свое положение, как это было принято в

те времена, — мужа для своей дочери Кейт, сестры Джеффри Чосера), то мы сможем не без основания предположить, что его, как впоследствии и самого поэта, ценили, быть может, не в непосредственном его качестве специалиста по винам, а как обаятельного и наделенного дипломатическими талантами чиновника, пусть даже и не самого высокого ранга, или как искусного счетовода, сведущего в тонкостях бухгалтерии, или же как человека, чьи деловые и общественные связи могли бы оказаться полезными короне.

Чем больше вдумываешься в немногие дошедшие до нас факты, тем более приемлемой представляется эта версия. Поездка короля Эдуарда во Фландрию и вверх по Рейну в 1338 году имела целью, как я уже говорил, завербовать союзников и заручиться финансовой поддержкой перед задуманным им нападением на короля Франции. Джон Чосер, который, по-видимому, совершил путешествие до самого Кёльна, хорошо разбирался в вопросах ввоза и вывоза, умел вести торговые книги, отлично знал все сложности английского законодательства о сборе таможенных пошлин и в силу своего положения и рода занятий наверняка был известен (и очевидно, не антипатичен) фламандской купеческой общине в Лондоне и еще лучше известен своим постоянным торговым партнерам и соседям по Темз-стрит — кёльнским купцам. Буквально в двух шагах от его дома «стояло огромное укрепленное здание с причалом — собственность ганзейских купцов, главными среди которых были в ту пору купцы из Кёльна, и с ними-то у Джона Чосера завязались особенно тесные отношения»¹¹. На той же Темз-стрит стоял большой дом, наполовину каменный, наполовину деревянный, с подвалами для хранения вина, носивший название Винтри, т. е. Винный погреб. Там жил Джон Гисерс, виноторговец, ставший в дальнейшем мэром Лондона и комендантом города; после него в этом доме жил тот самый Генри Пикард (мэр Лондона в 1357 году), который, по некоторым данным, принимал у себя на пиру четырех королей и Черного принца. Пикард и еще несколько влиятельных и богатых виноторговцев, принадлежавших к числу богатейших английских купцов, так же как и Джон Чосер, сопровождали короля Эдуарда в его поездке 1338 года вверх по Рейну.

Вероятнее всего, Джон Чосер путешествовал тогда в роли младшего помощника при компании полномочных купцов-дипломатов (в подобном дипломатическом качестве отправится впоследствии в Геную Джеффри Чосер),

в задачу которых входило разработать соглашения о торговле, налогах и портах, призванные отладить торгово-финансовые операции между государствами — будущими союзниками в войне — и дать новый стимул к расширению сотрудничества между ними. Такие переговоры между купцами разных стран, проводимые по инициативе короля, являлись скорее правилом, чем исключением в век, когда чрезмерное налогообложение могло обернуться катастрофой (в чем убедились советники короля во время крестьянского восстания 1381 года) и когда предусмотрительные короли, изыскивая средства на ведение войны, рассчитывали на помощь купцов, вынашивавших далеко идущие планы обогащения, и феодалов, мечтавших о военной добыче и выкупах. То, что Джон Чосер был всего лишь помощником, а не полноправным членом миссии, кажется достаточно определенным. Как видно, в 1338 году, когда он совершил поездку в свите Эдуарда, у него еще не было патента виноторговца. Впервые он был со всей определенностью назван виноторговцем в записи от 1 августа 1342 года, когда в числе пятнадцати поименованных виноторговцев выразил согласие с принятым мэром, олдерменами и общиной Лондона ордонансом, запрещающим разбавлять вино в тавернах; во всех более поздних документах, касающихся имущества его единоутробного брата Томаса Хейрауна, он ясно и недвусмысленно значится как «Джон Чосер, виноторговец». Конечно, даже если он еще не был в 1338 году патентованным виноторговцем, он мог занять относительно важное положение благодаря своим семейным связям, но они не шли ни в какое сравнение с влиянием и связями Пикардов.

В карьере Джона Чосера не вызывает сомнений одно обстоятельство. Независимо от того, ездил ли он в Кёльн в качестве дипломата младшего ранга, он всю жизнь питал небескорыстный интерес к политике, государственной и внутригильдийной, а зачастую и к той и к другой. Так, например, в марте 1356 года сорокачетырёхлетний Чосер, представительный, дородный и очень состоятельный мужчина, был назначен гильдией виноторговцев одним из двух сборщиков средств в лондонском округе Винтри на снаряжение двух легких кораблей английского военного флота — предприятие, требующее немалых затрат. Не будь он обходительным и умеющим убеждать джентльменом, которому многие в округе Винтри были чем-нибудь обязаны, не пользуясь он всеобщим уважением как безукоризненно честный человек, умеющий сочетать сердечность с непоколебимой твердостью (эта же черта отличала ввос-

ледствия и его сына), члены гильдии, вероятно, не поручили бы ему столь ответственное дело.

В свите, сопровождавшей короля Эдуарда в его поездке вверх по Рейну, находился также и лондонский виноторговец Генри Нортуэлл, рослый, сухощавый, седеющий, импозантный мужчина, который путешествовал вместе с женой Эгнис, своей гордостью и отрадой. Это была милая, остроумная и отзывчивая молодая женщина, и Джон Чосер, наблюдая, как она подставляет лицо свежему речному ветру, вероятно, почувствовал к ней мгновенную симпатию, хотя он, впервые заговорив с ней, и представить себе не мог, к чему это приведет. Так или иначе, но, по всей вероятности, именно эта Эгнис к 1354 году уже лет десять-пятнадцать была женой Джона Чосера и, предположительно, матерью будущего поэта. Дочь человека по имени Джон Коптон, она являлась племянницей и наследницей одного из незаметных лондонских богачей — Хеймо Коптона, лондонского гражданина и чеканщика по профессии (т. е. мастера монетного двора), умершего в 1349 году¹².

Сын Хеймо Коптона Николас ненадолго пережил отца, а поскольку он умер, не оставив потомства, собственность Коптонов, по-видимому, должна была перейти к Эгнис. Ее отец к тому времени давно умер; вероятно, это был тот самый Джон Коптон, который жил за воротами Олдгейт и был убит в 1313 или 1314 году, когда Эгнис еще не вышла из младенческого возраста. Его имущество, как видно, перешло по наследству к его брату, а после смерти Николаса, сына Хеймо, в чумном 1349 году, — к Эгнис и Джону Чосерам. Во всяком случае, они вступили во владение собственностью в приходе св. Ботольфа за воротами Олдгейт. В октябре 1349 года некий Найджел Хэрни, сын и наследник Ричарда Хэрни, душеприказчика Хеймо Коптона, возбудил в суде дело против «Джона Чосера, виноторговца, и его жены Эгнис», обвинив их в неправомерном захвате недвижимости в приходе св. Ботольфа, принадлежавшей ранее Хеймо Коптону. Если в различных сохранившихся документах речь идет об одном и том же недвижимом имуществе, тогда дело, вероятно, обстояло так: Джон Коптон оставил дом своему брату Хеймо; душеприказчик Хеймо попытался по смерти последнего из оставшихся в живых сыновей Хеймо присвоить его собственность, однако Чосеры спешно прибыли из Саутгемптона, где они в это время жили (забрав с собой своего девятилетнего сына), и немедленно вселились в дом отца Эгнис, подкрепляя свое притязание факти-

ческим владением. Впоследствии Эгнис доказала в суде свое право на этот дом. За него и впрямь имело смысл бороться: он стоял в районе, где потом поселится любовница короля Эдуарда Алиса Перрерс и где в один прекрасный день Джеффри Чосер получит в бесплатное пожизненное пользование как дар от города превосходный дом.

Будучи урожденной Коптон, Эгнис Чосер, как предполагают, состояла в родстве с видным кентским семейством Пеликан; родство с этими богатыми землевладельцами, возможно, имело важное значение для будущей карьеры Джеффри. В 1321 году Хеймо Коптон, согласно сохранившимся записям, жил в приходе св. Данстена, но, по видимому, он происходил из семьи, которая была родом из Кента¹³. Во всяком случае, ясно одно: в дальнейшем Джеффри Чосер будет связан с Кентом. Джон Филпот в своих записках «Посещение Кента» зафиксировал факт бракосочетания некоего Саймона Мэннинга из Годхэма, что в Кенте, с Екатериной, «*soror Galfridi Chawcer militis celeberrimi Poetae Anglicani*» («с сестрой Джеффри Чосера, воина, знаменитейшего среди английских поэтов»); нам, кроме того, известно, что был случай, когда Чосеру поручили опеку над одним несовершеннолетним, который жил в Кенте. Если бы Джеффри Чосер не был связан с Кентом как землевладелец или как управитель чьей-то собственностью в Кенте, ему, надо полагать, не поручили бы опекать несовершеннолетнего жителя графства и не выбрали бы его мировым судьей, а впоследствии и представителем в парламенте от Кента. (Как мы убедимся в следующих главах, Чосер почти наверняка получил право заседать в парламенте в качестве постоянного представителя или управителя имениями одного из крупнейших кентских землевладельцев — короля.)

Помимо непосредственно родственных связей, Эгнис Чосер имела высокие связи и через близких своего первого мужа, который состоял в родстве с Уильямом Нортуэллом, занимавшим высокую придворную должность хранителя королевского гардероба. Эта должность отнюдь не исчерпывалась камердинерскими обязанностями. Хранитель королевского гардероба входил в число наиболее приближенных к королю лиц и ведал всем движимым имуществом королевского двора, за исключением того, что находилось в ведении казначейства, которому были подотчетны королевский виночерпий, управитель хранилищ, королевский конюший и королевские гонцы. Мало того, хранитель гардероба являлся еще и главным

финансовым представителем короля. Вполне возможно, что именно его протекцией объясняется последующее возвышение поэта при дворе короля Эдуарда, а затем и Ричарда. Эгнис, как мы убедились, унаследовала по меньшей мере часть богатого и обширного состояния Коптонов. Помимо уже упомянутой нами недвижимости, Эгнис и ее супруг Джон Чосер владели в 1354 году недвижимой собственностью, которую они сдали в аренду Симону де Плаг, лекарю и гражданину Лондона, и его супруге Иоанне, а именно пивоварню с домами, постройками и прилегающим садом и две лавки с верхним этажом, ранее находившиеся прямо за городской стеной. А позже, в 1363 году, Джон и Эгнис Чосер согласились с передачей из рук в руки права аренды на принадлежавшую им недвижимость по соседству: десять с половиной акров земли с ценным имуществом (двадцатью четырьмя лавками и мастерскими и двумя садами) в Степни и приходе св. Марии Маттефалон за городскими воротами Олдгейт.

Возможно, что кое-какое богатство и влияние при дворе пришли к Чосерам также и по линии Хейраунов — по линии любимого единоутробного брата Джона Чосера или просто «брата», как именуют они друг друга в официальных документах. Хейрауны имели какое-то отношение к Пезертонскому лесу — огромному королевскому имению, первоначально предназначавшемуся исключительно для монаршьего развлечения, но впоследствии включавшему в свой состав феодальные маноры и даже города. Может быть, не случайно, что на склоне лет Джеффри Чосер, оказавший важные личные услуги королю Ричарду и с опасностью для себя сохранивший ему верность, будет назначен помощником лесничего Пезертонского леса, то есть фактическим управителем этого имения.

Деловую карьеру Джона Чосера можно проследить главным образом по королевским пожалованиям и назначениям и по судебным тяжбам, в которых он участвовал то в качестве одной из сторон, то в качестве чьего-то представителя. В 1343 году он получил королевскую лицензию на отправку сорока кварталов пшеницы из Ипсвича во Фландрию при условии, что он не будет беспошлинно вывозить из Англии шерсть, шкуры и овчины. Это разрешение фактически давало ему широкие полномочия как экспортеру не только пшеницы, но и шерсти и прочего товара после уплаты пошлины, а в Англии трудно

было найти дело более прибыльное, чем торговля с Фландрией, — если только купцу удавалось избежать встречи с пиратами. В феврале 1347 года, когда ему от силы было лет тридцать пять, а его сынишке Джеффри — лет семь или восемь, Джон Чосер получил назначение на должность помощника главного королевского виночерпия Джона Уэсенхема в порту Саутгемптон, а в апреле того же года круг его обязанностей еще больше расширился: он был назначен помощником Уэсенхема по сбору пошлин с тканей и постельных принадлежностей, вывозимых иностранными купцами из Саутгемптона, Портсмута и трех других портов. Порученная ему работа имела важное значение, поскольку, как уже говорилось, пошлины были для короля главным источником доходов. Однако 28 октября 1349 года Джон Чосер отказался от этих должностей — возможно, ввиду того, что «черная смерть» сделала его владельцем новых земельных участков и построек, в том числе и дома Хеймо Коптона, в который Чосеры тогда же и въехали. Как мы видели, в том году умерли отчим Джона Чосера Ричард, его брат Томас Хейраун, дядя его жены Хеймо Коптон и сын Хеймо Коптона Николас. Если бы семья Джона Чосера жила в разгар эпидемии в Лондоне, ухаживая за большими родственниками, биография девятилетнего Джеффри Чосера, возможно, на этом бы и оборвалась.

Года с 1355, когда ему шел уже пятый десяток, Джон Чосер, становясь старше, степенней и все состоятельней, выступал поручителем по займам и гарантом доброго поведения некоторых его знакомых лондонцев. Он поручился, в частности, за «двух трактирщиков, на одного из которых некая женщина подала в суд за причиненное им кровопролитие, за двух иностранных виноторговцев, допущенных впоследствии к пользованию правами городского самоуправления Лондона, и за портного, брошенного в тюрьму по обвинению в «ночном хождении» [появлении на улицах после вечернего звона]. Наиболее интересным представляется случай, когда Джон Чосер и четверо других влиятельных людей поручились 9 декабря 1364 года за лондонского виноторговца Ричарда Лайонса, дав гарантию, что он не будет чинить никакого вреда Алисе Перрерс [впоследствии любовнице Эдуарда III и приятельнице Джеффри Чосера] или мешать ей ходить туда, куда ей будет угодно, и вершить дела короля, равно как и свои собственные»¹⁴.

Джон Чосер оказался вовлеченным и в многочисленные другие юридические тяжбы. Так, в 1353 году, когда ему перевалило за сорок, суд по гражданским делам рассматривал на своей пасхальной сессии жалобу на него, поданную неким Джеффри Даршемом, который утверждал, что в Айлдоне (Айлингтон, в то время деревня на северо-восточной окраине Лондона) Джон Чосер избил и ранил его и «совершил другие акты насилия, причинившие ему серьезные телесные повреждения и явившиеся нарушением общественного порядка». Нам неизвестно, чем кончилось для Джона Чосера судебное разбирательство по этому делу. В 1357 году на него подал в суд Джон Лонг, лондонский гражданин и торговец рыбой, требуя уплаты просроченного долга. Исход этого дела нам тоже неизвестен, но вероятнее всего, что Чосер отдал долг. Средневековые купцы имели обыкновение поелику возможно тянуть с уплатой денег своему рыбнику и бакалейщику, но эти последние проявляли такую неуступчивость и деловую хватку по части взыскания долгов, которым могли бы позавидовать даже ростовщики. В период между 1353 и 1364 годами Джон Чосер неоднократно выполнял обязанности члена коллегии присяжных от округа Винтри в главном городском суде Лондона, а однажды (в 1350 году) участвовал в качестве присяжного заседателя в суде над фальшивомонетчиком, а точнее, алхимиком, одним из тех несчастных, злключения которых Джеффри Чосер увековечил в «Рассказе слуги каноника»:

...каждый раз в беду он попадет.
И знаете, как это с ним бывает?
Вот он сосуд как следует взболтает
И в печь поставит, а тот — трах! — и вдрыг
Расплещется на миллионы брызг.
В металлах тех такая скрыта сила,
Что лишь стена бы их остановила,
И то из камня, на крутом растворе.
Ту силу нам не удержать в затворе.
Насквозь стена, и настезь потолок,
И эликсира драгоценный сок
Разбрызгнут по полу, впитался в щели,
А твердые частицы улетели
В проломы стен иль облепили свод.
Таков обычный опытов исход.
Хоть сатана и не являлся нам,
Но думаю, что пребывает сам
Он в это время где-нибудь в соседстве.
Где сатана, там жди греха и бедствий*.

Имя Джона Чосера фигурирует и в других судебных документах, но тех, что мы упомянули, достаточно, чтобы

* «Кентерберийские рассказы», с. 462.

составить представление о нем. Это был надежный гражданин, человек долга, который чаще всего честно платил по счетам, попивал бордо, а в случае необходимости защищал свои убеждения, как и всякий уважающий себя средневековый джентльмен, при помощи трости, а то -и дубинки.

Как и все его современники, стремившиеся занять более высокое положение в обществе (и как тысячи людей, не стремившихся к этому), отец Джеффри Чосера был воином, хорошим или неважным — это нам неизвестно. Мы уже говорили о том, что его служба под знаменами Генриха, графа Ланкастерского, двоюродного дяди короля Эдуарда III, возможно, стала одной из причин его быстрого возвышения в Лондоне и, что гораздо важнее с нашей точки зрения, причиной дружбы, на всю жизнь связавшей его сына Джеффри с крупнейшим английским феодалом того времени, четвертым сыном короля Эдуарда Джоном Гонтом, который благодаря женитьбе на внучке графа Генриха станет герцогом Ланкастерским.

Джон Чосер поступил на военную службу (вместе со своим старшим братом Томасом Хейрауном) лет четырнадцати-пятнадцати и принял участие в катастрофически неудачном походе против шотландцев, предпринятом по инициативе Роджера Мортимера и королевы Изабеллы. Возглавлял поход король Эдуард III, неопытный и самонадеянный юнец пятнадцати лет от роду, красивый, пользовавшийся любовью окружающих и исполненный желания доказать, что он лучший полководец, чем его неумелый в ратном деле отец, незадолго перед этим низложенный Эдуард II. (Это произошло в 1327 году, за три года до выступления графа Ланкастерского против Мортимера и за одиннадцать лет до путешествия короля Эдуарда вверх по Рейну.) Отряд лондонцев численностью в две сотни воинов, мужчин и подростков, храбро двинулся на север и соединился с главными силами армии, за которой тянулся длинный обоз из повозок с продовольствием. Поначалу в состав войска входили наемники — бывалые ратники из королевства Эно (которое включало в себя юг современной Бельгии и территорию к западу от него), но, после того как эти задиры передрались с горожанами Йорка, их пришлось отправить обратно в Лондон, где они и вернулись к обычному времяпрепровождению безначального наемного воинства: пьянствовали, воровали, случалось, из озорства убивали кого-нибудь. Великий французский хроникер Фруассар поведал нам историю этого английского похода.

Приводимые Фруассаром данные о численности английского войска взяты из официальных английских летописей и, вероятно, завышены, но юному Джону Чосеру и его старшему брату Тому армия, двинувшаяся в сторону вересковых пустошей северной Англии, должно быть, казалась колоссальной. Шотландцы, методично осуществляя программу террора, направленную на сохранение своей национальной независимости, совершали стремительные набеги (полуголые, яростные, со спутанными, нечесаными космами, они налетали как вихрь), сжигая на своем пути деревни и посевы, и англичане могли издалека следить за их продвижением по поднимающимся к небу столбам дыма. Джону Чосеру эта тактика не казалась ни методичной, ни даже разумной. Как и любой молодой англичанин своего времени, он был предан идеалу рыцарства — кодексу чести вооруженного конного воина во всем его многообразии, начиная от соблюдения правил честного поединка на поле боя и культивирования возвышенного христианского духа в подражание благородству воина-Христа и кончая (притом это касалось не только рыцарей, но и всех, кто дорожил хорошим воспитанием) учтивостью, великодушием по отношению к слабым и уважением к женщинам. Говоря в самом широком смысле, этот кодекс, восходивший к эпохе англосаксонского короля Альфреда, жившего в IX веке, вобрал в себя все куртуазные тонкости и ритуальные сложности рыцарской культуры Франции XIII века и являл собой — в идеале — образец поведения для всех цивилизованных воинов, хотя на практике воюющие следовали ему далеко не всегда¹⁵. Джону Чосеру набеги шотландцев казались бессмысленным и дерзким варварством, даже злодейством, которое неминуемо будет наказано господом богом и рыцарями короля Эдуарда.

Джон шагал вперед, все больше ощущая тяжесть своих легких доспехов, а если он начинал отставать, его брат, должно быть, мягко поддразнивал его. Когда отряд поднимался на вершину холма, их взору открывалось все английское войско, двигавшееся тремя громадными растянутыми колоннами, похожими на трех извивающихся и покрытых пылью гигантских змей. Как пишет Фруассар, англичане наступали «тримя большими полками», в каждом из которых имелось два «крыла» численностью в пятьсот тяжеловооруженных всадников каждое да еще триста * тысяч вооруженных ратников в придачу, половина

* По-видимому, в оригинале допущена ошибка. Скорее всего, тридцать тысяч. — *Прим. перев.*

на маленьких лошадках, а половина — пеших воинов из крестьян, и, кроме того, двадцать четыре тысячи пеших лучников, не считая «прочего сброда и людей, сопровождающих войско». (Как я уже говорил, цифры Фруассара, несомненно, завышены.) Шотландцы отступали через горы и долины, сжигая все на своем пути, а англичане преследовали их в правильном и упорядоченном боевом строю с развернутыми стягами и с соблюдением всех строгих правил равнения рядов; под страхом смерти запрещалось кому бы то ни было опережать знамена маршала. Это был самый безопасный способ движения, особенно если учесть, что путь армии пролегал среди болот, топей и мест, удобных для засады; благодаря такому походному порядку вся армия уподоблялась в смысле дисциплины лучшим из ее рыцарей, всегда сохраняющим самообладание и хладнокровие, но это означало, что у англичан не было ни малейшего шанса настигнуть шотландцев.

Тогда англичане попробовали прибегнуть к стратегии совершить ночной переход к реке Тайн, где Эдуард рассчитывал отрезать противнику путь к отступлению в Шотландию. Исходя из убеждения, что завтра наконец шотландцам придется выйти на поле боя, англичане, чтобы ускорить движение, оставили позади свой огромный обоз с продовольствием и больше не видели его в течение тридцати двух дней. Джон Чосер и Том Хейраун, так же как и сотни воинов вокруг них, поспешно двинулись вперед. Слабо поблескивали при свете звезд металлические пластины их панцирей и рыцарские доспехи всадников. Войско двигалось ночью «по горам и долинам, через скалы и многие трудные проходы», некоторые воины увязали в болотах, теряли коней. Но, несмотря на это, англичане все прибавляли шагу, торопясь изо всех сил, потому что, услышав впереди какие-то крики, они решили, что головной отряд столкнулся с шотландцами. Но они ошиблись. Это кричали ратники, вспугнувшие оленей. Наступил рассвет, и высокая трава намочла от росы.

Наконец, уже под вечер, проведя на марше всю ночь и весь день, английская армия вышла к реке Тайн и переправилась на другой берег — с большим трудом, поскольку никто не предупредил англичан, что дно реки усеяно огромными камнями. Пришла пора устраиваться на ночлег, а у англичан не было с собой ни шатров, ни необходимой утвари, ни топоров, чтобы срубить себе домики или хотя бы соорудить коновязи. Поэтому всадникам пришлось всю ночь напролет бодрствовать, не вы-

пуская из рук уздечки своего коня. Есть было нечего, кроме соленого от конского пота хлеба. Такая огромная совсем недавно армия заметно поредела. Многие пешие ратники далеко отстали и сбились с пути. Джон Чосер и Том Хейраун, дрожа от холода, улеглись прямо на землю: как и большинство воинов, они, чтобы шагать налегке, не взяли с собой скаток с постельными принадлежностями. Но всю ночь им мешали спать металлические звуки, производимые слонявшимися взад и вперед среди деревьев латниками, глухие возгласы, чертыханья, ржание коней. Когда же наутро после этой нескончаемой тягостной ночи они, совсем окоченевшие от холода, протерли глаза и выглянули из-за деревьев в сторону реки, открывшаяся их взору картина повергла их в скорбь и ужас. С серого, затянутого тучами августовского неба уныло лил зарядивший на целую вечность дождь, и Тайн грозно вздулся, так что никто бы не сумел теперь переправиться через него обратно, чтобы заpastись продовольствием или уточнить местонахождение армии. Еды больше не осталось, даже просолившегося хлеба. Не было фуража и для коней, которым приходилось довольствоваться листьями с деревьев. Ближе к полудню удалось отыскать нескольких окрестных крестьян, которые объяснили англичанам, где они находятся: до ближайшего городка было одиннадцать миль. На следующий день крестьяне вернулись, чтобы продавать изголодавшимся воинам недопеченный хлеб по спекулянтским ценам.

Дождь беспрерывно лил всю следующую неделю. Воины дрались из-за хлеба, даже, случалось, убивали друг друга. Целыми днями английское воинство, отыскивая шотландцев, кружилось под дождем по открытой, продуваемой всеми ветрами местности, то карабкаясь в гору, то бредя вниз, то перебираясь по скользким камням через речки, то продираясь через лес, где капало с каждой ветки. Шотландцы тоже потеряли англичан из виду. В конце концов король Эдуард обнаружил шотландское войско, расположившееся лагерем высоко на склоне горы, что возвышалась на противоположном берегу реки Уэр. За боевыми позициями шотландцев виднелись хижины из шкур и ветвей, а на суках каждого дерева вокруг висели многочисленные освежеванные туши оленей и прочей дичи.

Посовещавшись, англичане выстроились в боевом порядке и двинулись вперед с поднятыми вверх копьями и развернутыми знаменами. Несмотря на холодный дождь, вся английская армия наступала в правильном

рыцарском строю: легковооруженные всадники и пешие воины вроде Джона Чосера и Томаса Хейрауна следовали за тяжеловооруженными рыцарями на боевых конях — крупных, массивных, украшенных роскошными попонами, которых недаром называют «танками средневековья». Пара таких коней, скачущих неторопливым звонким галопом, могла иной раз высадить (если глаза у них были закрыты шорами) окованные железом ворота замка. Юный король Эдуард гарцевал впереди войска, выкрикивая слова ободрения. Армия англичан подошла к реке и остановилась.

Произошло то, что будет не раз происходить с англичанами во Франции, хотя в тот момент никто еще не отдавал себе в этом полного отчета. Дело в том, что до введения королем Эдуардом огнестрельного оружия несокрушимая тактика английской армии, построенная на взаимодействии конницы с лучниками, вооруженными большими луками, имела один существенный недостаток: она срабатывала только в том случае, если противник выходил в поле на честный поединок. Шотландцы же не имели ни малейшего намерения выходить на честный бой с численно превосходящим противником. Они оставались на своих неприступных позициях по ту сторону реки, которую армии Эдуарда предстояло перейти, и оглашали всю округу нестерпимо резкими и громкими звуками волюнок, готовые обрушить вниз на англичан дождь стрел и лавину камней. «Сударь! — насмешливо кричали они англичанам. — Ваш король и его лорды хорошо рассмотрели, как мы живем-поживаем в этом королевстве; мы выжгли и опустошили местность, по которой проходили, а если им это не нравится, они могут отправиться поправлять дело, когда пожелают, потому что мы намерены оставаться здесь, сколько нам заблагорассудится». Так прошло три дня. Армия Эдуарда попыталась было применить к засевающим на горе шотландцам осадную тактику, позволявшую иногда выманить противника из-за крепостных стен в чистое поле под угрозой голода. Но вся беда в том, что от голода страдали не шотландцы, а англичане, которые к тому же до нитки промокли. Седла, упряжь, попоны начали подгнивать, и от них распространялся вокруг дурной запах, пешие ратники, такие, как Джон Чосер и Томас Хейраун, дрожали и надсадно кашляли — и от простуды, и от едкого дыма, поднимавшегося от сырого хвороста, из которого, как они ни бились, невозможно было разжечь костер.

На третью ночь шотландцы исчезли — впоследствии их обнаружили на другой такой же горе. Англичане снова повели осаду, и снова шотландцы нашли слабое место в правилах ведения цивилизованной войны. Когда англичане мирно спали, две сотни полуголых всадников-шотландцев во главе с лордом Дагласом, вопя и завывая, ворвались на бешеном галопе в их лагерь, перебили сотни три раздетых и полуодетых и насмерть перепуганных молодых англичан, обрубили в знак презрения канаты, крепившие королевский шатер, и все с теми же воплями умчались обратно, за реку. Неудачи продолжались — Джон Чосер, всю свою жизнь остававшийся патриотом, должно быть, негодовал, — покуда шотландцы не ускользнули однажды ночью окончательно. Король Эдуард, глотая слезы, отдал приказ возвращаться на базу в Дарем. Здесь лорды обнаружили, что продовольствие предусмотрено перенесено из их повозок в сараи и амбары, на которых аккуратными геральдическими флажками помечено, где находится чье имущество, — и вся эта работа выполнена заботливыми горожанами безвозмездно, за счет города! Контраст с пережитым был стол велик, что Джон Чосер вспоминал этот случай до конца жизни и каждый раз смеялся, рассказывая о нем: дикие, производящие оглушительный шум шотландцы, раздосадованная неудачами и деморализованная армия короля Эдуарда и эти опрятные, щепетильно честные, исполненные чувства долга домохозяева Дарема. Подобная до смешного прозаическая, но вместе с тем основательная английская добропорядочность будет вызывать такое же теплое чувство у его поэта-сына, который станет добродушно подшучивать над ней то в лице слишком благоразумного купца из «Рассказа шкипера», то в лице бесхитростно простой старухи вдовы, хозяйки чудо-петуха Шантеклера, то в лице благовоспитанной аббатисы, которая плавно говорит по-французски — отнюдь не «парижским торопливым говорком», — духовно недалеко (несмотря на свой духовный сан), но зато блещет безукоризненными застольными манерами.

Она держалась чинно за столом:
Не поперхнется крепкою наливкой,
Чуть окуная пальчики в подливку,
Не оботрет их о рукав иль ворот.
Ни пятнышка вокруг ее прибора.
Она так часто обтирала губки,
Что жира не было следов на кубке.
С достоинством черед свой выжидала,
Без жадности кусочек выбирала.

Сидеть с ней рядом было всем приятно —
Так вежлива была и так опрятна*.

В мрачные времена, которые довелось повидать молодому Джону Чосеру, особенно в последние дни царствования Эдуарда II, и в мрачные времена, которые доведется увидеть его сыну в эпоху правления Ричарда II, еще одного короля, обреченного умереть насильственной смертью, извечное прямодушие английского среднего сословия являло собой утешительное доказательство того, что не все старые добродетели рухнули.

Вскоре после своего возвращения с севера Джон Чосер стал частенько слышать на улицах и в винных лавках своего отчима разговоры о том, что армия Эдуарда наверняка одержала бы победу, если бы сэр Роджер Мортимер, подлинный властитель за тронном, не предал короля, «взяв с шотландцев деньги за то, чтобы дать им возможность тайно скрыться под покровом ночи...» Если Мортимер и впрямь поступил так, это было самое меньшее из его преступлений. Каждый мало-мальски осведомленный человек в Англии знал историю возвышения Мортимера, всю прискорбную летопись ошибок Эдуарда II, приведших Мортимера к власти. Поскольку эта история имеет косвенное отношение к судьбам Джона Гонта и самое прямое отношение к линии поведения Ричарда II в конце XIV века, что в свою очередь имело огромное значение для Джеффри Чосера, следует остановиться на ней более подробно. В той или иной версии эту историю, конечно же, отлично знал и молодой Джон Чосер. Бесчестность Мортимера так глубоко оскорбляла его чувство справедливости, что он, несмотря на риск, взял сторону слепого Генриха, графа Ланкастерского, попытавшегося силой оружия отстранить Мортимера от власти.

Во время правления Эдуарда II (1307—1327) король и многие из наиболее могущественных его баронов, в том числе и родовитые Мортимеры, обосновавшиеся среди уэльских вересковых болот, часто враждовали — как будут враждовать в конце столетия Ричард II и его вассалы-бароны, и притом отчасти по тем же самым причинам. Но имелись и различия: тогда как Ричарда глубоко интересовала идея и государственная практика монархии (Джеффри Чосер разделял его интерес и высказывался в своих произведениях на эту тему), Эдуард II видел во всем этом одну докучу. Как и его отец, Эдуард I,

* «Кентерберийские рассказы», с. 36.

он обладал атлетическим телосложением, большой физической силой и целым рядом более или менее привлекательных качеств. Эдуард II любил плавать, кататься на лодке, смотреть театральные представления, проводить время в компании менестрелей и простолюдинов (которым, по сообщениям враждебно настроенных летописцев, он рассказывал неприличные анекдоты), увлекался зодчеством и кораблестроением, по-видимому, писал стихи¹⁶ и, может быть, побуждаемый той самой религиозностью, которой будет придавать такое большое значение Ричард II, взял почитать из церкви Христа в Кентербери жития св. Ансельма и св. Фомы — и не вернул. Но при всех своих привлекательных чертах Эдуард II был слабым, бездарным политиком, человеком, который в силу своих гомосексуальных наклонностей всю жизнь фатально находился под влиянием того или иного обворожительного молодого человека.

Мэй Маккисак, говоря о несостоятельности Эдуарда II, подводит следующий итог:

«Мы можем даже пожалеть слабовольного принца, преемника знаменитого отца, к которому перешли не только административные проблемы, присущие средневековому государству, но также и такое тяжелое наследие, как враждебно настроенная Шотландия, финансовый хаос и чрезмерно могущественный кузен. Мы можем более снисходительно, чем хроникеры, отнестись к грубым вкусам Эдуарда, к предпочтению, отдаваемому им обществу простых людей, к его пристрастию к музыке и лицедейству. И тем не менее в основе такого критического отношения современников лежало здоровое инстинктивное убеждение, что второй король по имени Эдуард начисто лишен того достоинства и той возвышенной серьезности, какие предполагаются в короле. В сведениях, которыми мы располагаем, нет и намек на то, чтобы он когда-либо пытался быть на высоте положения или учиться на своих неудачах и ошибках. В своих отношениях и с друзьями, и с врагами он проявил себя тряпкой и глупцом. Неумелое ведение им шотландской войны и пренебрежение к интересам безопасности северных районов говорят об отсутствии у него не только полководческих талантов, но и воображения, энергии и здравого смысла. Что до реформ, преобразовавших его двор и казну, то их осуществили способные чиновники, а не ленивый и равнодушный король. В жизни Эдуарда не было благородной цели или высокой честолюбивой мечты. Он уронил престиж своей страны за гра-

ницей, а у себя на родине вверг монархию в самый серьезный кризис со времени 1066 года. В силу собственного безрассудства он отдал себя в руки своих жестоких врагов, и последствия его низложения ощущались еще долго после того, как ушло из жизни его поколение. Воспоминания об этом не давали спокойно спать его правнуку Ричарду II; подобный прецедент расчистил путь для участников переворота в 1399 году и широко открыл двери для династического конфликта и упадка средневековой монархии»¹⁷.

Вопреки мнению некоторых историков Эдуард II пользовался всеобщей любовью, когда, двадцатичетырехлетний, он только взшел на престол. Поразительно красивый, сильный, ловкий, отменно образованный принц вот уже несколько лет состоял в законном браке с Изабеллой, дочерью французского короля Филиппа IV, четыре раза участвовал под началом отца в походах на Шотландию и, как мог бы сказать Чосер, «себя вполне достойно он держал». Правда, будучи еще принцем — это случилось в последний год правления его отца, — он однажды повел себя глупо. Желая выказать особую любовь к своему фатоватому другу Пьеру Гейвстону, он стал упрашивать престарелого короля пожаловать Гейвстона именем из фонда королевских земель, предназначенных старым Эдуардом только для принца своего дома. Подобная угроза принципу неприкосновенности земель, принадлежащих короне, который ему с таким трудом удалось утвердить, вызвала у короля приступ гнева: он с яростными упреками прогнал сына с глаз долой и сослал его любимца, щедро обеспечив его средствами к существованию, чтобы показать, что он больше сердится на Эдуарда, чем на Гейвстона. Первое, что сделал Эдуард II после смерти старого короля, — это отомстил за полученный нагоняй. Он вернул из ссылки Гейвстона, и, хотя тот был гасконцем, к которому с презрением относилась местная знать как к младшему сыну нетитулованного рыцаря, Эдуард предоставил ему во владение богатейшее графство Корнуолл и договорился о его женитьбе не больше и не меньше как на племяннице короля Маргарите Клэр, сестре графа Глостерского.

Но это было только началом. В средние века утвердилось мнение о гомосексуалистах как о людях надменных, мстительных, попирающих приличия, безжалостных и подлых, таких, как выведенный Чосером продавец папских индульгенций. Гомосексуализм считался «внешним признаком разложения души», еретическим наруше-

нием первой заповеди бога: «плодитесь и размножайтесь». Может быть, под воздействием общего мнения карикатура оборачивалась реальным портретом, на что намекает Чосер в «Кентерберийских рассказах». Так или иначе, король до самой смерти выставлял напоказ свое пренебрежение к знати и к нуждам государственного управления, назначая и смещая должностных лиц не по политическим соображениям, а по собственной прихоти. Гейвстон подражал ему в этом, выказывая даже большее презрение, чем Эдуард, к тем, кто прежде стоял выше его. Могущественные бароны, обладатели собственных частных армий и гигантских поместий, такие, как Томас, граф Ланкастерский (старший брат Генриха, к которому перейдет его графский титул), ошеломленно тарасили глаза или тряслись от гнева при каждой новой выходке этого невесть что возомнившего о себе и лопающего от спеси французского пажа, который осмелился потребовать для себя права присутствовать, наряду со знатнейшими людьми королевства, на каждой королевской аудиенции.

Результат не заставил себя ждать: крупные феодалы, в том числе и члены королевской семьи, которые в отличие от короля заботились об интересах страны, начали, отчасти преднамеренно, забирать в свои руки бразды правления, присваивать себе едва ли не королевские прерогативы, узурпируя власть короля. Это не входило — возможно, даже в случае Мортимера — в их первоначальные планы. Агония борьбы короля и парламента в Англии XIV века усугубилась еще и тем обстоятельством, что почти каждый ее участник благоговейно относился к короне, с готовностью принимал абсолютную власть короля над жизнью и смертью подданных, страшился позора измены и ненавидел малейший намек на нее. Но, стоило ему только возникнуть, движение баронов за ограничение королевской власти, как правило, выходило из-под контроля, становилось неуправляемым.

Томас, граф Ланкастерский, отнюдь не первым посягнул на королевские прерогативы, но его фигура принадлежит к числу наиболее трагичных и значительных. Это был рассудительный, сдержанный человек, никогда не поступавший опрометчиво; на висках у него и по краям бороды уже пробивалась седина. После нескольких безуспешных попыток укротить зарвавшегося Гейвстона, который благодаря милостям короля сделался богатейшим паразитом в Англии и изгнание которого из страны по решению парламента оказалось неосуществимым делом

из-за монаршей прихоти, Ланкастер и прочие сочли себя вынужденными пойти на открытый конфликт. В прямое нарушение королевского указа Томас Ланкастер и другие графы явились в парламент в полном вооружении и предъявили Эдуарду перечень претензий. Существо их обвинений сводилось к тому, что по вине дурных советчиков — имелся в виду прежде всего Гейвстон — король оказался совершенно без средств и вынужден жить вымогательством, что деньги, выплаченные ему в виде налогов, растрочены попусту и что, потеряв Шотландию, он расчленил свое королевство. Они вырвали у него согласие на назначение «распорядителей», уполномоченных реорганизовать королевский двор и управление королевством. Результатом деятельности «распорядителей» явилось составление сорока одного ордонанса по разным вопросам, начиная от устранения плохих советников — в первую голову, разумеется, Гейвстона — и кончая устранением иностранцев вроде банкира короля итальянца Америго деи Фрескобальди с должностей сборщиков налогов.

Король был вне себя от негодования. Хотя он ничего не мог в тот момент поделать, у него имелось свое собственное мнение о том, что должна представлять собой королевская власть, и считал подобное вмешательство своих подданных в его личные дела возмутительным беззаконием. И в этом своем мнении он не был одинок. Многие магнаты сами сомневались в правомерности назначения «распорядителей» при помазаннике божьем, но король не дал им другого выбора.

Гейвстон опять недолго пробыл в изгнании. Когда «распорядителям» стало известно, что Гейвстон с королем разъезжают по северным графствам, набирая армию, они решили, что им ничего не остается, как поднять перчатку, брошенную королем. С одобрения королевы Изабеллы и под предлогом проведения турниров они созвали свои большие частные армии и приготовились к войне.

4 мая 1312 года (по-видимому, в год рождения Джона Чосера) Эдуард и Гейвстон, находившиеся в Ньюкасле, были предупреждены, что к городу подходит Томас Ланкастер с большим войском, и бежали. Спустившись на лодке вниз по Тайну до Тайнмута, король с Гейвстоном поспешили в сторону обнесенного стенами Йорка. Жители Ньюкасла не были намерены сражаться: город и замок сдались без боя. Ланкастер захватил королевских служителей, оружие, казну и коней и расположил свое войско таким образом, чтобы преградить путь

Гейвстону, если тот вернулся бы той же дорогой обратно. А в это время другие лорды — граф Пембрукский и граф Уореннский — бросились в погоню за королем и Гейвстоном, которые свернули теперь на северо-восток, к морю, в края легендарного Робина Гуда, настигли их под Скарборо и вскоре вынудили Гейвстона сдаться.

Граф Пембрукский, рыжеволосый поклонник рыцарских идеалов, подернутых золотистой дымкой далекого прошлого, был человеком мягким, умеренным и нерешительным, и посему, когда Гейвстон принялся упрашивать его остановиться передохнуть на пути к Уоллингфорду, собственному замку Гейвстона, где Пембрук собирался держать его под домашним арестом, он, поколебавшись, согласился и воспользовался остановкой, чтобы съездить в соседний Бэмптонский манор повидаться со своей графиней. Гейвстона он оставил на попечение слуг. В его отсутствие другой рыцарь, Гай Бошан Уорик, человек более современный, не приверженный старым идеалам рыцарственности, подоспел со своим отрядом к дому приходского священника, в котором Гейвстон расположился на ночлег, и со всех сторон окружил его. По сообщениям летописцев, Гейвстон, почуяв неладное, в страхе метался от окна к окну, но все пути к бегству были отрезаны. «Вставай и выходи, предатель, ты мой пленник!» — крикнул ему Уорик, и Гейвстон был вынужден набросить на себя что попало из одежды и спуститься по ступенькам крыльца. Половину неблизкой дороги до замка Уорика плачущий и причитающий Гейвстон должен был идти пешком, босой и с непокрытой головой, словно пойманный разбойник, а остаток пути ехать, как женщина, на кобыле.

Пембрук не на шутку встревожился. Стремясь спасти свое имя от бесчестья, а имущество — от конфискации, он обратился за помощью к графу Глостерскому, принадлежавшему к партии короля. Глостер поджал губы, нахмурил черные густые брови и отказался помочь. Тогда Пембрук попросил помощи у студентов и горожан Оксфорда: пусть они нападут на замок Уорика, умолял он, и вернут ему его пленника. Те выслушали его, опустив глаза долу, и в помощи тоже отказали. Тем временем Томас Ланкастер и его друзья приняли окончательное решение. Гейвстона переправили на территорию дома Ланкастеров, отвели его на гору Блэклоу-хилл, и там двое валлийцев из свиты Ланкастера обезглавили его. Ланкастер оставил у себя некогда красивую голову, а мальчишески стройное тело землистого цвета взвалили на

лестницу, которую четверо согнувшихся под ее тяжестью сапожников доставили графу Уорикскому, который благо-разумно отклонил это приношение.

Успех Ланкастера — достигнутый, правда, сомнительным с точки зрения законности путем — был велик, но не окончателен. Король нашел себе новых фаворитов, Хью Диспенсера-старшего и Хью Диспенсера-младшего. Сторонники умеренности в стане баронов, которые, подобно Пембруку, занимали половинчатые позиции, помешали осуществлению честолюбивого намерения Ланкастера ограничить власть короля и изменить систему правления в королевстве. В конце концов Ланкастер и его сторонники (бароны, чьи земли находились в северных и западных районах центральных графств Англии, и в том числе могущественный род Мортимеров, чей баронский титул восходил ко временам Вильгельма Завоевателя) были вынуждены во имя обеспечения сохранности своих имений войти в сношения с Шотландией. Как и Гейвстон, младший Хью Диспенсер нажил на благорасположении короля огромное состояние, хотя в отличие от Гейвстона он зарабатывал свое содержание не только тем, что развлекал короля: он реорганизовал хозяйство королевского двора и с помощью тщательно отобранных служителей внес больше порядка в сложные и запутанные дела короля, чем даже «распорядители» с их ордонансами. Но его близость к королю, беспощадность и алчность, точь-в-точь так же, как и в случае Гейвстона, вызвали зависть и страх у баронов, а ненасытная жадность, с которой он захватывал чужие земли — когда легально, а когда и силой оружия, — в конце концов вызвала такую бурю в стенах парламента, что было принято решение об изгнании из страны обоих Диспенсеров: и старшего, и младшего. Старший скрепя сердце подчинился этому решению и отбыл во Францию, а младший, выказывая свое презрение, занялся пиратством в проливе Ла-Манш, где грабил торговые суда с ведома и даже молчаливого согласия короля. Так же как и попытка изгнать Гейвстона, изгнание Диспенсеров оказалось неосуществимым на практике: не прошло и года, как Эдуард вернул обоих обратно.

Томас Ланкастер, сидя в просторном зале замка Понтефракт, предавался невеселым размышлениям. Хотя ему не было еще и сорока пяти лет, он выглядел много старше. Он отлично понимал, что оказался втянутым в движение, которое может быть истолковано как посягательство на королевскую власть. Его брат Ген-

рих, тремя годами моложе, был еще более опечален. Будущее определенно не сулило ничего хорошего. Добро и зло еще больше перемешались, чем во времена короля Альфреда — великую и теперь уже полулегендарную эпоху, в преданиях о которой все англичане, богатые и бедные, черпали свои принципы. Дом Ланкастеров ни разу не запятнал себя изменой и даже сейчас больше радел о благе королевства, чем любой другой графский дом в Англии, но вместе с тем Томас, граф Ланкастерский, носящий титул «стюард Англии», объединился с такими людьми, как дерзкий, беспринципный юнец Роджер Мортимер, и с извечными врагами Англии варварами-шотландцами.

Судя по всему, надежды на достижение компромисса с Лондоном больше не оставалось. Генрих Ланкастер с самого начала настаивал на примирении — принятии неприемлемого. Он и сейчас продолжал настаивать на этом. Но было слишком поздно. Прославленный турнирный боец и верный воин (его сын и наследник молодой Генрих великолепно проявит себя в этих качествах), Генрих Ланкастер был в обычной жизни человеком долготерпеливым, кротким, склонным к христианскому фатализму, который, будь это возможно, оставил бы безрассудство Эдуарда и национальные бедствия на волю божью. Но мог ли он оставить на волю божью своего брата Томаса?

Прислушавшись к настояниям брата Генриха — и к голосу собственной совести, — Томас Ланкастер избрал самую умеренную линию поведения, какая только была ему доступна. Ссылаясь на обязанность, которая якобы лежала на нем как на носителе наследственного титула стюарда Англии, но на которую ранее никто не претендовал, он совместно с Роджером Мортимером и другими крупными феодалами созывал «контрпарламенты», как именовали потом эти учреждения некоторые историки. Но в скором времени, после того как умеренные в парламенте лишили законной силы постановление об изгнании из страны Диспенсеров и те, вернувшись к власти, захватили земли, граничащие с владениями Ланкастера, Томас Ланкастер счел себя вынужденным прибегнуть к отчаянным мерам. Он созвал свое войско, чтобы решить вопрос военным путем. Эдуард незамедлительно отправился в поход на север, чтобы арестовать его. Мортимеры сдались Эдуарду без боя: слишком многие магнаты приняли сторону короля или заняли позицию невмешательства, а капитулировав, можно было рассчи-

тывать на королевскую снисходительность. «Отдать жизнь за принцип» — эти слова не были девизом сэра Роджера. Другие лорды из лагеря Ланкастера, видя, что могущественный Роджер Мортимер сдался, последовали его примеру. В конце концов, покинутый большинством своих союзников и оставшийся с жалкими остатками своей разбежавшейся армии, Ланкастер был взят в плен. Состоялся суд, являвшийся, по мнению некоторых историков, пародией на суд над Гейвстоном, приговоривший его к смерти; Ланкастеру зачитали выдвинутые против него обвинения, которые были объявлены «очевидными и общеизвестными» и, следовательно, не допускающими никаких оправданий со стороны подсудимого, и семеро принужденных к тому пэров признали его виновным и приговорили к смертной казни как изменника. Через несколько дней в тавернах и винных лавках по всей Англии обсуждали ледящую кровь новость: сэра Томаса Ланкастера, одного из крупнейших и наиболее любимых магнатов в стране, одетого во все черное, вывели из ворот тюрьмы верхом на тощей белой кляче без поводьев — эту унижительную сцену скорбно и беспомощно наблюдал его почти ослепший младший брат, опираясь на руку своего сына, Генриха-младшего, — и предали лютой казни.

Несмотря на то что во время казни над Ланкастером глумилась собравшаяся чернь — всякие подонки, готовые отправиться хоть на край света, чтобы поглазеть на казнь за измену: отсечение головы и четвертование, — Томас Ланкастер почти немедленно стал в глазах народа святым мучеником. Эдуард был вынужден выставить вооруженную охрану, чтобы не подпускать плачущие толпы к монастырю Понтефракт, где погребли останки Ланкастера. Вскоре на месте его казни была возведена часовня, построенная на пожертвования, собранные по всей Англии. Из опасения, как бы слепой Генрих или его двадцатидвухлетний сын не оказались средоточием опасного народного движения, у слепого Генриха незамедлительно отобрали большую часть его владений. Теперь алчность Диспенсеров стала расти не по дням, а по часам, и в скором времени оппозиция Эдуарду стала сильнее, чем когда бы то ни было. Причем теперь — а возможно, и с самого начала — душой оппозиции была чуть-чуть ненормальная француженка, красавица королева Изабелла.

Хотя она родила королю четверых детей, их брак с самого начала не был браком по любви. Эдуард

привез Изабеллу в Англию двенадцатилетней девочкой и вскоре обвенчался с ней. Когда Томас Ланкастер — приходившийся Изабелле дядей — отправился на север в погоню за Гейвстоном, он писал ей в тоне, позволяющем предположить, что она больше сочувствовала дяде, чем мужу. Она снова и снова вступалась за сторонников Томаса Ланкастера — и, в частности, за своего младшего дядю, подслеповатого Генриха Ланкастера, у которого после смерти Томаса отняли столько власти, что он, спасая честь своего дома, больше не мог оставаться умеренным.

Но в конце концов не кто иной, как Диспенсер-младший, вынудил Изабеллу раскрыть свои карты. Поговаривали — вероятно, не без основания, — что он с помощью интриг пытался добиться расторжения ее брака с Эдуардом; и вот в 1324 году под предлогом угрозы французского вторжения он наложил арест на ее имения. Королеве выплатили хорошую денежную компенсацию, но тем не менее ей был нанесен жестокий удар: в средние века деньги не могли заменить собой недвижимую собственность. Когда король, по опрометчивому совету Диспенсеров, послал Изабеллу в Париж, дабы при ее содействии установить взаимопонимание с ее братом, французским королем Карлом IV, она охотно отправилась туда и, оставшись во Франции, принялась плести заговор против собственного мужа. Здесь она встретила сорвиголовую сэром Роджером Мортимером, бежавшим из Тауэра. Он стал ее любовником и соучастником в заговоре. А вскоре благодаря еще одному промаху самонадеянных Диспенсеров к ним присоединился сын короля Эдуард, наследник престола. Он тут же стал главной фигурой заговора.

С помощью, полученной в Европе — не от Франции, а от Эно, Голландии и Зеландии, правитель которых, Вильгельм II, с готовностью предоставил военную поддержку в обмен на обещание женить Эдуарда III на его дочери Филиппе (юный Эдуард, как оказалось, был влюблен в нее), — Изабелла с Мортимером вторглись в Англию. Эдуард II повелел готовить к бою флот, но английские моряки, как сообщают хроники, отказались воевать из ненависти к Диспенсерам. Сухопутные силы Эдуарда II оказались не намного более боеспособными. Вскоре король был схвачен и после ряда предпринятых его друзьями попыток освободить его и вернуть ему трон был убит подручными Роджера Мортимера.

Что касается Диспенсеров, то сначала предали суду

Диспенсера-отца. Его осуждение представляло собой явную пародию на судилище над Томасом Ланкастером. Он предстал перед судом в составе нескольких крупных феодалов, в числе которых был и Генрих Ланкастер. Судебное обвинение против него, в частности, гласило: «Сэр Хью, суд лишает вас какого бы то ни было права на защиту, ибо вы сами добились принятия закона, согласно которому человека можно осудить, не предоставляя ему права ответить на обвинения, и этот закон теперь будет применен к вам и вашим сторонникам». Как и Томас Ланкастер, он был признан виновным «в силу общеизвестности» его преступлений. Через непродолжительное время точно таким же судом был осужден и его сын, Хью Диспенсер-младший.

Теперь править страной стали Изабелла с Мортимером, а негодующий Эдуард III играл при них роль марионетки. И, так же как Гейвстон и Диспенсеры до него, Роджер Мортимер проявил такую алчность и беспринципность, что скоро навлек на себя не менее сильную ненависть всех англичан, чем предыдущие королевские фавориты, всевозможные «дурные советники» короны. Подобно тому как Гейвстон, принимавший от короля щедрые дары, разорительные для казны, возбуждал ревнивые опасения у феодалов и подобно тому как Диспенсеры, захватывавшие всеми правдами и неправдами чужие земли, вызвали гнев магнатов, так теперь и Роджер Мортимер, законно и незаконно конфисковывавший чужое имущество и расточавший достояние короны, сделался всеобщим врагом. Теперь уже совсем слепой Ланкастер — «кроткий Генрих», как его называли когда-то, — скрытно собрал армию и выступил против Мортимера, но был разбит и объявлен вне закона вместе со всеми своими приверженцами, в числе которых был и Джон Чосер. Разорительному правлению Изабеллы и Мортимера положил конец сам молодой король, который, тайно заручившись поддержкой папы и ряда английских лордов (в том числе и своего кузена Генриха Ланкастера-младшего), арестовал и предал смерти Мортимера, а королеву заточил в одном из ее замков, где она и оставалась, теперь уже окончательно лишившаяся рассудка (и следовательно, не представлявшая опасности), до конца своей жизни.

В глазах всей страны Мортимер был достоин всяческого осуждения как главный виновник низложения и убийства Эдуарда II, как беззастенчивый грабитель, присваивавший королевские земли и прерогативы, как

авантюрист, состоявший в прелюбодейной любовной связи с королевой, и, наконец, как автор позорного Нортгемптонского мирного договора, который отдал шотландцам, не одержавшим ни одной победы, все, за что они сражались, дабы развязать себе руки и своекорыстно править страной от лица безумно влюбленной в него королевы, не страшась более за безопасность северных графств, где опустошительные набеги шотландцев восстановили жителей против Эдуарда II. В известном смысле оценка эта вполне справедлива, но она нуждается в некоторых пояснениях.

Тогда, в XIV веке, ни Эдуард II, ни его бароны не были в состоянии полностью осознать причины возникшего между ними разлада. Против Эдуарда II (а позднее против несравненно более популярного Эдуарда III и еще позднее против его злосчастливого внука Ричарда) снова и снова выдвигалось одно и то же обвинение, а именно что под влиянием дурных советников он разоряет королевство. Непомысленные траты Эдуарда II и его придворных фаворитов, бесконечные переезды из замка в замок, грандиозные и дорогостоящие турниры и прочие придворные развлечения — образ жизни, вынуждавший корону прибегать к законной и незаконной конфискации земли и к беспримерно высоким налогам, — щедрые пожалования землями, рента с которых могла бы, останься они собственностью короля, идти на содержание двора, придавали этому обвинению видимость правдоподобия. Но оно не затрагивало существа дела. При всей расточительности образа жизни Эдуарда II его реальные расходы являлись неизбежными расходами на содержание государственного аппарата, более громоздкого и сложного, чем когда бы то ни было ранее в истории Англии. Из-за беспорядка, в котором находились дела короля (Диспенсеры немало сделали, чтобы навести порядок в королевском хозяйстве), сам Эдуард II не имел ясного представления о том, каких денег стоит удовольствие быть королем в эпоху позднего средневековья. Ордонансы, навязанные Эдуарду II баронами, свидетельствуют о том, что бароны тоже недостаточно ясно представляли себе масштабы государственной деятельности, осуществляемой именем короля. Авторы ордонансов позаботились об устранении дурных советников и изгнании иностранных паразитов (каковыми считали их бароны), но не позаботились о надежных источниках поступления денежных средств в казну для содержания сотен чиновников, оружейников, кораблестроителей, зодчих и дипломатов (вместе с их

домашними и помощниками), которые требовались монархии, ведущей торговлю с заморскими странами и постоянно находящейся в состоянии войны или готовности отразить военную угрозу. Замена иностранцев на должностях сборщиков королевских пошлин англичанами означала только то, что отныне сливки станут снимать люди вроде Джона Чосера или чиновников, подотчетных надсмотрщику Джеффри Чосеру.

Иначе говоря, реальная проблема сводилась к необходимым расходам бюрократического государства. Гейвстон, как указывает профессор Маккисак, «не имел ни малейшего понятия о государственном управлении: дела королевского двора вершились в основном в соответствии с порядками, введенными в последние годы жизни Эдуарда I»¹⁸, когда и начались все эти неприятности. Короли эпохи позднего средневековья оказались в трудном финансовом положении, и это ставило их в зависимость не только от иностранных банкиров, но и от умелых администраторов — единственных людей, пытавшихся хоть с какой-нибудь надеждой на успех поддерживать платежеспособность короны. В результате создался тупик. Выход, предложенный Томасом Ланкастером (его план сорвался из-за противодействия фаворитов короля и отсутствия поддержки со стороны союзников-феодалов), состоял в том, чтобы сделать короля, по существу, марионеткой в руках баронского совета под председательством стюарда Англии, то бишь Томаса Ланкастера, и тех, кто унаследует его титул. Если бы Ланкастеру удалось осуществить свой план и установить по всей Англии порядки, сохранившиеся в его собственном домене, он и его сопративители-бароны, вероятно, не разрешили бы главной проблемы, но, во всяком случае, поняли бы, сколь огромны ее масштабы. Как лояльный подданный, Ланкастер не вынашивал честолюбивых замыслов ни лично руководить действиями короля, ни тем более отнять у него корону. Он лишь хотел навести порядок в финансах на благо королевства и попутно обеспечить неприкосновенность баронских богатств, которым, как он полагал, угрожала главным образом ненасытная алчность фаворитов короля. Поскольку его программе не суждено было осуществиться, исход борьбы теперь зависел от людей по большей части своекорыстных — противоборствующих приверженцев короля и мятежников.

Слов нет, королевские фавориты обладали поистине ненасытными аппетитами, но их алчность получает порой неправильное истолкование. Люди, подобные Диспенсе-

рам, не могли не понимать, что для того, чтобы выжить, им мало быть в фаворе у Эдуарда — для этого нужно иметь земли, ренты, собственное войско. Захватывая земли соседей, они навлекали на себя общий гнев, объектом которого рано или поздно все равно бы стали в силу своей неподотчетности и близости к королю. Поскольку Эдуард II упорно отказывался править — до последней возможности откладывал принятие каких-либо мер в связи с наводившими страх набегам шотландцев, не желал мирить ссорившихся феодалов, вмешиваться в их частные войны, — те, кто вершил дела королевства, должны были обезопасить себя всеми доступными им средствами, а тем, кого отстранили от кормила правления, ничего не оставалось, как либо потерять все, чем они владели, либо сокрушить фаворитов и заставить короля принять их условия. Когда феодалы выступали единодушно, добиться этого не составляло труда (хотя эмоционально это, может быть, давалось им и не так уж легко), ибо у каждого из них имелась своя армия и совместное выступление не рассматривалось его участниками как акт измены королю. Наоборот, они могли утверждать (и искренне так считать), что поднялись, чтобы избавить короля от пагубного влияния советников. Но феодалу, которому другие лорды отказали в поддержке и скорее позволили бы аннулировать его наследственные права, чем выступили бы в его защиту против власти короны, оставалось следовать лишь одному закону — спасению собственной жизни. Мортимер, менее разборчивый в средствах и более дерзко предприимчивый, чем Томас Ланкастер, спас свою жизнь, но выказал при этом столько циничного пренебрежения к закону и даже правилам приличия, нарушил столько запретов, в том числе и глубоко укоренившийся эмоциональный запрет царевубийства, что вызвал к себе отвращение со стороны всякого мало-мальски порядочного человека. Для молодого Эдуарда III, фанатично преданного рыцарскому кодексу чести и такого же честлюбивого, как его воитель-дед, само существование Мортимера было непереносимым оскорблением, и посему он покончил с ним.

Если рыцарство и вступило в период упадка, то молодой Эдуард ничего не знал об этом факте. Его ближайшими друзьями и советниками были такие рыцари без страха и упрека, как его кузен Генрих Ланкастер, сын слепого Генриха, молодой воин и турнирный боец с острым, живым умом, в обществе которого Эдуард любил проводить время и которого многие исследователи счи-

тают вероятным прототипом или частичным прототипом рыцаря, изображенного Чосером в «Кентерберийских рассказах». В зрелые годы он станет одним из самых грозных воинов Англии, но вместе с тем останется мягким, великодушным и способным к состраданию человеком, о котором, по-видимому, и впрямь можно было сказать:

Хотя был знатен, все ж он был умен,
А в обхожденье мягок, как девица;
И во всю жизнь (тут есть чему дивиться)
Он бранью уст своих не осквернял —
Как истый рыцарь, скромность соблюдал *.

При поддержке молодого Ланкастера и других лордов Эдуард III захватил принадлежащие ему по праву королевские прерогативы, женился на любимейшей ему принцессе и вовлек свою истощенную и деморализованную страну в войну. Вся Англия ликовала. В эпоху позднего средневековья война была средством обогащения — во всяком случае, так думалось дельцам вроде Джона Чосера, которые помогали создавать корпорации по предоставлению денежных ссуд, под большие проценты¹⁹, королю и баронам, гордо выезжавшим на бой, чтобы добыть богатый выкуп или самим выкупиться из плена за неслыханные суммы.

Конечно, все это оказалось ошибкой, как поймет потом Ричард II. Война вела не к обогащению, а к национальному банкротству, гибели идеала христоролюбивого рыцарства и дальнейшему ослаблению королевской власти. Король Ричард прекратит войны, которые Англия вела на многих фронтах, и начнет добиваться правильных отношений, какими он их представлял, «в браке, заключаемом между королем и государством»; бароны снова поднимутся на борьбу за свои наследственные привилегии, а Чосер будет раскрывать в своих поэтических произведениях, прибегая к той или иной форме иносказания, комизм и трагизм этого «любовного конфликта». Джефффри Чосер, как и его отец, как его близкий друг Джон Гонт или тесть Гонта младший Генрих Ланкастер, станет непоколебимо верным сторонником короля и будет серьезно верить в истинность слов, которые Шекспир вложит в уста своего тщеславного короля Ричарда:

Не смыть всем водам яростного моря
Святой елей с монаршьего чела **.

* «Кентерберийские рассказы», с. 35.

** Шекспир У. Полн. собр. соч. в 8-ми тт. М., «Искусство», 1957—1960, т. 3, с. 461. — Перев. М. Донского.

Вместе с тем Чосеру будут понятны чувства — и за- таенная угроза — жертв деспотизма, идет ли речь о союзе короля с государством или об обычной женитьбе, чувства, подобные тем, что высказывает стойкая в невзгодах батская ткачиха из «Кентерберийских рассказов»:

Чтоб горести женитьбы описать,
Мне на людей ссылаться не пристало:
Я их сама на опыте познала!

Но в 1340 году, когда английский король Эдуард III принял, на довольно сомнительных основаниях, титул «король Франции», ни последствия войны, ни последствия ослабления монархии не были очевидны. В том году английский флот нанес французам сокрушительное поражение у порта Слэйс. В том же году родились Джон Гонт и, вероятно, Джеффри Чосер. Как кружила в ту пору головы англичан национальная гордость, каким счастьем казалось быть англичанином!

А между тем в Индии и во всей Европе в том году был неурожай и голод. Во всем мире по непостижимой причине постепенно менялся климат: лили черные, с запахом гари дожди, зимы становились все более студеными, летом случались неслыханные, страшные засухи. На следующий год в Индии вспыхнет эпидемия чумы и начнет быстро распространяться к северу.

ГЛАВА 2

*Детство и юность Чосера. Школьная учеба.
Жизнь на острове колокольного звона и призраки
смерти (около 1340—1357)*

Ничего и говорить, что Джеффри Чосер появился на свет в мире, мало похожем на наш. Если бы нам с вами предложили выбрать, в какую эпоху жить — нынешнюю или ту, в которую жил Чосер, — мы, возможно чуточку поразмыслив, послали бы к чертям этот наш современный мир. Но, едва лишь перенесясь в мир Чосера, мы, наверное, возненавидели бы его всеми фибрами души, — возненавидели бы его мнения и обычаи, его предрассудки и суеверия, его жестокость и интеллектуальную неразвитость, а кое в чем и вполне очевидное безумие. Достаточно вспомнить всяческие леденящие кровь ужасы: публичные казни через повешение, обезглавливание, сожжение на костре, четвертование и публичные наказания вроде битья кнутом, выкалывания глаз и оскпления; заточение закованных в цепи узников в темных подземельях без всякой надежды на освобождение; «судебные поединки» и пытки (в ордонансах Эдуарда II дозволяется вздергивать человека на дыбу, рвать соски у прелюбодейки или многократно прижигать ей лоб каленым железом), — все эти ужасы были в тот век настолько распространенным явлением, что всякий имеющий глаза не мог их не видеть и всякий имеющий уши не мог не слышать воплей истязуемых. И хотя в Англии эти истязания получили все-таки гораздо меньшее распространение, чем во Франции, не говоря уже об Италии, где представители феодального рода Малатеста (что значит в переводе «дурная голова») ухитрились доверху заполнить глубокий колодец отрубленными головами своих жертв, это различие наверняка показалось бы человеку, явившемуся из нашего века, несущественным. Великий английский поэт кротости и милосердия каждый день ходил по улицам города, где облепленные мухами, исклеванные птицами трупы преступников, вздернутых на виселице, — мужчин, женщин и даже де-

тей — отбрасывали покачивающиеся тени на людное торжище внизу. Трупы повешенных за политические преступления обмазывали дегтем, чтобы они подольше не разлагались и приняли полную меру позора. Если Чосер, шагая по Лондонскому мосту и сочиняя в уме какую-нибудь затейливую балладу (при этом он загибал пальцы, чтобы не сбиться с размера), случайно поднимал глаза, он мог увидеть насаженные на шесты головы грешников, которых ревностные христиане поспешили отправить в ад на вечные муки. Мы с нашей современной чувствительностью, конечно, стали бы протестовать и, может быть, вмешиваться — чего Чосер не делал никогда, — и, глядишь, наши отрубленные головы повисли бы на шестах рядом с головами других нарушителей королевских и божеских установлений.

Сказать, что это был век очевидного безумия — во всяком случае, в некоторых отношениях, — значит просто констатировать факт, ничуть не преувеличивая: ведь в эпоху Чосера официальное вероучение предписывало шизофреническое, говоря современным языком, раздвоенные личности. Любые проявления насилия, агрессивности, своекорыстия и жестокости в повседневной жизни и деятельности сурово осуждались, но фактически их было больше чем достаточно. В глазах многих людей образцом добродетели был, о чем наглядно свидетельствует вся религиозно-назидательная литература и живопись, приниженного вида святой, который приподнимает безжизненные руки, выражая беспомощность и самоотрешенную готовность принять любой удар судьбы, или соединяет в робкой молитвенной позе кончики пальцев, возведя тусклые очи к небу. (Надо полагать, подобные позы были более популярны у художников, служивших церкви, чем на улицах Лондона.) И вместе с тем это был век крестовых походов, сожжений еврейских гетто (в странах вроде Германии, откуда еще не изгнали евреев), «судебных убийств» и узаконенного избиения жен (законом дозволялось отколотить жену до потери сознания, но воспрещалось продолжать бить ее после того, как недвижимое ее тело начнет отделять газы, ибо это могло быть признаком предсмертной агонии). Если сделать исключение для наиболее культурных дворов феодальной знати и таких центров свободной мысли, как Оксфорд, это был век женоненавистничества, когда женщин с настойчивым упорством и постоянством объявляли источником и олицетворением всяческой людской скверны, и одновременно это был век культа девы Марии и ры-

царской любви — двух систем взглядов (выражаясь современным языком), религиозной и светской, которая возводила женщин в перл создания. Эти глубокие и, с нашей точки зрения, психологически непереносимые парадоксы видны не только нам, оглядывающимся назад во всеоружии современного знания, — они были замечены и отображены лучшими поэтами того времени. Такие великие поэты, как Данте и Чосер, анализировали эти конфликты — различными методами и с различной степенью проникновения в их суть — и добивались, сознательно или неосознанно, постепенного смягчения жесткой позиции официального вероучения. Современный поборник гуманности, очутись он на их месте, наверно, в страхе отступил бы перед трудностями.

Да и в мелочах средневековая действительность причиняла бы нам — во всяком случае, на первых порах — немало беспокойства. Взять хотя бы эту раздражающую привычку Чосера (или любого другого образованного человека) всегда читать только вслух, «лаять над книгами» — как выразился один драматург, живший в XV веке. А как шокировали бы нас — тут уж дело серьезней — манеры благовоспитанных людей XIV века! Ели они руками, лишь изредка прибегая к помощи ножа или суповой ложки, и даже у придворных дам пальчики не были безукоризненно чистыми. Руки перед едой мыли, но чаще всего холодной водой без мыла; теплая вода и мыло не были такими легкодоступными благами, как сейчас, и во избежание лишних хлопот к ним прибегали лишь в особых случаях. А поскольку мясо к ужину обычно подавалось в тушеном виде — по причине отсутствия в тот век холодильной техники и вытекающей из этого необходимости отбить острыми приправами и пряностями несвежий привкус и душок (только после охоты да по большим праздникам удавалось полакомиться жареным мясом), — трудно было поужинать и не перепачкаться, даже если кушать со светским апломбом чосеровской аббатисы, чуть окунавшей пальчики в подливку (Чосер мягко подсмеивается над ней как над слишком большой чистюлей). Согласно рекомендациям средневековых учебников хороших манер, человеку, ощутившему необходимость прочистить нос, следовало высморкаться в собственную одежду: в изнанку юбки или, например, в обшлаг рукава. Когда Ричард II ввел при дворе носовой платок, его враги расценили это как новое свидетельство его недопустимой эстетской изнеженности. Почему носовой платок предпочтительней юбки или рука-

ва — ответить на этот вопрос мог разве что философ-схоласт; не все ли равно, в конце концов, какое *auditorial vestimentum* — укромное местечко одежды — предназначить для слизистых выделений? Тем не менее пришелец из XX века, возможно, был бы скандализован, доведись ему оказаться в обществе страдающей насморком сероглазой королевы Гиневры или даже воспетой Чосером «прекрасной Белой дамы» — красавицы Бланш Ричмонд, внучки слепого Генриха. Впрочем, спешу оговориться: человек, явившийся из нашего времени и наделенный хоть каплей благоразумия, быстро пересилил бы свою брезгливость. Все дело в привычке. «В любом краю царит обычай свой, — писал Чосер. — Каких манер ни встретим мы с тобой, / Когда паломниками в Рим пойдём». И все же...

К тому же современный человек, наверное, страдал бы от всяческих неудобств в быту. Застекленными окнами могли похвастать только дома богачей, такие, как дом Джона Чосера на Темз-стрит и, уж конечно, Са-вой — дворец Джона Гонта, украшенный цветными витражами. На ночь все окна — и с грубыми, плохо пропускающими свет стеклами, и затянутые пергаментом, и пустые, без стекол и пергамента, окна домов бедняков — наглухо закрывали деревянными ставнями. (Что создавало, наверное, особый уют, которого нет у нас.) Стульев в домах не было — только скамьи да сундуки с подушками — сиденья для дам или пожилых подагриков. Перед едой слуги вносили козлы и столешницы. Даже в большом доме виноторговца человеку негде было побыть одному. В отличие от жилища бедняка в одну-две комнаты, где в тесноте ютились его чада и домочадцы вместе с курами, свиньями, гусями, кошками и мышами, дом виноторговца насчитывал немало комнат, но ни одна из них не предназначалась для личного пользования, ни в одной нельзя было уединиться. Дом, в котором жил отец Чосера, должно быть, представлял собой больших размеров здание, окруженное высокой каменной оградой и садиками, в которых росло по несколько фруктовых деревьев; его черепичная крыша круто поднималась вверх, а застекленные окна второго и третьего этажей (стекла крепились к рамам свинцовыми полосками) фонарем выдавались вперед. Вокруг дома стояли различные надворные постройки, и в том числе свинарник (скотина и птица, которую держали горожане, постоянно причиняла хлопоты городским властям, которые принимали постановление за постановлением, воспрещавшие

обывателям оставлять на улицах без присмотра лошадей, свиней и гусей), а внутри дома был целый лабиринт коридоров, темных сводчатых переходов, лестниц. Над массивными воротами, выходящими на Темз-стрит, высилась надвратная башня угольного склада, под сенью которой лепились к ограде жалкие лачуги арендаторов. Каких только помещений не было в таком доме! Пирожня, или пекарня, сообщающаяся с кухней, которая при-мыкала к просторному залу в центре дома; сводчатый подвал — кладовая для мяса и других продуктов, винный погреб над ним и буфетная еще выше, соединенные лестницей; большая горница рядом с центральным залом со множеством клетушек вокруг; молельня; может быть, даже уборная; ну и, кроме того, гардеробная со шкафами; закуток, где просеивали муку; комнаты третьего этажа под крышей; всевозможные чуланы, каморы и клетки для хранения вещей, стирки, сушки и т. д. и т. п. Но все эти многочисленные и разнообразные комнаты, до странности маленькие на наш современный взгляд, предназначались для домашней работы, а отнюдь не для того, чтобы человек мог побыть наедине с собой. Для жилья использовались только большая горница и зал, служивший по совместительству столовой¹. Спали обычно вповалку по нескольку человек в кровати, чаще всего догола разде-тые, но нередко в длинных ночных рубахах из плотной материи и в ночных колпаках. (Ночные рубашки и колпаки фигурируют во многих средневековых завещаниях.) Хотя нашему современнику вряд ли понравилось бы обыкновение спать в одной кровати вместе с несколь-кими другими людьми, в средние века не находили в этом ничего зазорного; даже знатным лицам — служителям короля — ордонансы Эдуарда предписывали занимать одну кровать на двоих. А впрочем, не слишком ли дорого платим мы за возможность жить в уединении? Одиночество, тоска, отчужденность — эти столь распро-страненные болезни нашего века были редкими гостями в позднем средневековье.

Страдали бы мы с вами и от других бытовых неудобств. Даже в хорошем английском доме средневековой по-стройки несло холодом и сыростью от стен. Как правило, единственным украшением на голых стенах были полки с блюдами да кружками, хотя двери в домах побогаче украшали резные фигуры, а вышивки на подушках, покрывалах и занавесах представляли из себя настоящие кар-тины: то яркие цветы, то изящные распятия, то изобра-жения мученической смерти какого-нибудь святого. Самые

богатые дома могли похвастать такой роскошью, как ковры и шпалеры на стенах; иногда шпалерами бывали завешаны все стены зала. Что и говорить, это было необычайно благоприятное время для расцвета искусств.

Нисколько не преувеличивал Уильям Моррис, когда писал в 1893 году («Готическая архитектура»): «В каждой деревне — свои художники, свои резчики, свои актеры... Немногие предметы домашнего обихода, которые уцелели среди обломков той эпохи, — подлинное чудо красоты; декоративные ткани и вышивки достойны ее лучших произведений зодчества; картины и прекрасно изготовленные книги одни могли бы ознаменовать собой великий период в истории искусства». Однако на полу под ногами тех белорудых дам в длинных платьях и высоких шляпках лежал не ковер, а слой несвежей соломы или тростника вперемешку с собачьим дерьмом. Дерек Бруэр, автор книги о Чосере и его времени, напомнив нам высказывания Эразма по поводу грязи на полах, сделанные более чем через столетие после эпохи Чосера, выражает мнение, что в XIV веке полы, вероятно, были еще грязнее. Пожалуй, оба они, и Бруэр и Эразм, сгущают краски или, во всяком случае, применяют в отношении позднего средневековья такой критерий чистоты, который, вероятно, поразил бы средневекового джентльмена как чрезмерно строгий, а то и просто диковинный; тем не менее здесь уместно будет процитировать высказывание Эразма в кратком изложении Бруэра и с его комментариями:

«Полы, чаще всего глинобитные, покрывают слоем кровельной соломы, которую никогда не меняют, довольствуясь тем, что иногда настилают поверху немного свежей. Так и пролежит эта подстилка лет двадцать, укрывая и согревая чьи-то плевки, рвоту, мочу, пролитое пиво, рыбы кости и головы, не говоря уже о прочих неудобнопроизводимых нечистотах. Это описание относится к залу, служившему столовой, но и в других комнатах, наверное, было немногим чище. Не потому ли, даже столетия спустя, слуга Джона Рассела, помогая хозяину одеваться в его спальне, должен был подстилать ему под ноги коврик? И не затем ли Чосер сообщает нам про каменный пол в покоях Хризейды, чтобы подчеркнуть их роскошь? Когда рыцаря облачали в доспехи — в «Сэре Гавейне» красочно описана эта сцена, — на пол стелили богатое покрывало, на которое становился рыцарь и клались латы, иначе к ним, очищенным от ржав-

чины, до блеска отполированным и смазанным маслом, налипла бы с пола всяческая грязь»².

Англичане, жившие в 1340 году, не были такими уж дикарями. Их ужасало нецивилизованное поведение их врагов — шотландцев — на войне: те без предупреждения нападали на замки и деревни, сплошь и рядом истребляя на своем пути все живое, вплоть до кошек и собак (религия, замененная христианством, как оказалось, не умерла: это она, предостерегая от оборотней, побуждала участников набегов с опаской относиться даже к какой-нибудь английской овчарке). Не менее ужасало англичан и варварство собственных союзников — валлийцев, которые, как и их кельтские сородичи — шотландцы, бросались в бой полуголые, с натертыми жиром лоснящимися торсами и с таким дьявольским удовольствием отрубали врагам головы. Так как англичане были убеждены, что кельты испокон веков питают пристрастие к усекновению голов, то всякий раз, когда английской знати требовалась чья-нибудь голова (например, Гейвстона), посылали за валлийцами, которым и поручали эту неприятную работу. Однако же, когда в результате воцарившейся при Эдуарде II анархии, войны и голода среди крестьян как кельтского, так и англосаксонского происхождения получили распространение случаи людоедства, все население Британских островов, как и подобает цивилизованным людям, было глубоко шокировано.

Разумеется, в таких развитых, культурных городах, как Лондон, этические нормы были выше, чем в других местах. Заботы о поддержании общественного порядка сосредоточивались здесь преимущественно в руках гильдий, и надувать людей — коль скоро надувательство обнаружилось — тут не позволяли. Торговца углем, обмеривавшего покупателей, пирожника, продававшего пироги с требухой по цене мясных, рыбника, который, божась, выдавал тухлую рыбу за свежую, могли выставить к позорному столбу, а его несвежий товар сжечь у него перед носом. Строгие законы запрещали загрязнять дороги и водные пути (хотя далеко не всегда эти запреты соблюдались) и грозили штрафом, тюремным заключением или более суровым наказанием всем нарушителям общественного порядка, начиная от вора-карманника и кончая джентльменом, занимающимся грабежом на большой дороге, и трактирщиком, украсившим свое заведение такой большой вывеской, что она стала помехой уличному движению.

Но, несмотря на всю предусмотрительность англий-

ского закона, несмотря на все благомыслие английских горожан — членов гильдий (которые, пытаясь поддерживать высокие стандарты качества, в конечном счете защищали свои же собственные интересы), нормой христианского мира средневековья оставались плутовство и насилие. Чем более жестоким было наказание, тем больше изобретательности проявляли мошенники. Чосер, Ленгленд, монах Джон Лидгейт — в сущности, большинство лучших поэтов Англии — поведали нам о хитроумии и цинизме общественных паразитов и о бессильной ярости разоренных ими честных людей. Джон Гауэр в своей поэме «Зерцало размышляющего», написанной по-французски, дал красочное описание жуликов-купецов:

«Живет в наше время один купец, чье имя стало нарицательным; зовут его Ловкач, и это впрямь прирожденный мошенник. Ни на Западе, ни на Востоке не найдется такого города, где бы Ловкач не наживал богатств бесчестным путем. Ловкач в Бордо, Ловкач в Севилье, Ловкач в Париже бойко покупает и продает... В торговле шелками и бархатом хитрец Ловкач тоже пускается на всякие плутовские уловки... Птицы такого полета всегда крикливы, и наш Ловкач горластей любой пустельги: едва он завидит незнакомцев, как вцепляется им в рукав и давай тянуть к себе, зазывно тараторя: «Заходите, заходите, не сомневайтесь! Простыни, шали и страусовые перья, туфли, атлас и заморские ткани — заходите, я вам все покажу. Что вы хотите купить? Заходите и покупайте, вам незачем идти дальше, потому что на всей улице не найти товара лучше...» Иной раз Ловкач бывает суконщиком... Люди говорят (и я верю им), что тот, у кого душа черна, ненавидит свет и предпочитает потемки — вот почему, видя суконщика, сбывающего свой товар, я думаю, что совесть у него нечиста. Темно у подслеповатого окошка, возле которого он показывает свои сукна, так что тут синего от зеленого не отличишь; темны его уловки, и нужно держать ухо востро, когда он назначает цену. Этот темный плут сдерет с тебя за свой товар втридорога да еще поклянется, что по дружбе уступает его себе в убыток, лишь бы ты и впредь у него покупал, но измерь потом купленное сукно да приценись к сукнам на рынке — и ты поймешь, как тебя надули...»³.

Все поэты, равно как и сохранившиеся судебные протоколы, говорят о темных делах, которые творились в мрачных и душных вертепах, где показывали свое искусство фокусники-заклинатели и дурачили людей алхи-

мики; рассказывают об опасностях, которые подстерегали после вечернего звона — сигнала тушить огни — прохожего в темных переулках и даже на главных улицах, где людей убивали по пустячному поводу, а то и без повода, закалывали кинжалами, топтали копытами коней, оглушивали дубинкой с железным наконечником или дверным засовом, повздорив из-за десятка яблок (как записано в одном судебном деле), или избивали и грабили ночные бражники в масках животных. Эти улочки, освещаемые разве что колеблющимся светом факела за воротами, запертыми на железный засов, были темными в прямом и в переносном смысле. Ночной порой по ним бродили призраки, в чем не сомневался ни один простолюдин (хотя люди образованные высмеивали это суеверие), и кралась за добычей черти в людском обличье.

Впрочем, после вечернего звона без крайней необходимости никто и не выходил на улицу: это запрещалось законом. Если же не считать призраков, преступников да нескольких безобидных озорников — прославившихся своими выходками «кузнецов», которым доставляло удовольствие будить соседей адской музыкой: шипением пара и звяканьем железа о железо (эти выходки стали темой одной известной поэмы, написанной на среднеанглийском языке), — люди ложились спать вскоре после захода солнца (свечи были дороги) и ставали с петухами. Петухи пели во всех концах Лондона. Разбуженные звонари принимались звонить в колокола. А лондонское утро (если, конечно, человек свыкся со зрелищем позорных столбов, виселиц и гниющих голов с выклеванными глазами) — лондонское утро было прекрасно.

В Англии было столько колоколов, что иностранцы называли ее «Островом колокольного звона». Распространились колокола по всей Англии еще в давние англосаксонские времена. Колокольным звоном созывали верующих на молитву в часы церковных служб (таких «часов» было семь: заутреня, обедня и т. д.). Однако собственно часы и обычай измерять время появились в Англии только к началу XIV века. (Первые в Европе часы с боем были созданы, по-видимому, около 1290 года.) В том районе, где стоял дом Джона Чосера на Темз-стрит и где, по всей вероятности, родился Джеффри Чосер, имелось по меньшей мере тридцать девять приходских церквей, а над всеми ними возвышался тогдаш-

ний собор св. Павла с величественно устремленным к небу золоченым деревянным шпилем, высочайшим в мире. С его колокольни лился густой, басовитый звон, перекрывавший голоса колоколов других церквей. Утром перезвон лондонских колоколов казался бесконечным; иной раз он приобретал характер ликующей мелодии, которую можно до сих пор услышать, когда звонари на звонницах Йорка вызванивают благовест. Просто нельзя было не проснуться под этот трезвон, и посему все лондонцы на заре поднимались с постелей, отпирали и распахивали окна, справляли малую нужду, набирали воду, кормили собак, кур, обретавшихся в курятнике под лестницей, гусей и свиней на задворках, разжигали древесный уголь в мрачного вида маленьких очагах — или в больших «трубах» (каминах), если дом, как у Джона Чосера, был большой. Начинался долгий, наполненный трудами день — рабочий день у богача длился тогда часов девять-десять, а у бедняка — тремя или четырьмя часами дольше.

Таким был мир, в котором летом или зимой, весной или осенью появился на свет Чосер. Произошло это предположительно в 1340 году. В том же году у короля родился четвертый сын, Джон Гонт. Принц родился во дворце. Вокруг суетились врачи, придворные, члены королевской семьи, родственники его матери, королевы Филиппы. Что до Чосера, который по сравнению с Гонтом был безвестным человеком невысокого звания, то никто не может с точностью назвать дату и место его рождения. Вероятнее всего, он родился в Лондоне. Утром слуги Джона Чосера вышли с заспанными лицами из дому, чтобы принести дров или соломы — подновить подстилку полов в гостиной, в винном погребе, в спальнях-горницах второго этажа и в неудобных, с низким, скошенным потолком комнатах первого этажа, где по одну сторону от лестницы помещались слуги, а по другую были расположены курятник и уборная, — и, повстречав слуг из соседнего дома, поделились с ними последней новостью: у Чосеров родился сын.

Роды были трудными, повивальные бабки до утра не знали покоя; опасались уже, что им придется трясти роженицу в одеяле, чтобы вызвать родовые схватки (или, наоборот, роды были легкие — роженица разрешилась в послеобеденный час, а повивальные бабки в монашеском одеянии стояли, светясь улыбками и дую на озябшие пальцы; а может быть, они и вовсе не пришли, перепутав адрес, и дело обошлось без них). Как бы то ни

было, Джеффри Чосер появился на свет. Его старший брат Джон, сын Эгнис Чосер от ее первого брака, наверно, был взволнован и горд, а может статься, тайно ужасался: вдруг его никто теперь не будет любить?

Темные ночи сменялись заполненными звоном днями. Малыш Джеффри начал понимать, что в мире все повторяется: сегодняшнее утро будет таким же, как все другие. («Возблагодарим за это господа!» — говорила его мать.) Его уши научились различать звуки: грустное, призрачное гудение рожков из морской раковины на торговых судах; плеск воды; четкое, резкое эхо, долетающее со стороны каменных верфей. Его нос научился различать запахи: смешной запах старшего брата; свирепые, немного пугающие звериные запахи отца и дяди Тома; запах матери, такой же свежий, нежный и прекрасный, как аромат лугов. И снова он засыпал. И вновь просыпался от петушиного крика, колокольного звона, первых лучей солнца, проникавших в комнату через распахнутые окна. (Рассвет стал к тому времени одним из важнейших церковных символов: картина, изображающая воскресшего Христа в окружении невест христовых на фоне восходящего солнца, висела на видном месте в каждом соборе; Чосер не без лукавства поместил на этом фоне петуха Шантеклера и его кур.) Вот открылись городские ворота, находившиеся неподалеку от дома, и в комнату, где спал ребенок, ворвались новые звуки: топот лошадиных копыт в тяжелых железных подковах; громоуханье тележных колес, то сплошь деревянных, то с железными ободьями; визг собаки, получившей пинок (в XIV веке собак было больше чем нужно); музыкальные крики бесчисленных лондонских уличных торговцев: «Кому горячего гороха?», «Спелая земляника!», «А вот парижские нитки, господа, тоньше не бывает!», «Макрель!», «Тростничку зеленого!», «Бараньи ножки, с пылу с жару!», «Горшки оловянные!». Будущий поэт, туго спеленутый и привязанный к своей колыбели, как ребенок североамериканских индейцев — к доске (судя по сохранившимся картинам, в ту эпоху холодных домов и рышущих повсюду чертей так связывали всех английских младенцев), открыл глаза, улыбнулся пылинкам, пляшущим в луче солнечного света, хотя он не мог пальцем пошевелить, чтобы поймать их, потом, мокрый и голодный, он перестал улыбаться и заорал, взывая о помощи.

В чем-то детство одинаково во все эпохи, в чем-то — различно. Средневековых детей, как известно, долго кор-

мили грудью и отнимали от груди лет пяти, а то и позже. Многие умирали в младенческом возрасте, а уцелевших детей, судя по намекам, рассеянным в стихах и пьесах, так любили и так дорожили ими, что чадолюбие современных родителей, души не чающих в своих отпрысках, показалось бы холодным и равнодушным. В доме Чосера маленького Джеффри тотчас же препоручили заботам кормилицы, добродетельной женщины, которой (если все пойдет так, как было заведено в домах средневековых купцов) предстояло стать ближайшим — может быть, за исключением брата — другом ребенка и его постоянной спутницей в течение последующих нескольких лет. Она исполняла каждый его каприз — по современному представлению, баловала и портила ребенка. Современник Чосера Бартоломей-англичанин, рассуждая об идеальной кормилице, говорит:

«Она ему как мать... радуется, если дитя радо, и грустит, если дитя опечалено; она поднимает ребенка, если тот упадет, и дает ему грудь, если младенец расплачется; она целует и баюкает его, пока тот не успокоится; она расправляет его руки и ноги и пеленает его, очищает и обмывает, когда он обмарается. Для того чтобы легче обучить бессловесное дитя говорить, кормилица лепечет и повторяет ему одни и те же слова... Она разжевывает у себя во рту мясо, чтобы его можно было дать младенцу, лишенному зубов... Таким образом, она кормит младенца, когда он проголодается; убаюкивает его и поет ему колыбельную, когда ему следует спать; пеленает его в свежее белье; распрямляет и вытягивает его члены и обвязывает их, дабы ребенок не вырос криворуким или кривоногим, матерчатыми лентами. Она купает дитя и смазывает его хорошими притираниями»⁴.

В отличие от современных англичан, какими они рисуются нам в наших стереотипных представлениях, средневековые англичане не были спокойными, рассудительными людьми — они были так же темпераментны, страстны, вспыльчивы и несдержанны в гневе, как, скажем, современные итальянцы в наших стереотипных представлениях. Здороваясь, они крепко обнимались и целовались, как современные французы; в ответ на оскорбление, не раздумывая, хватались за кинжалы. Однажды младший Генрих Ланкастер в порыве раздражения настолько забылся, что поднял меч на самого короля. Этот проступок был оставлен без последствий: так мало внимания придавали тогда подобным вещам. Средневековые англичане щедро и открыто изливали любовь на своих детей,

которых они старались по мере возможности повсюду брать с собой — особенно в церковь, на ярмарки, на гулянья по церковным праздникам (которые бывали чуть ли не каждую неделю), на конские торги по пятницам. В праздничные дни, когда вся Англия прекращала работу, в Лондоне и его предместьях царило возбуждение: затевались игры. Шумные, сплошь и рядом опасные, они нередко кончались общественными беспорядками. Даже теннис и шахматы, эти благородные игры, были запрещены в черте Лондона (запрет этот, правда, частенько нарушался). Теннис — тогда играли в «настоящий», или «королевский», теннис, игру стремительную и жестокую, — оказался под запретом, потому что регулярно приводил к беспорядкам и бесчинствам, а шахматы запретили как азартную игру, приводящую к убийствам.

Что до девичьих игр, то в произведениях поэзии и морализаторских религиозных писаниях упоминаются только танцы до восхода луны, но обычно под танцами подразумевают хороводы, восходящие еще к языческим временам и сохранившиеся в народной традиции до нашего времени. Девушки постарше водили хороводы с юношами, в особенности с молодыми причетниками (если верить свидетельству народной поэзии); они имели обыкновение обронить шарф или перчатку, и кавалеру надлежало вернуть этот предмет туалета ночной порой через окошко спальни, что весьма способствовало умножению народонаселения. В игры с мячом играли все, от мала до велика. Летом мальчики постарше состязались в стрельбе из лука, беге, прыжках, борьбе, толкании ядра, метании камней и фехтовании на мечах. Зимой, по словам одного старинного английского автора, мальчики вроде Джона и Джеффри предавались играм на льду: «...одни, разбежавшись изо всех сил, быстро катятся на ногах; другие мастерят себе ледяные сиденья величиною с жернов; один садится, а многие, взявшись за руки, везут его, и когда кто-нибудь вдруг упадет, падают все. Некоторые, привязав к ступням и пяткам кости и отталкиваясь остроконечной палкой, скользят по льду с быстротой полета птицы или стрелы, выпущенной из арбалета. Иной раз двое бегущих с палками сталкиваются и падают, один или оба, и получают увечья: один ломает руку, другой — ногу, но юность, жаждущая славы, упражняет себя таким образом, готовясь к испытаниям военного времени»⁵.

Сломать руку или ногу в средневековой Англии было серьезным несчастьем. Смертью это не грозило,

но ребенок мог на всю жизнь остаться калекой. И тем не менее родители выезжали посмотреть на игры своих детей, подбадривали их азартными криками и зачастую сами вступали в игру.

Хотя в доме, подобном дому Джона Чосера, ребенка в младенческом возрасте всячески баловали, подрастая, он узнавал, почему фунт лиха. Дело в том, что, как бы горячо ни проявляли свою любовь к нему родители, старший брат и слуги, приставленные смотреть за ним, официально считалось, что ребенок, вышедший из младенческого возраста, — существо дурное, что-то вроде дикого зверя, наделенного сообразительностью, и в него следует розгами вбивать человеческие качества, пороть и бранить его, пока животное начало, это пристанище дьявола, не будет подавлено и укрощено, а высшие его способности не получат верного и благочестивого направления. Познакомимся с замечаниями Бартоломея-англичанина о детях в возрасте от семи до четырнадцати лет, то есть со времени, когда они уже «отняты от груди и понимают, что хорошо и что плохо», и до времени, когда их практически начинают считать взрослыми. Итак, дети в том возрасте, по словам Бартоломея, отличаются «...мягкостью, гибкостью и подвижностью тела, живостью и легкостью движений и достаточно развитым умом, чтобы учиться; однако они живут без мыслей и забот, стремясь лишь к забавам и удовольствиям, и из всех опасностей на свете больше всего страшатся порки розгами. Яблоко они предпочтут золоту... Их нетрудно рассердить и нетрудно обрадовать; они легко прощают обиды. Из-за того, что тело их не окрепло, они подвержены физическим повреждениям, чувствительны к боли и не выдерживают тяжелой работы... Так как их организм сильно разогревается, они постоянно хотят есть и допускают в еде и питье излишества, отчего часто и многократно страдают всяческими болезнями и хворями...

Поскольку все дети обладают дурными манерами и помышляют о сиюминутном, а не о том, что будет, они любят игры, забавы и всяческую суету и пренебрегают учебой и пользой; тому, что наиболее ценно, они придают наименьшее значение, а тому, что наименее ценно, — наибольшее. Они желают того, что для них вредно и пагубно, и детские понятия считают более важными, чем взрослые; они больше горюют, плачут и печалются, когда их лишают яблока, нежели чем когда их лишают наследства. Добра, которое им делают, они не

помнят. Какую бы вещь они ни увидели, тотчас же захотят ее иметь и начинают просить и умолять жалобным голосом и тянут к ней руки. Они любят говорить и советоваться с такими же детьми, как они, а общества взрослых избегают. Они не умеют держать язык за зубами и рассказывают обо всем, что увидят и услышат. Неожиданно раздражаются они смехом и неожиданно заливаются слезами. Вечно они кричат, спорят, насмешничают или хвастают и даже во сне не знают покоя. Стоит отмыть их от грязи, как они тут же снова вымажутся. Когда мать моет и причесывает их, они брыкаются, отбиваются руками и ногами и сопротивляются изо всех сил. Потому как помышляют они только об удовольствиях телесных»⁶.

О том, что это высказывание отражало лишь официальную точку зрения, а не обязательно то, что на самом деле думала жена каждого лондонского виноторговца, достаточно красноречиво говорит наставительно-религиозный тон многих речений Бартоломея («телесные удовольствия», например, заимствованы у св. Павла, а его противопоставление «яблока» «золоту» традиционны для комментаторов писаний святых отцов). Более того, постоянные обращения представителей власти, священников и старых ворчунов-рифмоплетов к родителям с советом не жалеть розог служат в наших глазах неопровержимым доказательством того, что многие родители как раз не слишком налегали на розги. Как бы то ни было, мы не располагаем никакими сведениями о домашнем воспитании Чосера. Ученому биографу это, возможно, свяжет руки, но у писателя, знакомого с лукавым озорством Чосера — зрелого поэта и помнящего почти наверняка достоверный случай, когда Чосер в бытность свою студентом отколотил монаха, не может быть ни малейшего сомнения, что Чосер, подобно Лидгейту и Фруассару, достиг набожности, кротости и учености, которые отличали его во взрослом возрасте, не без помощи розог.

Нет у нас сведений и о том, рассказывали ли юному Чосеру родители и слуги какие-нибудь истории, но, должно быть, рассказывали. То была благодатная эпоха для рассказчиков, поистине золотой век рассказов. Всевозможные истории рассказывали священники, менестрели, лавочники, работники, нищие и странствующие монахи. Песни, поэмы и рассказы служили способом прервать нескончаемый тяжкий труд и дать выражение тому чувству общности, которое делало время Чосера

столь непохожим на наше. Чосер, конечно, слышал баллады, из которых некоторые дошли в более поздних вариантах до наших дней: «Однажды ночью вышел на охоту лис», «Причетник и русалка», «Ковентрийская песенка»... Он слышал восхитительно-непристойные стихи и богохульные стихи — такие смешные, что их невозможно было запретить. Скорее всего, от брата и его друзей он слышал тысячу историй о фермерских дочках (правда, девица — героиня рассказа редко была на самом деле дочерью фермера), о старых распутниках, похотливых монахах и оболстительных дураках монахинях. Вероятно, ему приходилось слышать истории о старых болванах импотентах вроде Януария, запечатленного потом в чосеровском «Рассказе купца», который пропыхтел всю ночь напролет, пытаясь вдохновить свое бессильное естество любовными гримасами и непристойными песнями и осуществить брачные отношения со своей прелестной юной супругой Маей — увы, тщетно!

Казалось, жеребец разгоряченный
Сидел в нем рядом с глупою сорокой,
Болтающей без отдыха и срока.
Все громче пел он, хрипло голоса,
А шея ходуном ходила вся.
Бог ведает, что ощущала Мая,
Его в одной сорочке созерцая
И в колпаке ночном. Я убежден,
Что ей не по душе пришелся он.
В конце концов он заявил: «Игра
Меня сморила, отдохнуть пора».
И, вмиг заснув, до десяти проспал... *

От всех окружающих — возможно, от своих дедов, отца и дяди Тома, от своего рослого, толстого, лысого дядюшки Николаса и подмастерья отца Уота-йоркширца — юный Джеффри слышал рассказы, отчасти правдивые, о страшных битвах с шотландцами, французами и ирландцами, рассказы о выжженных дотла обширных королевствах, о голодных временах, когда даже полководцы королевской крови вынуждены были питаться кониной или собачиной. В отцовском доме, сидя рядом с матерью и братом Джоном на скамье, ерзя и болтая ногами, он, по-видимому, слушал иной раз, как читали популярные тогда рыцарские романы в стихах, а также классические истории об Орфее, Тезее и Феодосии, рассказы о волшебниках и чудовищах, о подвигах во имя спасения дамы, попавшей в беду, о захватываю-

* «Кентерберийские рассказы», с. 380.

ших дух избавлениях от верной гибели (рассказы эти, вместе с приложенными к ним аллегорическими толкованиями, были собраны в начале XIV века в сборник *Gesta Romanorum*). И, уж вне всякого сомнения, он слышал поздними вечерами, когда дождь мерно стучал по обожженной черепице крыши, истории о привидениях, таинственных существах и нечистой силе.

Даже в абсолютной тьме своей спальни маленький Джеффри, лежа в одной кровати с Джоном, ощущал окружающий его Лондон как уютное и безопасное место: во всех соседних комнатах посапывали спящие, кто-то покашливал в горенке наверху, сонно хлоптала курица, вздыхала собака да похрюкивал во сне поросенок в хлеву за домом. Но за пределами Лондона, как он знал, лежал совсем иной мир — мир дремучих лесов и безлюдной глуши, где шастали бесы и одни только монахи осмеливались противостоять их стародавнему безраздельному господству. Многие люди, вроде летописца из Новалеза, что под Мон-Сени, воочию видели в лесах чертей в облике змей и жаб или слышали, подобно св. Гутлаку, как черти кричали голосом выпы и порой переговаривались на языке кельтов. «Дьяволы вызвали бурю, сорвали крышу с монашеской обители, — говорится в одном тексте, приводимом Дж. Дж. Коултоном, — и спалили церковь, ударив огнем с неба прямо в колокольню». Коултон приводит рассказ о св. Эдмунде Риче, который в молодости «увидел на закате стаю черных ворон и сразу же понял, что это черти явились за душой местного ростовщика, что жил в Абингдоне; и верно, придя в Абингдон, он узнал, что человек этот умер»⁷.

Истории о ведьмах, оборотнях и прочей дьявольщине приходили главным образом с севера — родины Макбета. Ведь края холода и ненастья были заповедным царством Сатаны, как о том прямо говорится в чосеровском «Рассказе кармелита» и как это с несомненностью явствует из Библии: «От севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли» и «Я приведу от севера бедствие и великую гибель» (Книга пророка Иеремии, гл. 1, ст. 14 и гл. 4, ст. 6). Чосер не мог не слышать леденящие кровь истории северных краев — такие, например, как эта:

«На западе Шотландии, в долине реки Клайд, милях в четырех от Пейсли, случилось в доме некоего сэра Данкена-островитянина мерзостное и удивительное событие, которое должно вселить ужас в грешников и показать, как будут выглядеть пропащие души в день во-

скрешения из мертвых для Страшного суда. Один человек, хотя и носил рясу служителя нашей святой веры, вел дурную жизнь и очень плохо кончил, будучи отлучен от церкви за святотатство, совершенное им в своем же монастыре. И вот через много времени после того, как его похоронили в ограде того же монастыря, покойник стал являться людям, которым казалось, что они слышат его и видят среди ночных теней: После чего этот сын тьмы перенесся в жилище упомянутого рыцаря — то ли для того, чтобы испытать веру простых душ, то ли для того, чтобы указать, по скрытому умыслу господню, на соучастника своего преступления. Приняв телесную оболочку (натуральную или эфирную — это нам неизвестно, но, во всяком случае, черную, плотную и осязаемую), он взял за обыкновение являться среди бела дня в черной рясе монаха-бенедиктинца и садиться на конек крыши амбара или риги. И всякий раз, когда кто-нибудь пускал в него стрелу либо втыкал в него вилы, материальная субстанция, вошедшая в этот проклятый призрак, тотчас же сгорала дотла — быстрее, чем я это рассказываю. Тех, кто вступал с ним в борьбу, он так ужасно сотрясал и швырял оземь, как будто хотел переломать им все кости. Первенец лорда, сквайр, достигший совершеннолетия, больше всех упорствовал в этих нападениях на призрака. Так вот, однажды вечером, когда хозяин дома сидел со своими домашними вокруг очага в зале, это зловещее привидение, явившись среди них, начало осыпать их ударами и метать в них предметы. Все присутствующие обратились в бегство, кроме того сквайра, который вступил с призраком в единоборство, но, увы, назавтра он был найден убитым своим противником. Однако, если правда то, что дьявол получает власть только над теми, кто живет по-свински, можно легко догадаться, почему того молодого человека постигла столь страшная судьба»⁸.

Когда юный Чосер вырастет, он научится высмеивать подобные небылицы и в своих комических произведениях, таких, как «Рассказ мельника», станет потешаться над легковверными и невежественными. И все же представляется вероятным, что, подобно доктору Джонсону четыре столетия спустя, Чосер и сам был немного суеверен. Не следует забывать, что во времена Чосера вера в чудеса давала иной раз наиболее естественное и доступное объяснение загадочных явлений природы. Если невежественные современники Чосера держались диковинных поверий, то и образованные мудрецы, насмежавшие-

ся над неучами, тоже отдавали дань суевериям. Например, ученый философ XIII века Фома Аквинский утверждал: «Людьми невежественным кажется чудом, что магнит притягивает железо или что рыбка-невеличка задерживает движение корабля». Рыбка, о которой говорит здесь Аквинский, — это фантастическое существо гемага (что по-латыни означает «помеха», «тянущая назад») менее фунта длиной, странными свойствами которой моряки объясняли трудности, возникавшие при кораблевождении, которые они иначе объяснить не могли.

Даже в стенах Лондона, этого безопасного мирка, черная магия и колдовство имели повсеместное распространение. Товарищи детских игр маленького Джеффри, возможно, пугали его рассказами о дурном глазе, напускающем порчу, — рассказами, которым они сами и взрослые (если не все, то многие) верили, и не без основания. Во времена Чосера ведьмы отнюдь не были такими согнутыми в три погибели, с усеянными бородавками лицами старушками, уединенно живущими в избушке вдали от города и не слишком знающимися с простыми христианами. В сознании тогдашних людей, за исключением самых образованных, христианство и старая языческая религия переплетались как два сросшихся стволами дерева. Приверженность колдовским занятиям не предполагала какого-то особого образа жизни, отличного от христианского. Различие тут было лишь в степени: дело шло не о том, произносил ли человек заклинания и заговоры и совершал ли магические ритуалы, а о том, как часто он этим занимался и насколько доброжелательным был его выбор колдовских действий. Лет за сто до описываемого времени Бертольд Регенбургский говорил в одной из своих проповедей: «Многие деревенские жители попали бы на небо, если бы не занимались колдовством... У женщины есть заговоры на все случаи жизни: она колдует, чтобы выйти замуж, колдует, чтобы брак был удачным, колдует на ту сторону и на эту, колдует перед рождением ребенка, колдует перед крещением и после крещения, а чего она добивается своим колдовством? Только того, что ее дитя будет всю свою жизнь страдать за это...»

Когда магические обряды не восходили к старой религии, они возникали на основе новой: чем, как не магией, занималась старушка, посыпавшая свою капусту, чтобы убить гусениц, раскрошенной освященной облаткой, «телом христовым», пастор, использовавший облатку в ка-

честве приворотного зелья, или многочисленные священники, пытавшиеся с помощью святой воды отпугнуть саранчу или изгнать привидение? Чосер, как и все средневековые дети, забивал себе голову подобными вещами и, надо полагать, страдал, подобно большинству своих современников, от жутких кошмаров. (Неспроста английское слово *nightmare* буквально означает «ночная кобыла»: считалось, что по ночам к вашей кровати подходит и усаживается на вас существо, смахивающее на лошадь.) В зрелые годы Чосер, разумеется, проводил различия между христианскими и нехристианскими понятиями, но вокруг него оставалось — несомненно, к вящему его удовольствию — немало людей вроде плотника из «Рассказа мельника», который, стремясь избавиться от чар околдованного, как ему представляется, Николаса, его нахлебника, восклицает, смешивая воедино старые и новые поверья:

«Очнись! Меня послушай, Николас!
Не пьаль ты в небо неразумных глаз,
И что это тебе, бедняк, заметило?
Чур, чур тебя, и сгинь, лихая сила!»
Он все углы подряд перекрестил,
Три раза плюнул и окно открыл
И произнес вечернее заклятье,
Которое всегда читают братья:
«О Христос пречистый! Бенедикт-угодник!
Дом наш сохраните ото зла сегодня!
Отче наш, спаси нас нынче до утра,
Утром осени нас, преславная сестра *».

Когда Джеффри Чосеру было лет семь (в 1347 году), он вместе со своими родителями, старшим братом и уже появившейся, по-видимому, на свет сестренкой Кейт переехал в город Саутгемптон, где его отец занял должность заместителя королевского виночерпия. Главной служебной обязанностью Джона Чосера в этой должности был сбор ввозных пошлин с каждой партии вина, прибывающей в район Саутгемптона (через порты Чичестер, Сифорд, Шоргем и Портсмут). В том же году его назначили сборщиком королевских таможенных пошлин на шерстяные товары, изготовленные в Англии на вывоз. А поскольку обучение детей в школе начиналось, как правило, лет с семи, то и для Джеффри примерно тогда же наступил новый этап жизни. По всей вероятности, будущий поэт еще в Лондоне научился немного читать с помощью домашнего учителя из церковно-

* «Кентерберийские рассказы», с. 120.

служителей. Теперь же он, надо думать, приступил вместе с братом к занятиям под руководством приходского священника, который, исполняя в том приходе обязанности школьного учителя, давал уроки в церковной ризнице, в помещении над нею или у себя дома. Эта школа могла быть хоровым училищем вроде того, что описано в «Рассказе аббатисы», — небольшим учебным заведением при церкви или соборе, где детей обучали хорошим манерам, молитвам, пению псалмов и азам латыни.

Некоторое представление о манерах, которым обучали юного Чосера, можно получить, ознакомившись со сборником правил поведения для учеников закрытых школ, составленным в XV веке. Правила предписывали: «Утром быстро встань с постели, перекрестись, умойся, причешись, попроси у господина, чтобы благословил он все дела твои, отправляйся к мессе и попроси прощения за все свои прегрешения, а по пути вежливо здоровайся со всеми, кто тебе повстречается». Ребенок должен был, прежде чем начать есть, перекрестить себе рот («от этого пища твоя только улучшится»), затем прочесть молитву («это у тебя много времени не займет»), после чего прочесть *Pater Noster* и *Ave Maria* за всех страждущих и только потом приступать к еде. Ребенку внушали: будь правдив, держи свое слово, молчи, когда к тебе обращаются старшие, в разговоре со взрослым держись смиренно, следи за своими руками и ногами и гляди ему в лицо...» Правила назидали:

«Не показывай пальцем, не спеши выложить новости. Если кто-либо похвалит тебя или твоих друзей, следует его поблагодарить. Говори немногословно и к месту, и тем самым ты приобретешь себе доброе имя... Честно зарабатывай деньги и беги долгов, как греха... Перед тем как сплюнуть, прикрой ладонью рот, чтобы сделать это незаметно. Твой нож должен быть чистым и острым, очищай его о ломоть хлеба, но только, пожалуйста, не о скатерть: воспитанный человек заботится о чистоте скатерти. Не клади свою ложку в миску и не приставляй ее к краю миски, как это делают люди невоспитанные, и не прихлебывай громко, словно невежа... Когда старший подает тебе чашку, бери ее обеими руками, чтобы не уронить, а когда напьешься, поставь ее рядом; если же старший заговорит с тобой, сними шапку и поклонись.

Не чешись за столом, чтобы не прозвали тебя деревенщиной, не вытирай нос и не ковыряй в носу, не то

о тебе скажут, что ты из людей подлого звания. Не корми за едой кошку или собаку. Не играй за столом ложкой, доской для резки хлеба или ножом, но веди жизнь чистую и честную, блюда добрые манеры»¹⁰.

Надо полагать, что мальчик из семьи, занимающей такое общественное положение, какое занимала семья Джеффри, усваивал многие «добрые манеры» еще до поступления в школу. И все же начало школьной учебы было для детей мучительной порой, и особенно для непоседливого ребенка, наделенного живым чувством юмора. Средневековые учителя славились своей строгостью, хотя, конечно, и тогда, точь-в-точь как сейчас, некоторые учителя больше напускали на себя строгость, чем были строги на самом деле. Так или иначе, стоило Джеффри украдкой бросить собаке во время обеда баранью косточку или резким движением нечаянно опрокинуть свою чашку, как в него впивался холодный взгляд педагога, который делал ему суровое внушение. Если же Джеффри был такой озорник, что повторял свой проступок или, хуже того, заливался смехом, следовало еще более суровое внушение — может быть, богословски нелепое клише времен св. Иоанна Златоуста: «Христа распяли, а ты смеешься?» — и мальчика вытаскивали из-за стола, чтобы задать ему хорошую трепку.

В начальной школе Чосер учился читать и писать по-латыни, на первых порах с помощью «рогового букваря» — листа пергамента, защищенного от повреждений прозрачным слоем рога. На пергаменте записывались алфавит, слова молитвы «Отче наш» (на латыни) и еще кое-какие вещи, полезные для начинающих. Усвоив начатки чтения и письма, Чосер перешел к изучению псалтыря с его более сложными латинскими текстами. Преподавание велось на французском языке. (К 1385 году преподавание в школах латинской грамматики стали вести исключительно по-английски, вследствие чего, как писал один тогдашний автор, «ученики смыслят во французском не больше, чем их левая пятка»¹¹.) Французский язык, конечно, не был языком лондонских улиц, но дети дворян и состоятельных купцов в пору юности Чосера, как правило, владели им в совершенстве. Ведь детей из лучших семей, по свидетельству современника, обучали французскому «с колыбели, так что они, еще играя в игрушки, бойко говорили по-французски»¹². Возможно, уже в те годы дети учились по так называемому «Примеру» (хотя считается, что он был создан несколько позже). Семилетний школяр в «Рассказе

аббатисы» все еще не одолел «Примера» — книги, составленной главным образом из псалмов и обычных церковных молитв, но содержащей, кроме того, алфавит и прочие учебные пособия для самых маленьких. Считалось, что «Пример» должен дать ребенку начальные познания в грамматике и религии, и если Джеффри учился по нему, то в его случае обучение, вероятно, дало свои плоды; чаще всего, по-видимому, дети заучивали псалмы и молитвы (как маленький школяр из «Рассказа аббатисы»), не понимая ни слова из того, что они твердили наизусть¹³.

Примерно на этом этапе занятия Джеффри на короткое время прервались: его семья переехала обратно в Лондон, где школы были закрыты.

Чосеры прожили в Саутгемптоне два года. Для них, возможно, это была безмятежная пора, хотя в 1347 году над миром нависла угроза страшных бедствий — бедствий, о которых Джон Чосер, работая в таможене, узнавал одним из первых. Европу раздирали кровавые войны. Гражданская война бушевала в Риме, на море и на суше шла война между англичанами и французами. (Английский флот вновь продемонстрировал свое могущество, разбив французов в битве при Ле-Кротуа на Сомме, а Эдуард III впервые применил при осаде Кале новое оружие — пушку, эта диковинная штука использовалась главным образом для того, чтобы пугать лошадей.) Война свирепствовала чуть ли не повсеместно: король Венгрии воевал с Апулией, король Богемии сражался с Баварией, Византийская империя отбивалась от турок.

Но, помимо того, до Англии стали доходить к 1347 году и другие вести, странные и зловещие. В Константинополе, Неаполе, Генуе и на юге Франции началось моровое поветрие. Рассказывали об обезлюдивших городах, всех жителей которых скосила смерть, о покинутых обитателями огромных замках, о дрейфующих в море по воле ветров и волн генуэзских торговых судах — больших темных кораблях, глубоко сидящих в воде, с трюмами, набитыми сокровищами, и без единого человека на борту, к которым не смеет приблизиться ни один пират. В 1348 году — в том самом году, когда Эдуард III основал орден Подвязки, — «черная смерть» добралась и до Англии. В августе она проникла в Дорсет, прокралась в Бристоль, затем в Глостер. К сентябрю она достигла Оксфорда, а в октябре обрушилась на Лондон.

Нынешние историки единодушно считают, что последствия «черной смерти» сильно преувеличивались, но никто

не станет отрицать, что это было величайшее отдельно взятое бедствие за всю европейскую историю. Можно лишь в самом общем смысле согласиться с утверждением Ф. Э. Гэскета, писавшего в 1893 году в своей книге «Великая эпидемия», что чума обозначила ту грань, которая отделяет историю средних веков от истории нового времени. Европа вступила в период социально-экономического кризиса в конце XIII — начале XIV века, и «черная смерть» обострила этот кризис, но не была его причиной. В начале XIII столетия вся Европа была сильно перенаселена — разумеется, не с современной точки зрения, а с точки зрения способности средневекового сельского хозяйства и ремесленного производства обеспечить население средствами к существованию. Независимо от чумы, средневековый уклад жизни обнаруживал свою несостоятельность. К 1250 году численность населения уже начала сокращаться, но приток людей в города привел к их крайней перенаселенности. Болезни, голод, кровавые стычки становились все более распространенным явлением по мере роста скученности. К 40-м годам XIV века условия жизни в городах стали прямо-таки удушающими. Даже в таком исключительно чистом городе, как Лондон, неизбежно скапливались горы отходов, беднота ютилась в перенаселенных покосившихся домах, настоящих ловушках при пожарах, этом биче средневековых городов. Плодились крысы, а вместе с ними — крысиные блохи, переносчики чумы. Накормить, одеть и обуть всех горожан было задачей не из легких, и решалась она далеко не лучшим образом. Гильдии ревниво оберегали свои привилегии, в том числе и те, что способствовали непомерному дроблению профессий и искусственному «расширению штатов» (так, человек, доставлявший щепу на растопку, должен был иметь помощника для ее укладки); поскольку у гильдий со сходной специализацией отдельные виды работ совпадали (например, и сукновалы, и ткачи занимались обработкой шерсти), они часто вели друг с другом кровопролитные уличные войны за монополию в своей области. В 1340 году в Англии был голод — самый сильный после голода 1315—1317 годов. За семь последующих лет страна не успела оправиться от этого бедствия. Погода из года в год становилась все хуже. Повсюду в Европе менялся климат: зимы делались все более длинными и холодными, лета — прохладными и дождливыми. Земледелец больше не мог рассчитывать на стабильный урожай. (А всего столетие назад в Англии выращивали

виноград и делали вино.) «Европа, — указывает профессор Николас, — даже в лучшие урожайные годы страдала от недоедания... Главной пищей большинства людей было зерно — в основном рожь и пшеница. В дополнение к углеводам потребляли в некотором количестве птицу и яйца, молока же потребляли немного, так как оно слишком быстро скисало...»¹⁴ Что касается мяса, то верхушка общества добывала его охотой и покупала на городских рынках. Но, поскольку скот требовался и для нужд войны, и как тягловая сила, мясо домашних животных было практически недоступно для представителей низших сословий. Для разведения скота, столь ценного в те времена, нужны были большие пастбища, и это заставляло ограничивать площадь обрабатываемой земли, с которой кормились люди. Вот в такой Лондон, недоедающий, плохо справляющийся со своими насущными проблемами, подверженный болезням, перенаселенный, и пожаловала «черная смерть».

Как нам теперь известно, это была одновременная эпидемия двух видов чумы: бубонной, у жертвы которой поднимался сильный жар, под мышками или в паху набухали безобразные гнойники, но сохранялся небольшой шанс выжить, и легочной, куда более заразной, которая поражала легкие своей жертвы и почти всегда обрекала ее на смерть. Первая волна эпидемии, схлынувшая к концу 1350 года, унесла не менее двадцати пяти миллионов человеческих жизней, или от одной четверти до одной трети всего населения Европы. Из статистических исследований явствует, что от чумы гибли в основном те, кто послабее — старики и дети, — и те, кто чаще других соприкасался с умирающими — священники и монахи. (Орден доминиканцев, некогда слывший интеллектуальной элитой христианского мира, потерял столько членов, что вынужден был принимать кандидатов в свои ряды из числа людей малообразованных и малокультурных; вследствие этого к концу века Чосера интеллектуальный уровень ордена значительно понизился, и он утратил свою притягательность для блестящих умов.) Сколь удивительным ни казалось бы это нам сегодня, но деловая жизнь в Лондоне даже в разгар чумы шла своим обычным чередом — отчасти это можно объяснить тем, что крепкие взрослые люди, на чьих плечах лежали повседневные дела, пострадали меньше, чем другие группы населения. Правда, сессия парламента в 1348 году была отменена, многие школы закрылись, но по-прежнему пекли хлеб, звонили в колокола, хватали преступ-

ников, заверяли завещания и воевали с Францией.

Люди, наделенные поэтическим воображением — как, например, Чосер в «Рассказе продавца индulgенций», а в новое время Эдгар Аллан По и Ингмар Бергман, — нарисовали нам зловещие картины чумы в произведениях, образующих особый литературный жанр, так называемую «легенду о чуме»: безумное неистовство гуляк, сцены пьянства и богохульства в таверне или в замке, ярко освещенном огнями, шумном и людном месте, где так и кипит жизнь, потом появление темной тени — старца (иной раз женщины) в низко опущенном капюшоне и черной либо красной одежде (Смерть!), — затем боль, гнев, взаимные упреки, адские пляски, наконец тьма и безмолвие. Из-за этих ярких образов, порожденных поэтической фантазией, мы, вероятно, представляем эпидемию чумы совсем не так, как она виделась простым лондонцам в 1348 году. Попытаемся же приблизиться к реальной действительности того времени.

Официальное объяснение сводилось, разумеется, к тому, что чума послана людям в наказание за грехи. Это мнение, подкрепляемое красочными примерами, высказывалось во всем христианском мире. Так, например, Найтон, монах Лестерского монастыря, пишет:

«В ту пору [1348 г.] среди людей поднялись толки и ропот, вызванные тем, что почти всюду, где устраивались турниры, являлась компания женщин, якобы ради удовольствия посмотреть это зрелище, одетых в разнообразные и причудливые мужские одежды; случалось, наезжало до 40—50 дам, самых что ни на есть красивых и пригожих (хотя, смею утверждать, не самых добродетельных) во всем королевстве. Они появлялись там в разноцветных костюмах, у коих правая сторона была одного цвета или узора, а левая — другого, и в коротких капюшонах с подвесками, которые, как веревки, обвивали им шею. Подпоясаны же они были поясами, богато украшенными золотом и серебром. Мало того, в сумках, перекинутых через плечо, они носили ножи, называемые на простом языке кинжалами. А приезжали они к месту проведения турнира на отборных боевых конях или на жеребцах отменной породы. Вот так мотали и расточали они свое состояние и изнуляли свои тела, предаваясь глупым затеям и сумасбродному шутовству, если не лжет людская молва... Однако господь прибег в этом деле, как и во всех других, к чудесному средству: в час, назначенный для начала подобных суетных увеселений, над местом, где их устраивали, разверзались по воле

божьей хляби небесные, гремел гром, полыхали молнии и порывами налетали буйные ветры... В том же году и в следующем в целом свете начался мор и падеж»¹⁵.

Ему вторят Ленгленд и почти все прочие поэты того времени. «Побойтесь бога! Страшитесь, братья!» Излюбленной темой европейских художников середины XIV века было изображение умирающего богатого обжоры, умирающей красавицы, богатства и могущества повергнутого Вавилона.

Но эта официальная точка зрения была довольно странной. Большинство лондонцев, потерявших в эпидемии детей или пожилых родителей, отнюдь не были бражниками и гуляками, ни тем более любителями переодеваться в платье людей другого пола. Это были люди со своими слабостями и недостатками, порою грешные, но не настолько дурные, чтобы навлечь на себя сей странный гнев господен, и они понимали это. Кое-кто — в других местах Европы — искал козлов отпущения. В 1349 году в Германии было решено, что виной всему, конечно, евреи (которые почему-то оказались невосприимчивы к чуме, словно находились под покровительством сатаны) или, вернее, те христиане, которые позволили евреям остаться в гетто на немецкой земле, и вот праведники учинили там кровавую резню во славу божью. (Таинственный промысел господен остался вне подозрений.) Пытались найти козлов отпущения и в Шотландии, но это не было в обычае у лондонцев, ни тем более у обитателей белокаменного, продуваемого морскими ветрами Саутгемптона, где к тому же смертность была не так велика.

Лондонские богачи вроде Томаса Хейрауна, или Ричарда Чосера, отчима Джона Чосера, или дородного седобородого Хеймо Коптона, или его рослого сына Николаса, выглядывая из ворот своих домов, с немой печалью наблюдали, полные недоумения, как едут по улице повозки с трупами, направляясь к одной из двух городских общих могил: впереди, рядом с головным слепым волом, идет звонарь с колокольчиком, громяхают тяжелые деревянные колеса. Позади хозяев, соблюдая положенную дистанцию, толпились слуги, тоже вышедшие посмотреть на скорбную процессию, поравнявшуюся с воротами. И хозяева и слуги, встречая пустые, ничего не выражающие взгляды могильщиков или слыша их шутки, похожие на шутки мусорщиков, отводили глаза, словно смутно припоминая что-то, то ли какой-то сон, то ли старинное речение, и крестились. «Я пришел, чтобы испепелить

эту землю», или «Конец близок», или «Смотрите и ждите!» — что-то неясное в этом роде, слышанное не то в детстве, не то во время последней воскресной проповеди, фразы, над смыслом которых всякий здравомыслящий человек старается не задумываться, когда сквозь оконные витражи падает солнечный свет и белым дымком курится ладан; картина мира, которую не следует принимать слишком уж всерьез, но в истинность которой в глубине души верили при всей ее невероятности. И вот пророчество начинает сбываться, медленно и ужасно. Бедняки, так же как и богачи, собирались группами, стараясь при этом не прикасаться друг к другу; собирались они под действием страха и стремления поменьше размышлять, а соприкосновения избегали потому, что догадывались, как передается болезнь — посредством некоей демонической силы, которая завладевает человеческим телом, усиливается по мере его разрушения и шарит вокруг невидимыми руками, выискивая новую жертву.

Этот призрак бродил теперь по всему Лондону, витал над телами умирающих и умерших, таился в дверных проемах, винных погребах и залитых солнцем садах, где у стен валялись дохлые крысы. За пределами Лондона, как сообщает в своих хрониках Генри Найтон, начался великий падеж овец: «В одном месте пало более 5000 голов на единственном только пастбище; они так смердели, что ни зверь, ни птица не прикасались к ним». «Овцы и во о л ы , — добавляет о н , — без призора бродили по полям и посевам, и не было никого, кто бы выгнал их оттуда или собрал бы в стадо; некому было пасти скотину, и она гибла, заблудившись на дальних тропинках или среди изгородей...» Шотландцев мор поначалу не затронул, повествует далее Найтон, и они, «полагая, что англичан постигла страшная божья кара, собрались в Селкеркском лесу с намерением напасть на Английское королевство... Тут начался среди них ужасный мор, и чума внесла неожиданные и страшные опустошения в их ряды. За короткое время смерть скосила около 5000 человек. А когда оставшиеся в живых, как здоровые, так и больные, повернули домой, англичане пустились в погоню, нагнали их и перебили в великом множестве». Современникам, должно быть, казалось, что этот таинственный, мстительный дух властен даже над деревом и камнем. Найтон пишет: «После чумы много зданий, больших и малых, во всех городах, поместьях и селениях разрушилось, ибо никто в них не жил; точно так же обезлюдели мно-

гие деревни и деревушки, где ни осталось ни одного дома, после того как умерли все их обитатели...»¹⁶ За пятьдесят лет чумы, свирепствовавшей в XIV веке, с лица земли исчезло до тысячи английских деревень.

Казалось невероятным, что господь мог избрать чуму своим орудием. В сущности, невероятными были все средневековые религиозные доктрины, и, хотя не обнаружено доказательств того, чтобы в эпоху позднего средневековья когда-либо серьезно обсуждались скептические — тем более атеистические — взгляды, можно с уверенностью утверждать, что тысячи людей чувствовали себя обескураженными, сбитыми с толку и беспомощными. Мы сталкиваемся с упоминаниями об этих осторожных полускептиках в проповедях и мистериях. Можно, не боясь ошибиться, предположить, что ко времени эпидемии чумы почти все люди «века веры» испытывали сомнения и могли избавиться от своих сомнений только при помощи довода, часто приводимого в религиозных писаниях той поры, согласно которому человеческий ум по природе своей не способен даже в самой отдаленной степени постичь бога. Эти люди сознательно и в известном смысле мужественно отказывались от надежды понять и просто молились непостижимому.

Приход чумы был для них таким сильным потрясением еще и потому, что взгляд на это бедствие как на божью кару, по-видимому, доказывал ошибочность оптимистической тенденции в христианском мышлении, утвердившейся за минувшие полвека. Фома Аквинский противопоставил более мрачному мировоззрению некоторых первых отцов церкви убедительно аргументированную богословскую и философскую концепцию, оправдывающую полное доверие к человеку. Систематически развивая идеи Аристотеля и, в меньшей степени, Платона, он доказывал, что и человеку, и низшим существам свойственно естественное устремление — иначе говоря, любовь — к богу и что божья благодать способна усовершенствовать и возвысить это устремление человека, соединив вместе познание божества и высшую любовь к нему. Как бы соблазнителен ни был грех, утверждал Фома Аквинский, он отнюдь не является страшным бременем, сокрушающим душу человеческую, как это казалось некоторым авторам, писавшим в духе первых отцов церкви. Даже светское государство мыслилось им как безусловное добро. Вслед за Аристотелем он возвышал достоинство гражданской власти, объявляя государство одним из двух совершенных обществ мира сего (другим

была церковь), позитивным благом, призванным содействовать мирскому процветанию человека, более того, благом необходимым, поскольку человек не может жить без общественного порядка. Даже у ангелов на небе, утверждал Аквинат, должно быть правительство.

Таким же оптимистичным, как учение Фомы Аквинского, было и другое философское течение, которое набрало силу чуть позже и даже слегка отодвинуло в тень идеи Фомы. Аквинат постулировал существование общей «человеческой природы», которая может быть соединена с божественной через личность Христа. Философы же «номиналистской» школы доказывали, что вне простого объекта не существует никакой реальности, иначе говоря, есть лишь отдельные конкретные люди, а человеческой природы вообще как таковой нет. В этом споре естественное разошлось со сверхъестественным, разум разошелся с божественным откровением; естественные науки, освобождаясь от объятий метафизики, получили возможность заниматься изучением отдельно взятых фактов и понятий; гражданские права и обязанности, не нуждаясь больше в божественных санкциях, стали исключительно делом светской власти. Все эти идеи, томистские и номиналистские, по-прежнему оставаясь в основном достоянием университетской мысли, все же оказывали известное влияние на каждого приходского священника и широко распространялись в обществе доминиканцами (монашеский орден Фомы Аквинского) и францисканцами (орден таких номиналистов, как Роджер Бэкон).

При всех своих разногласиях и томисты, и номиналисты прославляли человеческий разум и противостояли традиции *contemptus mundi* *. «Дети мои обманули мои надежды!» — мог воскликнуть отец небесный, каким они его представляли. Вместо этого он наслал на людей чуму. И вот тут-то номиналистское представление (прямо противоположное идее Аквината) о том, что природа бога, недоступная для научного изучения, непознаваема, неожиданно соединилось с менее возвышенным направлением мысли, с более старым и мрачным взглядом на человеческую природу, согласно которому человек есть червь, горсть праха, и в результате возобладало представление о человеке как о существе не только низком, но и фактически беспомощном.

Умные, рассудительные англичане вроде лондонских родственников Джона Чосера, не будучи учеными-бого-

* Презрение к людям (*лат.*).

словами, поневоле должны были доверить свое чувство беспомощности заботам искушенных клириков, которые из всех сил старались не отступать от своего христианского оптимизма, молились и покорно выполняли веления церкви, уподобляясь «ювелиру» из поэмы Джона Мэсси «Жемчужина», который под конец мужественно отбрасывает сомнения и примиряется со своей судьбой. Во всеоружии всех средств воздействия на сознание — прекрасной церковной живописи, величественной архитектуры, исполненной глубины музыки и проповедей, которые сами были произведениями искусства (так, им сопутствовали драматические эффекты — например, когда резной деревянный орел на кафедре поворачивал голову, как бы вступая в спор со священником), — они боролись за христианское смирение. По мере возможности они пытались противостоять панике, распространявшейся среди наименее устойчивых, которые стремились умиловить бога заверениями в любви и преданности, долгими изнурительными молитвами (ведь бог может быть грозен, он уже явил миру пятнадцать знамений грядущего конца света), паломничествами, покупкой индульгенций и поклонением мощам святых. Эти нестойкие истово молились, а потом вновь с головой окунались в жизнь, словно дети, сбегавшие из-под строгой родительской опеки; избавясь на время от мыслей о боге, они смеялись, трудились, воевали с таким самозабвением, что это наполняло их тревогой, когда они возвращались в церковь. Приняв в качестве морального образца для себя недостижимый идеал безгрешной добродетели, они поступали как неверующие, отрицали веру своими делами, а когда замечали в своей душе сомнение, то тревожились и уповали на помощь купленных ими кусков покрывала девы Марии или костей святого Гутлака. В средневековой Европе в годы эпидемии чумы мы повсюду видим признаки этого парадоксального сомнения наряду с исступленной верой. Когда очевидцы описывают решение дел в суде при помощи судебного поединка, исход которого, как полагали, предопределялся самим господом богом, они обязательно включают в свое описание, словно неотъемлемую часть какой-то молитвы, фразу примерно такого содержания: «если бог действительно судья в таких делах», — фразу, которой, несомненно, придавался иронический смысл и которая на самом деле означала выражение верующим убежденности в том, что бог, безусловно, является таким судьей. Но постоянное и неизбежное повторение этими авторами подобных заверений как

раз и побуждает нас усомниться, так ли уж были они убеждены в этом. Аналогичным образом, когда средневековые авторы рассказывают о вреде, причиненном людям привидениями и злыми духами, они непременно включают в свое повествование ироническую реплику в сторону «если правда то, что дьявол получает власть только над теми, кто живет по-свински...» или что-нибудь в этом роде. Однако, каковы бы ни были сомнения, испытываемые людьми позднего средневековья, признание ими полного своего неведения относительно путей и предначертаний господних, возможно, в конечном счете помогало им. Они умирали, стискивая в руке четки и завещая значительную часть своего достояния на вечную заупокойную службу, но умирали, по общему мнению, хорошо; может быть, лучше — благородней, — чем умираем мы.

Наличие этого гнетущего подспудного страха и смутения — мироощущения, которое иногда порождало возвышенную веру, но чаще выражалось в форме стоического спокойствия и обходило конфликт между сомнением и учением церкви в лучшем случае путем прославления чудес господних, а в худшем путем жалкого самоуничтожения и умерщвления плоти, — обусловило особую популярность во времена чумы трактата Боэция «Утешение философское». Он стал самой значительной книгой для людей того века и, возможно, сыграл основополагающую роль в образовании Чосера. Эта книга возвращала средневековое христианство к его идеалистическим истокам, к учениям неоплатоников о заложенных в человеке возможностях и об исполненном добром мироздании, — учениям, способствовавшим обращению Августина в христианскую веру, вдохновлявшим и укреплявшим короля Альфреда в эпоху, когда идеал цивилизованной христианской добродетели выглядел мечтой глупцов на фоне разгула викингского варварства с его воинственной проповедью убийства, насилия и уничтожения всего «изнеживающего», то есть всякой красоты.

Популярность Боэция в XIV веке основывалась, во всяком случае частично, на том, что он оказался полезен христианам позднего средневековья как интерпретатор несколько шизофренического состояния их сознания. Казалось, сбываются самые мрачные пророчества священников, и бог действительно послал на землю семь ангелов смерти: ненастье, моровую язву... Однако ум человеческий отказывался верить, что бог может быть таким суровым, тем более что он, как утверждало христианское учение и как можно было предположить, является для людей

любящим отцом. Оказавшись перед лицом этой неустрашимой путаницы взаимоисключающих понятий, которая порождала растерянность, раздирала сознание, сковывала мысль и отнимала свободу воли, человек должен был найти какой-то способ жить свободно, пусть даже и в цепях, делать свое дело и поддерживать свое достоинство как нравственной личности в совершенно чуждом ему и тираничном (каким бы тайно благодетельным он ни был) мире, в «пустыне», где отсутствовали доступные для разумного понимания правила. Боэций предлагал объяснение, которое согласовывалось с христианским учением, но обладало преимуществом видимой простоты, которое допускало моральный выбор и не оскорбляло (во всяком случае, явно) реальные человеческие чувства и человеческий разум и которое, наконец, не будучи определенно христианским (Боэций, как и Аристотель, трактовал о «перводвигателе» и никогда — о боге), соотносило христианский опыт с нехристианским и придавало таким образом философское правдоподобие несколько туманной христианской доктрине. «Мир очень любопытно устроен, — утверждал, по существу, Боэций. — Вещи, непонятные нам, понятны перводвигателю (который непосредственно не вмешивается в их естественный ход), ясно видя прошлое, настоящее и будущее, он знает, что все совершается к лучшему: план мироздания (т. е. промысел божий) прекрасен и гармоничен. Поэтому не делайте ставку на личные надежды и планы, но свободно и радостно принимайте свой удел, каким бы ужасным он ни казался; содействуйте движению жизни, а не противьтесь ему, уподобляйтесь мудрому пловцу, который не борется с потоком, а плывет по течению, ибо все в мире на самом деле связано, упорядочено и предназначено для нашего блага, в чем убедится душа, когда она выйдет из тьмы материальной оболочки к чистому свету духа». Если бы Боэцию было известно о железных дорогах, он мог бы сформулировать свое представление о свободе при помощи метафоры, которой однажды воспользовался Бертран Рассел (правда, для обоснования менее оптимистических взглядов). Мироздание подобно поезду. Вы можете сесть в поезд, свободно присоединив свою волю к воле железнодорожной компании, и он доставит вас в Филадельфию. Но если вы встанете на путях, упрямо (и свободно) пытаетесь навязать свою волю воле компании, это может плохо для вас кончиться. Боэций шел дальше, следуя за Платоном и возрождая (быть может, по случайному совпадению) самую сущность учения

Христа: всем сущим, начиная от ветров, волн и неодушевленной материи и кончая самым перводвигателем, правит, согласно Боэцию, один-единственный закон, а именно закон всеобщего притяжения по иерархическим степеням — присущая всему сущему тяга к своему «естественному месту назначения» и всеобъемлющая гармония, которая «побуждает» камни падать вниз, а души — воспарять вверх, благодаря чему устанавливается устойчивая и упорядоченная лестница бытия, «прекрасная цепь любви». (Разумеется, именно эта идея легла в основу учения Аквината об «устремлении» людей и низших существ к богу.) Человек волен, говорил Боэций, с сумасшедшим упорством отрицать этот закон, не допускать его в сердце свое, оставаться себялюбивым и завистливым, противиться влечению к своему естественному, духовному месту назначения и тем самым ставить себя вне вселенского порядка вещей и лишать себя его благ. (Мы поступаем так, мог бы сказать Боэций, когда цинично отрицаем само существование любви, долга и героизма или когда объясняем чьи-либо благородные дела низменными мотивами, приписывая своим ближним такие свойства, как алчность, жестокость и равнодушие, и подрывая тем самым в себе чувство собственного достоинства и даже волю к жизни.) Но как бы мы ни противились естественному влечению любви, всеобщий божественный закон все равно существует и ждет, когда наша воля свободно подчинится ему.

На практике человек, руководствующийся взглядами Боэция, мог стать свидетелем смерти своих детей, горько оплакать их, а потом, по выбору своей свободной воли, отложить в сторону скорбь и вновь окунуться в дела своей общины ради «общей пользы». Он мог «превратить необходимость в добродетель» — иными словами, сделать вид, что поступает добровольно, раз уж нет другого выхода и надо продолжать вносить свой небольшой, но нужный вклад в деловую жизнь Лондона или Саутгемптона. С близорукой мирской точки зрения мир полон горя:

Что этот мир, как не долина тьмы,
Где, словно странники, блуждаем мы? *

Но ведь царство божие и возможности нашей души шире, чем видимый нам мир, говорил себе читатель «Утешения философского».

* «Кентерберийские рассказы», с. 102.

Конечно, учение Бозэция было доступно не всем. Одной из заслуг Чосера перед своим временем станет перевод трактата Бозэция на английский язык, а в дальнейшем и эффектное изложение его идей и в целом ряде поэтических произведений. В 1349 году у Чосеров у самих, как мы знаем, возникла нужда в подобном бозэцианском утешении. В ту лихую годину в жизни будущего поэта произошла резкая и глубокая перемена: окружавшая его до тех пор обширная толпа родственников, всех этих дедушек, дядюшек, тетюшек, двоюродных братьев и сестер, связанных между собой тесными эмоциональными узами (такого рода большая семья являлась, по-видимому, одной из наиболее типичных и привлекательных особенностей жизни в эпоху средневековья), была выкошена чумой.

После того как семейство Чосеров возвратилось в свой лондонский дом на Темз-стрит, а эпидемия чумы пошла на убыль, настал момент, когда Джеффи отправился учиться в одну из школ, расположенных где-то в районе Винтри-Уорд (округа, где жили виноторговцы), — вероятнее всего, в школу при соборе св. Павла. Эта школа не была ближайшей к дому. Чуть ближе была расположена школа при церкви Сент-Мэри-ле-Боу. Кроме того, в той части Лондона имелась еще одна школа, при церкви Сент-Мартин-ле-Гран, но она находилась несколько дальше. Школа при соборе св. Павла почти наверняка была лучшей из трех¹⁷. Дерек Бруэр пишет:

«Примерно в середине XIV века в этом хоровом училище при школе латинской грамматики преподавал необыкновенный учитель, Уильям Рейвенстоун, который обладал обширным собранием книг на латыни. Хотя он носил священный сан, в его библиотеке, по-видимому, было очень мало богословских книг, зато имелось множество разнообразных книг светского содержания, в том числе практические руководства по преподаванию и латинские классики, представленные в большом количестве. Рейвенстоун составил завещание, по которому все эти книги в количестве восьмидесяти четырех экземпляров и сундук для их хранения перешли после его смерти в собственность школы наряду с денежной суммой, предназначенной для ежегодных подарков ученикам. Для того чтобы полностью осознать значение такого дара, нужно иметь представление о том, сколь беден книгами был XIV век. До нас дошло около 76 000 завещаний, составленных в Англии в XIV и XV столетиях. Один

исследователь, изучивший 7568 из них, обнаружил распоряжение о передаче в наследство книг только в 388 завещаниях. А ведь в то время книги обладали немалой ценностью и поэтому, скорее всего, должны были упоминаться в завещаниях... Так что восемьдесят четыре книги Рейвенстоуна представляли собой поистине бесценный дар. Тем более что тогда был крайне затруднен и доступ к пользованию библиотеками. Те книжные собрания, которые существовали во времена Чосера, по большей части находились в монастырях и были доступны только монахам. С другой стороны, Чосер уже в первых своих вещах обнаруживает прямо-таки необычайно глубокое знакомство с классиками. Поэтому есть все основания предположить, что он почерпнул свои познания из собрания книг Рейвенстоуна и что этот добросердечный ученый муж был учителем юного Чосера...»¹⁸.

В соборе св. Павла имелось еще одно доступное собрание книг, завещанное в 1328 году Уильямом Толлешантом, «казначеем, раздающим милостыню, и учителем школы при соборе св. Павла в Лондоне». Толлешант завещал школе сочинения по грамматике, логике, естественной истории, медицине и юриспруденции, и, надо полагать, Чосер имел возможность при желании пользоваться этими трудами, потому что ученикам, по видимому, разрешалось брать книги в свои комнаты. Однако в течение остающихся пяти лет учебы в школе латинской грамматики Чосеру предстояло заниматься не историей, не медициной, не юриспруденцией, а главным образом изучением начал трех языковых дисциплин: грамматики, логики и красноречия (или риторики), которые составляли вместе учебный цикл, именуемый *trivium* (термин, от которого — приходится с сожалением признать — произошло наше слово «тривиальный»).

Порядок занятий в средние века был более гибким, чем тот, что предусматривается современными учебными программами, — многое зависело от интересов и склонностей учителей и учеников, от того, есть ли в школе преподаватель данного предмета и т. д. Теоретики педагогики разработали идеальные образцы последовательного обучения школяров, но вряд ли этим образцам часто следовали на практике. Тогда как в наше время мы представляем учебный процесс в виде продвижения ученика из класса в класс по мере усвоения им программы каждого класса, средневековые педагоги преподавали так, как преподают учителя американских сельских школ: соединяли на своих уроках программу первого и пятого

года обучения и делали упор на том, что им самим больше нравилось, — на логике за счет грамматики или даже на арифметике за счет языковых дисциплин. Поскольку мы не имеем возможности установить, как и что фактически преподавал учитель Чосеру, нам придется описывать не тот курс обучения, который Чосер прошел в действительности, а образцовый курс, рекомендуемый педагогами-теоретиками этого времени. Начинался он с изучения латинской грамматики.

Обучившись начаткам чтения и письма еще в саутгемптонской школе, Чосер перешел, по поступлении в лондонскую школу, к более сложным компонентам «грамматики», т. е. к тому разделу «тривиума», который требовал изучения всего материала, связанного с буквами (*grammata*), начиная от написания буквы «а» и кончая истолкованием четырех ступеней христианской аллегии. Части речи Чосер изучал по учебнику Аэлия Доната «Восемь частей речи», построенному в форме вопросов и ответов по латинской грамматике, — маленькому катехизису объемом в десяток наших книжных страниц. Учебник этот, существовавший как в прозаическом, так и в рифмованном варианте, стоил около трех пенсов. Затем Чосер должен был освоить сборник изречений и поговорок, расположенных в алфавитном порядке. Составителем этого сборника, как полагают, был Дионисий Катон — автор, неоднократно упоминаемый в поэтических произведениях Чосера. Далее, если учителя Чосера следовали рекомендациям лучших теоретиков педагогики, он приступил к изучению еще более сложных грамматических проблем (незаметно переходящих в проблемы логические) на материале сочинений Присциана, как кратких, так и обширных, в которых он обнаружил около десяти тысяч поэтических строк цитат из латинских классиков — многие из них Чосер включит впоследствии в свои собственные произведения. Одолев Присциана, Чосер должен был через какое-то время прочесть «Метаморфозы» Овидия — источник сюжетов для всех поэтов средневековья.

На самом своем сложном уровне грамматика имела дело с толкованием библейских, религиозных или литературных текстов и с так называемым «переводом» (*translatio*) — не в нашем современном смысле, а в смысле пересказа старых историй таким способом, при котором им давалось бы новое истолкование или придавался бы более возвышенный смысл. Необходимость толкования обосновывалась общепринятой, и до некоторой степени верной, точкой зрения, согласно которой для правильного

понимания Библии следует выйти за рамки буквального смысла, ибо она написана «не языком торжища» (таково значение двух греческих слов, из которых образовано слово «аллегория»), а языком поэзии. Для того чтобы научиться понимать эту поэтическую речь, которую можно найти не только в Священном писании, но и у некоторых языческих поэтов, например у Вергилия и Овидия, надлежало разобраться в том, при помощи каких главнейших средств получает выражение в поэзии «глубокий, подспудный смысл». Ключ к раскрытию этих поэтических тайн дали критические исследования древними авторами поэм Гомера, и приблизительно к III веку нашей эры сложился метод христианской экзегетики, в чем-то подобный методу ранних толкователей Гомера. Библию, согласно христианской экзегезе, можно читать, различая в ней четыре «уровня», а именно: 1) буквальный или грамматический, когда читающий понимает текст буквально в самом прямом смысле; этот уровень, именуемый иногда «историческим», подразумевает, что в Библии слово и его значение полностью совпадают; 2) аллегорический, или фигуральный, когда слово приобретает иносказательный смысл: если в Библии говорится, что у филистимлян сердца из камня, это не подразумевает никакого физиологического чуда; опять-таки метафорический смысл имеет отождествление человечества с Эдемским садом, а его отдельных свойств — разума, коварства и сладострастия — с Адамом, змеем и Евой, соответственно; 3) анагогический, или мистический, согласно которому обнаруживаются гармоничные соответствия между событиями Ветхого и Нового заветов: старый Иерусалим рассматривается как предвестие Нового, а Ноев ковчег — как прообраз тела господня, или церкви; на этом уровне толкования тонко раскрывается значение «конечных вещей» — смерти и воскресения из мертвых; 4) тропологический, или иносказательно-морализаторский, — например, при уяснении смысла притчей Христа. Не приходится и говорить, что этот усложненный способ чтения Библии способствовал появлению ересей и путаницы в толкованиях, однако он в чем-то соответствовал тому способу выражать свои мысли и чувства, к которому часто в действительности прибегали иудейские мыслители, а также и другие средиземноморские авторы, такие, как Гомер и в особенности Вергилий. Подобный четырехступенчатый метод чтения был скреплен авторитетом самого апостола Павла.

Уже в раннем средневековье иносказательный подход

к чтению распространился также и на манеру писать, стал литературным методом. Аэлий Донат, автор пособия, по которому юный Чосер знакомился с частями речи, писал также сочинения (не дошедшие до нашего времени) по интерпретации аллегории у Вергилия, а в качестве учителя св. Жерома (начало V века) способствовал распространению среди христиан тенденции рассматривать языческую литературу как поэзию, которую ее авторы творили, сами того не ведая, под действием подлинно божественного вдохновения. Это немедленно привело к появлению подражаний классикам, главным образом Цицерону и Вергилию, к экзегетическому «переводу» их вещей и к созданию поэтических произведений, авторы которых — поэт, творец «Беовульфа» (VII или VIII век), впоследствии Данте (1265—1321), а вскоре вслед за ним Петрарка и Чосер — находили новое аллегорическое применение старым сюжетам, а также оригинальным историям и даже реальному жизненному опыту (как в случае Данте), вводя в поэтическую ткань символические элементы, игру слов, иносказательные намеки. Так, чудовище первоисточника «Беовульфа» превращается в символ дьявола и т. д. и т. п.

В первой части своей остроумной и сложной поэмы «Дом славы» Чосер высмеивает подобный грамматический «перевод». (Во второй и третьей частях поэмы он пародирует «логику» и «красноречие».) Чосеров «перевод» — как и можно было ожидать, зная от рождения свойственную Чосеру проказливость, — не столько разъясняет, сколько запутывает, тем более что одной из задач, которые он ставил перед собой при создании «Дома славы», было обыграть, дурачась и смеясь, идею номиналистов о подозрительности всякого человеческого знания — главным образом по той причине, что падший человек (как утверждали Роджер Бэкон и другие) глуп. Чосер карикатурно изображает себя не просто глупцом, но глупцом прямо-таки великолепным в своей глупости, которая становится неожиданным доказательством величия божия, ибо, перефразируя Уильяма Блейка, «Кто, кроме бога, смел бы сотворить / Безмерной глупости прекрасный образец?» Для такого человека, как «Джеффри» из поэмы Чосера, даже «божественный богослов» Вергилий подлежит усовершенствованию и разъяснению в ходе *translatio*. С рвением взявшись за дело, он низводит царя поэтов до уровня рифмоплета:

Ныне я вам воспою
Мужа и доблесть в бою.

Роком влекомый боец,
Трои несчастной беглец,
Первым он стал италийцем,
Выйдя на брег лавинийский.

Хотя Чосер подшучивает здесь над экзегетическим методом перевода, он, разумеется, относился к нему весьма серьезно. Его эпическая поэма «Троил и Хризеида», представляющая собой разработку поэмы Боккаччо, служит примером применения этого метода, и, хотя в «Троиле» есть изумительно смешные места, в конечном счете это философская поэма, автора которой история по праву назвала достойным последователем Вергилия, Овидия, Гомера, Лукана и Стация — поэтов, перед чьей памятью он смиренно склоняется в заключительных строках этого произведения.

«Логика», второй общий курс учебного цикла, составлявшего тривиум, имела дело, как показывает само название, с критическим анализом аргументов, подлинных и ложных, и с построением правильных суждений. Преподавание этого курса, несомненно, было тогда менее живым, чем сейчас — метод Чарлза Доджсона (Льюиса Кэрролла), превращавшего в логические понятия горилл, дядюшек и аллигаторов, будет изобретен только через несколько столетий, — но тексты, которые штудировал Чосер, отнюдь не были скучными. Тут он впервые познакомился с авторами, которых станет читать потом всю жизнь, — с Аристотелем, Боэцием и Макробием — и причулся, как бы между делом, размышлять о строении мироздания. Эта проблема будет интересовать Чосера до конца его дней, побудит заниматься астрологией и алхимией (официально признанными тогда науками, предтечами астрономии и химии), изучать арифметику, физику и «музыкальные» соотношения (предмет, трактуемый обо всем — от ангелов и планет до нот в гамме — и не имеющий аналога среди современных научных дисциплин). Через Роджера Бэкона и оксфордских рационалистов он пришел к коренным вопросам эпистемологии: откуда мы знаем то, что мы знаем, если мы, в сущности, ничего не знаем. Так, эти занятия вывели его на путь, следуя по которому он станет «благородным поэтом-философом», как назовет Чосера его ученик поэт Томас Акк, — первым в английской истории философским поэтом, родоначальником поэтической традиции, которая включила в себя немало самых возвышенных умов Англии, таких, как Джон Мильтон, Уильям Блейк и Уильям Вордсворт.

Несомненно также и то, что занятия «логикой» на всю жизнь прирастили Чосера, как впоследствии Доджсона, к логике пародийной. В его поэме «Дом славы» есть великолепная пародия на философские рассуждения. Огромный золотой орел, поднимая в небо встревоженного Джеффри, который широко раскрытыми от страха глазами смотрит на удаляющуюся землю, принимается объяснять ему, почему может реально существовать мифический Дом славы, к которому они направляются. Его аргументация представляет собой шедевр логического рассуждения, характерного для конца XIV века, — если не считать того, что это полная нелепица. В первой части своего рассуждения орел апеллирует к «опыту» (термин Роджера Бэкона, соответствующий понятию «научный эксперимент»), а во второй подкрепляет «опыт» «авторитетом» (второй бэконовский критерий познаваемости), в данном случае комически неуместно примененной теорией Бозэция. Орел, чрезвычайно гордый блеском своего логического ума, просвещает беднягу Джеффри, болтающегося с несчастным видом у него в когтях:

...Пора тебе узнать о том,
Как, умножаясь, каждый звук,
Будь это речь, иль шум, иль стук,
Иль даже писк мышиный слабый,
Достигнуть должен Дома славы.
Что я логически сужу,
Тебе сейчас я докажу.
Итак, внимай. Сперва пойдем
С тобою опытным путем:
Рассмотрим звуков всех природу.
Представь: ты бросил камень в воду.
На ровной глади ты, дружок,
Увидишь маленький кружок,
Размером с крышку или блюдо.
Момент — и вот невесть откуда
Вокруг него — ведь верно, друг? —
Возникнет новый, больший круг.
За этим — третий, больше, шире.
Вот стало их уже четыре...

Множатся круги вокруг.
Круг рождает новый круг.
Кругу круг толчок дает,
И о всплеске весть идет
По концентрическим кругам
К обоим дальним берегам.
Но ты не видишь вещь одну:
Круги и вниз идут, ко дну.
Дивишься этому ты чуду,
Но это так всегда и всюду.
А если кто «неправда» скажет,

Пушай обратное докажет.
И в воздухе, прими на веру,
Идет таким же все манером.
Как камень — в воду, в воздух — слово.
Лишь вымолвил его — готово,
Толкнул ты воздух, что вокруг,
И побежал воздушный круг,
А от него родился новый,
И это повторится снова:

Ближний воздух дальний движет,
Круг на круг движенье нижет,
Подымая к небесам
Крики, речи, шум и гам.
К Дому славы звуки, брат,
Мчат, умножившись стократ,
И влетают прямо в дверь,
Хочешь верь, а нет — не верь...

Итак, тебе я разъяснил,
А ты постиг по мере сил
Закон природы: звуков рать
Имеет свойство вверх взлетать.
Так учит опыт. Наконец,
Как доказал один мудрец,
Природа любит строгий лад,
Порядок, строй — ее уклад.
Для каждой вещи вседержитель
Создал природную обитель,
Куда та вещь устремлена
И под конец попасть должна.
Так вот, все звуки, все слова,
Хвала и грязная молва —
Звук каждый воздухом ведем —
Свой в воздухе находят дом...

Ясно, что, если Дома славы не существует, он должен был бы существовать.

Третьей частью тривиума была риторика, или теория красноречия. (В некоторых средневековых школах этот учебный курс предшествовал логике, в других следовал за ней. По свидетельству англичанина Джона Солсбери, учебные предметы преподавались в том порядке, в каком перечислил их я; этот же порядок отражает структура Чосерова «Дома славы».) Мне нет надобности описывать здесь предмет науки о красноречии, скажу лишь, что школьников учили не только тому, как придать весомость своей прозаической или стихотворной аргументации, но и тому, как сделать ее привлекательной для слушателя, т. е. хорошо продуманной с точки зрения подбора традиционных и оригинальных материалов (*inventio*), хорошо и убедительно построенной (*dispositio*) и стилистически интересной (*amplificatio*, etc.). Вероятно, в связи

с «амплификацией», предполагавшей умение развивать образы, ученикам начинали преподавать первоосновы «музыки». Проницательный педагог, обнаружив у школьника Чосера «способность к стихосложению», вполне мог бы познакомить его с такими сочинениями, как «De Musica» Боэция, где рассматриваются мистические соотношения между ударениями, музыкальными акцентами, рифмами, магическими числами и т. д. и т. п. Поэзия Чосера несет в себе отпечаток знакомства с подобными материями, но это знакомство могло состояться и много позже.

В третьей части «Дома славы» Чосер с комическим жаром демонстрирует свое совершенное владение искусством «красноречия» — свое умение создавать, заимствовать и видоизменять стилистические красоты риторики: великолепные перечисления в духе Гомера, аллегорические фигуры вроде Философии Боэция, грандиозные сравнения. Несмотря на то что он шутит, его метафоры очень хороши. Вот как описывает он огромный замок:

Украшен окнами фасад,
Их тыщи — в сильный снегопад
Снежинок столько не летит...

Живописуя приближение соискателей почестей, явившихся на суд Славы, он смело присваивает образ, взятый у Гомера, Вергилия и Данте:

Чу, рокот: воздух весь дрожит.
Вот так же грозно рой жужжит
Пред тем, как свой покинуть дом.
Все ближе, ближе слышен гром...

А рисуя аллегорическую картину того, как распространяется по земле незаслуженная дурная слава, Джеффри с восхитительной самоуверенностью заимствует метафоры не только из классиков, но и из самой Библии (труба Страшного суда в «Апокалипсисе»):

Эол тот, доложу я вам,
Поднес тотчас трубу к губам.
Хотя из меди, но черна
И, словно бес, она грязна.
А затрубил — спасенья нет!
Казалось, рушится весь свет.
Помчались звуки той трубы,
Немелодичны и грубы,
По всей земле, во все края
Быстрее, чем пуля из ружья,
Когда ты порох запалил.
Тут дым вонючий повалил
Клубами из ее конца.

Как при плавлении свинца,
Дым этот черно-красным был.
Он едким облаком поплыл,
Распространяя гнусный смрад,
Как если бы разверзся ад,
Чиня повсюду страшный вред,
Притом чем дальше — больше бед.
Увы, то шла дурная слава.
Вот так злословия отравы
Невинных жертв своих казнит,
Их имя доброе чернит.

Средневековое образование не обязательно завершалось с окончанием семилетнего курса начальной школы. Ученик мог все годы своей учебы штудировать тривиум, а мог и перейти, раньше или позже, к изучению какой-нибудь дальнейшей образовательной программы — скажем, юридических наук (как мы увидим в следующей главе, именно к этому курсу обратился Чосер по завершении тривиума) или квадривиума, повышенного курса университетского образования, проходя который студент более подробно изучал четыре традиционные дисциплины: арифметику, геометрию, астрономию и музыку. Мало кто из учащихся добирался до серьезных занятий на этом уровне, и уж совсем немногие — до изучения трех высших университетских программ: медицины, канонического права и богословия. Но предварительное знакомство с этими предметами в рамках изучения грамматического, логического и риторического разделов тривиума давало учащемуся толчок к самостоятельной работе, поэтому, при наличии у него любознательности и прилежания, он мог многому научиться даже без формального прохождения курса университетских наук. Как я уже говорил, Чосер, по всей вероятности, учился в университете — во всяком случае, какое-то время, — а впоследствии стал близким другом нескольких оксфордских ученых. Книга, написанная им для своего «сынишки Льюиса», когда мальчик учился в Оксфорде, — трактат об астролябии, — свидетельствует о его хорошем знании математики и астрономии. Согласно преданию, он написал впоследствии еще одну учебную книгу — быть может, дошедший до нас трактат «Экватор планет». Возможно, им была написана и третья книга — о планете Земля. Чосер обнаруживает глубокие, прямо-таки профессиональные познания по части философского номинализма (о чем мы еще будем говорить позже) и других сложных материй, в том числе даже «философии музыки». Познания такого рода трудно было получить за пределами Оксфорда или Кембриджа.

По преданию, Чосер был одним из ученейших людей своего века. Как свидетельствовал Холиншед, это был «человек, обладавший столь совершенными познаниями во всех науках, что едва ли имел себе равных среди современников...»¹⁹. Позже, в XVII столетии, Чосера считали одним из «тайных знатоков» алхимии. Современные авторы, проанализировав «Рассказ второй монахини» и «Рассказ слуги каноника», показали, что он действительно знал алхимию, во всяком случае некоторые ее разделы. И каким бы ни был путь его познания этих наук — самостоятельные ли штудии, беседы ли с такими учеными, как его оксфордский друг логик Ральф Струуд, — первое его знакомство с ними состоялось еще в школьные годы, когда он одолевал тривиум.

Семь лет учебы Чосера в начальной школе — несмотря на тяжелые потрясения в результате гибели от чумы родственников и друзей — были в целом светлым, счастливым периодом жизни. В те годы юный Джеффри пристрастился читать и перечитывать книги, забывая о времени, и вдумчиво, хотя внешне как бы вскользь, непринужденно, расспрашивать всякого, кто мог дать ему внятный ответ, обо всем на свете: о ремеслах и профессиях, об испанском ландшафте, о великих тайнах философии. Эту неумную любознательность он пронес через всю свою жизнь. Чосер поступил в школу ребенком, который, как и все дети, любил «забавы, игры, суету» (от этого недостатка, к счастью для нас, он полностью так и не избавился), вышел же из нее молодым человеком, в чьей голове теснились поэтические образы и строки стихов и чью душу переполняла восторженная до слез любовь к книгам и к этому шумному миру, который они отображают, заставляя взглянуть на него новыми глазами. Не один поэт, истерзанный любовью к женщине, задавал себе вопрос: «Плыву ли я, тону?» Чосер напишет — и в шутку, и всерьез, — что такое же действие оказывают муки художника, понимающего, сколь коротка жизнь и сколь долгосрочны задачи искусства, а также муки философа, испытывающего «страшную радость» познания, которая всегда быстро приводит к новым недоуменным вопросам и осознанию собственного невежества. Любовь, которую Чосер понимает в духе Бозция как вселенский закон,

В своих делах так дивна и прекрасна,
Что душу рвет восторг, и я напрасно
Понять хочу: плыву ли я, тону
Иль камнем, может быть, иду ко дну.

Таким было в общих чертах начальное образование Чосера. От современного образования оно отличалось значительно меньшим разнообразием, меньшим богатством учебного материала и даже меньшей точностью, поскольку средневековые учебники изобиловали ошибками, которые смогли постепенно устранить последующие поколения. Но это образование было более глубоким, чем наше, менее легковесным, оно поощряло серьезность и привычку к упорному труду во имя благородной цели. Во многих отношениях оно ничем не уступало начальному образованию любого другого периода истории. В пору неблагоприятных климатических условий, голода, повторных эпидемий чумы и нескончаемых опустошительных войн оно способствовало утверждению философского подхода к самым трудным и мучительным жизненным вопросам; возвышенно и благородно объясняло смысл жизни и смерти (на основании трудов Боэция и мудрейших из церковных писателей); насаждало соединенное языческое и христианское представление о мироздании, которое, за исключением мелких технических деталей, сохранило силу по сей день, и представление о человеке как об ответственном моральном деятеле в обескураживающей, но упорядоченной вселенной; обеспечивало ориентацию культуры на великую поэзию, живопись, музыку и архитектуру. Все это делает время средневековья, несмотря на его недостатки, самым красноречивым временем в жизни человека **З а п а д а**, — временем боли, мужества и высоких устремлений.

ГЛАВА 3

Чосер — молодой придворный, воин и, может быть, влюбленный (1357—1360)

Шринц Лионель, третий сын Эдуарда III, и его жена Елизавета, графиня Ольстерская, по примеру королевской четы содержали отдельные штаты придворных служителей и вели отдельные расходные книги — во всяком случае, до 1359 года, когда супруги объединили оба двора. Некоторые записи в расходных книгах графини дошли до нашего времени. По иронии судьбы, в эти записи оказалась обернутой одна старинная книга, хранившаяся в Британском музее. Только благодаря этой счастливой случайности мы теперь знаем, что весной 1357 года Джефффри Чосер числился младшим служителем при дворе Елизаветы и получил от нее в подарок на пасху полный костюм: короткие черно-красные штаны в обтяжку, короткую кожаную куртку, которая обошлась графине в 4 шиллинга (около 48 долларов), и пару туфель. До недавних пор считалось, что Джефффри служил при дворе графини пажом. Его изображали таким «обычным, ничем не примечательным подростком... который не без мальчишеского удовольствия обнаружил, что в своем новом облегающем костюме он может согнуться лишь с величайшим трудом»¹. Однако картина эта не точна. В средние века шестнадцатилетний молодой человек (а Чосеру было тогда самое меньшее шестнадцать) считался взрослым, и ему поручались обязанности взрослого человека, а не мальчика-пажа. Да и в расходных книгах двора графини Ольстерской Чосер ни разу не назван пажом (его придворное звание вообще не указано), хотя перед именами других придворных служителей сплошь и рядом стоят в этих и других подобных записях слова *pagettus* (паж) или *valettus* (служитель более высокого ранга). Один из придворных служителей, некий Джон Хинтон, которому, как и Чосеру, графиня подарила на пасху, помимо прочего, куртку, фигурирует в записях расходной книги как *valettus* графини. Некоторым при-

дворным графиня сделала гораздо более ценные подарки, чем Чосеру, но кое-кому из них достались и менее дорогие подарки, чем ему. Так, например, некий Томас — кстати, дважды поименованный в этих записях пажом, — получил подарок стоимостью в 16 пенсов (15 долларов). В мае графиня опять пожаловала Чосеру и другим членам свиты новые костюмы, а в декабре того же года Чосер получил в дар 3 шиллинга 6 пенсов на приобретение всего, что ему «понадобится для рождества».

Но если Чосер был при дворе графини не пажом, а служителем более высокого ранга (*valettus*), то интересно, какую работу он выполнял? Судя по его довольно скромному жалованью, он занимал среди служителей графини сравнительно невысокое положение. В придворной иерархии он стоял значительно ниже Эдмунда Роуза, который служил у графини по меньшей мере с сентября 1352 года, когда он получил, как записано в расходной книге, подарок от владетельной леди Клэрской, ниже Реджинальда Пирпонта, числившегося на службе как минимум с мая 1354 года, и ниже Джона Хинтона, которого графиня одаривала щедрей. Выше его стояли и многие другие служители, ниже — немногие, в том числе пажи графини. Среди тех, кто стоял на самом вершине — а придворному рангу человека средневековый двор придавал огромное значение, — находилась фрейлина графини Филиппа Пан, о которой у нас вскоре пойдет речь.

Учитывая место, которое занимал Чосер среди придворных, можно предположить, что в своих дневных трудах он в основном помогал придворным служителям старшего ранга. По вечерам же, когда придворным полагалось развлекать графиню и все общество музыкой, стихами, беседой на возвышенные или занимательные темы, он, надо думать, уже тогда во многом был таким человеком, каким станет годы спустя: почтительным, сдержанно немногословным, хотя и умнейшим среди присутствующих. Что до его поэтического дара, то, должно быть, Чосер (во всяком случае, в первые недели, а то и месяцы своего пребывания в свите графини) даже скрывал его — по той простой причине, что обнаруживать его и не входило в его служебные обязанности. Человек незнатного происхождения, он не принадлежал к числу тех юных аристократов, которые, вместо того чтобы учиться в школе латинской грамматики, а затем в университете, с молодых ногтей служили пажами, а потом сквайрами в домах и замках высшей знати, где проходили долгий курс обучения рыцарским наукам. Эта учеба имела целью сделать

из юноши благородного происхождения достойного рыцаря, справедливого и благоразумного господина, умелого управителя поместьем. Юного отпрыска знатной семьи назначали то помощником дворецкого, то помощником виночерпия, перевода его с одной ответственной должности при дворе на другую. Помимо того, его учили чтению, письму, пению, игре на музыкальных инструментах, танцам, верховой езде, искусству шахматной игры, учтивому обращению и рыцарскому пониманию долга. Вот таким юношам и предписывал придворный этикет развлекать общество по вечерам. Такого юношу (а не сына выдвинувшегося виноторговца) изобразил Чосер, создав портрет сквайра в «Кентерберийских рассказах»:

Весь день играл на флейте он и пел,
Изрядно песни складывать умел,
Умел читать он, рисовать, писать,
На копьях биться, ловко танцевать.
Он ярок, свеж был, как листок весенний.
Был в талию камзол, и по колени
Висели рукава. Скакал он смело
И гарцевал, красуясь, то и дело *.

И все же в тесном, замкнутом мирке феодального двора XIV века не так-то легко было скрыть от окружающих подлинный талант, тем более что это был рафинированный двор сына и любимца королевы Филиппы, женщины поистине замечательной, которая наряду со многими другими восхитительными достоинствами обладала способностью живо восхищаться поэтическим талантом, независимо от знатности происхождения поэта.

Сочинял молодой Чосер стихи для развлечения принца Лионеля и его супруги или нет, он, конечно же, сочинял в ту пору песни — любовные и, наверное, не всегда пристойные. Подобные песенки были тогда в моде при дворах английской знати (и при королевском тоже). Будучи поклонником французского придворного поэта Машо — влияние Машо наиболее ощутимо в дошедших до нас ранних чосеровских стихах, — Чосер просто не мог не попробовать свои силы в сочинении песен, поскольку, по теории Машо, музыка считалась важнее слов.

Служить при таком средневековом дворе, каким был двор Елизаветы, значило не только изящно выполнять свои обязанности да развлекать сюзерена. Чосер должен был продолжать учебу, углублять свои познания прежде всего в области изящных искусств, а также латыни,

* «Кентерберийские рассказы», с. 35.

литературы на латыни, французского языка и французской литературы. Дальнейшее образование, как считалось, должно было сделать из Джеффри более рафинированного и полезного придворного служителя. Кроме того, служитель вроде Джеффри был, по-видимому, загружен всяческой нудной писаниной: заносил расходы и доходы в бухгалтерские книги, переписывал письма. К шестнадцати годам (т. е. самое позднее в 1356 году) он уже наверняка закончил курс школьной науки, и полученные им знания и навыки должны были найти полезное применение при дворе графини. Если учесть, что дальнейшее образование Чосер получал, кажется, благодаря покровительству и денежной поддержке королевского дома и что в зрелом возрасте он служил английской короне в трех главных качествах — как приближенный придворный поэт и «чтец», как участник дипломатических посольств за границей и как бухгалтер-финансист высокого ранга или финансово ответственный контролер (когда ведал таможенными сборами, занимал деньги для короля, следил за производством работ для казны и впоследствии замещал лесничего), — можно с разумным основанием предположить, что у графини он преимущественно выполнял работу переписчика и счетовода (а может быть, и обе эти работы). Может быть, он к тому же развлекал общество стихами и песнями, но до нас никаких свидетельств этого не дошло.

Как заполучил Чосер место служителя при дворе графини — об этом тоже остается только гадать. Возможно, тут сыграло свою роль то обстоятельство, что графиня была внучкой того самого слепого Генриха, графа Ланкастерского, под командованием которого отец Чосера и Томас Хейраун сражались как участники вооруженного восстания против Мортимера. Ведь без связей с влиятельными людьми не было никакой возможности поступить на службу при дворе одного из членов королевской семьи. Впрочем, и отец Чосера и его мать, как мы уже упоминали, имели некоторый доступ ко двору Эдуарда III, следовательно, был у них и косвенный доступ ко двору принца Лионеля и его супруги.

Подобно другим большим средневековым дворам, двор принца Лионеля и графини Ольстерской подолгу не задерживался на одном месте, и молодой придворный служитель Чосер кочевал с места на место наряду со всеми. Принц с супругой, как это было заведено в средние века

у членов королевской семьи, переезжали из замка в замок, из манора в манор, раскладывая между всеми своими владениями бремя содержания многочисленной свиты, которое при оседлом образе жизни двора стало бы непосильным: ведь ни грузовиков, ни поездов для подвоза продовольствия в ту пору не было, а «подножного корма» для стольких ртов хватало ненадолго. И вот, погостив в одном имении, принц Лионель и Елизавета Ольстерская вскоре отправлялись дальше, а следом, скрипя колесами, тащились бесконечной вереницей повозки с мебелью, шпалерами, канделябрами, драгоценностями, охотничьим снаряжением, кухонной утварью. В апреле 1356 года мы застаем графиню Елизавету в Лондоне; позже, в том же году, она жила попеременно в Саутгемптоне, Ридинге, Стратфорде-ле-Боу. Весной 1357 года она вернулась в Лондон и приняла участие в пышных празднествах по случаю дня св. Георгия, устроенных в Виндзорском замке. На празднование троицы она отправилась в Вудсток, рождество справляла в Хэтфилде, крещение — в Бристоле.

Во всех этих городах Чосер участвовал в феерических праздничных торжествах — ничего подобного нам с вами увидеть не дано, разве что в фильме, да и то как слабый намек на былое величие. По церковным праздникам повседневный уклад средневековой жизни с его многочасовыми трудами, молитвами и постами сменялся в замках могущественных феодалов пышными зрелищами, парадом богатых одеяний, захватывающими дух увеселениями. До наших дней дошло несколько описаний подобных праздничных пиров — все они подтверждают, что картина, нарисованная Джоном Мэсси в поэме «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь», является не столько художественным вымыслом, сколько правдивым репортажем.

Вот знать усадили за стол на помосте — почетнейшем месте,
А сбоку и ниже их многие рыцари дружно расселись.
Запели фанфары — и слуги проворно уж первое блюдо несут.
Все в лентах оно, а на лентах — девизы, гербы и эмблемы.
Литавры ударили, трубы вольнок взревели,
И голос их, яростно звонкий, рождающий громкое эхо,
Так дивен и сладостен был, что радостно пели сердца!
Затем понесли чередою отменные, лучшие яства,
Изысканных кушаний строй, тушения с острой приправой.
Жаркого дымилась гора, и от снеди ломились столы,
Где места свободного вовсе для блюд не осталось.

Тут потянулся каждый
За лакомым куском,
А утоляли жажду
Все пивом и вином.

Если можно верить свидетельствам поэтов и хронистов, гости начинали съезжаться за много дней до праздника, привозя с собой многочисленную челядь и щедрую лепту в предстоящие празднества: угощения, украшения, маски и искусных артистов, в том числе карликов, акробатов, фокусников. Мужчины уезжали на охоту не только для развлечения, но и чтобы набить побольше дичи к пирушечному столу. Женщины, знатные дамы и их служительницы, девицы благородного происхождения, деятельно готовились к долгому, яркому и пышному празднеству, которое вдруг взрывалось таким китайским фейерверком: музыка, пляски, чтение стихов, а то и театральное представление — «маска», — веселое пиршество. В промежутках между блюдами устраивались «интерлюдии»: чародеи-фокусники демонстрировали свое искусство. Это искусство оптических иллюзий завезли в Англию крестonosцы, побывавшие на Востоке, где магия была в большом почете. Об эффектах, к которым стремились эти мастера оптических иллюзий, можно судить по красочному описанию таких фокусов — магических «интерлюдий» — на страницах «Кентерберийских рассказов» Чосера, а именно в «Рассказе франклина». (Подобного рода удивительные спектакли-иллюзии пытались устраивать фокусники и в реальной действительности — об этом нам известно из расходных книг той эпохи и других источников.) Итак, вот что рассказывает своим спутникам франклин у Чосера:

Возможно зренье одурачить вдруг,
Как делают волшебники. Слышал
На праздниках нередко я, что в зал
Они обильно воду напускали,
И, как по озеру, в обширном зале
Скользили лодки тихо взад-вперед.
Иль вдруг казалось, грозный лев идет,
Иль расцветает благовонный сад,
Иль со стены свисает виноград,
Иль замок высится, как исполин, —
И вдруг все исчезает в миг один*.

Чуть дальше в том же рассказе Чосер пишет о еще более поразительных оптических иллюзиях — чудесах искусства, которые показывает своим гостям великий чародей:

Пред тем как ужин подан был на стол,
Хозяин пред глазами их возвел
Чудесный парк, где под зеленой сенью
Паслись рогатые стада олени;

* «Кентерберийские рассказы», с. 425.

От псов охотничьих и острых стрел
Немало полегло оленьих тел.
Когда же дичь убитую убрали,
На берегу прелестном — там, подале, —
Затравлен кречетами аист был.
Потом турнир им зрелие пленил.
И наконец, всем зрелищам на смену,
На луг волшебник вывел Доригену
Танцующей с Аврелием. И вдруг
В ладони хлопнул он, и все вокруг
Вмиг побледнело и совсем пропало,
Всей роскоши как будто не бывало *.

Спору нет, эти описания — художественный вымысел, но, как бы ни преувеличивалось в них то, что бывало на самом деле, они, без сомнения, верно передают атмосферу тех праздничных увеселений, которые Чосер наблюдал как член придворной свиты графини, и рисуют идеал захватывающего дух зрелища, к которому стремились иллюзионисты.

По всей вероятности, Чосер также принимал участие в приготовлениях графини к помолвке ее малолетней дочери Филиппы с Эдмундом Мортимером — сыном бесславного Роджера Мортимера, любовника королевы Изабеллы, супруги Эдуарда II. (Король Эдуард III с характерным для него рыцарским благородством не пожелал наказывать сына за преступления отца.) Возможно также, что Чосер присутствовал на похоронах королевы Изабеллы, состоявшихся 27 ноября 1358 года в Лондоне. Это событие, должно быть, казалось очевидцам таинственным, даже сверхъестественным: о королеве целую вечность не было ничего слышно после того, как ее, лишившуюся рассудка, заточили в замок, и вот вдруг она лежит в гробу, окруженная участниками погребальной церемонии, будто ее вызвали из далекого прошлого, дабы с почестями теперь похоронить. Вероятно, побывал Чосер и на турнире в Смитфилде, где король Эдуард и его кузен Генрих Ланкастер блистали своим поразительным искусством, — для этого турнира графиня Елизавета велела изготовить подушки, обшитые декоративной тканью. Чосер мог быть среди провожатых графини, когда она ходила смотреть львов в лондонском Тауэре. Но в конечном счете самым важным событием того времени стала для Чосера поездка в Хэтфилд на рождественские праздники 1357 года. Там он познакомился с молодым человеком, который сделается другом и защитником на всю жизнь, — с Джоном Гонтонм,

* Там же, с. 426.

младшим братом принца Лионеля. (Гонт, в ту пору граф Ричмондский, как установлено, приезжал на рождество в Хэтфилд: графиня сделала двум его приближенным денежные рождественские подарки.)

Семнадцатилетний Гонт уже и тогда, конечно, производил впечатление человека значительного: надо полагать, он уже приобрел характерную для него отчужденно-сдержанную манеру держаться. Его служители, гордившиеся тем, что им выпало счастье служить такому принцу, всем своим видом выражали готовность в любой миг умереть за своего господина. При среднем росте и обычном телосложении Гонт, по единодушным отзывам современников, производил впечатление человека, абсолютно уверенного в себе — враги называли это его качество самонадеянностью. В королевской семье Гонт выделялся широтой интеллектуальных интересов. Впрочем, не известно, оценил ли он по достоинству Джеффри Чосера во время той их первой встречи. Гонт, разумеется, вырос в окружении поэтов, среди которых был и глубоко преданный его матери, королеве Филиппе, великий французский поэт Жан Фруассар, но в отличие от своего старшего брата, принца Лионеля, Гонт предпочитал водить дружбу не с поэтами и художниками, а с философами, теологами и знатоками политической теории. Но каким бы ни было первое впечатление Гонта и Чосера друг о друге, со временем они станут близкими друзьями.

По-видимому, Чосер прослужил при дворе Лионеля и Елизаветы около трех лет (некоторые биографы называют более долгий срок). За эти годы он, должно быть, познакомился со всеми членами королевской семьи и со многими знаменитостями, состоявшими у них на службе: поэтами, художниками, государственными мужами, дельцами. В глазах сына виноторговца они должны были казаться существами высшего порядка. Их прекрасные имена с садами, озерами и парками давали людям представление о том, как должен выглядеть рай. (В поэзии Чосера такое уподобление встречается неоднократно.) Их увеселения, и прежде всего пиры и турниры, превосходили своей яркой зрелищностью едва ли не все, что видим мы, современные люди. Для всякого рода пышных постановок тот век был поистине золотым. Даже мистерии, до недавнего времени изображавшиеся историками как плохонькие любительские спектакли, являли собой к началу XV века, а может быть, и в эпоху Чосера более грандиозное

представление, чем почти все, что доступно нам сегодня. Мистерии — пьесы на библейские темы — ставились в праздник тела Христова членами местных торговых и ремесленных гильдий во всех сколько-нибудь значительных городах Англии. Спектакли начинались рано утром и продолжались до наступления темноты. (А кое-где они шли и по два дня подряд.) Во времена Чосера мистерии обычно представляли с передвижных сцен, оборудованных на громоздких двух- или трехъярусных повозках, — такие передвижные сцены назывались «педжентами»; впрочем, иногда спектакли устраивались и прямо на площади или же на больших, сложно устроенных сценах-помостах, которые были оборудованы — во всяком случае, в таких городах, как Уэйкфилд XV века, — ветрогонными машинами, скрытыми переходами, приспособлениями для поднятия вверх — вознесения на небо — одного или нескольких актеров с помощью невидимых проволок и прочим реквизитом для создания сценических эффектов; сцене распятия на кресте придавался, например, устрашающе-реалистический характер: из ран Христа хлестала настоящая (козья) кровь². Все это было удивительным театральным зрелищем, то глубоко потрясающим, то умилительным и трогательным, то грубовато смешным, когда какой-нибудь красавчик вроде брезгливого Авессалома из чосеровского «Рассказа мельника», надуваясь и пыжась, изображал претендента на трон самого Христа — «роль Ирода на сцене он играл». Представим себе такую картину. Вот на площадь, где все подготовлено для представления, неуклюже покачиваясь, въезжает громоздкий педжент, актеры разыгрывают свою сцену (одну из многих в мистерии), и педжент, кренясь и качаясь, катит дальше — показывать эту сцену на других площадях, — а на освободившееся место уже становится следующий педжент. Принц Лионель и графиня смотрят спектакль из дорогой высокой ложи, украшенной их фамильными гербами. Их ложа с ярким, цветистым навесом угнездилась среди многих подобных лож, пестро раскрашенных, плещущих флажками и вымпелами, расположенных повсюду, где площадь, парк или перекресток улиц могут служить сценической площадкой для педжента. Чосер, будучи лишь младшим придворным служителем, должно быть, смотрит представление, стоя прямо на улице или же на низком помосте. Так как он невысок ростом, ему приходится вытягивать шею, чтобы лучше видеть, а то и подпрыгивать, как это делают зрители в его «Доме славы», которые, оказавшись задними в толпе, начали

Козлами резво вверх скакать,
Теснить передних и толкать,
Им больно наступать на пятки,
На спины лезть, как на запятки,
Чтоб ухитриться в свой черед
Хоть мельком заглянуть вперед.

Но еще пышней, чем мистерии, разыгрываемые с пед-жентов, были придворные театральные действия, так называемые «маски»: величественные пантомимы, немые сцены и живые картины, возвеличивавшие придворные идеалы или прославлявшие святых, особо почитаемых аристократами (св. Георгия — покровителя Англии и образцового рыцаря, св. Люсию — покровительницу света, св. Цецилию — покровительницу музыки). Тут можно было увидеть удивительных механических коней (внутри, возможно, помещали живую лошадь; что до летающих коней, подобных коню из «Рассказа сквайра», то они могли лишь присниться королям), ³ роши с множеством птиц, спускающиеся с неба ангельские воинства, жуткие пляски ведьм, диких зверей и многое другое. Одни только личины для гостей — участников танцевальной процессии, завершавшей популярную разновидность этого театрального действия, все эти маски львов, слонов, нетопырей и сатиров — могли стоять, судя по расходным книгам короля Эдуарда, целого состояния. Праздничные пиры тоже представляли собой яркое, эффектное зрелище — не только с точки зрения разнообразия и изобилия яств и напитков, но и с точки зрения искусства оформления. Пиршественный стол являл взору живописный ландшафт с лесами из петрушки и салата, с озерами и реками, мостами, миниатюрными всадниками и замками, сделанными из «чистой белой бумаги». Иногда перед началом пиршества в обеденном зале закрывали ставнями окна и поджигали все эти бумажные декорации. В стране, где простой люд то и дело голодал, не приходилось удивляться тому, что проповедники и популярные поэты иной раз, ломая руки, восклицали по поводу таких излишеств: «Грех!»

Но люди, с которыми встречался Чосер на придворных празднествах, блистали ярче, чем что бы то ни было во круг, — с этим соглашались все поэты той эпохи. Вообразите себе зрелище: грохочут литавры, трубят длинные прямые трубы, снуют слуги в ярких ливреях, прохаживаются дамы в высоких шляпках с ниспадающей вуалью и величественного вида господа, нарядные, как павлины (здесь и в помине нет соломы на полу — мы вступили в мир каменных плит и красивых изразцов, подобных

описанным в «Троиле и Хризеиде»), оглушительная музыка и смех, отражаясь от украшенных шпалерами стен и мощных потолочных балок из сердцевины дуба, гремят раскатами океанского прибоя.

Как придворному Елизаветы, графини Ольстерской, Чосеру, должно быть, не раз случалось бывать на таких праздниках, как день св. Георгия, в обществе самого короля Эдуарда, отца принца Лионеля. У короля были красивые черты лица, светлые волосы, русая борода, мягкая линия рта и добрые, чуть раскосые, как и у всех сыновей, глаза. Весь его облик говорил, что это не простой смертный. Эдуард любил рассказывать одну историю, подкреплявшую это впечатление:

«Лет этак четыреста назад, — рассказывал друзьям Эдуард III, — его прародитель граф Фальке Черный, правитель Анжуйский, привез из дальних странствий невесту — красавицу, равной которой не было на всем белом свете. Она родила ему четверых детей, красивых и одаренных — такими впоследствии рождались все сыновья и дочери в роду Плантагенетов. Впрочем, им досталась от матери и более темная наследственность. Ей удавалось долгие годы скрывать это, так как она вела более уединенный образ жизни, чем монахиня. Но однажды граф потребовал, чтобы жена сопровождала его к обедне. Раньше она неизменно отказывалась сделать это, но на сей раз она, бледная и дрожащая, вошла с ним в церковь. И вот, в тот миг, когда священник, совершая обряд причастия, поднял облатку — тело Христово, — она вдруг вскрикнула нечеловеческим голосом, поднялась в воздух, вылетела в окно капеллы и исчезла навсегда. Вот так открылась правда. Это была Мелюзина, дочь дьявола!»

К тому времени, когда его рассказ мог услышать Чосер, Эдуард III уже наполовину уверовал в то, что все так и было на самом деле. Снова и снова сражался он во главе своего войска с шотландцами и французами, и в нем постепенно крепло убеждение, что он заколдован и неуязвим в бою. Эдуард по собственному опыту знал, что его репутация «отродья сатаны» вселяет ужас в сердца его врагов. Отчасти уверовал он и в то, что он — король Артур, притом являет собой не метафорическое, а вполне реальное его новое воплощение, и в доказательство этого учредил Круглый стол. (В свое время любовник его матери Мортимер утверждал, что это он — воплотившийся Артур.) Наряду с тем Эдуард, по всем отзывам, был набожен, бесхитроsten и тверд в своей вере, как простой

крестьянин. Он регулярно молился перед надгробием Эдуарда Исповедника в Вестминстере, прося ниспослать ему богатство и победу над врагами. Всякий раз, бывая в Кенте, он преклонял колени в молитве перед прахом Томаса Бекета — святого, убитого его предками.

Таким же великодушным христианином Эдуард мог проявить себя и на войне — например, в том достопамятном случае во время осады Кале, описанном в хрониках Фруассара. Когда комендант Кале понял, что английский король с сильным войском плотно обложил город, он собрал тех горожан, которые по бедности не запаслись впрок продовольствием, и однажды утром выдворил их из города — тысячу семьсот мужчин, женщин и детей. Когда изгнанные горожане подошли к позициям английской армии, англичане спросили у них, почему они ушли из города, и Эдуард, услышав, что им нечего было есть, велел отпустить их с миром, а перед этим досыта накормить и дать каждому в дорогу по два шиллинга в виде милостыни, «и многие из них искренне благословляли за это английского короля».

Впрочем, Эдуард не всегда бывал столь милосерден. Когда Кале капитулировал, король решил предать город огню и мечу, но потом предложил горожанам такую сделку: пусть шестеро самых видных из них сами предадут себя в его руки без каких бы то ни было предварительных условий, и тогда он пощадит город. И вот шестеро вожаков-бюргеров, исполненных отваги и мужества, а также надежды на то, что король Эдуард оставит их в живых, соблазнившись богатым выкупом, предали себя в руки победителя и попросили у него пощады. Все рыцари, все бароны вокруг Эдуарда проливали слезы жалости, но король желал отомстить жителям Кале за ущерб, который они нанесли ему на море, и, глухой к просьбам своих рыцарей, в том числе и своего праведника-кузена Генриха Ланкастера, он приказал казнить заложников. Тогда беременная королева Филиппа, сопровождавшая его в этом походе, упала на колени и молила Эдуарда пощадить их «во имя сына святой Марии и твоей любви ко мне». Крайне неохотно, все еще гневаясь, король уступил. Но затем с жестоким упорством и самонадеянным тщеславием короля Артура — героя аллитеративной поэмы «Смерть Артура» — он выселил из Кале прежних обитателей — французов — и заселил город англичанами. По иронии истории, взятие Кале послужило одной из причин, по которым Эдуард учредил орден Подвязки, этот свой новоявленный Круглый стол, призванный слу-

жить оплотом рыцарственности и высоких идеалов.

Однако эта склонность к капризам или, во всяком случае, к резким переменам настроений ничуть не роняла Эдуарда в глазах простолюдинов, ни тем более в глазах его приближенных, которые, подобно юному Джеффри Чосеру, имели удовольствие лично знать этого «нового короля Артура». Обаяние Эдуарда было неотразимо, в чем могли убедиться многие женщины, и среди них его добрая толстушка жена королева Филиппа, которая любила его, несмотря на все его похождения, как и он любил ее, считая свое поведение правильным. В красоте Эдуарда было что-то мальчишеское, дерзость и порывистость сочетались в его натуре с мягкостью, неумемное жизнелюбие — с горячей любовью к Англии, стремление к высоким идеалам — с жестокостью, хитростью и коварством. Благодаря редкому сочетанию личного обаяния и недюжинных способностей ему удалось вновь вернуть своему ослабленному, деморализованному королевству статус европейской державы. Прославленный турнирный боец, оратор и благожелательный законодатель, он сумел внушить своим подданным забытые ими чувства любви и уважения к короне и, сверх того, горячую любовь к своему родному острову и патриотическую гордость; эти эмоции прекрасно выразил изгоняемый из Англии сын Джона Гонта в шекспировском «Ричарде II»:

Прощай, родная Англия! Прощай!
Еще меня на ласковых руках,
Как мать и как кормилица, ты держишь,
Где б ни скитался я — душа горда:
Я — англичанин, всюду и всегда*.

Эдуард III с детства был без ума от рыцарских турниров и, когда подрос, стал грозным противником для любого участника этих смертельно опасных поединков, имитировавших реальный бой. Вместе с матерью, Роджером Мортимером и своими родичами из Эно он посетил множество блистательных турниров, а уж когда получил корону и свободу действий, стал прямо-таки фанатичным поклонником этой военной забавы — и как зритель, и как участник. Такими же фанатиками турнирных боев были и его друзья.

Возьмем типичный пример — большой турнир, устроенный Уильямом Монтегю на Чипсайде. Чосер тогда был еще ребенком. Под пронзительные вопли волюнок и рокот

* Шекспир У., т. 3, с. 430.

барабанов король и его рыцари, одетые в диковинные татарские наряды, продефилировали по улицам Лондона, выехали на арену и объявили, что готовы принять вызов каждого желающего сразиться. Их доспехи должны были производить эффектное впечатление и одновременно наводить страх. (Ведь недаром рыцарский шлем делался в форме капюшона палача со зловеще скошенными прорезями для глаз!) На подобные турниры — о них заранее широко оповещали публику — собирались тысячи зрителей. Это и неудивительно, если вспомнить о том, что люди всегда питали нездоровый интерес к боли и смерти, — тот самый интерес, смесь страха и желания, который и сегодня приносит славу, если не богатство, матадорам и трюкачам, исполняющим акробатические прыжки на мотоцикле. Хотя побежденный на турнире соперник мог остаться в живых (чаще всего так и бывало), самая жестокая разновидность современного футбола показалась бы по сравнению с турнирными боями развлечением для кисейных барышень. «Рассказ рыцаря» свидетельствует о том, как хорошо Чосер разбирался в этом смертоносном виде спорта, да и о том, пожалуй, как он к нему относился:

Закрыли круг, и клич пошел вдоль строя:
«Свой долг свершите, юные герои!»
Герольды уж не ездят взад-вперед,
Гремит труба, и в бой рожок зовет.
Вот в западной дружине и в восточной
Втыкаются древки в упоры прочно,
Вонзился шип преострый в конский бок,
Тут видно, кто боец и кто ездок.
О толстый щит ломается копые.
Боец под грудью чует острие.
На двадцать футов бьют обломки ввысь...
Вот, серебра светлей, мечи взвились,
Шишак в куски раздроблен и расшит,
Потоком красным грозно кровь бежит.
Здесь кость разбита тяжелой булавою,
А там ворвался витязь в гущу боя.
Споткнулся дюжий конь, что несся вскачь.
Тот под ноги другим летит, как мяч,
А этот на врага идет с древком.
Вот рухнул конь на землю с седоком.
Один пронзен насквозь и взят в полон
И, горемыка, к вехам отведен,
Чтоб ждать конца, как правила гласят,
Другой противной стороною взят *.

Несмотря на то что тут «потоком красным грозно

* «Кентерберийские рассказы», с. 96—97.

кровь бежит», «кость разбита», «один пронзен насквозь», Чосер описывает не смертельную схватку, а всего лишь спортивное состязание — турнирный бой на копьях с утолщенными наконечниками.

Турнир открывало парадное шествие вокруг арены — прообраз парада артистов и животных на манеже современного цирка. Как и в «Рассказе рыцаря», каждого выдающегося турнирного бойца сопровождала целая дружина соратников в прекрасных доспехах, на отборных боевых конях, с множеством ярких стягов, реющих над головами; кроме того, в шествии иногда участвовали трубачи, клоуны, породистые охотничьи собаки и экзотические звери. После парада начинались поединки. Герольды, разъезжая туда и обратно, объявляли имена соперников, коменданты турнира устанавливали исходные позиции для состязающихся, обговаривали правила ведения боя, количество его участников — два рыцаря, два десятка или целых две сотни. Подготовка каждого поединка занимала уйму времени, поэтому между сшибками закованных в сталь латников устраивались различные интерлюдии: выступления акробатов, дрессировщиков, жонглеров, клоунов, фокусников, плясунов — все то «шутовство», из-за которого, по убеждению лестерского монаха Найтона и ему подобных, бог и наслал на грешников чуму. Как только приготовления к бою завершились, громко трубили рожки (украшенные вымпелами деревянные духовые инструменты, секрет изготовления которых ныне утерян). И на ристалище воцарялась тишина. Разговоры смолкали, обрывались рукоплескания, и на арену с противоположных сторон выезжали участники поединка — рыцари со снятыми шлемами или поднятыми забралами и копьями, смотрящими вверх. Развлекавшие публику артисты сломя голову бежали с поля на трибуны, а кто замешкался — в безопасную зону «к вехам». С громоподобным шумом затворялись массивные ворота, отделяя ристалище от зрителей, и снова громко трубили рожки.

Поставленное в вертикальное положение копьё входило своим толстым концом в чашеобразный упор, который подвешивался на уровне стального рыцарского башмака; высотой оно было с современный телеграфный столб, да и по ширине тыльной своей части мало уступало ему — правда, древко у копья было долбленое. (Подобные копья сохранились повсеместно в Европе — их можно увидеть, например, в лондонском Тауэре.) Когда участник поединка был готов к бою — или когда средневековый

«рефери» подавал сигнал к началу схватки, — он с резким металлическим звоном опускал забрало, затем, как штангист перед рывком, делал глубокий вдох, с усилием поднимал копьё ещё выше, так чтобы его широкий стальной гребень лег ему на плечо, а толстый конец был прижат локтем к боку (при этом он слегка наклонял копьё вперед, показывая, что начинает атаковать), и, пришпорив коня, устремлялся в сторону соперника. Всадники на крупных, но резвых боевых конях, похожих на современных тяжело-возов клайдсдейльской породы, все быстрее скакали навстречу друг другу и постепенно опускали копьё с таким расчетом, чтобы в ударной позиции гребень прилегал к правому стальному нагруднику. Если рыцарь ошибался в расчете, его копьё неудержимо опускалось все ниже и вонзалось в землю или же не успевало вовремя опуститься до уровня головы либо груди противника, куда надлежало целиться. Если же расчет был верным, то противник, если ему не удалось отразить удар своим громадным щитом, вылетал из седла и грохался наземь. Сплошь и рядом наземь валились, громыхая доспехами, оба соперника. И всадник, и конь могли получить при таком столкновении тяжелые увечья, даже если на острие копьё насаживали большой шар, как это и было сделано в «Рассказе рыцаря» и как часто, но отнюдь не всегда делалось на проводимых в Англии турнирах, которые наблюдал, подавшись вперед, затаив дыхание и «болея» за своих любимцев, Чосер. Короче говоря, то был спорт не для слабых телом и духом, но для тех, кто обладал ловкостью, глазомером и не боялся больно расшибиться. Нечего и говорить, что поединок на заостренных копьях носил еще более жестокий характер. Хроники пестрят описаниями, подобными следующему:

«Затем вперед выступил англичанин, сквайр... при-
близясь к графу, он опустил перед ним на колено и просил дозволить ему сразиться на поединке, на что граф и дал свое согласие. Тогда сей сквайр вышел на поле, надел доспехи и взял копьё. Кларенс тоже вооружился копьём; они поскакали навстречу друг другу и сшиблись с такой силой, что обломки копий взлетели вверх над их головами. И во второй раз, и в третий раз повторилось то же самое: они сломали свои копьё. Все знатные лорды с обеих сторон сочли, что оба соперника явили образец воинского искусства. Затем сражавшиеся взяли свои мечи, очень большие, и, обменявшись шестью ударами, сломали четыре меча. Дальше они хотели драться на топорах, но граф не дал на то своего согласия, сказав, что они

и так уже показали себя и он не позволит им биться до конца»⁴.

Впрочем, в хрониках чаще встречаются перечни рыцарей, которые бились-таки до конца: убивали противника или погибали сами.

Король Эдуард, невысокий, узкий в кости, был тем не менее одним из величайших турнирных бойцов в мире. Уже одно это могло сделать его героем в глазах подданных, страстных любителей пышных зрелищ и отчаянно опасных игр. Но он, кроме того, был искусным стратегом (неудачно начав свою карьеру в пятнадцатилетнем возрасте в Шотландии, он стал потом опытным полководцем), дьяволом во плоти на поле боя, грозой своих врагов на суше и на море. Незадолго до того, как появился на свет Джеффри Чосер, огромный французский флот представлял постоянную угрозу берегам Англии. В 1338 году он совершил нападения на Портсмут и Саутгемптон, дерзко проплыл перед самым устьем Темзы и захватил на рейде Мидделбурга большой корабль «Кристофер» с четырьмя другими, поменьше; в 1339 году французы напали на Дувр и Фолкстон. А год спустя они были жестоко наказаны. Король Эдуард, находившийся на борту своего корабля «Томас», подплывал с малочисленным английским флотом к фламандскому побережью, как вдруг натолкнулся на французский флот, «который был столь велик, — сообщает нам Фруассар, — что корабельные мачты вздымались вверх подобно большому лесу». Английский король перестроил боевые порядки своей флотилии, выдвинув «самые крупные корабли, оборудованные для стрельбы из луков, вперед и поместив между каждыми двумя кораблями с лучниками корабль с тяжеловооруженными воинами». Три сотни латников и пять сотен лучников король отрядил охранять многочисленных знатных дам, плывших во Фландрию к королеве Филиппе. Затем, дождавшись попутного ветра и прилива, он велел поднять все паруса и направил свою флотилию в устье Слэйса. Солнце светило в глаза противнику, слепило его. Англичане яростно обрушились на французов, корабли которых стояли на якоре в гавани. Хотя на стороне французов было огромное превосходство, примененная Эдуардом тактика совместных действий лучников с латниками (он обучился этому приему в Шотландии) оказалась убийственно эффективной. Французы сражались упорно, но к утру оба французских флотоводца были убиты, а их флот уничтожен.

В 1346 году, когда Чосер под стол пешком ходил,

король Эдуард нанес французам еще более сокрушительное поражение. Изменив в последнюю минуту весь свой план военных действий (о том, было ли это блестящим стратегическим решением, можно спорить), он произвел высадку не в Бискайском заливе, где по первоначальному плану собирался соединить силы с Генрихом, графом Ланкастерским, старшим сыном слепого Генриха, а в Нормандии, где, по словам советника (цитируемым Фруассаром), англичанам «не окажут сопротивления: здешний народ не привычен к войне, а все рыцари и сквайры этого края осаждают сейчас вместе с герцогом Агийон; вы, сир, обнаружите в Нормандии большие города, не обнесенные стенами, где ваши воины возьмут такие трофеи, что им этого хватит на двадцать лет безбедной жизни». Замысел Эдуарда отличала характерная для него как полководца смелость. Он шел на риск повстречаться с куда более многочисленной армией французского короля Филиппа, а поскольку капитаны английских кораблей после высадки войска по обыкновению спешили убраться домой, ему грозила опасность, лишившись единственного пути к отступлению, подвергнуться окружению и разгрому. Но Эдуарду повезло: то ли ему, как всегда, помогал дьявол, то ли он располагал информацией, которой не располагают историки. Даже после того, как французы обнаружили его, Эдуард сумел с помощью отвлекающих маневров уклониться от сражения до тех пор, пока не занял идеальную для обороны позицию у Креси: с тыла его войско прикрывал лес Креси-ан-Понтьё, а прямо перед ним расстилалась широкая долина. Не прислушавшись к советам некоторых военачальников Филиппа и не обращая внимания на грозу, поднявшую в небо огромную стаю испуганно мечущегося воронья, безрассудно храбрые французские рыцари бросились в бой, навстречу выглянувшему из-за туч слепящему закату солнцу. В авангард выставили генуэзских арбалетчиков. Большие луки английских лучников били дальше генуэзских арбалетов, и генуэзцы, выпустив свои стрелы в воздух, в беспорядке отступили. По свидетельству Фруассара, французский король в ярости воскликнул: «Перебейте этих мерзавцев, чтобы они не путались у нас под ногами!» Французская конница лавиной накатилась на союзников-генуэзцев; рыцари топтали их конями, разили оружием, словно врагов, а дисциплинированные, организованные отряды лучников Эдуарда хладнокровно расстреливали и генуэзцев, и французоз, в то время как пешие английские воины ножами подрезали коням под-

коленные сухожилия и убивали валившихся наземь французских рыцарей — к вящему неудовольствию короля Эдуарда, который предпочел бы получить за них хороший выкуп.

Под Креси восторжествовали военные принципы Эдуарда, его представления об искусстве побеждать. Французская знать и аристократы, сражавшиеся на стороне Филиппа, воевали по старинке, верные кодексу индивидуальной рыцарской доблести, что вело к неоправданным жертвам. Фруассар рассказывает: король Богемии, почти слепой, просил своих рыцарей взять его с собой на битву, чтобы и он смог хоть раз взмахнуть мечом; тогда его вассалы связали своих коней поводьями, так что их король оказался во главе отряда; наутро все они были найдены мертвыми, а их кони так и оставались связанными. В отличие от французов и их союзников англичане сражались под началом Эдуарда как единое, послушное воле полководца соединение, состоящее из дисциплинированных и фанатически преданных королю воинов. Когда стало светать и все вокруг окутал густой туман, любая другая средневековая армия рассеялась бы, преследуя противника, — тут-то вот, возможно, ей и пришел бы конец. Англичане же по приказу Эдуарда подсчитали свои потери, оказали помощь раненым и приготовились к походу на Кале.

В глазах своих современников — людей, подобных молодому Чосеру, — Эдуард был идеальным королем, что бы ни говорили теперь о нем историки. Его превозносили до небес за великодушие. Несмотря на то что имущество изменника сэра Роджера Мортимера подлежало конфискации, Эдуард позволил сыну сэра Роджера Эдмунду (тому самому, которого венчали потом с малолетней дочерью графини Ольстерской) сохранить земельные владения в Уэльсе, а после смерти Эдмунда король пожаловал его сыну Роджеру поместья, посвятил его в рыцарское звание (за доблесть, проявленную в битве при Креси), принял в члены ордена Подвязки, возвратил ему все титулы и родовые имения, а в довершение всего добился отмены парламентом приговора об осуждении его деда. Сведущие люди при дворе считали Эдуарда III дальновидным политиком, да он и был таковым в действительности, хотя этот факт оказался заслоненным несчастьями, которые невозможно было предугадать, такими, как ранняя смерть его старшего сына Черного принца и злополучная судьба его внука Ричарда, сына Черного принца. Эдуард справедливо и мудро обращался со своими феода-

лами и поддерживал преданность в своих подданных не только собственным личным обаянием, но и такими удачными нововведениями, как замена феодального ополчения войском наемников — мера, избавившая его от вечного проклятия средневекового полководца, каковым являлась нестабильность армии, составленной из вассалов, которые имели законное право через сорок дней службы под знаменами своего сеньора возвращаться домой к сельским трудам. Но в первую очередь он обеспечивал верность подданных своей заботой об общем благе всех англичан. Эдуард мудро подбирал себе помощников: советников, военачальников, государственных служащих — и охотно передоверял им власть. Он избегал столкновений с парламентом и церковью, но при этом из всех сил старался не допускать ущемления королевских прав. И если он ошибочно полагал, что благодаря войне сбудутся самые большие надежды его королевства, то большинство англичан искренне разделяло это его заблуждение.

В эпоху Эдуарда люди с радостью и гордостью называли себя англичанами. Когда Эдуард встал у кормила правления, Англия была крайне слаба в военном отношении. А к тому времени, когда придворный служитель Джеффри Чосер удостоился лицезреть короля Эдуарда, английские воины, конные рыцари и пешие ратники, стали любимцами Острова колокольного звона. Английское рыцарство, руководимое Эдуардом, научилось с уважением относиться к простолюдинам — лучникам и пехотинцам, хотя это и не значило, что рыцари считали их ровней в социальном отношении. Храбро сражавшихся крепостных теперь регулярно отпускали на свободу — ранее ничего подобного не было и в помине. Во внутриполитической жизни люди незнатного происхождения обрели кое-какую власть в парламенте; судьи стали меньше свирепствовать, поскольку и пополнение войска, и финансирование войны во многом зависело от доброй воли простых людей. В результате в стране царило, несмотря на чуму, неурожай и упадок торговли, всеобщее, подчас почти что истерическое возбуждение; налицо был неслыханный прилив английского ура-патриотизма.

Как бы пронизателен и рассудителен ни был юный Джеффри Чосер, он, подобно любому англичанину, наверняка испытывал в присутствии короля Эдуарда трепет и волнение. Если он когда-либо считал короля неправым — в его творчестве нет ни малейшего намека на это, хотя другие поэты высказывали подчас крити-

ческие суждения, — то это была критика с позиций одержимо преданного королю вольнодумца. Чосер ни за что не согласился бы с современным историком, осуждающим Эдуарда за его любовь к показному. Он сказал бы, что любовь к показному предосудительна в простолюдине-ремесленнике (как он и говорит в «Общем прологе» к «Кентерберийским рассказам»), но что она является благородной добродетелью, украшающей такого человека, как герцог Тезей (в «Рассказе рыцаря» и поэме «Анелида и Арсит»), и тем более богоподобного Эдуарда III. Шестнадцатилетний Чосер был убежден — как были убеждены и англичане вдвое старше его, — что король Эдуард воплощает в себе идеального монарха, что для Англии он — бесценный дар небес. Если под влиянием отца, а позже принца Лионеля будущий поэт еще не стал преданным роялистом, он стал им в тот день, когда познакомился со своим королем.

Находясь при дворе графини, Чосер рано или поздно должен был познакомиться с гордостью и отрадой Эдуарда, любимцем всей Англии — молодым Эдуардом, принцем Уэльским, которого чаще называли при жизни «le Prince d'Angleterre» — «принц Английский», а историки эпохи Тюдоров окрестили впоследствии Черным принцем (ибо он сражался на турнирах в черных доспехах). По общему мнению, он был даже красивей своего отца, отличался такой же фанатической преданностью рыцарским идеалам, любил турниры, упоение боя, любил красивых женщин, умел, как и отец, внушить подчиненным чувство героической преданности, вдохнуть в них сверхчеловеческую отвагу. Он был героем битвы при Креси, а в 1355 году, назначенный наместником Гаскони, прибыл туда в сентябре с немногочисленным отборным войском (этаким громоздким средневековым эквивалентом современного десантно-диверсионного отряда), чтобы всячески беспокоить французов. Осенью он грабил и жег окрестности старинных городов Нарбонн и Каркассонн, после чего совершил опустошительный набег на средиземноморские провинции Франции. Ему не удалось выманить французские войска из укрепленных городов, но зато он сумел унижить противника, усугубить дезорганизацию Франции, подорвать ее ресурсы, на какое-то время укрепить верность гасконцев Эдуарду III и, конечно же, обеспечить добычей своих воинов. В следующем году двадцатилетний Черный принц предпринял поход еще дальше

в глубь страны — возможно, он хотел соединиться с Генрихом Ланкастером, сыном слепого Генриха, чтобы совместно нанести удар по центральным и северо-западным областям Франции. И вот 17 сентября 1356 года — Чосер в это время поступал на службу к графине Ольстерской — армия Черного принца, двигавшаяся походным порядком по бездорожью в сторону Пуатье под серым, низко нависшим небом (ее движение замедлял большой обоз — множество захваченных по пути крытых повозок, доверху набитых награбленным добром), столкнулась нос к носу с французским разведывательным отрядом. В последовавшем бою Черный принц, невзирая на слабую маневренность обремененного добычей войска, ухитрился взять пленных — двух французских графов — и двинулся дальше. Велика же была его досада, когда на следующий день он увидел перед собой всю французскую армию во главе с самим королем Иоанном Добрым. При виде горстки захватчиков французы не могли удержаться от смеха. Молодой Эдуард, стремясь выиграть время, вступил в переговоры. Был воскресный день, и папским нунциям удалось договориться о кратком перемирии.

В понедельник — такова версия большинства французских историков, как видно достоверная, — Черный принц попытался было поспешно ретироваться, но Иоанн обошел его с фланга. Французы имели пятикратное численное превосходство (эта цифра оспаривалась, но она почти наверняка правильно отражает соотношение сил), к тому же англичане были измотаны предыдущими боями и переходами и перегружены добычей, захваченной в набегах. Однако местность с ее многочисленными высокими, густыми лесами и виноградниками, еще не сбросившими листву, была чрезвычайно удобна для обороны, тем более что англичан отделяла от противника топкая низинка. Принц прибег к тактике, примененной его отцом в сражении у Креси: укрепись на возвышенности, и пусть солнце светит тебе в спину, а противнику в глаза.

Грянула битва, которая, судя по описаниям, была едва ли не самой продолжительной и ожесточенной за всю историю средневековья. Снова и снова англичане, дрогнув, обращались в бегство; снова и снова рыцарь в черных доспехах с поднятым забралом умолял, сыпал проклятьями, ободрял и воодушевлял ратников, останавливая бегущих и ведя их вперед за собой. Благодаря своей железной воле, отчаянной храбрости и фанатичной вере в божественную правоту и могущество англичан он, как никакой другой английский полководец со времен короля Аль-

фреда, сумел вдохновить своих воинов, поднять их боевой дух. Когда у английских лучников кончались стрелы, они выдергивали их из тел убитых и раненых и продолжали стрелять; когда у английских конников ломались копья, они дрались расщепленными обломками, потом — трофейными ножами, молотками и топорами, наконец — камнями. Такая совершенно фантастическая — если не сказать безумная — отвага оказалось непреодолимой: колонны огромной, закаленной в боях армии короля Иоанна расстроились и обратились в беспорядочное бегство. Бойня была неопишуемая, триумф англичан — ни с чем не сравнимым. Среди 1975 пленных, достаточно богатых, чтобы имело смысл сохранить им жизнь, были французский король, его младший сын, архиепископ, восемнадцать графов и виконтов и двадцать один барон.

На зиму Черный принц обосновался в Бордо; он принял предложение французов о перемирии и прислуживал пленному королю Иоанну, как заправский придворный служитель. В мае он переправил своих пленников в Плимут и устроил трехнедельное триумфальное шествие в Лондон: на протяжении всего пути его восторженно приветствовали плачущие от радости, истерично ликующие толпы; следом за головой процессии, точно сверкающий чешуей хвост дракона, тянулся поезд длиной в несколько миль — бесчисленные повозки с военной добычей.

Когда Чосер познакомился с ним, в этом прекрасном принце, вероятно, не было и намека на те перемены, которые произойдут с ним позже. В 1357 году он был весь воплощенная рыцарственность и красота. Но уже подстерегала его трагедия: болезнь, распад личности, отчаяние. В 1362 году, став суверенным правителем Гаскони, он назначил на все важные должности не гасконцев, а собственных своих приближенных — этот фаворитизм привел в дальнейшем к большим беспорядкам, а в конечном счете к отпадению Гаскони. Но это явилось скорее политическим просчетом, чем серьезным изъяном характера. В 1367 году он по-прежнему проявляет себя человеком благородных принципов: одержав — как всегда — победу в войне за возвращение престола Наварры королю Педро Жестокому, он тем не менее отказался выдать Педро его противников, которых взял в плен, так как ему было слишком хорошо известно, как тот поступил бы с ними. (Впоследствии они убили короля Педро.) Воюя в Испании, принц подцепил какую-то болезнь — возможно, туберкулез, — которая потом свела его в могилу. К 1370 году он до неузнаваемости изменился — не только физически, но и

душевно. К тому времени европейские вассалы и союзники короля Эдуарда стали один за другим откалываться от него. Поскольку наследный принц был болен — по-видимому, смертельно, — король связывал теперь свои надежды с младшим братом Черного принца, консервативным Джоном Гонтом, герцогом Ланкастерским (герцогство Ланкастерское досталось по наследству его жене от ее отца, графа Генриха). Исполненный отчаяния, подталкиваемый, быть может, ощущением близости своего смертного часа, Черный принц решил как следует проучить предателей, чтобы раз и навсегда отбить у них охоту переходить на сторону Франции.

Вскоре ему представился удобный случай: от англичан отпал Лимож, красивый и богатый город на Вьенне. Вопреки настойчивым уговорам Джона Гонта, который и по-братски, и по-дружески просил его не делать этого, Черный принц предпринял карательную экспедицию и лично возглавил ее. Его несли на носилках, и от каждого толчка его тело пронизывала нестерпимая боль. Большие городские ворота оказались запертыми, а на стенах дежурили горожане с самодельным оружием. Целую неделю принц, изможденный, мучимый лихорадкой, обливающийся потом и совсем потерявший сон, лежал в своем роскошном боевом шатре, проклятьями подгоняя своих воинов, которые вели подкоп под стену. Наконец, после того как зажгли деревянные крепления в подкопе, часть стены на рассвете обрушилась. Английские воины устремились в образовавшийся пролом, разя налево и направо немелкими защитников Лиможа. Служители, перешагивая через каменные обломки, внесли носилки с принцем в город. По его приказу воины начали избиение всех мужчин, женщин и детей в Лиможе. Слыша мольбы о пощаде, Черный принц демонстративно отворачивал лицо. Отлично зная, что город взбунтовали немногочисленные влиятельные вожаки, а простым горожанам ничего не оставалось, как подчиниться им, он тем не менее велел носить его с улицы на улицу по всему городу и наблюдал кровавую расправу над его стенающими подданными.

Второй сын короля Эдуарда, Уильям, умер в младенческом возрасте. С третьим сыном короля, принцем Лионелем, Чосер, как придворный его супруги, был, надо полагать, хорошо знаком. Из всех сыновей Эдуарда Лионель, пожалуй, наименее понятен как личность и труднее других поддается оценке. Историки чуть ли не в один голос пори-

цают его. Вот один пример: «Он был ленив, жесток и тщеславен. А так как он обладал красивой внешностью, его с детства баловали и портили женщины: сперва мать, потом жена и сменявшие друг друга любовницы»⁵. Если не считать обвинения в лени, то это же, разумеется, можно было бы сказать о каждом из сыновей Эдуарда (да и о самом Эдуарде) — все они были красавцы, их обожали женщины, ими восхищались мужчины, каждый был способен на жестокость, но также и на великодушные поступки. Родился Лионель в 1338 году в Антверпене, а свое романтическое имя, по-видимому, получил в честь Лиона Брабантского. Так как на сколько-нибудь значительную часть наследственных имений отца ему рассчитывать не приходилось, единственный шанс преуспеть заключался для него в удачном браке. Его женили на Елизавете Бер, внучке леди Елизаветы и единственной дочери Уильяма Бера, графа Ольстерского. С приданным ему, насколько мы можем теперь судить, крупно не повезло: среди прочего он получил в приданое номинальную власть над графством Ольстер, где тогда было, пожалуй, еще более неспокойно, чем ныне. Король Эдуард отправил его туда в качестве лорда-наместника (это произошло вскоре после того, как Чосер оставил службу у супруги Лионеля), и принц потерпел полное фиаско.

Правление его в Ирландии было явно тираническим. Ни одному ирландцу не позволялось приближаться к нему ни в дублинском замке, ни на улицах города. Он обложил своих подданных непомерно высокими налогами и никуда не выходил без многочисленных телохранителей — как утверждали, он разрешал этим головорезам совершенно безнаказанно творить насилия и грабежи. Всеми правдами и неправдами он добился принятия Килкеннийского статута, по которому запрещались всякие связи и родство, в том числе и браки между англичанами и ирландцами. Все это выглядит ужасно, но, вероятно, верно отражает широко распространенное тогда среди англичан отношение к ирландцам. Будь Лионель более умен и менее эгоистичен, он, может быть, и понял бы, что, потакая своим прихотям и предубеждениям, он сеет вражду, пожинать плоды которой придется грядущим поколениям. Но, увы, Лионель был копией своего отца Эдуарда, который, согласно одной довольно меткой характеристике, наряду с другими, более привлекательными мальчишескими чертами до старости «сохранял ребячливую нетерпеливость и близорукое пренебрежение к последствиям — готовность пожертвовать будущим ради настоящего, отдать чуть ли не все на свете

ради того, чего он в данный момент страстно желал»⁶. Если Черный принц, управляя Гасконью, проявлял все-таки больше благородства, великодушия и понимания, то это объяснялось отчасти и тем, что он не презирал до такой степени всех гасконцев, как Лионель — ирландцев. Лионель, подобно многим средневековым англичанам (об этом свидетельствуют хроники), ненавидел все ирландское: диковинные меховые одежды ирландцев, дикарские обычаи их военных вождей, их коварство и вероломство (качества, приписываемые им в основном незаслуженно). Когда в конце XIV века просвещенный Ричард II попытался, но без успеха, отнестись к ирландцам с пониманием и умиротворить их, его соотечественники-англичане отнеслись к его попытке с презрением.

Лионеля продолжал преследовать злой рок. После смерти графини Елизаветы его женили на красавице итальянке, наследнице рода Висконти и потенциальной наследнице львиной доли состояния ее дяди, правителя Милана. За невестой дали богатое приданое — два миллиона золотых флоринов, частично выплаченных авансом, и обширные поместья в северной Италии. Принц Лионель обвенчался с ней 5 июня 1368 года в Миланском соборе, а через четыре месяца отдал богу душу: согласно одной версии — из-за «неумеренного пристрастия к обильным трапезам в неурочное время», согласно другой — из-за того, что ему подсыпали в пищу яд.

Чосер познакомился с принцем Лионелем еще до его отъезда в Ирландию. Судя по всему, принц был маменькиным сыночком, хотя не обязательно в отрицательном смысле слова. Он не питал фанатичной любви к битвам и турнирам, но гордился своим старшим братом Черным принцем (сыновья короля Эдуарда даже в пору разногласий сохраняли душевную близость друг другу) и во многом подражал ему: в манере экстравагантно одеваться, заносчиво держать себя, ухаживать за женщинами. Лионель с его робкой натурой чувствовал себя уверенней в обществе матери и ее интеллектуальных друзей, чем в обществе героического воителя-отца, и разговорам о войне предпочитал разговоры о поэзии или живописи — предметах, в которых он лучше разбирался. Характер у него был меланхолический и уклончивый. Он чрезмерно много ел, чрезмерно много пил и избегал серьезных занятий, ссылаясь на отсутствие настроения или на приступы меланхолии. Какого мнения о нем был Чосер, нам не известно, но ясно одно: всю свою жизнь Чосер был предан семье короля Эдуарда (как и сами члены этой семьи были

в основном преданы друг другу, о чем единодушно сообщают нам все хроники). Любил Чосер принца Лионеля или недолюбливал — он, по всей вероятности, подобно королеве Филиппе, легко извинял его.

Как мы уже говорили, четвертый сын короля Эдуарда, Джон Гонт, был примерно одного с Чосером возраста, возможно его ровесник. Представляется крайне маловероятным, чтобы они не были знакомы в период с 1357 по 1359 год. Неизвестно, что они тогда думали друг о друге, но впоследствии Чосер станет изображать Джона Гонта в своих стихах образцом добродетели. Первая прославленная поэма Чосера — «Книга герцогини» — являла собой элегию на смерть жены Гонта, Бланш Ланкастер (дочери графа Генриха), и поэтическое выражение соболезнования Гонту. По внушающим доверие свидетельствам, Гонт и Чосер стали очень близкими друзьями. Их связывали впоследствии и родственные узы, но куда крепче были связавшие их узы подлинно братской дружбы.

Историки по традиции относились к Гонту неприязненно, прислушиваясь с большим доверием к враждебным голосам современников герцога, чем к восхищенному голосу Шекспира. Однако в наши дни исследователи стали склоняться к мысли, что Гонт — за исключением разве что своего тестя Генриха Ланкастера — был самым привлекательным человеком во всем королевском семействе. При этом он обладал и общими для всего семейства недостатками. Так, он был чрезмерно любвеобилен. Зато впоследствии стал образцом верности — сперва как любовник, а затем как муж Катрин Суинфорд. Вопреки утверждениям некоторых историков он вовсе не был профаном в ратном деле. Его «большой поход через Францию», который некоторые из нынешних историков расценивают как катастрофическую неудачу, в его собственное время считался великолепным образцом воинского искусства. Его многочисленные отступления и сомнительные компромиссы иной раз говорят о стремлении позаботиться о собственных интересах (вполне понятном в тех обстоятельствах), но прежде всего они говорят о том, что как полководец он больше думал о сохранении своего войска, чем о достижении победы любой ценой. Здесь нелишне вспомнить прославившую Черного принца битву при Пуатье, в которой его неистово храбрые воины дрались чем ни попадя, вплоть до камней, и вырвали-таки победу; он вступил в сражение только лишь потому, что

путь к отступлению был ему отрезан. Военные кампании Гонта в Испании, где в 80-е годы он с оружием в руках сражался за корону Кастилии, никоим образом не были «романтическими авантюрами», ни тем более корыстными попытками захватить чужой трон, как изображали дело предубежденные против него авторы (ведь Гонт, женившись на Констанции, принцессе Кастильской, получил, по понятиям той эпохи, достаточно веские основания претендовать на кастильский престол), — они, как и испанские войны его брата Черного принца, в первую очередь являлись попытками подчинить себе испанский флот и открыть второй фронт против Франции. Профессор Уильямс справедливо отмечает:

«Нам не известно ни единого случая, когда бы Гонт предал друга или отказал в помощи своему приверженцу. Зато нам хорошо известно, что он продолжал защищать Уиклифа после того, как разошелся с ним в вопросах веры, и даже после того, как защита этого реформатора стала непопулярным и опасным делом. Биограф Гонта Армитедж-Смит говорит о нем как о человеке, который почитал священными законы рыцарской чести, отличался безупречной «рыцарской скромностью» и львиной отвагой, высоко ценил ученость; в век, известный своей жестокостью, этот человек сумел оставить по себе память, «не омраченную никакими актами насилия и произвола», с сочувствием относился к бедным и униженным, совершил множество добрых и милосердных поступков и славился своим искренним и глубоким благочестием».

И Уильямс, опять-таки справедливо, добавляет: «Когда мы узнаем, что Чосер считал такого человека великим и добродетельным и гордился дружбой с ним, это не должно ни удивлять, ни возмущать нас. Скорее уж (если мы попытаемся взглянуть на дело глазами людей XIV столетия) было бы достойно удивления и даже постыдно, если бы Чосер проявлял неуважение к такому человеку»⁷. Пока на троне сидел любимец Англии король Эдуард и Англия была преисполнена самоуверенности (или самонадеянности), Гонт оказывал стабилизирующее влияние, выступая против военных излишеств, требовавших непомерных расходов и больших человеческих жертв. Когда же королем стал Ричард II и зарекомендовал себя сторонником непопулярной политики мира, упорным защитником королевских прерогатив и надменным интеллектуалом, который, похоже, больше всего на свете ненавидел растущее могущество своих крупных феодалов (стараясь при этом быть справедливым и действовать,

как подобает королю), Гонт выступал как влиятельный сторонник политики компромисса и терпимости.

Гонт был любителем умных мыслей и книг, защитником — притом чем дальше, тем больше — свободы научных исследований и покровителем искусств, окружившим, в частности, заботой Джеффри Чосера. Как и другие члены королевской семьи, Гонт глубоко верил в пользу интеллектуальных изысканий, — верил настолько убежденно, что, когда — много лет спустя — привлекли к суду по обвинению в ереси крупнейшего оксфордского ученого-богослова (еретических взглядов которого он не разделял), Гонт явился с войском, чтобы в случае необходимости силой оружия защитить то, что мы именуем теперь университетскими свободами. Достойным образом проявлял он себя и на турнирах, хотя так никогда и не стал столь же блистательным турнирным бойцом, как его брат Черный принц или отец. Подобно всем членам королевской семьи, Гонт являлся принципиальным сторонником пышного ритуала, ярких зрелищ, внешнего блеска; он считал постыдным объяснять нижестоящим свои решения; он мог безжалостно наказывать преступников, но никогда не бывал несправедливым (по средневековым понятиям). В отличие от своих родственников — например, от своего отца, чьи многочисленные хитроумные финансовые прожекты один за другим проваливались из-за лихоимства и нерадивости исполнителей, — Гонт был убийственно эффективен по части взимания причитающихся ему денег (во всяком случае, в личных своих делах). Отчасти по этой причине, отчасти из-за его пресловутого высокомерия — ведь он осмелился вмешаться во внутренние дела Лондона, когда там судили как еретика Джона Уиклифа, — отчасти же по другим, более сложным причинам восставшие в 1381 году крестьяне обрушили свою ярость в первую очередь на Савой — дворец Гонта в Лондоне. Но высокомерие Гонта предназначалось для недругов, а с друзьями он был совсем иным. Вот как характеризует его Чосер в «Книге герцогини»:

Тот рыцарь дивно говорил:
Он не вещал и не грозил,
Но речь свою искусно вел.
Я вскоре с ним знакомство свел,
Со мною был он мил, учтив,
Сердечен и красноречив,
Хотя носил на сердце горе...

В те годы, когда Чосер служил у графини, все помыслы Гонта были заняты войной. Вернее, войной и женщинами.

И если двум этим молодым людям — одаренному юному принцу и лукавому юному остроумцу, сыну виноторговца, — случалось разговаривать друг с другом, то чаще всего они говорили о войне и о женщинах. Старший брат Гонта незадолго до этого добыл в бою свой неслыханный военный трофей, самого короля Франции Иоанна, и, вернувшись с войны домой, наслаждался теперь обожаемым женщин и одаривал их своей благосклонностью, словно этакий великолепный черный шмель, перелетающий с цветка на цветок. В придворных кругах XIV века война и женщины были неразделимо связанными удовольствиями. То, что Чосер говорит в прологе к «Кентерберийским рассказам» о сыне рыцаря, юном сквайре, можно было сказать и обо всех молодых воинах той эпохи, да и не только той:

Он, несмотря на годы молодые,
Оруженосцем был и там сражался,
Чем милостей любимой добивался *.

Ведь в какой-то мере таков всеобщий опыт: мужчины, постоянно играющие со смертью, испытывают обостренную жажду удовольствий, а разве есть в жизни радость глубже и сильнее, чем любовь к женщине? Однако в позднее средневековье этот универсальный опыт, возможно, приобрел дополнительную остроту.

Согласно официальной — к тому времени изрядно устаревшей — церковной доктрине, любовь считалась грехом (так же как считалось грехом и насилие). Тот, кто предавался радостям любви, рисковал прямой дорогой угодить в ад на вечные муки, которые в жутких подробностях описывали художники XIV века, второстепенные английские поэты и священники в своих проповедях: жалящие змеи, чудовищное пламя, изобретательные в своем садизме черти, вооруженные новейшими итальянскими орудиями пыток. Но, с другой стороны, как явствовало из примера девы Марии, подлинно добродетельная женщина могла вдохновить мужчину на высокие и благородные дела. Во всей средневековой Европе имел широкое хождение отрывок из «Романа о Розе», в котором давалось такое объяснение: мужчина, влюбленный в даму великой добродетели, чистоты и праведности, может достичь благодаря ее «благосклонности» такой же, как у нее, степени добродетели, а потом подняться еще выше, согласно платоническому учению о том, что блага низшего порядка пробуждают душу к восприятию благ все более

* «Кентерберийские рассказы», с. 35.

высокого порядка, изложенному в платоновском диалоге «Пир» и использованному Данте в качестве центрального драматургического принципа его «Божественной комедии». Любовь к добродетельной женщине, точь-в-точь так же, как благородная и справедливая война, может спасти душу рыцаря для вечного блаженства. Напротив, «чувственность» в любви, стремление низвести любовь до удовлетворения похоти, до алчной эгоистической страсти, так же как несправедливая, неблагородная война — война, которая ведется за неправо дело или «грязными», нерыцарскими методами, — чревата погибелью. Таким образом, оба чувства: любовь к боям и любовь к женщине — тесно переплетались в сознании. Не только на турнире, но и на поле брани рыцарь носил талисман своей дамы сердца: пусть ее добродетель, ее облагораживающее влияние уберегут его от губительных отступлений от кодекса рыцарской чести. И пусть победа в битве, в которой он сражался с ее именем на устах и ради ее вящей славы, завоюет милостивую «благо-склонность» возлюбленной — и заодно убедит ее лечь к нему в постель. Для тех, кто всерьез верил в непреложность официального вероучения, роман воина с его дамой сердца был своего рода балансированием на канате над бездной адских мук, головоккружительно опасной игрой, волнующей, как рыцарский поединок. Ведение этой игры по всем правилам стало ритуалом, своего рода религией (во всяком случае, в поэзии, но в какой-то степени, вероятно, и в реальной жизни), так называемой любовной религией, или куртуазной любовью во всех ее бесчисленных формах и разновидностях.

Плантагенеты были большими специалистами в этом деле, хотя, разумеется, они, как люди достаточно просвещенные и свободомыслящие, относились к официальной доктрине с известным скептицизмом. Будучи потомками сатаны — эту роль они играли с истинным удовольствием, — Плантагенеты довольно легко смотрели в лицо смерти и перспективе адских мук. Но при всем том они получали огромное наслаждение от любовной игры. Ведь даже человека, глубоко убежденного в правильности основных идей учения религиозного реформатора Джона Уиклифа (что каждый должен сам изучать Писание и верить в милосердие Христа, а не папы) и уверенного в том, что бог есть любовь и терпение (а все члены семейства Эдуарда были уверены в этом), могли беспокоить — особенно по ночам — дурные предчувствия и опасения, и это придавало игре особую прелесть. План-

тагенеты (за некоторыми исключениями) старались показать, что они выше суровых предписаний ограниченной, устарелой официальной веры. Но оставались при этом щепетильно честными. У Черного принца было несколько незаконных детей (ни он, ни кто-либо другой при дворе не видел в этом особого греха), и он заботился о каждом из них. До женитьбы на Бланш Ланкастер Джон Гонт имел дочь от некой Марии Сент-Илэр — он постоянно заботился потом о благосостоянии обеих: матери и дочери. Когда Плантагенеты меняли любовниц, а меняли они их довольно часто (исключение составлял младший брат Гонта Томас Вудсток, впоследствии граф Глостерский, человек глубоко религиозный и, как видно, ограниченный), они не бросали их на произвол судьбы. Особенно внимателен был Гонт: он в течение всей жизни выказывал своим бывшим любовницам и внебрачным детям знаки любви и заботы и щедро их одаривал. По меньшей мере дважды в жизни он глубоко и верно любил — сперва Бланш, чью смерть Чосер оплакивал в «Книге герцогини», потом Катрин Суинфорд, которая двадцать пять лет была его любовницей, прежде чем он стал свободен и смог обвенчаться с ней.

При дворах, где вращался юный Гонт и где время от времени бывал в свите графини Чосер, достойные дамы с благородным сердцем имелись в избытке — об этом, как заботливая и великодушная мать, пеклась королева Филиппа. Она вышла замуж за Эдуарда III не только потому, что это был брак по расчету (выгодный для обеих сторон династический брак), но и потому, что любила его. Она продолжала самоотверженно любить его до самой смерти. Полагают, что это она незадолго перед тем, как отдать богу душу, помогла Эдуарду найти такую любовницу, которая любила бы его и заботилась о нем. Это была подопечная Филиппы Алиса Перрерс.

Филиппа и Эдуард познакомились в последние дни правления Эдуарда II, когда Эдуард с матерью, королевой Изабеллой, прожили неделю во дворце короля Эно в Валансьенне в качестве гостей короля, его супруги и их дочерей. Всю неделю Эдуард и Филиппа были неразлучны. Родители Филиппы и Изабелла радовались, глядя на них. Изабелле это давало шанс заручиться военной и финансовой помощью для задуманного ею вторжения в Англию вместе с Роджером Мортимером, и она тотчас же обещала, что Эдуард женится на Филиппе, как только его провозгла-

сят королем. Как рассказывала потом Филиппа своему старому другу Фруассару, в день отъезда Эдуард на прощание церемонно поцеловал ее, и она вдруг разрыдалась. Когда ее спросили, почему она плачет, она проговорила сквозь слезы: «Потому что меня покидает мой красивый английский кузен, а я так к нему привязалась». Эдуарду тоже запомнилась эта минута прощания. Когда сразу после коронации пэры и епископы объявили ему о предварительном сговоре с королем и королевой Эно, подросток король, рассмеявшись, сказал: «Мне приятней взять жену в Эно, чем где-либо еще, и тем более я рад жениться на Филиппе: нам с ней было так хорошо вместе, и она, помнится, заплакала, когда я прощался с нею». Обвенчали их в Йорке, в недостроенном соборе, где над их головами кружились занесенные внутрь ветром снежинки. С тех пор Эдуард и его королева счастливо жили в мире и согласии до самой смерти Филиппы.

Она родила Эдуарду дюжину детей: семерых сыновей и пятерых дочерей. Два ребенка умерли в младенчестве, а юная красавица Иоанна, любимая дочь, умерла от чумы в далекой французской деревушке по дороге в Кастилию, где должна была состояться ее свадьба. Ей шел шестнадцатый год. Много позже, в 1361 году — тогда Джеффри Чосеру было уже за двадцать, — чума неожиданно оборвала жизнь Маргариты, которую считали самой умной из королевских детей, а еще через несколько дней она скосила семнадцатилетнюю Марию, невесту герцога Бретонского. Еще одна дочь, Изабелла, — с нею Чосер, должно быть, часто виделся и разговаривал, — как видно, доставляла королеве Филиппе много огорчений. Она была упряма, вспыльчива, сумасбродна и своевольна, но Филиппа без памяти ее любила. Изабелла отвергла многих женихов, которых ей сватали. Один раз она была обманута женихом. И вдруг в возрасте тридцати двух лет Изабелла влюбилась во французского дворянина, прибывшего в Англию в свите плененного короля Иоанна. В 1365 году она вышла за него замуж.

К тому времени, надо сказать, у стареющей королевы Филиппы были и другие огорчения. Черный принц, старший ее сын, краса и гордость Англии, самый великолепный, самый завидный жених королевства, который мог бы составить блестящую партию, женился — не по династическому расчету, а по любви — на Иоанне, «прекрасной кентской деве», которая была подопечной Филиппы еще с той поры, как Роджер Мортимер, закулисный властитель страны в первые годы правления Эдуарда III, казнил ее

отца. В расцвете своих лет Иоанна слыла самой красивой женщиной в Англии, и, хотя в хронике говорится об этом несколько глухо, по-видимому, она и была той «графиней Солсбери», возлюбленной короля Эдуарда, чья подвязка сыграла столь важную роль при учреждении его знаменитого ордена. Еще в детстве она была помолвлена с графом Солсбери, но так и не стала его женой. Когда Иоанна воспротивилась настояниям Солсбери, он похитил ее, чтобы силой осуществить свои права по брачному договору, но тогда она призналась ему, что вот уже три года, как она тайно повенчана с его мажордомом Томасом Холлендом. (К тому времени она уже была возлюбленной Черного принца.) Позже, узнав о смерти Томаса Холленда в Нормандии, Иоанна поспешила к принцу, жившему в Беркамстеде. Ей было сорок лет, она располнела, ее легендарная красота поблекла, но принц, по-прежнему влюбленный в нее (по-прежнему исполненный благородства), отменил все возражения против их брака (возраст невесты; вероятная любовная связь Иоанны с его отцом; тот факт, что Черный принц был крестным ее сына) и поспешно послал за папским разрешением. Не дожидаясь, когда оно придет, он женился на Иоанне.

Королева Филиппа тревожилась. Она любила Иоанну, но не доверяла ей. Хотя Иоанна была известна своей добротой и мягкостью, она слишком уж любила показной блеск, слишком уж напоминала честолюбивую и неразборчивую в средствах выскочку. К тому же Филиппа опасалась, что сорокалетняя женщина не сможет родить здорового ребенка. Ее опасения, по-видимому, оправдались. Из Бордо пришла весть: у наследника английского престола родился ребенок. «Мало подвижен, — шептались при дворе. — И глаза странные». Эти слухи, по мнению некоторых историков, доходили и до Филиппы. (Многозначительно отсутствие упоминаний об этом в письменных источниках.) Как минимум можно предположить, что у младенца была монголоидная внешность. Упомянув о смерти ребенка, Стоу пишет: «Как говорили, дитя умерло далеко не сразу». Как бы то ни было, Черный принц горько переживал утрату. Но Иоанна Кентская забеременела вновь, и на сей раз все сложилось более удачно — так, во всяком случае, тогда казалось. Она произвела на свет смышленного, здорового мальчика с золотыми кудрями — будущего Ричарда II, человека, который в силу своей редкостной невезучести и просчетов в политике будет низложен.

Молодой Чосер станет хорошим знакомым Иоанны

Кентской, и не подлежит сомнению, что его возмутили бы неблагоприятные суждения, время от времени высказываемые о ней современными историками. Королева Филиппа могла неодобрительно относиться к этому браку, но, если бы она и впрямь недолюбливала Иоанну, ее преданный и послушный старый друг Фруассар никогда не позволил бы себе написать, что в Англии нет другой такой любящей женщины, как Иоанна, «известная всем своей красотой и богатством нарядов». Любящая натура этой миловидной, полной, усыпанной драгоценностями женщины сквозит во всех ее поступках. В 1381 году (Чосеру пошел тогда сорок второй год, он только что начал писать свои «Кентерберийские рассказы» и время от времени читал отрывки из них принцессе Иоанне и ее друзьям) Иоанна, взяв на себя роль посредницы, пыталась помирить Гонта с разгневанными лондонцами, которых сам Гонт не удостаивал своим вниманием, будучи то ли чрезмерно занят, то ли чрезмерно уверен в своей правоте. Некоторые рыцари, вассалы Иоанны, оказывали важное стабилизирующее влияние при дворе Ричарда, в то время как другие ее вассалы оказались в числе знаменитых «рыцарей-лоллардов», ревностных приверженцев богослова-реформатора Джона Уиклифа. Когда разгорелась ссора между Ричардом II и его несдержанным единоутробным братом Джоном Холлендом, которому Ричард пригрозил казнью, их мать Иоанна Кентская совершала частые и мучительно трудные поездки от одного к другому, стараясь уладить эту ссору. Ей так и не удалось примирить сыновей, и это, возможно, свело ее в могилу.

Помимо Иоанны Кентской и Алисы Перрерс — девушки, ставшей впоследствии любовницей Эдуарда, — в свите королевы Филиппы было немало подопечных и фрейлин; к концу 50-х годов многие из них уже имели свой собственный двор — например, Елизавета, графиня Ольстерская, у которой служил Чосер, и Бланш Ланкастер, первая жена Джона Гонта.

Отец Бланш, как я уже говорил, был сыном слепого Генриха и приходился кузеном Эдуарду III; после смерти Генриха он унаследовал титул графа Ланкастерского. Это был выдающийся полководец, прославившийся в войнах с шотландцами и французами; искусный дипломат на переговорах; советник, оказывавший благотворное влияние на короля и не раз отговаривавший его от жестоких поступков; один из лучших в Европе турнирных бойцов. Кроме того, он был самым богатым человеком в Англии — его ежедневные расходы составляли 100 фун-

тов стерлингов (24 000 долларов!) — и одним из наиболее глубоко и истово верующих христиан своего времени. Когда Генрих приехал во Францию для участия в грандиозном рыцарском турнире, французский король Иоанн Добрый, принимавший его со всеми почестями, предложил своему гостю богатые дары, но Генрих отказался от них и взял только колючку из тернового венка спасителя, переданную им впоследствии в дар соборной церкви девы Марии в Лестере. Незадолго до своей смерти — он умер в 1361 году от чумы — Генрих Ланкастер написал честную и трогательную книгу размышлений, которой дал название «Книга святых врачеваний».

Бланш, вторая дочь Генриха, по-видимому, во многих отношениях пошла в отца. Конечно, вряд ли можно ожидать, что в элегии на смерть будет нарисован точный портрет умершего человека, и поэтому портрет «Белой леди», созданный Чосером в «Книге герцогини», вероятно, в значительной мере идеализирован. Но несомненно и то, что хороший поэт не станет в элегии выдумывать, лгать — он лишь идеализирует те качества, которые имелись в действительности. Бланш, какой изобразил ее в своей элегии Чосер, являла собой воплощенную скромность, но не чуждалась общества людей; она была утонченна, благородно сдержанна, но вместе с тем весела сердцем, набожна, но без холодной строгости. Что бы ни писал Чосер для других дам, для Бланш он сочинял (когда познакомился с ней поближе, может быть не раньше 1361 года) стихи на религиозные темы. Так, согласно преданию, он написал по ее просьбе религиозную поэму «Азбука», представлявшую собой вольный перевод с французского. Стихотворение это всегда — и с полным основанием — считалось сугубо религиозным, но его привлекательность для современников Чосера заключалось в очевидном его родстве с поэзией куртуазной любви в ее наиболее одухотворенной форме. Да, по сути дела, «Азбука» Чосера и представляет собой образчик поэзии куртуазной любви. Посвящено стихотворение деве Марии, а одновременно (и только косвенно), может быть, и самой леди Бланш. Особый упор делается в нем на облагораживающем душу влиянии дамы, что в одинаковой мере свойственно как стихам в честь богородицы, так и куртуазной любовной лирике. Поэт молит лишь об одном: чтобы ее совершенство помогло ему приблизиться к богу; однако молитва его облекается в довольно нетрадиционную форму. Например, поэт говорит:

Ты — вся моя надежда на спасенье.
Как часто, обратясь к тебе в беде,
Я обретал души успокоенье.
Заступница, на высшем том суде
Я, грешный, буду осужден на муки,
Коль снова ты не явишь милость мне.
Возьми мой дух в свои благие руки,
Коря, наставь, исправь меня вполне.

Обращение поэта к деве Марии с просьбой корить его и исправлять, чтобы помочь ему уберечься от грехов и заблуждений, явно принадлежит в большей степени традиции куртуазной лирики, чем церковной поэтической традиции. И хотя не следует делать никаких далеко идущих выводов из оброненного поэтом в «Книге герцогини» и, возможно, шутливого замечания о «восьми годах» безответной преданной любви к некоей даме, одно то, что Чосер перевел для Бланш возвышенно-тонкую «Азбуку», говорит о дружбе между ними, возникшей задолго до смерти Бланш и создания посвященной ей элегии.

Если по отношению к Бланш Джеффри Чосер испытывал чувства дружеской привязанности и восхищения, то у нас есть все основания полагать, что с другими молодыми дамами он, возможно, позволял себе больше. На склоне лет он признавался, что написал «немало песен, непристойных лэ». У нас нет причины ставить под сомнение это признание пожилого Чосера. Почтенному поэту, который был всем известен своим благочестием, исполненным глубокого достоинства и чуждым фанатизма, не было смысла наговаривать на себя, присваивая себе грехи, которых он не совершал, и превращать безобидные песенки в «непристойные лэ». Кроме того, друг Чосера поэт Джон Гауэр поведал в стихотворении, написанном в расчете на читателей, близко знавших Чосера, что в «расцвете младости» тот был поклонником и певцом Венеры и полнил доли звуком «развеселых песен». Даже если по своему душевному складу Чосер не был покорителем женских сердец, атмосфера, царившая при дворе, обрекала его на это. Как указывал Дж. Дж. Коултон, сами условия жизни дворов, при которых довелось служить Чосеру, были таковы, что любовь, платоническая дружба, пылкая страсть, утоленная и безответная, становились чем-то «не просто естественным, а прямо-таки совершенно неизбежным». «В тесном мирке средневекового замка, — писал далее Коултон, — повседневное общение было тем теснее, чем выше и неодолимей — по сравнению с сегодняшним днем — были иерархические социальные барьеры; в обществе, где ни он, ни она не

могли всерьез помышлять о браке, королева Кэт могла с тем большим удовольствием слушать любовную песенку паж, кормящего собак»⁸.

Две знатные дамы, которым предстояло занять важное место в жизни Джеффри Чосера, были дочерьми сэра Паона Розта, шевалье из королевства Эно. Розт состоял на службе у королевы Филиппы со времени ее переезда в Англию, а впоследствии находился в ее свите во время осады Кале; между прочим, он был одним из двух рыцарей, которым было поручено проводить из английского лагеря горожан, спасенных Филиппой от гнева Эдуарда. Кроме того, ему довелось служить и при дворе сестры королевы Филиппы Маргариты, императрицы Германии и графини Эно. Одна из дочерей сэра Паона, Катрин, вышедшая замуж за Томаса Суинфорда, стала впоследствии любовницей, а много лет спустя и женой Джона Гонта. А ее сестра Филиппа стала — наверное, накануне 1366 года — женой Джеффри Чосера.

Время от времени высказываются догадки — вероятно, небезосновательные — о том, что роман между Чосером и Филиппой начался еще примерно в 1357 году. Эта версия строится на ряде записей в расходных книгах графини Ольстерской о подарках, сделанных фрейлине по имени Филиппа Пан. Если верна гипотеза, что «Пан» — это сокращенное написание фамилии «Пэон», то тогда Чосер и Филиппа познакомились в ранней юности, и вполне возможно, что некоторые из своих любовных песен Чосер посвятил знатной, теоретически недосыгаемой для него Филиппе.

Пожалуй, тут будет излишне внести ясность в один вопрос. Исследователи сплошь и рядом выступают с возражениями против самой мысли о том, что Чосер, как и всякий пылкий юноша в его окружении, отдал — и в жизни, и в поэзии — дань поклонения Венере. Спору нет, Чосер не раз заявлял в своих стихах, будто он ровным счетом ничего не смыслит в любви. Так, в «Троиле и Хризеиде» Чосер называет себя слугой служителей Любви, потому что сам он, мол, полный профан при дворе Купидона. Начиная с «Книги герцогини», самой ранней из его великих поэм, и вплоть до самых поздних его вещей он всюду изображает себя человеком, до смешного неудачливым в любви, которой посвятил себя трудам благочестия по той, дескать, причине, что его отвергли женщины. Поскольку Чосер снова и снова занимает такую позу, это может означать одно из двух — нет, из трех. Или он говорит правду, шутливо извиняясь за то, что

в силу неумения или набожности не принимает участия в обычной придворной любовной игре; или он, говоря правду, вежливо поддразнивает знатных дам (некоторые его слушательницы и покровительницы были знатнейшими из знатных — Елизавета, графиня Ольстерская, Бланш Ланкастер, королева Филиппа, королева Анна); или же он рассчитывает насмешить своих слушателей, которым прекрасно известно, сколь далеки от истины его слова о собственной неопытности в делах любви. У меня нет никакого сомнения о том, что верно именно это последнее объяснение. В ранних вещах любовные жалобы Чосера менее традиционны и явно представляют собой, во всяком случае на мой взгляд, искренние попытки обольстить возлюбленную. В них он не только восхваляет и льстит, как это делают авторы французских и итальянских любовных стихов того времени, но и дразнит, смущает и намекает, как это издавна делали опытные соблазнитель. Более того, ни один поэт во всей истории английской литературы не умел так жизнелюбовно, без тени стеснения воспевать радости плотской любви, как это делает Чосер, например, в «Рассказе мельника», «Рассказе мажордома» и так далее. Взять хотя бы тот восхитительно сочный эпизод из «Рассказа мажордома», в котором студент обманом овладевает мельничихой. Первый студент, Алан, залез в постель к мельниковой дочке, и тогда второй студент, Джон, счел своим долгом взобраться на Мельникову жену. Воспользовавшись тем, что в комнате, где все они легли спать, крошечная тьма, Джон переставляет колыбель с младенцем, стоявшую в ногах кровати, на которой спали мельник с женой, к своей собственной кровати. И вот что из этого вышло:

От рези мельничиха пробудилась,
Пошла во двор и вскоре воротилась.
Постельки сына не найдя на месте,
Зашарила во тьме, куда же лезть ей,
«Уж не студента ль здесь стоит кровать?
Да сохранит меня святая мать.
Вот было б скверно! — шепчет, ковывая, —
Да где ж он? Фу-ты, темнота какая».
Вот колыбель она с трудом нашла,
Дитя укутала, в постель легла
И только что заснуть уже хотела —
Был Джон на ней и принялся за дело.
Давно уж мельник так не ублажал
Свою жену, как ловкий сей нахал.
И так резвились без лишних слов
Студенты вплоть до третьих петухов *.

* «Кентерберийские рассказы», с. 141.

Впрочем, Чосер знает отнюдь не только физическую сторону любви. Поэма «Троил и Хризеида» вошла в сокровищницу английской литературы как одна из двух-трех лучших повествовательных поэм, в частности, и благодаря тому, что в ней предпринят подробный и мудрый анализ чувства любви: как приходит любовь к мужчине и женщине и как она преобразует их. Сила впечатления прямо зависит тут от восприятия поэмы в целом, поэтому никакой отдельно взятый отрывок не даст читателю должного представления об этом анализе, но мы попытаемся проиллюстрировать творческий метод Чосера одним примером. Хризеида на протяжении долгого внутреннего монолога обсуждает сама с собой вопрос, позволительно ли ей будет влюбиться в молодого принца. Она рассматривает этот вопрос подробно, со всех сторон, рассуждает очень тонко и искусно, но так и не приходит ни к какому решению. Наконец она ложится спать, по-прежнему мучимая сомнениями. И происходит следующее:

А за окном распахнутым, в саду,
Так шелкал соловей и заливался,
Как будто бы в восторженном бреду
В любви невесте милой признавался.
Покой блаженный в душу ей вливался,
Навеянный влюбленным шелкуном,
И вот она забылась крепким сном.
Приснилось ей: орел в окно летит,
Уж он на ней, прекрасен и силен.
Как горлицу, он грудь ее когтит.
Все глубже боль — и вырвал сердце вон,
А в грудь свое вложил ей сердце он.
Затем с добычей-сердцем в небо взмыл.
Ей этот сон совсем не страшен был.

После пассажей вроде этого — а их в поэме великое множество — трудно принять всерьез уверения Чосера, будто он ничего не смыслит в любви, не имея личного любовного опыта.

Разумеется, в XIV веке любовь была классической темой поэзии (хотя и не всегда, как мы видели, любовь является истинной темой поэта). Повсюду в придворных кругах, как мог наблюдать молодой Чосер, главной фигурой, вызывавшей наибольшее восхищение, был покоритель женских сердец — король Эдуард, Черный принц, Лионель, Джон Гонт. Разве можно было юноше семнадцати или восемнадцати лет от роду не подпасть под их влияние, тем более что любовные истории, происходившие у него на глазах, были отмечены рыцарственностью и своеобразной верностью? Разве можно представить себе,

чтобы мужчина далеко не безобразной внешности (как это нам известно по его портретам), исключительно тонко понимавший женщин (как это нам известно из его поэм), обладавший, по отзывам хорошо знавших его людей, удивительным благородством и обаянием и занимавший в более поздние годы положение чтеца поэзии при крупнейших дворах Англии, равнозначное положению современного знаменитого исполнителя, — разве можно представить себе, чтобы такой мужчина не мог нравиться женщинам? И главное, откуда бы ему так много было известно об интимнейших отношениях мужчин и женщин? И последнее: как бы ни истолковывали мы «Отречение», помещенное в конце «Кентерберийских рассказов», — как предсмертное покаяние в грехах (в грехе сочинения стихов, которые манили парочки влюбленных в леса), как тщательно продуманную эстетическую концовку после «Рассказа священника» или как хитроумный способ перечислить важнейшие свои произведения, — «Отречение» не оставляет сомнения в том, что Чосер считал тему полнокровной любви одной из главных тем в своей поэзии, ранней и поздней. В сущности, Джеффри Чосер придавал физической любви первостепенное значение — ей и тому обострению всех чувств и подъему душевного благородства, которые ей сопутствуют, как это бывало у молодого Троила:

Троил рубился в многих битвах славных.
Врагов бесчисленных повергнул в прах.
Он не имел на поле брани равных —
Лишь Гектор наводил подобный страх.
Он с именем любимой на устах
Бросался в бой — за благосклонность милой.
Любовь ему утраивала силы.

В дни мира знал Троил одну заботу:
В лихих утехах время проводил.
То с соколами ехал на охоту,
То на медведя, вепря, льва ходил.
Натешась, в город свой въезжал Троил.
Там, в трепетном волнении, у окна
Нежна, как лань, ждала его она.

Ценил он в людях честь и благородство
И должное достойным воздавал,
Но не терпел душевного уродства.
В беду попавшим помощь подавал.
Когда Троил про подвиг узнавал,
Который был любовью вдохновлен,
Всем сердцем пылким радовался он.

В 1359 году — согласно собственному его заявлению, сделанному на судебном процессе Скроуп — Гроувенор 1386 года, где он давал свидетельские показания по вопросу о геральдическом старшинстве, — Чосер ушел на войну. Все время, с момента ухода на войну и до того момента, когда он заявил на суде, что «в течение двадцати семи лет носит оружие», Чосер был — по крайней мере в формально-юридическом смысле слова — солдатом, воином. Однако фактически он, по-видимому, участвовал с оружием в руках лишь в немногих кампаниях, включая зимнюю кампанию 1359—1360 годов, так как впоследствии он, как известно, служил главным образом на дипломатическом поприще.

После того как Черный принц взял его в плен в битве под Пуатье, король Франции Иоанн пребывал в Англии. Он жил на широкую ногу, чаще всего в Линкольншире, в окружении многочисленной свиты. При нем состояло более сорока человек служителей: два священника, секретарь, причетник, лекарь, метрдотель, три пажа, четверо старших челядинов, три хранителя гардероба, три меховщика, шесть конюхов, два повара, фруктовщик, хранитель пряностей, брадобрей, мойщик, главный менестрель (в чьи обязанности входило также изготавливать музыкальные инструменты и часы), шут и так далее. Вместе с королем жил и его сын Филипп, плененный в той же битве. Иоанна и в плену окружала роскошь: шпалеры, драпировки, подушки с дорогим шитьем, инкрустированные ларцы, вина, пряности, сласти (до которых он был большой охотник), бесчисленные мантии, одна богаче другой — на меховую оторочку одной из них пошло 2550 шкур овец, — и многое, многое другое. Он проводил время, музицируя, играя в шахматы и в триктрак; его сын заполнял свой досуг, охотясь с гончими и соколами, наблюдая петушинные бои. Иоанн устраивал пиры и посещал все большие английские пиршества, но его столь приятное пребывание в Англии нисколько не способствовало разрешению спора между Англией и Францией, где вместо Иоанна правил теперь молодой дофин Карл. И тогда Эдуард III, по-прежнему претендовавший на французскую корону, которую, по его мнению, он должен был унаследовать по линии своей матери королевы Изабеллы, решил, что пора внести в это дело полную ясность.

Медленно и тщательно готовился он к решительному удару, и наконец осенью 1359 года его военачальники во всех концах Англии начали собирать свои полки. По приказу короля значительная часть зерна нового урожая

была переправлена в портовые города Кента. Ведь во Франции вряд ли можно будет прокормиться: набег английских летучих отрядов, подобных тому, что случайно захватил в плен короля Иоанна, вконец разорили ее тучные нивы. По всей Англии дети заготавливали прутья и жерди, из которых делались луки, стрелы, пики и копья. Из Уэльса и Динского лесного края прибывали в восточную Англию лесорубы, говорившие на чужеземной тарбарщине, — они валили тут лес, предназначенный для изготовления повозок, фургонов и кораблей. По сообщению Фруассара, было сооружено восемь тысяч повозок, каждую из которых запрягали четверкой лошадей, реквизированных в английских деревнях. В армию насильно забирали кузнецов: они должны были изготавливать переносные мукомольни, жаровни, подковы, оружие. Мясники получили предписание сдавать определенную часть шкур забитого скота дубильщикам, которым вменялось в обязанность изготавливать из этих шкур кожу для обуви и обтягивания рыбацких лодок, необходимых для того, чтобы обеспечивать войска съестным по постным дням. Корабельные компании передали в распоряжение короля лучшие свои суда: корабли-углевозы с Тайна водоизмещением в двадцать тонн и торговые суда из портов восточной Англии водоизмещением в пятьдесят тонн. Кроме того, были построены новые корабли, такие, как флагман «Новая св. Мария» водоизмещением в триста тонн — команда судна составляла сто человек.

И вот 28 октября 1359 года, «в час между рассветом и восходом солнца», весь цвет мужского населения Англии, включая Черного принца, Лионеля и Гонта (и Джеффри Чосера), — в общей сложности около ста тысяч человек, если верить подсчетам современников, хотя только тысяч пять из них были в прямом смысле слова воинами, — отплыв от родных берегов, направился через Ла-Манш во Францию. Это была самая большая армия вторжения, которую когда-либо собирал под своими знаменами Эдуард III; ее многочисленность, как выяснилось потом, только мешала делу.

Генрих Ланкастер, тесть Гонта, переправившийся со своей армией через Ла-Манш за несколько месяцев до этого, столкнулся в Кале с непредвиденными трудностями. В городе сложилось бедственное положение в связи с тем, что многие феодалы и рыцари из разных краев, старые союзники короля Эдуарда, снарядили своих боевых коней, надели доспехи и прискакали с толпой служителей в Кале дожидаться английского короля, который, как предпола-

лось, должен был прибыть в августе месяце. Эдуард в назначенный срок не прибыл, зато со всех сторон продолжали стекаться все новые искатели приключений, которые «не знали, где им разместиться и куда поставить коней; к тому же хлеб, вино, сено, овес и прочие припасы вздорожали и исчезли, так что их нельзя было более купить ни за серебро, ни за золото; но постоянно шли разговоры, что король прибывает на будущей неделе». Для того чтобы прожить в Кале, где установилась неслыханная дороговизна, искатели приключений были вынуждены распродать все, что имели: коней, седла, упряжь и оружие. Когда в Кале явился Ланкастер с «четырьмя сотнями конников и двумя тысячами лучников» (по явно завышенной оценке Фруассара), им негде было остановиться и нечем было питаться, если не считать продовольствия, взятого ими с собой. Они не имели возможности пополнить запасы своих добровольных союзников, которые к этому времени успели настроиться по отношению к англичанам весьма враждебно. Ланкастер решил выиграть время.

«Благородные лорды, — обратился он к союзникам, — мало проку сидеть здесь сложа руки. Я пойду в глубь Франции и посмотрю, что можно добыть там. Посему, господа, я призываю вас отправиться в поход со мною; я же со своей стороны передам вам определенную сумму денег, дабы возместить расходы, которые вы понесли, живя здесь, в городе Кале, и распорядюсь предоставлять вам необходимое содержание, чтобы вы могли воевать». Союзники приняли это предложение, Ланкастер, как и обещал, выложил кругленькую сумму наличными, и весь этот разношерстный сброд отправился грабить города и села Франции. Впрочем, грабить было почти нечего. Войско штурмом взяло город Брай-сюр-Сомма и, не найдя там никакой поживы, направилось дальше, к Серизи, где добычи оказалось лишь немногим больше. Здесь воители Ланкастера провели канун дня всех святых, а на завтра узнали о прибытии короля в Кале. Повернув обратно, они повстречались в четырех лигах от Кале «с таким великим множеством людей, что вся земля вокруг, насколько мог охватить взор, была затоплена ими; зрелище этих вооруженных до зубов воинов в новеньких, сверкающих на солнце доспехах, которые стройными рядами ехали на легких рысях под развевающимися стягами, радовало глаз». Среди этого «великого множества людей» ехал — в камзоле и легком железном шлеме, в ливрее слугителя принца Лионеля, как о том можно

было догадаться по цвету воротника и рукавов, — двадцатилетний поэт Джеффри Чосер.

Эдуард не мог предложить искателям приключений ничего лучшего по сравнению с тем, что предлагал Генрих Ланкастер, но он уговорил их отправиться вместе и довольствоваться тем, что пошлет им судьба. Медленно тащившиеся, неповоротливые повозки с провиантом, запряженные ломовыми лошадьми, и ехавшие шагом тяжело-вооруженные рыцари замедляли темп продвижения войска, которое делало не более девяти миль в день. Эта гигантская орда двигалась тремя параллельными колоннами, и там, где они проходили, на земле, брошенной жителями, оставался широкий вытопанный след, мусор, пепел. Многие искатели приключений, продавшие коней ради пропитания или забившие их на мясо, шли теперь пешком. Отряд Лионеля, в котором состоял Чосер, продвигался вперед в боевых порядках фланговой армии под командованием Черного принца. Целыми днями ехали они, не встречая ни души: ни одного французского воина, ни одного крестьянина. В какую бы сторону ни вглядывался Чосер, которому с непривычки мешала смотреть передняя часть шлема, прикрывающая нос (кстати, шлем, плотно прилежавший к ушам, мешал и слышать: все звуки доносились слабо, приглушенно), повсюду вокруг простиралась голая, выжженная земля без признаков жизни — разве что привидится иной раз серый дымок на горизонте. Посевы, хижины, целые города были превращены в сплошное пепелище — кое-где это сделали англичане во время предыдущих набегов, кое-где — сами французы, не желавшие облегчать жизнь захватчикам. Когда Чосер в составе небольших разведочных отрядов выезжал на поиски фуража и продовольствия, им приходилось все дальше и дальше отрываться от основных сил. По мере того как армия шла и шла по опустошенной территории, иставляли запасы съестного в ее длинных обозах и три громадных войсковых колонны были вынуждены все увеличивать расстояние между собой. Как нам известно из «Скалахроники» сэра Томаса Грея из Хетона, Черный принц со своим войском «...избрал путь на Монтрей и Эсден и далее через Понтье и Пикардию, переправился через Сомму и, миновав Нейи и Ам, подошел к Вермандуа; поблизости от этого места воины из свиты принца пленили в бою рыцаря Бодуэна Докена, начальника арбалетчиков Франции, вместе с другими французскими рыцарями, которые напали ночью на лагерь графа Стаффордского, отважно защищавшегося... Итак, принц проследовал дальше этим путем, через Сент-

Квентен и Ретьери, где французы сами сожгли свой город, чтобы помешать продвижению неприятеля; однако войско принца переправилось главными силами через реку у Шато-Порсен...»⁹.

Нам также известно, что Чосер находился именно на этом фланге и что только колонна Черного принца прошла данным маршрутом. Вскоре после битвы под вышеупомянутым Ретьери Чосер, отправившись в очередную фуражировку, наверное, попал в засаду. Французы захватили его в плен и потребовали выкупа. Через много лет Чосер засвидетельствовал на судебном процессе Скроупа, что незадолго до своего пленения он видел сэра Томаса Скроупа «перед городом Реттерсом» и тот носил такие-то и такие-то гербы. Ученые спорили о том, какой город следует отождествлять с упомянутым Чосером «Реттерсом» — Ретье в Бретани или Ретель в Арденнах; однако подробности, приведенные сэром Греем в «Скалахронике», по-видимому, позволяют дать однозначный ответ на этот вопрос: никакой отряд из армии Эдуарда не проходил вблизи от Ретье в Бретани. Названного Греем «Ретьери» больше нет на карте, но когда-то этот город, видимо, существовал: Шато-Порсен находится неподалеку от Ретеля.

Чосер попал в плен уже после того, как армия Эдуарда подступила к Реймсу и начала осаду, поскольку в показаниях на процессе Скроупа он прямо говорит, что проделал «весь поход», иными словами, дошел до самого Реймса. Должно быть, его пленили где-то между 4 декабря 1359 и 11 января 1360 года. А 1 марта 1360 года, когда еще продолжалась осада Реймса (город капитулировал 8 мая), Чосер был выкуплен, причем сам король уплатил за него 16 фунтов стерлингов (3840 долларов). По всей вероятности, это была лишь часть общего выкупа. Т. Р. Лаунсбери отмечал в конце прошлого века:

«Документ составлен в таких выражениях, что остается неясным, идет ли речь о всей сумме выкупа или о ее части. Естественнее предположить последнее... Высказывались, однако, и не слишком благожелательные замечания по поводу суммы, уплаченной королем за него. Сумму эту сравнивали с другими расходами, фигурирующими в том же перечне, делая весьма неблагоприятные выводы о его величестве как ценителя литературы. Из этих сравнений явствует, что примерно в то же время король отдал Роберу де Клинтону шестнадцать с лишним фунтов за коня и Иоанну де Беверли — двадцать фунтов за боевого коня. Но ведь Чосер был выкуплен, какое бы отношение ни имел

к его выкупу король, не как поэт, а как воин: в расчет принимались его боевые качества, а не литературные способности. К тому же критика такого рода основывается на ошибочном представлении о сравнительной ценности людей и коней. В истории человечества не было такого периода, когда бы за освобождение среднего человека, этой довольно безликой фигуры, давали такую же цену, как за хорошего коня»¹⁰.

Данные о том, что Чосер, служивший под началом Лионеля, находился в составе войска Черного принца, а не в главных силах Эдуарда и что, будучи выкуплен из плена, он вернулся на службу к принцу Лионелю и отвозил по поручению последнего письма из Кале в Англию (за что ему было выплачено 24 фунта 10 шиллингов 8 пенсов), подтверждают догадку Лаунсбери о том, что взнос короля составил лишь часть выкупа, а другую его часть, наверное, выплатил принц Лионель. Как бы то ни было, Чосера выкупили по тем обстоятельствам довольно быстро. В свой отряд он вернулся, вероятно, под Гийомом в Бургундии, отвез в Англию письма Лионеля, затем вернулся с ответными письмами и после подписания 18 мая в Бретиньи мирного договора отплыл вместе с сыновьями короля домой в Англию.

Победа короля Эдуарда, как и многие другие победы, одержанные во времена его правления, оказалась иллюзорной: англичане победили на поле боя, где они были сильнее, но не сумели воспользоваться плодами победы за столом переговоров, где никто из них, даже граф Генрих, не могли состязаться в искусстве дипломатии с французами. Переговоры затягивались. (Вопреки мнению некоторых исследователей Чосер, судя по всему, отвозил в Англию сугубо частные письма Лионеля, которые не имели никакого отношения к заключению договора.) Наконец была установлена сумма выкупа за короля Иоанна — 30 миллионов фунтов стерлингов (7,2 миллиарда долларов). Впрочем, Англия так никогда и не получила этих денег — они текли в ее казну маленькой струйкой, да и та вскоре иссякла. В разгар весны, когда Эдуард собирался возобновить свое наступление на Париж и победно завершить войну, над его войском разразилась необыкновенной силы апрельская гроза. По сообщению Холиншеда, к концу дня в этот «черный понедельник» гигантскими градинами и молниями, беспрерывно бившими в землю, было убито или ранено до тысячи рыцарей и шесть тысяч коней. Объятый религиозным ужасом, Эдуард поклялся перед богом без промедле-

ния заключить мир и отказался от всяких притязаний на французскую корону. Впоследствии он, правда, переменит свое решение.

Что до Чосера, то, по версии многих историков, он увидел войну вблизи, во всей ее неприглядности, и утратил все иллюзии относительно воинской славы, во всяком случае в том, что касалось лично его. Не думаю, чтобы это было так. Спору нет, Чосер был человеком мягким. Но разве избегал он в своих стихах сцен насилия, будь то узаконенное насилие войн и турниров или драка пьяного старика мельника с двумя кэмбриджскими студентами? Ведь он был англичанин. Можно не сомневаться: он гордо носил свой меч (иначе и быть не могло, раз он вращался в придворных кругах) и уж когда пускал его в дело, то, обладая необходимой придворному выучкой, размахивал им не без изящества и с намерением сразить врага. Но пора размахивать оружием кончилась, и мечи были вложены в ножны, во всяком случае временно. И вот Чосер, то ли следуя совету какого-нибудь своего покровителя из числа членов королевской семьи, то ли прислушавшись к собственному внутреннему голосу, а вернее всего, по обоим этим причинам, избирает более оседлый образ жизни — он становится студентом. Принц Лионель умчал в Ирландию чинить произвол над местными жителями. Чосер почтительно откланялся, поцеловал графиню в обе щеки и отправился на розыски книг.

ГЛАВА 4

Дальнейшее образование Чосера, краткое изложение некоторых важных для Чосера идей XIV века, женитьба поэта на Филиппе Роэт — догадки и порочащие сплетни (1360—1367)

Одно время многие биографы полагали, что вплоть до возвращения Лионеля в Англию в конце 1367 года Чосер находился вместе с ним в Ирландии. Ныне большинство специалистов, занимающихся Чосером, отказались от этой идеи в силу трех причин: отсутствия какого бы то ни было упоминания об Ирландии в поэзии Чосера (если не считать одного-единственного случая использования в основном ирландского мотива в «Рассказе батской ткачихи»), наличия веских косвенных доказательств того, что в течение этого периода Чосер какое-то время учился в Лондоне или, может быть, в Лондоне и затем в Оксфорде, и, наконец, недавно обнаруженного факта, что ему была выдана охранная грамота для поездки в Наварру на севере Испании с 22 февраля по 24 мая 1366 года как королевскому «эсквайру». (Если слово «эсквайр» употреблено здесь в специальном смысле — а это вряд ли так, — то оно означает придворный ранг, более высокий, чем valettus.) Между прочим, документ о выдаче охранной грамоты был опубликован в 1890 году, но только в 1955 году его связали с именем Чосера. За неимением других сведений, ранние биографы заставляли Чосера все это время переводить с французского «Роман о Розе» и восемь лет терзаться муками трагической, неразделенной любви к жене Гонта Бланш. Чосер, наверное, и впрямь примерно в ту пору переводил «Роман о Розе», хотя вряд ли работа заняла у него целых семь лет; как я уже говорил, он, наверное, и впрямь любил Бланш, хотя более чем сомнительно, чтобы восемь долгих лет он издали обожал ее (или какую-либо другую женщину), никак не обнаруживая своей любви (в чем он уверяет читателя в «Книге герцогини»). Предположение, что он любил Бланш Ланкастер такой любовью, маловероятно хотя бы потому, что автопортрет, нарисованный Чосером в «Книге герцогини», — это не более и не менее как забавная карикатура,

призванная оттеснить по контрасту портрет подлинного и удачливого влюбленного, Джона Гонта, и мы можем быть совершенно уверены, что Чосер одинаково любил — это явствует из его поэмы — и Бланш, и ее мужа.

Если только можно подходить к Чосеру с современными зеркалами, следует признать, что выпавшее из поля зрения биографов шестилетие — Чосер был тогда в возрасте от двадцати одного года до двадцати семи лет — явилось одним из самых интересных и плодотворных периодов в его жизни. В эти годы он получил высшее образование и занял при дворе заметное положение, так что король называл его (в документе, датированном 20 июня 1367 года) «*dilectus valettus noster*» — «наш любезный служитель»; в эти годы он женился — видимо, в результате какой-то запутанной истории — на женщине знатного происхождения и приобрел близкого друга и покровителя в лице великолепного Джона Гонта. Но, пожалуй, важнее всего было то, что эти шесть лет стали годами поэтической учебы Чосера.

Чосер, конечно, много раз присутствовал при чтении поэтических произведений при дворе короля или кого-нибудь из членов королевской семьи. Слушатели собирались то в мрачноватом феодальном замке где-нибудь под Лондоном или в далеком Ланкашире, то в просторных, ярко освещенных залах Савоя — лондонского дворца Джона Гонта. Весь превратившись в слух, Чосер изучал как сами стихи, так и манеру их чтения — те тонкие модуляции голоса и смены интонаций, которые придавали этой поэзии преимущественно устный характер. Наверное, он задерживался потом в обществе других молодых поэтов-чтецов, но не для того, чтобы высказаться самому и расспросить других, а только ради того, чтобы с интересом послушать авторитетного Фруассара, облаченного в черную рясу, или недавно прибывшую из Европы знаменитость — молодого французского поэта, автора лирических стихов и поэм-видений Эсташа Дешана, с которым годы спустя Чосер станет обмениваться поэтическими произведениями с посвящениями. Порой молодого Чосера можно было увидеть в харчевне, где кормились студенты «судебных иннов» — юридических гильдий, в одной из которых он изучал право. Возможно, нашим глазам предстала бы такая картина: Джеффри Чосер рассеянно тянется за своей оловянной кружкой, а сам уткнулся в рукопись на пергаменте, которую протянул ему невысокий мужчина с постным, серьезным выражением лица —

приглядевшись, мы узнали бы в нем товарища Чосера по учебе, а в будущем — коллегу по перу, придворного поэта короля Ричарда «нравственного» Джона Гауэра. (Поэма, похоже, длинная — конца ей не видно.)

Ранние стихи Чосера — такие, как «Азбука», представляющая собой вольный перевод с французского, сделанный на заказ, и другие переводы, выполненные по собственному почину, — свидетельствуют о таланте, остроумии, даре образной речи и, разумеется, о готовности автора учиться поэтическому ремеслу принятым в ту эпоху способом: в средние века, как и в XVIII столетии, перевод великих поэм прошлого и подражание им являлись естественными первыми шагами на пути становления оригинального поэта. В ходе работы над переводом «Романа о Розе», важнейшего из переведенных им произведений, Чосер освоил многие приемы, которыми пользовался потом всю жизнь: он научился создавать яркие аллегорические фигуры и условно-традиционные пейзажи с помощью таких оригинальных мазков, которые сделают их продолжением и развитием традиции, живым сочетанием старого и нового, придавать композиционную цельность длинной, сложной поэме и — главное, пожалуй, — обрел то, что составляет сущность великой поэзии, — свой собственный, неповторимый поэтический голос. Нет худа без добра: трудности стихотворного перевода с мелодичного, богатого рифмами языка на язык менее певучий и бедный рифмами помогли Чосеру выработать тот легкий, непринужденный слог, который верой и правдой служил ему всю дальнейшую жизнь, с годами становясь все более богатым и изощренным, обретая все большую способность передавать любые авторские интонации — от шутливой иронии до эпической серьезности и высокого пафоса. Обратите, например, внимание на то, с какой разговорной легкостью написан вот этот отрывок из «Романа о Розе», включенный затем Чосером в поэму «Книга герцогини»:

Я опишу вам, как сумею,
Тенистую в саду аллею —
Красавец лип высоких ряд.
Шагах в пятнадцать стоят
Стволы прямые друг от друга,
Но кроны их сплелись так туго,
Что на земле под ними тень
Прохладная лежит весь день:
Прикрыл от солнца тот шатер
Нежнейший травяной ковер.

Или возьмем другой отрывок:

А дальше зеленел лужок —
Ручья пологий бережок,
Поросший бархатной травой,
Такою мягкой муравой,
Что на нее, как на перину,
Мог деву уложить мужчина.

Здесь уже слышится голос зрелого мастера. И хотя с тех пор, как Чосер впервые публично прочел свое восхитительное переложение на английский язык «Романа о Розе», за ним прочно утвердилась репутация поэта, все-таки первая его большая оригинальная поэма наверняка явилась сюрпризом для его современников. «Книга герцогини» — несомненный шедевр, и Чосер, конечно, знал это. В момент своего появления на свет эта поэма представляла собой не менее самобытное, глубоко выстраданное и «трудное» произведение, чем «Любовная песнь Дж. Элфрида Пруфрока» Т. С. Элиота. После создания «Книги герцогини» ее автора нельзя уже называть «молодым Чосером» — во всяком случае, как художника. С этого момента он будет творить с уверенностью мастера, которому предстояло решить лишь одну техническую проблему, которая встает перед каждым крупным поэтом: научиться писать проще. Бланш Ланкастер умерла в 1369 году, и Чосер, по-видимому, написал элегию на ее смерть вскоре после этого. Поэтическим же мастерством, необходимым для ее создания, Чосер овладел главным образом в те утраченные для биографов годы. Как бы ни увлекался он войной, дипломатией, женщинами и чем бы то ни было еще, ничто в жизни не могло идти для него ни в какое сравнение с радостью приобщения к тайнам мастерства, которому «так долга учеба».

После того как, навоевавшись и побывав в плену, Чосер вернулся из Франции домой, он поступил в учебное заведение, которое с большой натяжкой можно назвать юридической школой. Некоторые исследователи до сих пор считают этот факт недостоверным, но имеется достаточно оснований считать его подлинным. Во-первых, сохранились документы за 1395 и 1396 годы, в которых Чосер, подписываясь, называет себя атторнеем, во-вторых, и в прозе, и в стихах Чосер с легкостью оперирует правовыми терминами, которые в XIV веке могли быть известны только человеку, получившему юридическое образование, — этими терминами буквально пестрят «Рассказ мажордома» и особенно «Рассказ о Мелибее». Если совре-

менному писателю ничего не стоит подковаться в философии, биохимии, психологии или любой другой интересующей его области, поскольку к его услугам целые библиотеки книг, то средневековому поэту, пожелавшему получить хранимые в тайне познания, приходилось выучивать их наизусть со слов учителя или вчитываться в темные по языку и смыслу манускрипты, доступ к которым был практически закрыт для всех, кроме профессионалов, ибо знание тогда считалось сокровенным достоянием ученых «магистров» и ревниво оберегалось ими.

Далее, все должности, на которые Чосер назначался впоследствии, вплоть до конца его жизни, как правило, занимались только людьми с юридической подготовкой. Дж. М. Мэнли рассказывает в своей книге, посвященной Чосеру, о любопытной работе, проделанной двумя его студентами:

«Исследовались данные об участниках около четырехсот дипломатических миссий [подобных той, в составе которой Чосер ездил в Геную]. Приблизительно в восьмидесяти случаях не удалось найти сведений о социальном положении и профессиональной подготовке некоторых участников. Зато во всех остальных случаях, т. е. в отношении личного состава трехсот двадцати прочих миссий, такие сведения были установлены, и вот что при этом обнаружилось: последним в списке членов комиссии неизменно стоит человек, обладающий определенной юридической подготовкой. Поэтому вполне допустимо предположить, что Чосера так часто выбирали для таких переговоров потому, что он обладал специальной (правовой) квалификацией, необходимой для этой работы»¹.

Но самый убедительный довод Мэнли опирается на старинное предание, согласно которому Чосер однажды отколотил монаха-францисканца. Томас Спейт, составитель собрания сочинений Чосера, изданного в 1598 году, писал в предисловии: «Предположительно оба этих ученых мужа (Чосер и Джон Гауэр) обучались (юриспруденции) во Внутреннем темпле, ибо много лет спустя магистр Бакли своими глазами видел в том учебном заведении запись, гласившую, что Джефффри Чосер был оштрафован на два шиллинга за нанесение побоев брату-францисканцу на Флит-стрит». Запись, которую видел магистр Бакли, оказалась впоследствии уничтоженной — быть может, восставшими крестьянами в 1381 году, — но свидетельство Бакли было сочтено истинным или, во всяком случае, правдоподобным сэром Уильямом Дагдейлом и позднейшими историками судебных иннов. Фрэнис

Тинн, один из первых исследователей творчества Чосера, в своей «Критике» издания Спейта оспаривал истинность свидетельства Бакли, но исходил при этом из неправильных данных. Так, ошибочно полагая, что Чосер родился в 1328 году, он утверждал, что к тому времени поэт был слишком «серьезным человеком», чтобы колотить монахов; кроме того, он считал, что обучение юридическим наукам началось в Темпле после 1370 года, тогда как на самом деле юриспруденции обучали там уже в 1347 году.

По ряду веских причин свидетельство Бакли можно рассматривать как достоверное. Бакли был как раз тем человеком, который в силу своего служебного положения скорее, чем кто-либо другой в Англии, должен был видеть эту запись, если она существовала. Он являлся не только членом юридической гильдии — «Общества Темпл», но и должностным лицом, в чьи обязанности входило хранение архивов Темпла. Помимо того, штраф, уплаченный Чосером за нанесение побоев францисканцу, представлял собой типичное наказание, назначавшееся за подобные проступки в то время при аналогичных обстоятельствах. Архивы Темпла погибли, но изучение архивов инна Линкольна, такой же юридической гильдии, где обучали будущих законников, показало, что «за драки и другие нарушения общественного порядка чаще всего назначались штрафы, величина которых варьировалась обычно от 1 шиллинга 3 пенсов до 3 шиллингов 8 пенсов»².

Итак, весьма вероятно, что во время учебы во Внутреннем Темпле, расположенном сразу за городской стеной поблизости от улицы Флит-стрит, Чосер разговорился, гуляя по Флит-стрит, с каким-то монахом — может быть, из францисканского монастыря, что стоял прямо за городскими воротами, — повздорил с ним и в пылу спора надавал ему тумаков. По единодушному мнению самых разных исследователей, у Чосера, всерьез заинтересованного в учении и приобретении знаний, могло обнаружиться больше чем достаточно причин испытывать неприязнь к типичному монаху нищенствующего ордена. Хотя члены этих братств давали обет нестяжательства, они частенько пользовались милостями принцев — например, Черный принц наряду с другими осыпал их щедрыми дарами — и ухитрялись скопить такие богатства, что одно только перечисление их занимало многие и многие страницы в монашеских завещаниях. Хотя братья не упускали случая выставить напоказ свою ученость (кое у кого, возможно, и имелись на то основания), многие из живших во второй половине XIV века нищенст-

вующих монахов, чьи жизнеописания и высказывания дошли до нашего времени, были людьми серыми и малообразованными, и их притязания на ученость, наверное, казались вздорными тем, кто обладал по-настоящему глубокими знаниями.

Как бы ни относился Чосер к этим монахам в целом, тот конкретный монах-кармелит, которого он увековечил в своих «Кентерберийских рассказах», — человек ужасный, омерзительный. Распутник (на что Чосер лукаво намекает с помощью таких двусмысленных выражений, как «Крепчайшим был столпом монастыря», и т. п.) и лжеисповедник, помышляющий не об исправлении грешника, а лишь о том, как бы содрать с него плату побольше; корыстолюбец, уваливающий от исполнения первой своей обязанности — печься о сырых и убогих — и презирающий обет жить в бедности, даваемый членами его ордена, он вдобавок ко всему — так уверяет паломников пристав церковного суда — еще и один из самых больших дураков среди духовных лиц веселой Англии. Во времена Чосера нападки на монахов являлись чем-то вроде литературной традиции, и Чосер, наверное, с особенным удовольствием отдавал тут дань этой традиции, поскольку сочувствовал Джону Уиклифу. Примерно тогда же, когда Чосер создавал свой «Общей пролог», Уиклиф оказался втянутым в яростный спор с несколькими учеными-францисканцами, в ходе которого он подверг сомнению необходимость самого существования их ордена, которая не находит себе оправдания в Писании. Но, независимо от того, была ли эта сатира на монахов нищенствующих орденов самобытным творческим актом или данью литературной традиции, Чосер отделал своего монаха так, что никакой другой сатирик не мог бы с ним тягаться:

С ним рядом ехал прыткий Кармелит.
Брат сборщик был он — важная особа.

Такою лестью вкрадчивою кто бы
Из братьи столько в кружку мог добыть?
Он многим девушкам успел пробить
В замужество путь, приданым одаря;
Крепчайшим был столпом монастыря.
Дружил с Франклинами он по округе,
Втирался то в нахлебники, то в други
Ко многим из градских почтенных жен;
Был правом отпущенья наделен
Не меньшим, говорил он, чем священник, —
Ведь папой скреплено то отпущенье.
С приятностью монах исповедал,
Охотно прегрешенья отпускал.

Епитимья его была легка,
Коль не скупилась грешника рука...
Любил пиров церемониал парадный,
Трактирщиков веселых, и служанок,
И разбитных, дебелых содержанок.
Возиться с разной вшивой беднотою?
Того они ни капельки не стоят:
Заботы много, а доходов мало,
И норову монаха не пристало
Водиться с нищими и бедняками,
А не с торговцами да с богачами.

Коль человек мог быть ему полезен,
Он был услужлив, ласков и любезен...
Так сладко пел он «In principio» *
Вдове разутой, что рука ее
Последнюю полушку отдавала,
Хотя б она с семьею голодала...
Он пел под арфу, словно соловей,
Прищурившись умильно, и лучи
Из глаз его искрились, что в ночи
Морозной звезды. Звался он Губертом **.

Кое-кому из биографов Чосера, которым хорошо известно, сколь мягок был характер поэта, история с избиением монаха кажется неправдоподобной. Она покажется им более правдоподобной, если они вспомнят, как Джон Чосер, отец поэта, уже степенный, уважаемый горожанин сорока лет от роду, ввязался-таки в кабацкую драку и что Джеффри, подобно отцу, знал толк в выпивке. Разумеется, пьяницей он не был — иначе он не оставил бы такого богатого поэтического наследия и не занимал бы стольких ответственных должностей, — но студенты в XIV веке, да и короли, случалось, крепко набирались. Поэтому дело, может быть, обстояло так. Однажды весеннею порой Чосер прогуливался по Флит-стрит в компании разгоряченных хмельных друзей — таких же, как он, студентов Темпла. Спускались сумерки. Соловьи среди виноградных лоз и дрозды на ветвях дубов начинали вечернюю перекличку, а из расположенной по соседству, сразу за огороженными живыми изгородями полями, деревни доносилось мычание коров, пришедших с полным выменем к воротам хлева. Молодой Чосер разговорился со случайным прохожим — монахом-францисканцем. Чем больше вслушивался Джеффри в речи своего собеседника, тем более опасными, безнравственными и неразумными казались ему суждения брата-францисканца... А может

* «В начале [было слово]» (лат.).

** «Кентерберийские рассказы», с. 38—40.

быть, напротив. Чосер был трезв как стеклышко. Среди многих качеств, сделавших его великим поэтом, были твердое сознание того, что является справедливым, а что нет, и тонкое чувство меры, а в политической жизни, как нам известно, его отличала непоколебимая преданность принципам и людям, в которых он верил. Руководители Темпла, вполне разделяя мнение Чосера о францисканце, ограничились назначением номинального штрафа в пару шиллингов и еще, может быть, отеческим предупреждением вести себя впредь осмотрительней.

Темпл, где учился Чосер, являлся одним из судебных иннов — учебных заведений, в которых молодым людям преподавали общее право. Джон Фортеस्कью подробно описал, как он обучался юриспруденции в «Обществе юристов инна Линкольна» лет через четырнадцать после смерти Чосера. Будущие законоведы сначала поступали в один из канцлерских иннов, «где они изучали юридическую природу первоначальных приказов о вызове в суд от имени короля и приказов суда, которые суть первейшие принципы права»³. Отсюда они переходили в свой срок в судебные инны. Фортеस्कью далее пишет:

«И в судебных иннах, и в канцлерских иннах есть некое подобие академии или гимназии — заведение, где шлифуют манеры людей, которые займут высокое положение в обществе; там их обучают пению, игре на различных музыкальных инструментах, танцам и прочим искусствам и развлечениям (называемым «праздничными забавами»), которые приличествуют их общественному положению и приняты при королевском дворе. Остальное время... большинство из них посвящают изучению права. По праздничным дням и вечерами, по окончании церковных служб, они изучают священную и светскую историю: тут все благое и добродетельное подлежит заучиванию, а все порочное пресекается и изгоняется. Поэтому рыцари, бароны и знатнейшие лица королевства часто посылают своих детей учиться в судебные инны — не столько для того, чтобы они штудировали законоведение, ни тем более для того, чтобы они обзавелись профессией, которая кормила бы их (ибо они унаследуют большое состояние), но для того, чтобы привить им хорошие манеры и уберечь их от заразы порока».

Фортеस्कью говорит, что судебные инны — это те же университеты, но в плане подготовки к практической жизни образование в них предпочтительней более специализированного, более теоретического образования в Кембридже и Оксфорде. Да и сам Чосер, описывая в «Общем

прологе» эконома судебного подворья, сообщает, что многие руководители «Общества Темпл» преподавали науку управления хозяйством, хотя сами, возможно, управителями и не работали. Среди законовевов, живших в подворье, были ученые люди:

И даже было среди них с десятков
Голов, достойных ограждать достаток
Знатнейшего во всей стране вельможи,
Который без долгов свой век бы прожил
Под их опекой вкрадчивой, бесшумной
(Будь только он не вовсе полоумный), —
Мог эконом любого околпачить,
Хоть научились люд они дурачить *,

Фортескью касается еще двух особенностей обучения в судебных иннах, которые проливают свет на жизнь Чосера в тот период: стоимости такого образования и социального состава учащихся.

«В этих иннах обычное содержание студента обходится никак не меньше двадцати восьми фунтов в год [6720 долларов]; если же у студента имеется слуга (а чаще всего так и бывает), то расходы возрастают соответственно. Вот почему здесь учатся только сыновья лиц высокопоставленных; люди низкого звания не в состоянии оплачивать расходы на содержание и обучение своих детей в таких заведениях. Что до купцов, то мало кто из них захочет производить столь большие ежегодные траты в ущерб своей торговле. В силу этой причины во всем королевстве не найти ни одного выдающегося законника, который не был бы джентльменом по рождению и по состоянию; вследствие этого они больше дорожат своей честью и репутацией, чем люди, получившие иное воспитание».

Как нам известно, отец Чосера был человеком незнатного происхождения, но с достаточным состоянием, чтобы оплатить расходы по обучению сына в Темпле. Впрочем, ему, быть может, не пришлось одному нести все эти расходы. Ко времени поступления Джеффри в Темпл в Англии вот уже около столетия продолжался конфликт между каноническим правом и правом государственным (т. е. между правовой традицией, разработанной церковью, в противоположность правовой традиции, установленной светской властью), причем поначалу большинство судебных решений принималось в пользу юристов-каноников. При Эдуарде I король и крупные феодалы, по горло

* «Кентерберийские рассказы», с. 48.

сытые тем, что судебные дела раз за разом решаются в пользу церкви, ввели практику финансирования учебы «клерков»-мирян, которые поддерживали бы своих покровителей в делах толкования судебной практики, исторических прецедентов и т. п. Как видно из уцелевших архивов инна Линкольна, среди членов инна насчитывалось немало сквайров, служивших при дворе короля, а уставными положениями предусматривались специальные льготы и привилегии для таких людей. (Хотя формально-юридически Чосер имел придворный ранг служителя, с ним, несомненно, обращались как со сквайром, если он учился в юридической школе под покровительством короля.) Попутно надо добавить, что если правила придворной службы при Эдуарде III были такими же, как при Эдуарде IV, то в каждый данный момент требовалось присутствие при дворе лишь половины королевских сквайров; следовательно, молодой придворный, если у него имелись способности и король благоволил к нему, мог половину своего времени посвящать дальнейшей учебе.

Если кто-нибудь действительно субсидировал образование Чосера — во всяком случае, в период между 1361 и 1366 годами — то, скорее всего, это делал не король, а Джон Гонт. В подтверждение такого предположения можно привести ряд сложных косвенных доказательств. Во-первых, до недавних пор биографы Чосера полагали, что из формулировок документа о королевском пожаловании Чосеру в 1367 году вытекает, что к тому моменту он уже числился некоторое время личным королевским служителем; однако недавно было установлено, что эти формулировки аналогичны формулировкам документа о назначении Филиппы Чосер фрейлиной (*domicella*) Констанции Кастильской, второй жены Гонта, которая только что приехала в Англию. Не исключена, следовательно, возможность, что в начале и середине 60-х годов Чосер служит придворным не у короля, а у кого-то еще. Во-вторых, 12 сентября 1366 года «Филиппе Чоси», т. е. «Филиппе Чосер», была пожалована пожизненная рента из королевской казны в размере десяти марок (около 1500 долларов) в дополнение к ее регулярному жалованью фрейлины; сам Чосер в этом документе не упомянут, из чего, вероятно, можно заключить, что, хотя он уже был женат на Филиппе, его еще не приняли на службу при королевском дворе. Он действительно стал потом одним из придворных короля, притом не позднее июня месяца 1367 года, когда его поименовали в сохранившейся записи королевским «служителем», но, по всей очевидности, он

еще не был таковым летом 1366 года, так как его имени нет в подробном перечне служителей королевского двора, которые тогда были пожалованы мантиями. В-третьих, если Чосер служил у принца Лионеля в Ирландии (что представляется крайне маловероятным), то он вернулся в Англию и женился на Филиппе задолго до возвращения самого Лионеля в ноябре 1366 года. В-четвертых, если слова Чосера о «восьмилетнем любовном недуге» в его элегии на смерть Бланш, первой жены Гонта, скончавшейся в 1369 году, действительно имели к ней хоть какое-нибудь отношение, то, значит, он должен был коротко ее узнать уже в 1361 году — быть может, став одним из членов ее свиты. В-пятых, Джон Гонт, который с 1360 года не выезжал из Англии, если не считать кратковременной поездки с дипломатической миссией во Фландрию в 1364 году, готовился в сентябре 1366 года покинуть Англию, чтобы принять участие в военном походе, и этим может объясняться появление Чосера среди придворных служителей короля примерно в то же время. Иными словами, не желая ехать вместе с принцем Лионелем в ирландскую глушь, Чосер уговорил принцессу Елизавету перевести его в служители двора ее молодой кузины и единственной невестки Бланш. (Такие переводы были обычным делом.) А когда супруг Бланш, Джон Гонт, начал приговаривания к походу — Бланш должна была ехать в Европу вместе с ним, — Чосер добился второго перевода, на сей раз ко двору отца Гонта, Эдуарда III.

Несмотря на то что свидетельства эти имеют лишь косвенный характер, они выглядят более вескими в свете дальнейшей дружеской близости между Гонтом и поэтом. Будет разумно предположить поэтому, что обучение Чосера субсидировалось не королем, а Гонтом.

Согласно давнему преданию, Чосер учился также и в Оксфордском университете, хотя основывается оно тоже на косвенных и, можно добавить, довольно шатких доказательствах. Впервые эта догадка была высказана, насколько мне известно, собирателем древностей Леландом, который умер, впад в помешательство, в 1552 году. Леланд утверждал, что Чосер был прилежным оксфордским студентом, завершил курс обучения со степенью магистра логики, глубоко изучив философию, и что в последующие годы — а может быть, в предшествующие — он обучался во Внутреннем темпле. Многие из того, что говорил Леланд, получило подтверждение из других источников — например, что Чосером восхищались лучшие французские поэты той эпохи, — но многие другие утверждения Леланда

оказались недоказуемыми легендами, а то и заведомыми выдумками. Поэтому исследователи относятся к версии Леланда и тех знатоков старины, которые воспроизвели его рассказ, — епископа Бейла и настоятеля Ливерданского собора Джона Питса — не слишком серьезно. (Тем более что, к примеру, Бейл начинает свою историю английской поэзии со всемирного потопа.) Но при всем том сведения Леланда об учебе Чосера вполне могут быть более или менее соответствующими действительности; во всяком случае, утверждать, как делают некоторые, что предание это, мол, «давно уже опровергнуто», по меньшей мере неосторожно.

Один из друзей Чосера, Ральф Строуд, которому (наряду с поэтом Джоном Гауэром) Чосер посвятил «Троила и Хризеиду», был в 60-е годы преподавателем Оксфордского университета, а в своем «Трактате об астролябии» (написанном, когда его сын Луис учился в Оксфорде) Чосер упоминает двух оксфордских профессоров — своих современников. Его религиозные взгляды, похоже, в основном совпадали со взглядами, которые были популярны в Оксфорде и настолько интересовали Джона Гонта, что он однажды посетил там религиозного реформатора Джона Уиклифа (надо сказать, что Гонт бывал в Оксфорде несколько раз). Мы не располагаем подробными документальными данными за 60-е годы, но в последующий период Гонт оплачивал обучение в Оксфорде нескольких студентов, которых определял потом на службу при королевском дворе; возможно, он прибегал к этой политически полезной практике и ранее. Кроме того, он отправил учиться в Оксфорд как своего сына Генриха Бофорта (от Катрин Суинфорд), так и своего внука Генриха (короля Генриха V, сына Генриха IV, отпрыска Гонта и Бланш Ланкастер). К этому можно добавить, что один из самых лестных портретов в «Кентерберийских рассказах» — это портрет оксфордского студента, а один из самых забавных — «душки Николаса», оксфордского студента из «Рассказа мельника» (может быть, мельник в насмешку изобразил в лице Николаса оксфордского студента — сотоварища по паломничеству, каким тот мог быть, по его мнению, в молодые годы). Самыми разными исследователями подмечено, что Чосер во всех подробностях знал жизнь Оксфорда; поэт, к примеру, называет городок Осни и заставляет оксфордского плотника клясться святой Фридесвидой, популярной именно в тех местах. Кроме того, книги, которые, как нам известно, имелись в оксфордском

Мертон-колледже до 1385 года, в немалой степени способствуют выяснению научных и философских источников познаний Чосера. Поэт конкретно упоминал в своих произведениях многие из этих манускриптов, начиная от богословских трудов и кончая, например, всеми двенадцатью медицинскими авторитетами, перечисленными доктором медицины в «Общем прологе». Да и в более поздние годы своей жизни Чосер, вне всякого сомнения, был в курсе оксфордских дел. Большинство его важных астрологических аллюзий содержится в поэмах, датируемых периодом после 1385 года, когда Мертон-колледж приобрел библиотеку Рида, откуда Чосер мог с легкостью почерпнуть нужные сведения.

Гипотеза о том, что Чосер начал учиться в Оксфорде где-то между 1360 и 1367 годами и впоследствии время от времени вновь посещал свою старую школу, объясняет такие особенности его стихов и прозы, которые трудно объяснить как-нибудь иначе: его твердое знание всего обязательного материала по курсу изучения искусств — травиума и значительной части университетского квадриуума. По всей видимости, Чосер, если не считать некоторых познаний в науке врачевания, не был знаком с высшими программами университетского образования: медициной, каноническим правом и богословием. Возможно также, что в Оксфорде он обучался сначала (если обучался там вообще), а уже затем поступил в Темпл, как полагает профессор Уильямс (ведь средневековый курс обучения в отличие от современного не предусматривал четких градаций в уровне образования); он мог заниматься в обоих этих учебных заведениях более или менее одновременно или же перейти из Темпла в Оксфорд.

Чосер так никогда и не выучился на барристера — на это ушло бы, по свидетельству Фортескью, никак не меньше шестнадцати лет. Но для работы, которую Чосер выполнял в дальнейшем, такой высокой юридической квалификации и не требовалось. При рассмотрении всех важных дел он выполнял свои обязанности мирового судьи в Кенте совместно с другим юристом, чего бы не понадобилось, если бы у самого Чосера имелся этот высокий ранг. Вместе с тем исследователи доподлинно установили, что ему необходимо было обладать кое-какими правовыми познаниями, чтобы занимать должности смотрителя королевских работ в Вестминстерском дворце, лондонском Тауэре и других местах; доказано также, что он должен был иметь юридическую подготовку, чтобы работать помощником лесничего в королевском парке Норт-

Пезертон в Сомерсете: управление этим лесным именем осуществлялось в соответствии с довольно своеобразным особым сводом законов, которые отличались и от общего, и от государственного права и соблюдение которых обеспечивалось специальными судами. С другой стороны, представляется маловероятным (хотя и не абсолютно невозможным), чтобы без университетской подготовки Чосер смог когда-нибудь стать тем «благородным поэтом-философом», каким он был, мыслителем, которым повсеместно восхищались как одним из самых оригинальных умов и ученейших людей своего времени.

Каким бы предметам ни обучался Чосер, лучше всего он изучил невероятно сложное искусство поэзии. С какими трудами это было связано, здесь можно только намекнуть. Начать с того, что ему пришлось овладеть риторикой, или элоквенцией, которая была во времена Чосера богатой, многообразной и полнокровной областью знания.

За столетие до Чосера ректор Оксфордского университета Роберт Гростест, один из выдающихся ученых той эпохи, обнаружив, что многие важные идеи, дошедшие от древних времен, были неправильно поняты в результате неточного перевода, разработал под влиянием этого открытия тщательно продуманные и точные теории перевода с классических языков, много сделал для возрождения в Англии интереса к изучению древнегреческого языка, литературы и философии, пригласил из-за границы ученых знатоков древнегреческого (как будто бы незначительное нововведение, но благодаря ему неизмеримо расширилась и обогатилась университетская программа) и договорился о возможности доставки древнегреческих манускриптов из Афин и Константинополя. Автор ряда великолепно точных для своего времени переводов с древнегреческого и латыни, он организовал совместную работу переводчиков, в которой упор делался на верном истолковании смысла оригиналов и повышении критериев точности.

Для того чтобы по достоинству оценить достигнутое Гростестом в этой области, мы должны припомнить, что до него «перевод» сплошь и рядом фактически означал переработку оригинала, и хотя различные школы придерживались различных убеждений, «правилами» перевода обычно предусматривалось не дословное переложение оригинального текста на более доступный язык, а, напротив, изменение оригинала путем сокращения или расширения, включения морализаторских отступлений, стилистических фигур для оживления повествования и т. д.

и т. п. В этой связи следует отметить, что все те пассажи, подлинные сокровища прозаической речи, которые так восхищают нас в переводе «Утешения философского» Бозэция, сделанном королем Альфредом, как, например, сравнение с колесной осью для разъяснения сущности ограниченной свободы воли, отсутствуют в оригинале.

Дело Гростеста продолжил монах-францисканец Роджер Бэкон, профессор Оксфордского и Парижского университетов. Развивая идеи Гростеста, он ратовал за дословно точные переводы с древнееврейского, древнегреческого и арабского и разработал принципы грамматического изучения прочих языков, помимо латыни. Хотя в своих научных занятиях он уделял незначительное место изучению местных языков, Роджер Бэкон не переставал твердить о том, какие торговые и политические преимущества сулит расширение языковых учебных программ, и это привело к общей переоценке, особенно во Франции и в Англии, значения того языка, на котором в действительности говорит население страны. (К 1362 году лорд-канцлер Англии будет говорить по-английски, открывая сессию парламента, и это сделает английский официальным языком страны.) Немало способствовал возрождению занятий литературой в Оксфорде — не столько в качестве новатора, сколько в качестве пропагандиста новых методов, выработанных Гростестом, Бэконом и их учениками, — Ричард Бери, епископ Даремский (?—1345), известный собиратель и ценитель книг, автор трактата «О книголюбии» (*Philobiblion*).

Ко времени Чосера три поколения оксфордских профессоров много потрудились, осторожно продвигаясь вперед в деле изучения классиков, поощряя перевод их прозаических и стихотворных произведений на английский язык и смело, по-новому — без экзегетической тенденциозности — анализируя стиль и структуру произведений античной литературы. Возникли разные мнения, и велись жаркие споры. Одни подходили к литературе с аристотелевским критерием, согласно которому писатель должен «говорить как простолюдин, но мыслить как мудрец», другие ссылались на изречение Сенеки: «Приятно только то, что освежено разнообразием впечатлений». Люди вроде Джона Уиклифа убежденно отстаивали, апеллируя к авторитету Августина и апостола Павла, крайнюю необходимость понятной, простой и прямой речи и насмеялись над богатыми словесными украшениями стилистов, подобных ритору Джеффри Винсофу, преподававшему в Оксфорде свое учение о речевом этикете — приспособили-

вании стиля к конкретному слушателю и конкретному случаю, при котором «высокому стилю» позволены всевозможные пышные украшения и композиционные сложности. Полемика имела отнюдь не сугубо академический характер, как это могло бы показаться. Она самым непосредственным образом затрагивала вопрос о том, как работает человеческий мозг, какая существует связь между языком и мыслью, короче говоря, всю горячую проблематику «номинализма», к рассмотрению которой мы в самом скором времени обратимся. Для того чтобы найти для себя ответы, оксфордский студент читал труды всех мастеров, старых и новых, какие только мог достать, и, переводя их на английский, заострял внимание не только на смысле слов, но и на том, какое впечатление производят на ум и чувства тонкие стилистические приемы: повторы, сопоставления и т. д. и т. п.; овладев этим искусством, он сочинял, по старым и новым канонам, свои собственные произведения. Если он при этом считал, что мысль в основе своей рациональна, это делало его последователем Уиклифа. Если же он полагал, что поэтические метры и тропы способны выразить невыразимое, его больше привлекали теории Винсофа. В поэме «Книга герцогини» Чосер признает правомерность обеих точек зрения, в чем и выразился его рано пробудившийся гений. Попробую объяснить это более подробно.

Черный рыцарь, персонаж поэмы, оплакивая смерть своей дамы, избегает прямо говорить о собственном горе и прибегает к поэтическим уловкам и метафорическому языку поэтических условностей. Он говорит, например, что проиграл Фортуне шахматную партию:

Как был обыгран я плутовкой,
Ты знаешь? Нет? Она уловкой
Нечестной спутала меня,
Коварно в сети замая:
«Сыграем в шахматы с тобой!»
Я сел, фигуры двинул в бой,
Разгромом полным ей грозя,
Вдруг вижу: моего ферзя
Мошенница крадет с доски...
Мне сердце сжало от тоски.
Лишившись королевы милой,
Я дальше, был играть не в силах,
Сказал: «Прощай, любовь, навек
И все, чем счастлив человек».
Глухая к горестям утрат,
Рекла Фортуна: «Шах и мат!»

Рассказчик, от лица которого написана поэма, должен излечить рыцаря от губительной меланхолии, и с этой целью

подвести его к признанию факта на ясном, простом языке: «Она умерла». Но если важна ясная, прямая речь, то имеет свое значение и речь, искусно построенная, наталкивающая на ассоциации: только поэтическое иносказание способно передать тончайшие оттенки чувства, неожиданно смутить ум подсознательным косвенным намеком, дать выражение той стороне действительности, которую мы ощущаем, но не можем увидеть.

Ко времени начала работы над «Книгой герцогини» Чосер в совершенстве овладел техникой применения риторических фигур: гипербол, метафор, повторов и прочих, которые делают возможной поэтическую образность. Он уже перевел как минимум одну, а то и несколько трудных — стилистически и философски — поэм, глубоко изучил латинскую и французскую поэзию и умел искусно играть аллюзиями, с такой же непринужденной легкостью, как Т. С. Элиот, и создавать поэтические конструкции, более сложные и более насыщенные символикой, чем любые другие произведения, написанные на английском языке после «Беовульфа».

Современные ученые без конца дебатировали вопрос о том, каковы были в действительности познания Чосера в иных областях, помимо *ars poetica* *, хотя его ученость, похоже, не вызывала ни малейших сомнений у его современников. Дебаты дебатами, но на этот вопрос можно дать простой ответ: он знал достаточно, чтобы быть серьезным «поэтом-философом» средневековья, иными словами, он знал очень много. К сожалению, этот простой ответ требует некоторых пояснений, и, хотя пояснения могут увести нас в сторону, мы должны привести их здесь, пусть совсем кратко. Они прольют некоторый свет на привычки и интересы Чосера в области умственной работы и ознакомят нас с единственным имеющимся ныне доводом, который подтверждает версию о том, что Чосер учился в Оксфорде.

В средние века считалось само собой разумеющимся, что поэзия высшей пробы всегда философична; это означало, что поэт стремился понять и выразить человеческую природу, осмыслить место человека в мироздании, его назначение. Как и в средневековой философии и политической теории, как и в метафизических рассуждениях любой эпохи, как и во всей великой поэзии, это было связано с ходом мысли, который мы теперь иногда прене-

* Поэтическое искусство (*лат.*).

брежительно именуем «аргументацией по аналогии», отказываясь принимать ее всерьез. Логика этой аргументации такова: если мы уразумеем точное соотношение между золотом и свинцом, между Христом и девой Марией, нам удастся установить правильное соотношение, ну, скажем, между королем и его подданными.

Хотя этот способ доказательства не в чести у современных логиков (и, со своей точки зрения, они, конечно, правы), довод по аналогии в такой же мере является методом познания для большинства самых серьезных современных писателей и некоторых из наших наиболее глубоких философов (скажем, Алфреда Норта Уайтхеда), в какой он являлся таковым для Джеффри Чосера или для древнего китайского мыслителя. Он начинает (возьмем простой, но отнюдь не шуточный пример) с интуитивного убеждения, что, коль скоро капля воды, планета и вселенная тяготеют к шарообразной форме, они имеют некую внутреннюю общность, и приходит к конечному выводу об общности всего сущего. Сравните с этим выдвинутую Бозцием идею «любви» как всеобъемлющего принципа мироздания, как закона природы, подобного Ньютоновым законам термодинамики, но только более широкого по сфере своего действия, охватывающей и полет искр к небу, и устремление волн к берегу, и порыв человеческого духа к своему создателю. Средневековые мыслители считали, что путь к истине идет через метафору, т. е. через поиски сущности связи вещей в мире. Серьезный средневековый поэт не мог довольствоваться простым изложением своих мыслей по поводу той или иной конкретной ситуации, как это мог бы сделать Роберт Фрост; он считал необходимым найти аналогичную по своему существу ситуацию и выявить идущий там идентичный процесс упадка, роста или чего бы то ни было еще, как это любил делать Т. С. Элиот. Так, Чосер, говоря в «Рассказе второй монахини» об очищающей силе святости, использует язык алхимии. Хотя аналогия ускользает от взгляда современного читателя, следующие строки подразумевают сравнение между небесной сферой, философским камнем и праведной жизнью:

Как наделяет мудрецов чреда
Свод неба быстротою и гореньем,
Так и Цецилия в делах всегда,
Сердечно каждым дорожа мгновеньем,
Неутомимым отличалась рвеньем
И пламенной горела добротой.
Вот объясненье имени святой*.

* «Кентерберийские рассказы», с. 440.

Повествуя далее о мученичестве св. Цецилии, Чосер сравнивает ее с философским камнем, сгорающим в перергонном кубе, или, как говорится в некоторых английских трактатах по алхимии, в «доме»:

Разгневала префекта эта речь,
И он тотчас же отдал приказанье
Домой святую отвести и сжечь
Ее в натопленной отменно бане
И в пекло, раскаленное заране,
Была Цецилия заключена,
Чтоб задохнулась там в чаду она *.

Для того чтобы понять поэзию Чосера и наслаждаться ею, вовсе не обязательно знать все средневековые искусства и ремесла, ибо в ней, как в Библии (во всяком случае, когда ее толкованием занимаются более мудрые отцы церкви), то, о чем говорится темно и смутно в одном месте, непременно получает ясное выражение в другом; однако представляется важным — и с эстетической, и с философской точек зрения — знать, что для Чосера все в мироздании взаимно связано, находится в кровном родстве.

Хотя мы продолжаем пользоваться методом доказательства по аналогии, делаем мы это, по средневековым понятиям, крайне неумело. Мы применяем метафоры, пригодные для того или иного конкретного случая (скажем, «умственные токи», «каналы мысли», «реки чувства»), но не имеем всеорганизующей системы. Мы сосредоточиваем внимание на частностях, игнорируя универсалии. В противоположность этому средневековая и античная философия, не затронутая аналитической мыслью Декарта и Лейбница, исходила из идеи целостности. Возьмем такой пример. Тогда как современная западная медицина изучает большой орган, игнорируя остальную вселенную, средневековая и (в некоторых случаях) античная медицина принимала в расчет положение планет на небе, характер питания больного в течение целой жизни, его физиогномические особенности, семейные отношения, а подчас и вид внутренностей только что убитой козы. Там, где современный хирург вырезает пораженную часть органов, средневековый врач, убежденный в том, что микрокосм (человек) и макрокосм (вселенная) тесно связаны, в качестве составной части своего курса лечения отливал «образ» — маленькую модель зодиака, в которой каждый камень или металл имел своим назначением притягивать целебные силы или же

* «Кентерберийские рассказы», с. 450.

противодействовать разрушительному действию той или иной планеты, и в дополнение к лекарствам советовал изменить диету больного, предварительно установив, какой из «соков» организма является источником недуга: кровь, флегма, желчь или черная желчь. Хотя Чосер насмехается над алчностью и самонадеянностью врача из «Кентерберийских рассказов», он совершенно серьезен в своих похвалах его лечебному ремеслу:

К тому ж он был искусный астролог;
Он, лишь когда звезда была в зените,
Лечил больного; и, связав все нити
Его судеб, что гороскоп дает,
Болезней он предсказывал исход —
Выздоровления иль смерти сроки.
Прекрасно знал болезней он истоки:
Горяч иль холоден, мокр или сух
Больного нрав, а значит, и недуг.
Как только он болезнь определял,
Он тотчас же лекарство назначал *.

Поскольку Чосер жил в эпоху холистического мышления, у него не было никакого другого выбора, как продолжать всеми доступными ему средствами изучение метафизики, взаимосвязи формы и содержания, высших и низших категорий живых существ (от червей до ангелов или платоновских духов), а также геометрии, нумерологии — науки о магических числах, — астрологии, алхимии, философии музыки и т. д., иными словами, предметов, входивших в университетскую учебную программу, так называемый квадривиум. Не постигнув этой премудрости, он не мог бы даже надеяться стать первоклассным поэтом. Его сочинения свидетельствуют о том, как он хорошо справился с нелегким этим делом. Идя к своей собственной цели, Чосер приобретал познания не как будущий специалист в области всех этих дисциплин, а как поэт, которому полученные знания будут нужны в особых, поэтических интересах. Чосер не стал профессором математики (если последняя страница трактата «Экватор планет» принадлежит его перу, что вполне возможно, он способен был делать поразительные ошибки), но зато он был превосходным математиком-любителем — не просто специалистам по подсчетам, а человеком, который вникал в таинственные свойства чисел и геометрических форм и вобрал в себя математические познания, дошедшие до него от Пифагора, Платона и Аристотеля в сочинениях Макробия, Боэция и других и примененные в области

* «Кентерберийские рассказы», с. 44.

физики, оптики и т. п. (у нас нет надобности останавливаться здесь на подробностях способов применения) такими учеными, как Роберт Гростест и Роджер Бэкон.

Алхимию Чосер в конце концов изучил достаточно хорошо для того, чтобы не только насытить «Рассказ слуги каноника» специальной терминологией алхимиков, но и живо передать эмоции этих людей: жгучее любопытство, честолюбие, гнев, огорчение, отчаяние. Более того, он разбирался в алхимии настолько, что смог дать правильное истолкование трудному алхимическому тексту, которым завершается этот рассказ. Во времена Чосера, как мы уже отмечали, нумерология и алхимия не считались псевдонауками, хотя они и включали в себя то, что мы называем сегодня «магией»; далеко не все, кто занимался ими, напоминали тех законченных пустословов, с какими мы встречаемся в «Рассказе слуги каноника». Лучшие из математиков-нумерологов и алхимиков были трудолюбивыми учеными, теоретиками и практиками, которые усердно пытались раскрыть тайны природы. Как и Чосер в этом рассказе, они придерживались мнения, что если дурной человек способен стремиться к знанию ради личной выгоды, то добрые люди стремятся к знанию ради той пользы, которую оно приносит, и для удовлетворения своей любознательности. Такие добрые люди заслуживали всяческого уважения, особенно в Оксфорде, где изучение оккультных наук имело славные традиции, восходившие как минимум к Роджеру Бэкону, за которым в последующие времена закрепилась репутация великого мага, основывавшаяся главным образом на его оригинальных (а с нашей точки зрения — бездоказательных) идеях в области астрологии и алхимии.

В 60-е годы Чосер, должно быть, только приступал к изучению этих дисциплин. В своей элегии на смерть Бланш, написанной, скорее всего, в 1369 или 1370 году, Чосер занимает в основном боэцианскую философскую позицию: одной из главных тем «Книги герцогини» является свободная воля как свойство сознания в мире, где Фортуна кажется всемогущей; в произведении использованы — в общем виде — боэцианские противоположные тьмы и света (применительно к материи и форме или духу) и мысль Боэция о том, что нужно действовать не наперекор природе, а в союзе с ней; кроме того, автором непосредственно позаимствован ряд образов из «Утешения философского». Но только в поэмах, написанных позже «Книги герцогини», Чосер начинает широко цитировать Боэция и ссылаться на него — примером может служить

использование в «Доме славы» боэцианской идеи, согласно которой все сущее имеет свое определенное природой место на лестнице, поднимающейся от низшего вида материи до чистой духовной субстанции:

От творенья и поднесь
Каждой вещи место есть,
Отведенное природой
Для вещей такого рода.
Если вещь удалена,
К месту движется она
По причине проявленья
Родственного тяготенья.

Астрономические и музыкальные аллюзии в «Книге герцогини» носят традиционный характер, а если в поэме и содержатся алхимические вкрапления, то исследователям обнаружить их не удалось. Зато поэма в изобилии содержит свидетельства того, что Чосер отлично усвоил предметы, входившие в тривиум, и как свои пять пальцев знал «Песнь песней», «Апокалипсис», французскую поэзию и Овидия. Он обнаруживал также знакомство с современной ему психологией, притом не только с теорией снов, но и с теоретическими подходами к сумасшествию и его лечению (получившему у оксфордских медиков название «сердечная охота»). По всей вероятности, Чосер только начинал осваивать математические и естественные науки, которые приобретут для него важное значение впоследствии, и пока что не слишком далеко углубился в изучение спекулятивной философии.

В XIV веке Оксфордский университет являл собой центр вольнодумия и кипучей умственной деятельности. Отчасти это было обусловлено его влиянием и прочным положением, его правом на самоуправление и проявляемой время от времени неистовой решимостью отстаивать это право, а отчасти являлось следствием той творческой атмосферы, которая была там создана смелыми идеями нескольких поколений мыслителей, начиная, в известном смысле, с Роберта Гростеста. В XIII столетии, после того как доминиканцы, взяв в 1286 году обязательство защищать учение Фомы Аквинского, связали себя по рукам и ногам, ведущая роль в развитии средневековой мысли перешла к францисканцам. И вот Гростест, учитель-францисканец, основал в Оксфорде школу, которую Роджер Бэкон и другие сделают важнейшим для своего времени учебным заведением. С самого начала эта школа стояла

за независимость суждений и получение знания из первых рук и, помимо изучения «старых авторитетов», культивировала изучение языков и физики.

В деле критического опровержения томизма — философской системы Фомы Аквинского — великий ученый Дунс Скот пошел дальше Гростеста. Будучи блестящим критическим исследователем систем, Дунс Скот сумел показать, что постулируемая Аквином гармония божественного откровения и философии иллюзорна. Но Дунс Скот не решился сделать последний шаг и признать, что между разумом и верой, между философией и религией лежит непроходимая пропасть. Затем в Оксфорд середины XIV века явился Уильям Оккам, а вместе с ним пришло возрождение (или, скорее, переосмысление и новый расцвет) давнишнего, возникшего еще в XII столетии философского течения, известного под названием «номинализм».

Сегодня Оккама помнят главным образом по изречению, именуемому «бритвой Оккама»: «*Pluralites non est ponenda sine necessitate*» — «Сущности не должны быть умножаемы сверх необходимости». Принцип этот, на самом деле не являвшийся изобретением Оккама, имеет важное значение для истории философии и естественных наук не только по причине своего логического удобства (т. к. он утверждает, что простое объяснение логически предпочтительней более сложного), но еще и потому, что он, как оказалось, верно отражает тот метод работы, которым пользуется природа: так, например, когда в процессе эволюции живых организмов возникает необходимость в изменениях, природа начинает не с нуля, а удлиняет, сплюсчивает или как-нибудь еще видоизменяет уже запущенные в производство клетки, т. е. латает и штопает, идя по линии наименьшего сопротивления. Однако значение Оккама для своего времени определялось его оригинальными изысканиями в области политической теории (где он энергично защищал государство от притязаний папы на мирскую власть) и философии, особенно в таких ее разделах, как психология, метафизика и логика. Он первым сформулировал убедительные критические доводы номиналистов против универсалий, утверждая, что существуют только индивидуально-конкретные вещи — конкретные коровы, деревья или люди — и что универсалия (скажем, человеческая природа) имеет объективный смысл и существует лишь постольку, поскольку она мышлена. За столетия до Шопенгауэра он утверждал, что первичным свойством души является не интеллект,

а воля, поскольку идеи, естественно, вытекают из перцепции и интуиции, этих основных форм человеческого познания; и еще он утверждал, что, коль скоро универсалии являются не больше как понятиями, не может быть никакого реального различия между «сущностью» (идеей вещи) и «существованием» (самой этой вещью, как мы ее воспринимаем своими органами чувств).

И до, и после Оккама в средневековой философии имелись два основных направления, известные в истории философской мысли как «реализм» и «номинализм». Poleмика разгорелась по поводу истолкования одного места из трактата Порфирия «Введение к категориям Аристотеля» в переводе Боэция, в котором речь шла о проблеме родов и видов (например, «животные» и «лошади»). Споры велись по трем вопросам. Во-первых, существуют ли роды сами по себе или только в сознании? Во-вторых, если они имеют самостоятельное существование, то материальны они или нематериальны? И, в-третьих, существуют ли они отдельно от чувственно воспринимаемых вещей или помещены в них? В самом упрощенном виде эти вопросы сводились к следующему: 1) можно ли думать о «животном», не думая о лошади, кошке, собаке или корове; 2) если просто «животное» существует, то есть ли у него тело; 3) если «животные» как таковые есть, то существуют ли они сами по себе, или же нам нужно, фигурально выражаясь, разрезать носорога, чтобы извлечь из него «животное»?

Реалисты, философская позиция которых восходила к Платону, были склонны считать, что конкретным животным — моему псу Фреду, моему коню Александру и моей обезьянке Джиму — предшествовала божья идея «животного» и что только эта божественная идея в конечном счете реальна. Все остальное, пользуясь выражением Чосера, заимствованным у Платона, «лишь тени, что мелькают на стене». Номиналисты же, напротив, утверждали, что такие слова, как «животные» (т. е. универсалии), — это не больше как названия, которые мы придумываем для выражения в отвлеченной форме свойств, наблюдаемых нами в конкретных предметах. Подобный взгляд на вещи связан с одной занятой проблемой, которая позволяла Чосеру вдоволь потешиться: коль скоро идеи суть абстракции, отвлеченные от конкретного, я не могу узнать, «правильна» ли моя идея, и — поскольку вы, абстрагируя, тоже отвлекаетесь от конкретного — я не могу в точности передать вам смысл моей идеи. (Хотя данная проблема была многократно разъяснена, эта

ошибка в суждении не изжита по сей день и проявляется, например, в утверждении позитивистов, что человек «не может почувствовать зубную боль другого человека».) Если все идеи неизбежно носят личный характер, то, значит, всякое обсуждение, всякое вынесение оценок обязательно обернется перепалкой, столкновением предвзятых мнений. А раз так, то сам бог велит Чосеру обрушиться в обращении, предпосланном пародийно-номиналистскому «Дому славы», на критиков, которым не понравится его поэма:

Коль сыщется такой наглец,
Зоил спесивый иль подлец,
Насмешник злобный, иль завистник,
Иль человеконенавистник,
Что вздумает хулить мой труд,
Пусть будет он казнен за блуд!
Несчастье, горе и беда
Пусть мучают его всегда
До гроба. Пусть он изопьет
Страданий чашу и умрет,
Как умер Крез, лидийский царь.
(Крез вещей сон увидел встарь,
Как будто в высь он вознесен.
Тот в руку оказался сон:
Врагами был в мгновенье ока
Он вздернут на столбе высоком.)
Молить всечасно бога стану,
Чтоб не щадил он критикана!

Хотя на первый взгляд весь этот диспут между «реалистами» и «номиналистами» может показаться пустой схоластической казуистикой, на самом деле он затрагивал вопросы огромного философского и практического значения. Номинализм, и особенно номинализм периода начала XI—XII веков, подразумевал материалистическое, анти-идеалистическое мировоззрение, тогда как реализм подразумевал идеалистическую систему взглядов. Но еще важнее было вот что: так как учение церкви — столетиями создававшееся скрупулезными толкованиями смысла Библии — претендует на разъяснение абсолютных реальностей (таких незримых сущностей, как троица, например), номинализм, если строго следовать его логике, подводит к выводу, что все писания отцов церкви вполне можно выбросить на свалку.

Переосмысливая положения номинализма, Оккам, человек глубоко религиозный, понятное дело, отказался признать столь еретический вывод; он просто-напросто (в соответствии с интуитивистскими воззрениями св. Франциска, основателя ордена) отказался от всяких попыток

примирения человеческого разума и божественных тайн. Перенесенный в сферу непостижимого, бог стал загадочной Абсолютной волей, не связанной никакими человеческими понятиями справедливости или разумности, Верховным существом, о котором бессмысленно размышлять. Сама эта идея не была нова. Августин давным-давно уже провозгласил, что он верит, потому что не может понять. Зато была нова цель, которую преследовал Оккам, — освобождение философии. Он ни на минуту не позволял себе усомниться в истинности христианского откровения, но он, по существу, превратил его в предмет, не подлежащий более обсуждению. Он широко открыл дверь в философию для мирянина и ученого-небогослова, который мог свободно ставить вопросы, не будучи связан исходными теологическими предпосылками. Его последователи станут изучать историю человечества, политику и чувственно воспринимаемый мир без чрезмерной оглядки на старые авторитеты, а дух независимого исследования, порожденный его идеями, будет вдохновлять Уиклифа и — через Уиклифа — чешского религиозного реформатора Яна Гуса, сожженного на костре, Кальвина и Лютера.

Джон Уиклиф, друг и идейный союзник Джона Гонта, был на десяток лет старше Джеффри Чосера. В своих сочинениях он по большей части оспаривал идеи номиналистов, но иной раз приходил к таким же, как они, выводам. В философии он был умеренным реалистом и, являясь отчасти последователем Фомы Аквинского, признавал, что общие идеи реально существуют лишь «в двойственном смысле»: их существование отделимо, с одной стороны, от единичных вещей, в которых они становятся осязаемыми, а с другой стороны, от божественного разума, в котором они обретаются вечно в невещественном виде. Поскольку же бога Уиклиф представлял на манер платоников как сущность, чья воля и природа неизменны, наподобие Платоновой «формы» (такой, как, скажем, идеальный, нематериальный Платонов стул, приближенными подобиями которого являются все конкретные стулья), он неизбежно должен был отвергнуть ряд положений тогдашнего вероучения: идею произволения господня; представление о правомочности папы и его легатов присваивать самим и предоставлять другим незаконные привилегии, такие, как отпущение грехов с помощью индульгенций или освобождение от обетов, разрешение браков между родственниками и т. д.; власть папы в мирских делах (в этом он был последователем Оккама); учение о пресуществлении как нечто привнесенное в более

позднюю историческую эпоху и абсурдное с философской точки зрения. С годами Уиклиф все больше склонялся к принятию теологического детерминизма и идеи предопределения (божьей благодати в особом смысле) — концепций, во многом сходных с позднейшим учением Кальвина. При всей своей нелюбви к номинализму он разделял заботу номиналистов о правильном переводе текстов; отстаивая идею о буквальной боговдохновенности Библии, он признавал Писание единственной основой божественного закона и призывал сделать Библию достоянием мирян. Всем церковникам, по его убеждению, надлежало запретить занимать светские должности и иметь слишком большой достаток. И хотя фактически он не ополчался против богатства как такового, его призывы, истолкованные именно таким образом, вдохновляли участников крестьянского восстания 1381 года, спаливших дома богачей, в том числе и дворец Гонта. На самом-то деле Уиклиф, конечно, был сторонником Гонта и защищал его от врагов-церковников, «бегая из одной церкви в другую» по всему Лондону.

Главными популяризаторами идей Уиклифа являлись лолларды или «бормотуны», обосновавшиеся в Оксфорде. В своих «Двенадцати выводах», которые были сформулированы для представления в 1395 году парламенту, лолларды наряду с прочим выдвинули следующие положения: английская церковь находится в чрезмерной зависимости от своей «мачехи» в Риме; теперешнее духовенство не было посвящено в священники Христом, и ритуал рукоположения не имеет обоснования в Писании; безбрачие духовных лиц порождает противоестественную похоть; таинство пресуществления — это «лжечудо», ведущее к идолопоклонству; освящение хлеба, вина, одежды и т. п. равнозначно колдовству; прелаты не должны быть светскими судьями и правителями; молитвы по умершим, паломничества и приношения даров образам являются язычеством; для того чтобы спастись, вовсе не обязательно исповедоваться духовнику; война находится в «явном противоречии с Новым заветом». Хотя многие известные лолларды были богаты и принадлежали к цвету рыцарства, особенно некоторые вассалы Черного принца, движение лоллардов ассоциировалось в народном сознании с упрямой уверенностью в собственной правоте, свойственной представителям низшего сословия, и со своеобразным библейским фундаментализмом, в особенности с заумным, эксцентричным толкованием текстов. Именно такими представляют себе лоллардов Гарри Бэйли и шкипер, затеяв-

шие разговор о них на страницах «Кентерберийских рассказов»:

«Клянусь Христовым телом, не убудет
Почтенья нашего к вам, сэр священник,
Коль, слова данного послушный пленник,
Вы мудростью поделитесь с нами:
Ведь, вот вам крест, невежды мы пред вами».
Ему священник: «Друг мой, мир с тобой,
Но отучись ты речь мешать с божбой».
Тогда хозяин: «Ба, все жив курилка!
Не почата еще твоя бутылка,
И присказку лишь начал ты свою.
По запаху лолларда узнаю.
И кажется, клянусь крестом господним,
Про адские мученья в преисподней
Сейчас мы проповедь твою услышим.
Лолларду слово, вы ж, о други, тише».
«Клянусь отцовым прахом, пусть молчит, —
Вскричал моряк, — и воду не мутит.
Он проповедник! Ну и что ж такого?
Чтобы вещал лоллард господне слово,
Да это значит поле засорять» *.

Но, несмотря на распространенное представление о лоллардах как о людях невежественных, малообразованных, несмотря на естественную притягательность лоллардских идей для англичан, едва овладевших грамотой, которые, в соответствии с учением лоллардов, могли читать Библию на своем родном языке, а не на латыни и понимать ее безо всякой специальной подготовки, это религиозное движение оставалось составной частью интеллектуальной атмосферы Оксфорда XIV века. Будучи связан с Оксфордским университетом — то ли как студент, то ли как поэт, время от времени приезжавший туда читать стихи, то ли как отец, навещавший учившегося там сына, то ли как гость, останавливавшийся в комнатах своих друзей-преподавателей, — Чосер неминуемо должен был познакомиться в Оксфорде с некоторыми лоллардскими идеями и не мог не отнестись к ним сочувственно. При этом он, подобно Гонту, не собирался становиться последователем Уиклифа в еретических его воззрениях — таких, например, как непризнание таинства пресуществления, — но многие отличительные черты поэзии Чосера, и в особенности ненависть к развращенным богатством священникам, несут на себе отпечаток влияния идей Уиклифа.

На протяжении большей части XIV столетия Оксфорд

* «Кентерберийские рассказы», с. 182.

был лучшим университетом во всей Европе. Но при всем своем престиже он часто становился ареной беспорядков и бесчинств. Ректор, избиравшийся высшим преподавательским составом старшего факультета (богословия и канонического права), являлся главным должностным лицом университета, наделенным административной властью и широкой юрисдикцией в уголовных и гражданских делах, в которых оказывались прямо замешанными студенты или преподаватели университета. Круг его полномочий фактически обеспечивал университету полную автономию — не только право самоуправления, т. е. право самостоятельно принимать любые решения относительно моральных и академических критериев, но и право ограждать своих членов от действия гражданских законов и даже право вершить суд над горожанами, если одной из сторон в тяжбе оказывался член университета. Эти ревниво оберегаемые права постоянно подвергались угрозам как извне, так и изнутри, но оставались незабываемыми вплоть до временного закрытия университета в 1382 году из-за ереси лоллардов. Время от времени происходили баталии с оксфордскими горожанами, имевшими веские основания протестовать против непростибельных иной раз вольностей, которые позволяли себе студенты на улицах Оксфорда (например, смертоубийство), и еще более бурно протестовать против притязаний университета на юрисдикцию в подобных делах. Случались порой и внутренние распри: то враждовали различные факультеты, то — это бывало чаще — студенты разных национальностей: англичане, шотландцы и валлийцы. Столкновения носили такой ожесточенный характер, что, по словам одного автора, на многих знаменитых полях сражений, наверное, было пролито меньше крови на один квадратный ярд, чем на оксфордской Хай-стрит.

Самые крупные и наиболее известные из оксфордских беспорядков вспыхнули в день св. Схоластики — 10 февраля 1355 года — и получили название «Великая резня». Чосеру тогда было пятнадцать лет, но эти события еще не изгладились из памяти очевидцев в его оксфордские времена. Все началось со ссоры студентов с хозяином одной таверны. Студентам не понравилось вино, и они высказали хозяину свое неудовольствие. Тот имел неосторожность ответить и получил кружкой по голове. Началась потасовка, и уже вскоре набатно зазвонил колокол церкви св. Мартина, призывая горожан к оружию. По распоряжению ректора ударили в колокол на колокольне университетской церкви — сигнал к сбору всех универси-

тетских. Два дня подряд горожане и жители окрестных деревень врывались в залы университета и перебили в общей сложности шестьдесят пять студентов. Большинство уцелевших учащихся бежали из города, но победа горожан оказалась пирровой. Университет взыскал с города большую компенсацию за убытки, наложил на горожан крупный штраф и добился расширения юрисдикции ректора, который стал теперь единственным охранителем твердых цен на хлеб и эль, точных весов и мер и получил другие привилегии, фактически поставившие город под управление университета. И вплоть до XIX века мэр Оксфорда продолжал ежегодно приносить покаяние за грехи горожан, совершая церемониальное шествие к университетской церкви.

Хотя «Великая резня» унесла больше жертв, чем любой другой из оксфордских бунтов, кровопролитные битвы между горожанами и университетскими или между студентами разных национальностей были во времена Чосера обычным явлением. Может быть, и он, припомнив старые свои военные навыки, участвовал в этих сражениях, крался на цыпочках узкими проходами между домами, прижимался к стенам... Дж. Дж. Коултон приводит выдержку из следственных протоколов за 1314 год как наглядный пример бесчинств, характерных для всего того периода. В отчете жюри присяжных при коронере излагаются обстоятельства стычки на Гроуп-Лейн студентов-шотландцев со студентами — выходцами из южной и западной Англии; и те и те были вооружены «мечами, щитами, луками, стрелами и прочим оружием и, сойдясь там, стали биться друг с другом». Роберт Брайдлинтон и несколько его сотоварищей, сообщается в отчете, стояли в проеме окна верхнего зала, и вот «...упомянутый Роберт Брайдлинтон малой стрелой поразил... Генри Колнайла, тяжело ранив его в горло; стрела вонзилась в горло спереди и слева; рана была шириной в один дюйм, а глубиной до самого сердца; таким образом, стрелявший убил его... В том же столкновении Джон Бентон вышел на Гроуп-Лейн с широкой кривой саблей и ударил ею Дэвида Киркби по затылку, нанеся рану длиной в шесть дюймов и глубиной до мозга. В тот же момент явился Уильям Хайд и ударил вышеназванного Дэвида мечом по правому колену и голени; тогда же подошел Уильям Эстли и ударил помянутого Дэвида кинжалом под левую руку и этим ударом убил его...»⁴.

Такие же сцены разыгрывались и в 1389—1399 годах, когда Адам Аск, пожилой, серьезный преподаватель

канонического права, водил своих студентов, валлийцев и уроженцев южных графств, в бой со студентами-северянами, и на поле битвы оставалось немало убитых с той и другой стороны.

В некоторых случаях причиной вспыхивавших в Оксфорде беспорядков являлось интеллектуальное рвение. Дерек Бруэр пишет:

«Во время полемики с лоллардами один из диспутантов, выступавший на стороне ортодоксов [противников лоллардов], которые были непопулярны в университете, потерял самообладание, когда увидел (или когда ему показалось, будто он увидел), что у двенадцати человек из числа его слушателей спрятано под мантиями оружие. И он решил, что, если он тотчас же не слезет с кафедры, с которой, согласно обычаю, он публично излагал свои доводы, ему грозит неминуемая смерть»⁵.

По словам Бруэра, «подобные бесчинства уравнивались горячим интересом к интеллектуальным материям, причудливым свидетельством которого они, эти бесчинства, и являлись». Не знаю, может быть. Но независимо от того, чем были вызваны бесчинства в данном конкретном случае, многочисленные письменные сообщения об избиениях и уличных войнах отбрасывают немного зловещий свет на веселые фавльы Чосера о грубоватых, бесцеремонных оксфордских и кембриджских студентах — «Рассказ мельника» и «Рассказ мажордома». В «Рассказе мажордома» происходят такие вещи: мельник, набросившись на молодого студента Алана, «кулаком ему расквасил нос»; вскакивают на ноги Джон, товарищ Алана, и жена мельника и в кромешной тьме бросаются на помощь: Джон — Алану, мельничиха — мужу:

Тут Джон вскочил и шарить стал дубину,
Она за ним, поняв наполовину,
Где враг, где друг: рванула впопыхах
И оказалась с палкою в руках.
Луна едва в окошечко светила,
И белое пятно ей видно было.
И вверх и вниз то прыгало пятно,
У ней в глазах маячило оно.
Его приняв за Аланов колпак,
Она ударила наотмашь. «Крак!» —
По комнате раздалось. Мельник сел
И от удара вовсе осовел.
Пришлась ему по лысине дубина.
И в обморок упала половина
Его дражайшая, поняв свой грех.
Студентов разобрал тут дикий смех.
В постель они обоих уложили,

Мешок с мукой и хлеб свой прихватили
И тотчас же отправилися в путь... *

Однако и беспутство, и интеллектуальное рвение были отличительными чертами студенческой жизни в Оксфорде чосеровских времен, и обе эти черты получили яркое отражение в поэзии Чосера: беспутство — в таких персонажах, как Джон и Алан и «душка Николас» из «Рассказа мельника», а интеллектуальный пыл — в изысканиях самого Чосера о соотношении опыта и авторитета или в его нападках на лицемерие церковников, в которых слышен отзвук лоллардских проповедей.

С февраля по май 1366 года Чосер находился вдали от заснеженных английских равнин — он путешествовал по восхитительно красивым горным дорогам Испании. На том этапе войны Англии с Францией королевские сыновья Гонт и Черный принц стремились открыть «второй фронт» против Франции, вступив в союз с ее испанскими врагами, и имеется версия, согласно которой Чосер отправился в 1366 году в Испанию в связи с приготовлениями Карла Дурного, короля Наварры, к войне с французами. Известно, что тогда же в Наварре находились Черный принц и знаменитый в ту пору английский полководец Доберчикорт (или Добричекорт) — возможно, прибывшие туда для переговоров с Карлом Дурным. По другой версии (довольно несостоятельной), Чосер был послан в Испанию, чтобы помочь Генриху Трастамаре, претендовавшему на трон другого испанского королевства, Кастилии, в его попытках низложить законного правителя страны, Педро, который получил в последующих исторических сочинениях прозвище Педро Жестокий. На самом деле Чосер, по всей видимости, приехал для того, чтобы сражаться или (что более вероятно) вести переговоры на стороне Педро, а вовсе не Трастамары. Джону Гонту и Черному принцу было действительно важно не допустить, чтобы сильный кастильский флот попал в руки противницы Англии — Франции (на помощь которой Трастамара рассчитывал), а поскольку путь к отступлению французской армии проходил через Наварру, необходимо было заручиться дружбой короля Карла. Поэтому вполне возможно, что во время своей поездки Чосер повидал оба испанских двора. Мы не знаем, чем

* «Кентерберийские рассказы», с. 143.

еще обогатила Чосера эта поездка, но в творчестве его она оставила след в виде яркого поэтического образа. В поэме «Дом славы» автор видит ледяную гору, увенчанную зданием, и, вспомнив свою поездку в Испанию — подъем на единственный в те времена перевал через Пиренеи, изумительной красоты пики, монастырь на высоком утесе, неожиданный, захватывающий дух спуск в глубокую долину, — говорит о фальшивом рае Славы, помпезной имитации белоснежного небесного замка средневековой поэзии: «Был выше он испанских гор, / Хоть Слава, мне поверьте, вздор». Возможно, поездка в Испанию дала Чосеру несравненно больше: он мог почерпнуть немало идей у высокообразованных испанских мавров, с которыми, должно быть, встречался при испанских дворах; в этой поездке мог родиться замысел его поэмы «Птичий парламент», написанной впоследствии, ибо до 1366 года в Испании была сочинена поэма, несколько схожая с ней по общей концепции и идентичная по названию.

В 1366 или 1367 году умер отец поэта Джон Чосер, а в мае 1367 года овдовевшая мать Джеффри вышла замуж за вино торговца Бартоломью Аттечепела (или атте Чепела, или просто Чепела). В 1366 году или, может быть, раньше Джеффри Чосер женился на Филиппе Розет, фрейлине королевы. Филиппа, дочь знатного сэра Паона Розта, занимала значительно более высокое положение в обществе, чем ее муж, и их женитьба дала повод для сплетен — если не при его жизни, то века спустя, в недалеком прошлом. Во-первых, утверждалось, будто брак этот оказался неудачным; во-вторых, нас уверяли, что он был устроен стараниями Джона Гонта, хотевшего избавиться от знатной любовницы, попавшей в интересное положение. Давайте сразу же и обратимся к этой чрезвычайно таинственной истории.

Итак, напомним, что отец Джеффри умер в период между январем 1366 года, когда он еще значился в живых, и 6 мая 1367 года, когда его вдова вышла замуж. Как бы богат ни был Джон Чосер для вино торговца, он не мог оставить сыну такого состояния, которое сделало бы его привлекательной партией для Розетов, известного аристократического рода королевства Эно, много лет близко связанного с королевой Филиппой и имевшего богатые земельные владения (об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что сестра Филиппы Катрин вышла замуж за отпрыска древнего рода Суинфордов, английских земельных аристократов). Человек, который не мог похвастать

ни богатством, ни родовитостью, ни даже — пока что — славой большого поэта с международной известностью, простой сквайр, только и всего, Чосер завоевал одну из воспитанниц самой королевы Филиппы. Как же это могло случиться? Разумеется, он мог полюбить ее и, будучи приятным собеседником и умелым ухажером, добиться у нее взаимности, но дело в том, что в XIV веке любовь редко принималась во внимание, когда дело касалось замужества наследницы знатного рода.

Имеются кое-какие свидетельства (которые, впрочем, никоим образом не являются неопровержимыми доказательствами), подтверждающие предположение о том, что Джон Гонт, славившийся своими любовными похождениями, соблазнил Филиппу, а когда узнал, что она ждет ребенка, убедил своего придворного Джеффри Чосера жениться на ней. В том же сентябре месяце 1366 года, когда Филиппа была впервые названа в дошедших до нас документах женой Чосера, Гонт собирался покинуть Англию, чтобы присоединиться к своему брату Черному принцу, воевавшему с французами и Генрихом Трастамарой. Война в Испании была кровопролитной, и Гонт должен был допускать возможность, что он больше не вернется домой. Будучи, как и его отец, непоколебимым приверженцем рыцарских идеалов, человеком, который всю свою жизнь хранил нерушимую верность друзьям и вассалам, образцом чести в свой сплешь и рядом бесчестный, вероломный век, Гонт счел бы невыносимым бесчестьем бросить на произвол судьбы девушку, тем более не какую-нибудь потаскушку, а дочь одного из старых друзей королевы, более того, фрейлину и воспитанницу самой королевы. Так, может быть, пожизненная рента, которую он предоставил Филиппе в том сентябре, являлась утешением и свадебным подарком? Девять месяцев спустя — по-видимому, сразу после рождения Елизаветы Чосер — Джеффри Чосеру (теперь уже королевскому придворному) была пожалована пожизненная рента в размере 20 марок (около 3000 долларов). Очевидно, что это могло быть сделано просто в знак признания новых отцовских обязанностей поэта или каких-нибудь его заслуг, однако не менее очевидно и другое: если Елизавета Чосер и впрямь была незаконнорожденной дочерью Джона Гонта, герцог, естественно, счел бы своим долгом позаботиться, действуя через своего отца (ренту жаловал Чосеру король, но бразды правления страной находились в руках у Гонта), о собственном ребенке.

Профессор Уильямс, чьи догадки я сжато излагаю здесь, проводит любопытную параллель:

«Были ли подобные процедуры широко распространены при том развращенном дворе, мне не известно, но заставляет задуматься такая вот краткая запись: одному коллеге Чосера, придворному служителю Эдмунду Раузу, была пожалована королевская рента «за то, что он взял в жены Эгнис Арчер, фрейлину королевы». Многоговорящая формулировка. И к тому же Эгнис сохранила свою девичью фамилию»⁶.

Гонт проявлял щедрую заботу о Елизавете Чосер и о другом ребенке Чосера до конца своей жизни. Когда Елизавета поступила послушницей в Баркингский монастырь, чтобы стать монахиней, Гонт подарил монастырю 51 фунт стерлингов 8 шиллингов 2 пенса (около 12 235 долларов), частично в виде пожертвования, частично «на покрытие различных расходов», связанных с ее пребыванием в монастыре. Поскольку Елизавета была племянницей Катрин Суинфорд, возлюбленной, а впоследствии жены Джона Гонта, поскольку, далее, Гонта связывала с Джеффри Чосером многолетняя дружба и поскольку Гонт, став герцогом Ланкастерским, был теперь самым богатым человеком в Англии, нет необходимости объяснять этот дар какими-то загадочными причинами. Вместе с тем ценность этого подарка такова, что допустимо предположить наличие у Гонта особых причин для того, чтобы заботиться о Елизавете.

Профессор Уильямс находит многочисленные намеки на то, что забота, которую Гонт проявлял о Филиппе, не была связана с его интересом к личности Чосера или его дружбой с ним. В августе 1372 года Гонт подарил Филиппе ренту в размере 10 фунтов стерлингов (2400 долларов) «по причине нашего особого благоволения и в награду за добрую и усердную службу нашей дражайшей и горячо любимой королеве». Позже он наградил рентой в 10 фунтов стерлингов «нашего любезного Джеффри Чосера» — не только за его службу, но и за «добрую службу нашей любезной Филиппы, его супруги, при нашей благороднейшей госпоже и матери королеве...». К тому времени королева Филиппа уже пять лет как умерла. Накануне Большого похода через Францию (1373 год) Гонт сделал перед отъездом на войну подарки своей второй жене, королеве Констанции Кастильской, отцу, сестре, дочерям, Алисе Перрерс (любовнице короля Эдуарда) и, среди прочих, Филиппе Чосер. Жене он подарил четыре золотые пуговицы, а Филиппе — ящичек для пуговиц

с шестью серебряными пуговицами, отделанными золотом. На Новый — 1380 — год Гонт преподнес Филиппе серебряный кубок стоимостью в 31 шиллинг 5 пенсов (377 долларов); в 1381 году он подарил ей новый серебряный кубок, отделанный золотом, — один из пары, стоившей 10 фунтов 4 шиллинга 2 пенса (2570 долларов); еще один кубок подарил он ей и в следующем году. Споры нет, Гонт был щедр ко всем окружающим, и тем не менее постоянство, с которым имя Филиппы Чосер повторяется в расходных книгах его двора, представляется знаменательным, даже если учесть тот факт, что она была сестрой его возлюбленной, Катрин Суинфорд.

Свидетельства (или предположительные свидетельства) такого рода можно перечислять до бесконечности. В мае 1379 года, когда Гонт полностью контролировал административные дела Линкольншира, шериф этого графства по какой-то причине послал Филиппе и некой Мэри Сент-Клэр (которой Гонт тоже назначил ренту) 26 фунтов 13 шиллингов 4 пенса. В период с 1381 по 1386 год определенные денежные суммы, причитавшиеся Джефффри Чосеру как надсмотрщику таможни, выплачивались не целиком ему, а делились между ним и Филиппой. Это, может быть (во всяком случае, так полагает Уильямс), говорит о том, что в то время Джефффри и Филиппа не жили вместе и кто-то ограждал ее интересы. Как бы то ни было, не подлежит сомнению, что Филиппа Чосер вела свою, независимую от поэта, жизнь и пользовалась уважением в кружке приближенных Гонта благодаря своим личным качествам. 19 февраля 1386 года она была принята в члены религиозного общества Линкольнского собора одновременно с сыновьями Гонта Генрихом Болингброком (сыном от Бланш Ланкастер) и Джоном Бофортом (от Катрин), сыном Катрин Томасом Суинфордом (пасынком Гонта), Робертом Феррерсом (который в недалеком будущем станет зятем Гонта, женившись на Иоанне, его дочери от Катрин) и некоторыми другими вассалами Гонта. Сам же Чосер в члены этого общества принят не был. Не было среди принятых и Катрин Суинфорд, но она, впрочем, могла быть принята раньше (более того, она могла быть устроительницей всей этой вступительной церемонии).

Конечно, в ответ на эти доводы можно сказать, что Гонт выказывал свою приязнь к Чосеру иными способами. Начать с того, что он определил Чосера в 1366 или 1367 году на службу к королю и, по-видимому, часто (хотя и не всегда) стоял за тем или иным политически либо

финансово выгодным назначением Чосера. В 1369 году, когда Чосеру было выплачено 10 фунтов стерлингов (2400 долларов) в виде жалованья и средств на покрытие расходов, связанных с войной, Гонт возглавлял войско, сформированное для отправки во Францию. В 1370 году, когда Чосер получил охранную грамоту для поездки за море, Гонт находился в Англии и играл главенствующую роль в государственных делах. В 1372 году, когда Чосера послали в составе дипломатической миссии в Италию, Гонт жил в Лондоне, вот уже несколько месяцев был любовником Катрин Суинфорд, свояченицы Чосера, и являлся, безусловно, самой влиятельной фигурой в правительстве. В апреле 1374 года, когда Чосеру была пожалована привилегия — ежедневный кувшин вина пожизненно, — Гонт, вероятно, только что возвратился из Большого похода через Францию, который завершился в том же месяце. И уж наверняка Гонт был в Англии 10 мая, две с половиной недели спустя, когда Чосеру был предоставлен в пожизненную бесплатную аренду дом над городскими Олдгейтскими воротами — может быть, для того, чтобы он жил поблизости от своего нового места службы, ибо ему уже была предварительно — пока без официального назначения — предоставлена должность надсмотрщика таможи. Через месяц последовало назначение его на должность надсмотрщика по таможенным пошлинам и субсидиям в торговле шерстью, шкурами и овчинами в Лондонском порту. А еще через четыре дня Чосера назначили надсмотрщиком за малыми таможенными сборами в торговле винами, ведущейся через Лондонский порт. На следующий день уже сам Гонт пожаловал его пожизненной рентой в размере 10 фунтов стерлингов. И так продолжалось до самой смерти Гонта.

Как мне кажется, Уильямс во многом недооценивает в своем анализе влияние короля Ричарда II на позднейшую карьеру Чосера; однако тот факт, что Гонт старался, чем только мог, помочь своему другу, не подлежит, конечно, никакому сомнению. По сравнению с таким покровительством — могли бы мы легко возразить Уильямсу — подарки Гонта Филиппе суть простые знаки дружеского расположения к семье человека, которого Гонт высоко чтит. Можно было бы доказывать, что Гонт писал истинную правду: он делал подарки Филиппе в память о той исключительной доброте, которую она проявляла по отношению к его матери королеве Филиппе в последние годы ее жизни (хотя тот факт, что такую же формулировку Гонт употребил однажды по отношению к женщине, которая

была-таки его любовницей, несколько умаляет убедительность этого довода); можно было бы утверждать далее, что впоследствии он был щедр к Филиппе как к сестре Катрин и, возможно, помощнице возлюбленных при завязке романа Гонта с Катрин. Нам никогда уже не узнать истину, но при всем том, как бы ни хотели мы опровергнуть сплетню, история эта выглядит чрезвычайно подозрительно. Почему, например, Джон Гонт сделал такой большой подарок Елизавете Чосер, а не Томасу, сыну Катрин Суинфорд от первого брака, которого Гонт искренне любил?

Мрак, окутывающий эту тайну, делается еще более непроницаемым в силу того обстоятельства, что Гонта с Чосером, судя по всему, действительно связывала крепкая дружба. Об этом, в частности, свидетельствуют бухгалтерские книги Гонта, где другие получатели его щедрых даров сплошь и рядом просто названы по имени, тогда как перед именем Чосера неизменно стоит эпитет «милый нашему сердцу». Хотя все имеющиеся у нас свидетельства носят косвенный характер, у чосероведов сложилось общее впечатление, что Гонт и Чосер являлись близкими друзьями — и не потому, что Чосер был чем-то обязан Гонту или Гонт был чем-то обязан Чосеру, не потому, что Филиппа и Джеффри помогали герцогу, когда у него начался роман с Катрин (хотя они, возможно, и помогали ему), и не потому, что после женитьбы Гонта на свояченице Чосера мужчины стали родственниками, а потому, что оба они были во многом единомышленниками, людьми блестящего, смелого ума и безупречной честности (во всяком случае, в соответствии с их собственным средневековым кодексом чести), эмоционально обогащавшими друг друга. Гонт мог дать Чосеру подобающее положение в обществе и возможность утвердить свое чувство собственного достоинства, о чем горячо мечтали англичане, принадлежавшие к среднему сословию (Чосер, сумевший ярко выразить эту мечту в «Кентерберийских рассказах», как никто другой знал цену чувству собственного достоинства), а Чосер мог дать Гонту ощущение причастности к творческой жизни художника, для которой Гонт был создан природой, но жить которой мог разве что в роли мецената и коллекционера, ибо государственные обязанности и общественное положение налагали на него жесткие ограничения. Как мы уже говорили, этот принц вырос при дворе, где высоко ценились идеи, где своими людьми были преданный королеве Филиппе мудрый, утонченный Фруассар и его образованные друзья; по-

взрослев, этот принц стал частым гостем в залах Оксфордского университета, наносил визиты ученым во враждебной Франции и силой оружия защищал право теологов на свободные поиски истины. (Правда, тут мог присутствовать элемент личной заинтересованности, так как Уиклиф в своих поисках истины ратовал за укрепление светской власти, но все, что нам известно о Гонте, говорит против предположения, будто он мог руководствоваться в своих действиях исключительно корыстными соображениями.)

Надо думать, Гонт и Катрин Суинфорд, отослав большинство придворных, время от времени проводили вечера вместе с Чосерами. (У нас нет фактов, подтверждающих эту догадку, но что может быть более естественным?) Пока сестры вели свои женские разговоры, оба мужчины, такие непохожие друг на друга, но великие каждый в своей области, обсуждали запутанный вопрос о том, что первично, универсалии или конкретные сущности, «животные» или «коровы», и Чосер щедро делился своими познаниями с Гонтом, или толковали о захватывающих премудростях войны против Франции с двух фронтов, и здесь уже Гонт обогащал познания Чосера.

Хотя большинство современных историков изображают Гонта «посредственностью», в глазах Чосера Гонт был личностью далеко не заурядной. Те самые душевные качества, которые делали Гонта менее эффектной фигурой по сравнению с такими яркими деятелями, как его отец и старший брат, и даже по сравнению с его младшими братьями: суровым, как монах, Томасом Вудстоком, впоследствии графом Глостерским, который был обвинен в измене королю Ричарду II и погиб при невыясненных обстоятельствах, и беззаботным Эдмундом Лэнгли, впоследствии епископом Йоркским, который больше помышлял об охоте на лисиц и оленей, чем о делах государства, об отправлении правосудия или спасении душ, — а именно его чуждая крайностям умеренность, благоразумие, уравновешенность, здравый смысл — являли собой для Чосера высокую и благородную добродетель, более того, вершину добродетели. Недаром эти качества отнесены к самым похвальным в элегии Чосера на смерть Бланш:

Всю жизнь она — даю поруку! —
Не подпускала близко скуку.
К добру всегда устремлена,
В беде и в радости она
Держалась с равным чувством меры
И в том могла бы быть примером.

Согласно версии профессора Уильямса, помимо дочери Чосера Елизаветы, также и его сын Томас мог быть биологически ребенком Гонта. Сама эта мысль не нова, но она стала предметом серьезного рассмотрения в 1932 году, когда было издано подробное исследование Расселла Краусса «Кто был отцом Томаса Чосера». Как и многие исследователи Чосера, повторившие его путь, Краусс начал это исследование, по его собственному признанию, в надежде доказать ложность давнишнего утверждения, что отцом Томаса Чосера, возможно, был Гонт, а окончил в убеждении, что ничем иным, кроме как отцовством Гонта, нельзя объяснить имеющиеся факты.

Предание восходит к Спейту, который нехотя сообщил нечто такое, что шло вразрез с его собственной аргументацией: «Однако некоторые придерживаются мнения (уж не знаю, на чем основанного), будто Томас Чосер приходился Джеффри Чосеру не сыном, а, скорее, каким-то родственником, которого он воспитал»⁷. Краусс комментирует: «Спейт, несомненно, приводит подлинное мнение — подобное мнение едва ли могло возникнуть без какого-то фактического основания. Если мы отбросим как несостоятельную ту версию, что кто-то взял и высосал все из пальца, чем объясним мы возникновение такого мнения?»⁸ Можно привести самые разнообразные доводы, выдвигаемые сторонниками этой версии. Слабейший из них (хотя повторяемый из работы в работу) состоит в том, что Джон Лидгейт, почитавший Джеффри Чосера и знавший Томаса достаточно хорошо, чтобы адресовать ему поздравительное стихотворение, ничего не говорит в нем об отце Томаса. Если этот довод вообще заслуживает ответа, то ответ напрашивается сам собой: если Джеффри был отцом Томаса и Лидгейту это было известно, Лидгейт вполне мог счесть излишним упоминание об их родстве в том стихотворении. Конечно, если бы Лидгейт знал, что отцом Томаса Чосера является Гонт, было бы глупостью с его стороны упоминать об этом, но разве это что-нибудь доказывает?

Два несколько более веских довода связаны, во-первых, с различиями на гербах Томаса Чосера, один из которых сохранился на его надгробии, и, во-вторых, с тем, что ему явно не удалось вступить во владение недвижимой собственностью Роэтов в Эно. Геральдическая аргументация чрезвычайно сложна, но ее суть сводится в двух словах к следующему. На своем надгробии Томас Чосер велел поместить герб Роэтов, его предков по материнской линии, а не герб Джеффри Чосера. В тех случаях, когда

Томас пользовался гербом Джеффри Чосера как своим собственным, он, похоже, воспроизводил его не с абсолютной точностью, а в несколько измененном виде. В XIV и XV веках мужчина не так уж редко избирал для себя герб матери, если она занимала более высокое общественное положение, чем ее муж, но факт отсутствия на надгробии Томаса герба Джеффри Чосера, человека прославленного и осыпанного милостями (по общему мнению знатоков, Чосером восторгались в основном не как дипломатом, а как блистательным поэтом, величайшим во всей Европе со времен Данте), наводит на размышления. Еще более странным представляется факт явного изменения Томасом отцовского герба. Печать, которой Томас Чосер пользовался в Эвелме в 1409 году, имеет надпись «S[G]HOFRAI CHAUSIER» — иначе говоря, это, собственно, печать не Томаса, а Джеффри, и на ней перевязь герба одноцветна. На всех остальных сохранившихся изображениях герба Томаса Чосера перевязь — диагональная полоса — контрастно двуцветна. Хотя можно попытаться объяснить это личной причудой, такое объяснение звучит не очень убедительно, так как данное изменение могло быть истолковано как признак незаконнорожденности. Предположение, что в Эвелмской печати мог допустить ошибку гравер, тоже неубедительно. Вряд ли бы Томас принял работу, которую можно было расценить как критический намек в адрес его матери.

Поскольку Филиппа Чосер была одной из наследниц состояния Роэтов, Томас Чосер должен был бы унаследовать недвижимость в Эно, однако нет никаких указаний на то, чтобы он когда-либо владел там земельной собственностью. Дается несколько правдоподобных объяснений этого факта. Одно из них основывается на аналогии с теми трудностями, с которыми столкнулся Томас Суинфорд, сын Катрин, при получении наследства Роэтов. В 1411 году Томас Суинфорд не смог востребовать свою долю недвижимости Роэтов в Эно, унаследованную им через Катрин, потому что те, в чьем владении она оказалась, утверждали, что он не имеет права наследования, будучи незаконнорожденным. Генрих IV выручил его, подтвердив в специальном рескрипте его законнорожденность. Может быть, в случае Томаса Чосера нельзя было по всей совести сделать то же?

Ни один из этих доводов не является неопровержимым доказательством, но можно привести и другие доводы, опять-таки не ручаясь за их доказательность. Как бы щедр ни был Гонт к Джеффри Чосеру, он проявлял гораздо

большую щедрость по отношению к Томасу Чосеру. Помимо прочих даров, он, судя по всему, распорядился о предоставлении Томасу в 1394—1395 годах — в дополнение к получаемому пенсиону — вознаграждения в 20 марок (3000 долларов) и тогда же удвоил ему пенсион, о чем нам известно из акта короля Ричарда, подтвердившего, что Томасу будет выплачиваться рента в размере 20 фунтов стерлингов и после смерти Гонта. Хотя документы, относящиеся к последним годам жизни Гонта, весьма немногочисленны, из годовых списков жалованных грамот Ричарда II нам известно, что, когда король Ричард в последний год своего царствования принял на себя управление имуществом покойного герцога Ланкастерского, он нарушил какие-то распоряжения, сделанные Гонтом в пользу Томаса Чосера, и, считая своим долгом возместить причиненный ущерб, пожаловал Томаса пожизненной рентой в 20 марок ежегодно в порядке компенсации за освобождение его от обязанностей (к сожалению, не указано — каких), переданных Ричардом графу Уилтширу. Краусс отмечает:

«Сравнивая эту материальную заботу о Томасе с соответствующей заботой о Джеффри, не можешь не поразиться их несоразмерности. Если мы должны были признать, что Гонт покровительствовал Джеффри Чосеру, то что же тогда сказать о его отношении к Томасу? Весьма вероятно, что Джон Гонт проявил щедрость к Джеффри в 1374 году, заглаживая нанесенную тому обиду [имеется в виду роман с Филиппой]; он поддерживал теплые и близкие отношения с Филиппой в течение всей ее жизни; Томаса же он принял в свою свиту и обеспечивал его с 1389 года — вероятно, сразу после смерти Филиппы — вплоть до самой своей смерти, после чего эта задача перешла к его сыновьям»⁹.

Сын Гонта Генрих Болингброк, став королем Генрихом IV, был исключительно щедр к Томасу Чосеру. И не только он.

«Гонт и Генрих I V, — продолжает Краусс, — были не единственными членами рода Ланкастеров, которые осыпали его дарами и милостями. Генрих Бофорт [сын Гонта от Катрин]... назначил Томаса в 1406 году управителем Тонтонского замка, назвав его в документе о назначении «*nostro Consanguineo*» — «наш родственник». Это было щедрое пожалование. За вознаграждение в 40 фунтов стерлингов ежегодно Чосеру поручалось «наблюдение за манорами, землями и владениями в Сомерсете со всеми надлежащими пошлинами, сборами, доходами и продуктами». Когда наше внимание обращают на то, что в том

документе о назначении ничего не говорится о сопутствующих обязанностях и что эту должность, возможно, исполнял заместитель, нам ничего не остается, как признать, что в таком случае это жалование равносильно откровенному подарку. В письме к своему племяннику Генриху V, написанном в 1420 году, кардинал Бофорт, упомянув о Томасе, назвал его «мой кузен». Эти удачно найденные слова видного прелата являли собой в высшей степени уместное и великодушное наименование для его незаконнорожденного единокровного брата»¹⁰.

Заключительное утверждение Краусса, должен признаться, мне непонятно. Ведь Генрих Бофорт и Томас Чосер действительно были кузенами. Что до остальных его доводов, то они звучат довольно убедительно: и впрямь кажется странным, что Гонт, и его сыновья, и наследники не проявляли подобной щедрости к сыну Катрин Суинфорд Томасу, пасынку Гонта.

Тинн, один из первых биографов Чосера, писал в своей «Критике» (не известно, правда, на чем основываясь), что Гонт «имел в молодости многих любовниц и не отличался целомудрием в старости», а Чосер с осторожной учтивостью намекал на любвеобильность Гонта в своей «Книге герцогини». Но кто были те любовницы, помимо Катрин Суинфорд и Марии Сент-Хилари (упомянутой Фруассаром), установить так и не удалось. Мария, как и Филиппа Чосер, была фрейлиной королевы и, подобно Филиппе, получала подарки от Гонта, «за добрую, усердную и долгую службу нашей госпоже и матери Филиппе, покойной королеве Англии»; почти ту же формулировку употреблял Гонт, делая подарки Катрин Суинфорд. Впрочем, с теми же словами он одаривал других женщин, из которых, разумеется, не все могли быть его любовницами. Однако ценность его подарков Марии (впоследствии вышедшей замуж за одного из придворных Гонта), Катрин и Филиппе весьма показательна.

Против версии о том, что Филиппа Чосер была любовницей Гонта, а Томас Чосер — его сыном, традиционно выдвигается несколько возражений. Ссылаются, например, на свидетельство известного оксфордца Томаса Гаскойня, который, вне всякого сомнения, знал Томаса Чосера и прямо говорил, что это сын Джеффри. Но вполне возможно, что Гаскойнь знал Томаса Чосера недостаточно хорошо — хотя оба жили по соседству, в Оксфордшире, они принадлежали к совершенно разным и р а м, — а Томас, которого Чосер вырастил, надо думать, не очень распространялся о своей незаконнорожденности.

(Томас однажды указал в подписи под судебным документом: «Сын Джеффри Чосера», что могло означать просто то, что он вырос в доме Чосера, как, разумеется, и то, что он на самом деле был его сыном.) Никто другой из современников Джеффри и Томаса Чосеров ни слова не говорит о родстве между ними — данное обстоятельство породило у таких видных знатоков Чосера, как Фэрнивал, Тируит, Керк и Лаунсбери, некоторую, мягко выражаясь, неуверенность в том, что это были отец и сын. Более веское, хотя и сугубо эмоциональное возражение сводится к следующему: если предположение о том, что Джеффри женился на брошенной любовнице своего друга, чтобы помочь другу и его забеременевшей любовнице выпутаться из беды, психологически достоверно, то представляется чрезвычайно сомнительным, чтобы он продолжал мириться с их любовной близостью несколько лет спустя. На это возражение отвечали по-разному. По версии Краусса, роман Филиппы с Гонтом имел место в период, когда Филиппа служила при дворе Гонта, а Джеффри находился в Италии (с 1 декабря 1372 по 23 мая 1373 года); вернувшись на родину, поэт был вне себя от гнева, который Гонт старался смягчить щедрыми подарками 1374 года (ежедневный кувшин вина, дом над воротами Олдгейт и т. д.). Профессор Уильямс, памятуя о несомненном факте близкой дружбы Чосера с Гонтом, пошел другим путем. Он делал упор на следующих обстоятельствах:

«Во-первых, Чосер никогда не выражал радостных чувств по поводу своей семейной или любовной жизни — как раз напротив. Во-вторых, если он действительно женился в 1366 году на Филиппе по просьбе Гонта, то он шел на это с открытыми глазами и не имел причины чувствовать себя обманутым. В-третьих, он получил щедрое вознаграждение. В-четвертых, он, может быть, считал близость к королевскому двору Англии и тесную связь с крупнейшим феодалом королевства высокой честью для себя. Супруг Алисы Перрерс с изумительным тактом принимал как должное свое положение мужа королевской любовницы и извлекал из этого немало случайных выгод для себя лично. Впоследствии многие и многие мужья любовниц французских и английских королей ухитрялись держаться в подобной ситуации с философским самообладанием»¹¹.

Еще одно, эмоциональное по своей сути, возражение состоит вот в чем. Даже со скидкой на необузданные нравы того времени нам кажется отталкивающей сама мысль о том, что Гонт мог бы одновременно сожитель-

ствовать с обеими дочерьми сэра Паона Роэта. Профессор Уильямс, тщательно изучив все относящиеся к этому даты, утверждает, что романы Гонта с Филиппой и Катрин не совпадают по времени. По его расчетам получается, что Филиппа забеременела Томасом и получила отступное (пожалование рентой в августе 1372 года) до того, как у Гонта начался роман с Катрин. Он высказывает предположение, что ренту Филиппе Гонт, «возможно, предоставил по просьбе Катрин и для того, чтобы доставить ей удовольствие; или же этот дар мог быть своего рода примирительным жестом со стороны Гонта, оставившего Филиппу ради ее сестры»¹². Аргумент Уильямса, хотя и не противоречит логике, представляется все же малоубедительным. В его основе лежит стремление уверить себя в том, что Гонт несколько лет не замечал среди своих придворных красивую женщину, которая потом не один десяток лет будет его любовницей, а в конце концов и женой. Катрин поступила на службу при дворе Гонта самое позднее в 1369 году¹³, а скорее всего, еще раньше, тогда как Филиппа Чосер была официально переведена в свиту Гонта только после смерти королевы Филиппы (хотя Гонт с Филиппой знали друг друга и могли быть любовниками до этого). Можно, конечно, предположить, что за все это время Гонт не проявлял интереса к золото-волосой красавице Катрин, которая была всегда поблизости, или что Катрин отвергала его ухаживания, считаясь с чувствами сестры, но предположение так и останется предположением. Гонт находился в Англии с ноября 1369 года, приехав вскоре после смерти Бланш, по июнь 1370 года, когда он отправился во Францию и Испанию; в Англию он возвратился в ноябре 1371 года. Если Гонт действительно сначала любил Филиппу и только потом, расставшись с Филиппой, полюбил Катрин, ему — всем им — посчастливилось. Впрочем, в средние века это в любом случае считалось грехом кровосмешательства.

Дж. М. Мэнли выдвинул одно важное возражение против версии Краусса: если бы Гонт женился на Катрин, хотя ранее делил ложе с ее сестрой, он совершил бы преступление с точки зрения канонического права; следовательно, Филиппа никак не могла быть любовницей Гонта. Уильямс пытался доказать, что Мэнли ошибается в отношении канонического права. Пожалуй, если бы он показал, сославшись на единомыслие Гонта и Уиклифа в вопросе о светском и церковном праве, что Гонт ни в грош не ставил каноническое право, его аргументация выиграла бы в убедительности.

Однако вернемся к тому озадачивающему обстоятельству, что если Томас Чосер действительно был сыном Гонта, а Чосер с Гонтом действительно дружили, то брак Чосера выглядит, во всяком случае с современной точки зрения, весьма странно. Получается такая картина: хотя Чосер был женат на Филиппе как минимум с 1366 года, в период времени с 1369 по весну 1372 года жена Чосера родила сына от Гонта. Можно с пониманием отнестись к факту женитьбы Чосера на брошенной любовнице его друга, но как же мирился он с тем, что роман Гонта с Филиппой продолжался годы спустя? У разных исследователей этот вопрос вызывает различные естественные реакции. Так, Б. Дж. Уайтинг, отделиваясь от него шуткой, иронически пишет о «веселенькой роли довольного жизнью рогоносца». Уильямс же с серьезным видом утверждает, что все это ничуть не мучило Чосера, поскольку он не любил свою жену.

Это представление, возникшее задолго до Уильямса, приобрело какую-то странную власть над умами биографов Чосера. Единственное подтверждение этой идеи ее приверженцы черпают, понятное дело, в стихах Чосера, и особенно в поэме «Дом славы», где поэт говорит о вознесении молитв перед усыпальницей св. Леонарда (считавшегося, помимо прочего, святым — покровителем узников и мужей, попавших жене под башмак) и рассказывает далее, как его, висящего в состоянии безжизненного оцепенения в орлиных когтях, пробудил, или привел в чувство, повелительный возглас орла: «Проснись!» Но при этом:

До боли голос был знаком.
(Вы поняли, тут речь о ком?)
Так вот, знакомый этот глас
Меня от дремы смертной спас.
Звучал он властно, как всегда,
Но ласков был, как никогда.

На основании умозаключения, что орел, видимо, будит Чосера голосом Филиппы, но только более добрым, чем у Филиппы, литературоведы снова и снова объявляли о том, что Филиппа была, по мнению Чосера, мегерой. Выстраивая в ряд цитаты из «Книги герцогини», «Дома славы», «Птичьего парламента», «Троила и Хризейды» и т. д., они утверждали, будто он ничего не смыслил в любви, и приходили к заключению, что брак с Филиппой был для него сущим бедствием. Так, например, Дж. У. Хейлс, рассмотрев литературные свидетельства, пишет: «Едва ли представляется возможным нарисовать на основе этих выдержек благополучную картину. Нельзя

поверить, что в них не содержатся личные признания. Напрашивается очевидный вывод: Чосер не был счастлив в семейной жизни».

Выражая свое несогласие с этим мнением, Т. Р. Лаунсбери пишет по поводу только что приведенного отрывка из «Дома славы»: «Данные строки носят явно шуточный характер, и шутка эта наверняка была понятна в то время... Тот, кто захочет придать этим строчкам серьезный смысл, должен будет пересмотреть все наши взгляды на личность Чосера. Из того немногочисленного, что нам известно о его жизни, и из многочисленных сведений о характере поэта, которые мы находим в его сочинениях, возникает четкое представление о нем как о светском человеке в лучшем смысле этого порядком затасканного понятия. Он имел обыкновение откровенно говорить о себе, когда речь касалась пустяков, и помалкивать о своих серьезных переживаниях — обыкновение, присущее именно людям светским. Поэтому он наверняка не выставлял напоказ свои чувства, не поверял всему свету свои сердечные тайны и не жаловался читателям на свои семейные горести, если таковые у него были»¹⁴.

К этому можно добавить еще два соображения. Во-первых, если в том отрывке действительно имеется в виду Филиппа (а это представляется самым простым объяснением), то в нем, несмотря на шуточный, поддразнивающий тон, Чосер говорит, что ее голос вывел его из состояния, подобного смерти. Поскольку вся эта поэма пародирует «Божественную комедию» Данте, в которой автора возвращает к жизни любовь Беатриче, приведенные выше строки Чосера содержат восхитительно тонкий и, может быть, правдивый намек на то, что обычная, будничная любовь жены также способна спасти душу. Мысль, что женская любовь, как и любовь божественная, может воскресить мужчину, часто встречается в любовно-религиозной поэзии, в том числе и у Чосера. Так, его Черный рыцарь говорит в «Книге герцогини»: «Случилось чудо из чудес: / Я мертвым был и вдруг воскрес!» Настойчиво проводимая идея, что супружеская любовь так же благотворна, как любовь куртуазная, стала одной из характерных особенностей поэзии Чосера. Снова и снова воспевает Чосер любовь мужа и жены и зачастую сравнивает семейное счастье с райским блаженством. Вот один пример из «Рассказа юриста»:

Блаженством большим только райский сад
Их мог бы наделить. Счастливей пары
Не видел, не увидит мир наш старый*.

* «Кентерберийские рассказы», с. 178.

В «Рассказе франклина» счастливая супружеская любовь уподобляется любви божественной. В таком браке, в котором каждая сторона отказывается от тиранического господства над другой, любовь исполнена терпения, подобно тому как исполнена терпения любовь господина к людям:

Как все духовное, любовь вольна,
И всякая достойная жена
Свободной хочет быть, а не рабыней.
Мила свобода ей, как и мужчине.
Быть снисходительным велит любовь,
Себе не портить раздраженьем кровь,
Высокой добродетелью, по мнению
Людей ученых, надо счесть терпенье... *

Шутка, которую Чосер отпустил по адресу Филиппы в «Доме славы», при всем своем комизме и ироничности содержит обычное для любовно-религиозной лирики сравнение возвышающей женской любви с любовью божественной.

Второе же соображение, которое, по-моему, следует здесь высказать, состоит вот в чем: ни неоднократные уверения Чосера, будто он ничего не смыслит в любви, ни его «одержимость» темой неверных жен нельзя истолковывать как доказательство того, что он был несчастлив в семейной жизни. Утверждение, будто он ничего не знает о любви, звучит — я уже говорил об этом — как шутка для узкого круга. Что до поэтического интереса Чосера к неверным женам, то это была излюбленная тема поэтов его времени, включая рассудительного Гауэра. От других поэтов Чосера отличает лишь то, что он неизменно выступает в роли защитника неверных женщин. Следующие строки явно не имеют оттенка насмешки либо иронии:

Известно нам, пусть не из первых рук,
Что женщина мужчине горших мук
Своей изменою не причинила,
Чем Хризеида, милая Троила.
«Увы, — она сказала, — я навек
Ославилась! Прекрасный человек,
Достойнейший, в любви обманут мною,
Душе моей теперь не знать покою!»

Когда Чосер ведет речь о мужчинах, которые «запирают в клетку» своих жен и дочерей («Рассказ мельника», «Рассказ мажордома», «Пролог батской ткачихи», «Рассказ купца» и «Рассказ эконома»), он всегда берет сторону жены против ревнивца мужа. Если сплетни о семейной

* «Кентерберийские рассказы», с. 416.

жизни Чосера не беспочвенны и его жена действительно была какое-то время любовницей Гонта, он, видимо, проявлял такую же терпимость. Они с Филиппой часто жили врозь: Чосер подолгу бывал в отъезде по делам, может быть, разлучались они и по иным, неведомым нам причинам. Но, судя по всему, немало времени прожили они вместе и продолжали свою совместную жизнь вплоть до смерти Филиппы, чего они могли бы не делать, если бы их брак был заключен ради соблюдения приличий, как свидетельствуют другие известные нам браки, заключавшиеся в том веке во имя приличий.

Таким образом, брак Чосера с Филиппой, возможно, был и не совсем обычным, но нет сколько-нибудь веской причины считать, что они не любили друг друга. Фанатичный приверженец учения Фрейда мог бы, увлекшись, доказывать, что постоянная защита Чосером неверных женщин, идеализирование им супружеской жизни и его настоячивые призывы предоставить женам полную свободу — суть не что иное, как симптомы подавления эмоций и фасада, прикрывающего острое невротическое состояние. Но на поэзии Чосера лежит явный отпечаток душевного здоровья. Как знать, может быть, одним из самых счастливых событий, случившихся с ним в 60-е годы, была эта необыкновенная удача: жениться на красавице, богатой наследнице, женщине, которая ему давно нравилась, и приобрести вдобавок дружбу и покровительство самого могущественного феодала в Англии, который всю жизнь испытывал к нему чувство благодарности. Чосер, возможно, и впоследствии любил Филиппу настолько глубоко или настолько великодушно, чтобы не запереть ее, как птицу, в клетку, хотя время от времени испытывал потребность выступать в защиту своей точки зрения; при этом он лукаво поглядывал на слушателей, которым было известно его положение, но которые в большинстве своем едва ли могли строго судить его, потому что у них самих, как он хорошо знал, тоже имелись свои слабые места:

Скажите мне, какое в том сомненье,
Что к дружбе ключ — взаимоподчиненье.
Друзья должны в согласье полно жить —
Насилье может дружбу задушить.
Его не терпит бог любви: тотчас,
Его почуяв, покидает нас *.

Из сказанного выше вовсе не следует, что брак Джеффри и Филиппы был безоблачно счастливым, как те услов-

* «Кентерберийские рассказы», с. 416.

ные, сугубо литературные счастливые браки Черного рыцаря и Белой дамы, Аллы и Констанции, что он создал в своем воображении. Должно быть, иной раз он болезненно ощущал свое более низкое общественное положение — например, когда гостил с женой в огромном имении Суинфордов. Он отдавал себе отчет в том, что у родственников Филиппы не было никаких разумных оснований считать себя выше, лучше его, Чосера. Согласно христианскому вероучению, все люди имели одинаковое право претендовать на подлинное «благородство». Эту мысль с комичной многоречивостью обосновывает старая карга — героиня «Рассказа батской ткачихи», которая внушает своему мужу, юному рыцарю, что лучше быть женатым на старой, безобразной, но зато добродетельной женщине, чем на неверной красавице:

Но ты твердишь — твои богаты предки
И ты, мол, родовит. Обьедки
Догладывая, будет ли кто сыт?
Кто славою заемной знаменит?
Тот благороден, в ком есть благородство,
А родовитость без него — уродство.
Спаситель образцом смиренья был
И в этом следовать за ним учил.
Ведь предок наш, богатства завещая,
Не может передать нам, умирая,
Тех подвигов или тех добрых дел,
Которыми украситься сумел *

Но, как отлично знала хитрая старуха, все это были лишь слова. Может быть, родственники Филиппы не умели говорить по-латыни (сельские аристократы редко обладали столь обширными познаниями), но их могущество, богатство, родовитость создавали в отношениях между ним и ними огромное неравенство, и только глупец мог бы утверждать, что не замечает его. Чосера отделяла от них незримая черта; между ним и их замкнутым мирком стоял непреодолимый барьер. Чосеру были смешны ревность и зависть, и он много раз высмеивал ревнивцев и завистников в своем творчестве, но вместе с тем его стихи свидетельствуют о глубоком понимании природы этих чувств.

И тем не менее их супружество, при всей его необычности, едва ли можно назвать неудачным. Они жили вместе, а если время от времени и разлучались, то по причинам, которые, по-видимому, не имели никакого отношения к их чувствам; у них были общие друзья, милые сердцу обоих;

* «Кентерберийские рассказы», с. 293.

они совместно растили детей. Более того, в стихах Чосера сказано так много хорошего о семейной жизни и рассыпано столько свидетельств проникательного понимания поэтом взаимных чувств мужа и жены, всех тонкостей их взаимоотношений, что невольно начинаешь верить: брак Чосера с Филиппой был замечательно счастливым. Наверное, Чосер не раз лежал ночью с открытыми глазами в абсолютной темноте спальни, ощущая тепло тела Филиппы, уткнувшейся лицом ему в плечо, слыша ее сонное дыхание, прислушиваясь к дыханию детей — Елизаветы, маленького Томаса, а потом и малыша Луиса, — улыбался краешками губ и думал о том, как странны и непредсказуемы пути мира сего; чувство, которое он при этом испытывал, — желание, чтобы всем любящим жилось так же хорошо, как ему, — нашло впоследствии выражение в почти молитвенных словах Троила, которые затем, снова придя на память поэту, попали в «Рассказ рыцаря»:

Молю, чтоб бог любовью одарил
Всех тех, кто дорого ее купил!

ГЛАВА 5

*Значительные вехи и важные влияния.
Педро Жестокий. Две смерти. Эта бесстыжая
женщина и распутная шлюха Алиса Перрерс
и итальянское гуманистическое искусство
(1367—1373)*

В 1367 году, когда Джеффри и Филиппа Чосер только начинали свою совместную семейную жизнь, Черный принц воевал в Испании, проводя внешнеполитическую линию, в разработке которой Чосер участвовал год назад. Непосредственное значение этой войны состояло в том, что англичане стремились помешать французам захватить контроль над кастильским военным флотом и тем самым склонить чашу весов в военном противоборстве между Англией и Францией в свою пользу. Однако с точки зрения отдаленных последствий испанские междоусобицы, в которые Англия активно вмешалась в конце 60-х годов, пожалуй, представляют интерес прежде всего как пример тех конфликтов, которые начали неожиданно возникать то тут, то там по всему западному христианскому миру и которые выявят впоследствии все лучшее и все худшее в друге и покровителе Чосера короле Ричарде II, а в конечном счете приведут к его низложению и убийству, — конфликтов между феодалами и королем, между сторонниками ограниченной и сторонниками абсолютной монархии.

Предыстория испанских междоусобиц вкратце такова. В 1350 году умер от чумы Альфонсо XI, король Кастилии — богатого королевства на Пиренейском полуострове, славившегося живописностью своих гор, пшеничных полей и бесчисленных замков, которые и дали название этому краю. Покойный имел пятерых незаконнорожденных детей от любимой фаворитки доньи Леоноры де Гусман и одного законнорожденного сына, которому Чосер посвятил возвышенные слова: «Ты, Педро, лучший цвет испанской славы» * — и который войдет в историю под прозвищем Педро Жестокий. Альфонсо, отец Педро, правил Кастилией твердой рукой. Хотя он унаследовал от предков

* «Кентерберийские рассказы», с. 212.

шаткий трон и раздираемое распрями королевство, ему удалось несколько обуздать феодалов, не признававших над собой никакой власти, вернуть процветание городам и оттеснить мавров, отвоевав у них в ходе длительной, ожесточенной борьбы провинции Гранаду и Марокко. Но после его смерти прежние раздоры вспыхнули с новой силой, феодалы и прелаты вернулись к старому беззаконию и угнетению, а побочные дети Альфонсо, руководимые и подстрекаемые доньей Леонорой, угрожали отобрать власть у законного наследника престола. Так что Педро был по горло занят, обороняя свой трон от изменников и мятежников. Подобно многим абсолютным монархам того времени, он черпал вдохновение, с одной стороны, в возрожденной политической теории Древнего Рима, которая широко тогда обсуждалась повсюду в Европе, ибо предлагала достойную доверия альтернативу теории, ставившей светскую власть в зависимость от власти духовной, т. е. от папы, а с другой стороны, в практике соседей-мавров: правители арабских эмиратов давали наглядный образец средневекового абсолютизма в действии. Ни римская теория, ни государственная практика мавров не предъявляли к монарху, в понимании Педро, высоких моральных требований. Неограниченная власть, считал он, принадлежит ему по праву и является единственной основой счастья всех подданных. Исходя из этого и желая покончить с вредоносным влиянием доньи Леоноры на ее детей и на его феодалов, Педро приказал убить фаворитку его отца (впрочем, приказ могли отдать мать Педро и любимый его советник). Это и положило начало отвратительной и кровавой междоусобице, о которой нам известно из истории.

Руководствуясь своей квазимистической идеей королевской вседозволенности, Педро совершил в 1353 году еще одну роковую ошибку. Франция вот уже не одно столетие оказывала влияние на дела королевств Пиренейского полуострова. Правители Наварры, соседнего королевства, граничащего с Кастилией на северо-востоке и расположенного высоко в горах, происходили из французского рода. Могущественный французский флот соперничал с кастильским в борьбе за господство над омывающими Европу водами Атлантики. Скрепляя мир с Францией, Педро женился на французской принцессе, Бланш Бурбон, и немедленно после этого, глухой к предостережениям своих вассалов и даже близких друзей, запер королеву-француженку в темнице, чтобы доставить удовольствие своей любовнице донье Марии де Падилья.

Этот поступок граничил с безумием. Каким богатым и блистательным ни был двор Педро, украшением которого являлись арабские философы и музыканты и вящему могуществу которого содействовали заклинатели-чародеи, все же было глупостью тревожить это осиное гнездо, Францию. Любимый советник, братья-бастарды и королева-мать выступили против Педро единым фронтом и были сокрушены.

Но, поскольку нанесенное Франции оскорбление грозило Кастилии вторжением и, следовательно, вовлечением в конфликт соседних с нею государств и поскольку, далее, сильная Кастилия, объединенная под властью абсолютного монарха, могла представлять немалую угрозу для своих соседей, государств, меньших по размеру и менее богатых, успех Педро оказался временным. Короли соседних стран вмешались в междоусобную войну; особенно активно вмешался в нее Петр IV, король Арагона (еще одного королевства в гористом краю на северо-востоке Пиренейского полуострова, пограничного с Наваррой), который выступил на стороне старшего из бастардов, дона Энрике Трастамары. Педро одержал временную победу и шокировал христианскую рыцарскую Европу, казнив своих пленников, мужчин и женщин, в том числе и двух своих единокровных братьев, и собственной рукой убив короля Гранады, молившего пощадить его. Франция решила принять участие в войне — не только для того, чтобы наказать Педро за зло, причиненное Бланш Бурбон, и за выказанное им пренебрежение к рыцарскому кодексу, но и для того, чтобы постараться предотвратить союз Кастилии с Англией и, кстати, дать какое-то занятие «вольным отрядам» — бродячим бандам наемников, опустошавшим юг Франции. Французский король и авиньонский папа отправили в Испанию одного из лучших французских полководцев того времени, Бертрана Дюгеклена с большой армией наемников. В 1366 году французы отвоевали трон Кастилии для Трастамары, а Педро, изгнанный из своей страны, обратился за помощью к Черному принцу. Внешнеполитическая ситуация не оставляла Черному принцу иного выбора, ибо при Трастамаре кастильский флот наверняка действовал бы на стороне Франции, и посему он, хотя и неохотно, явился в Испанию вместе со своей отборной армией и целой свитой дипломатов (среди которых, как мы уже говорили, мог находиться и Чосер) и, одержав в 1367 году в битве под Нахерой очередную свою блистательную победу, снова посадил на трон Педро. Тот по своему обыкновению

безжалостно перебил всех пленных, и Черный рыцарь, вне себя от возмущения (и страдая от болезни, которая в конце концов сведет его в могилу), вернулся в Англию, где вместе со своими советниками рекомендовал принять новый курс, предусматривающий отказ от помощи Педро активную поддержку правительства кастильских крупных феодалов и раздел Кастилии.

Так Англия оказалась вовлеченной в дела Испании. Тем временем Педро, оставшись один на один со своими врагами и слепо веря в успех стратегии, которая превосходно оправдывала себя у мавров, совершал все новые жестокости. В 1369 году враги осадили его замок; Дюгеклен хитростью заманил его под Монтвелем к себе якобы для переговоров о перемирии — и здесь, прямо в шатре француза, Педро был заколот своим незаконнорожденным братом. Дочери Педро от Марии, которых кортесы признали законными наследницами престола, повели войну с Трастамарой, которому теперь отказали в поддержке ослабленные войной соседние испанские королевства. В 1372 году (через три года после смерти Бланш, первой жены Джона Гонта) дочери короля Педро обрели в лице Англии надежную союзницу; Констанция, дочь и наследница Педро, вышла замуж за Джона Гонта, герцога Ланкастерского, и тем самым сделала его, в соответствии с действующими в Испании правовыми нормами, законным королем Кастилии — если он сможет завладеть своим законным тронem, прогнав узурпатора Трастамару.

Напрашивается вопрос: как мог такой человек, как Чосер, называть короля Педро «лучшим цветом испанской славы»? И тем не менее отношение Чосера к Педро не должно нас удивлять. Начать с того, что, как бы ни относился поэт к личности Педро, он, естественно, был на стороне Педро в данном династическом споре. Подобно Гонту и Черному принцу (пока последний, движимый отвращением, не отказался от своей прежней позиции), Педро стоял за сильное централизованное правительство в противоположность правительству марионеточного короля, поддерживаемого соперничающими, а сплошь и рядом даже воюющими друг с другом феодалами, форме правления, которая в ходе английской истории выявила свою неэффективность в деле подготовки и ведения войн, равно как и в деле поддержания мира и процветания внутри страны. (Став противником Педро, принц Эдуард не изменил своих взглядов на то, как следует управлять государством; он лишь махнул рукой на Испанию и короля Педро.) Чосер восхвалял Педро после его смерти, когда

его друг Джон Гонт, женившись на дочери Педро, стал полноправным претендентом на его законно унаследованный престол, и поэт, видимо, отдавал дань пиетета скорее кастильскому трону, нежели тому, кто в недавнем прошлом сидел на нем.

Кроме того, весьма вероятно, что в свете историй, которые Чосер слышал от людей, служивших под началом Черного принца в испанской кампании, Педро мог если и не быть, то, во всяком случае, казаться благородней своих противников. Возможно, Чосер слышал эти истории из первых уст — от самого старого сэра Гишара д'Англя, который занимал довольно заметное место в жизни Чосера, хотя мы знаем об их взаимоотношениях меньше, чем нам хотелось бы. В дальнейшем Чосер будет входить вместе с Гишаром в состав ряда важных посольств, в частности, оба будут участвовать в переговорах 1376 года по вопросу о предполагаемом браке короля. К словам такого человека Чосер, да и любой другой англичанин, не мог не отнестись с полным доверием.

Француз по происхождению и воспитанию, Гишар был известен в окружении Чосера как человек исключительного рыцарского благородства и мужества. Он доблестно сражался на стороне французов в битве 1356 года при Пуатье и, раненный, был оставлен на поле боя, так как его приняли за убитого. Вскоре после этого, восхищенный воинской доблестью Черного рыцаря и верный рыцарскому кодексу чести, повелевавшему рыцарю всегда сражаться на стороне тех, чье дело он считает правым, Гишар, отказавшись от своего — кстати, немало — состояния, перешел на службу Англии. Черный рыцарь назначил его маршалом Аквитании, а затем и главнокомандующим аквитанской армией; поскольку же он был человеком широко образованным и известным своим благородством, король Эдуард неоднократно посылал его с поручениями за границу — в 1369 году, например, король отправил его в Рим вести переговоры с папой Урбаном V. (В Риме Гишар д'Англь повстречался с другим французом, поменявшим подданство, Фруассаром, который разделял его высокие чувства, в том числе и любовь к поэзии, и разделил с ним тяготы обратного пути.) Гишар вместе с двумя своими сыновьями отличился в битве при Нахере, в которой они сражались под предводительством Черного принца, защищая права короля Педро на кастильский престол. Он сопровождал Педро в Бургос, когда король, окруженный ликующими, радостно приветствующими его друзьями, снова занял свой трон. В 1372 году Гишар попал

в плен к Трастамаре и два года провел в испанской темнице, ужасном месте даже по средневековым меркам, где, как сообщал Оуэн де Галь через месяц после пленения Гишара, узники — Гишар и его товарищи по несчастью — лежали в полной темноте, прикованные друг к другу попарно. И при этом им еще очень повезло: многие пленники Трастамары были немедленно казнены, другим выкололи глаза, отрезали уши, третьих оскопили. А пока Гишар томился в темнице — и это тоже было известно Чосеру во всех неприглядных подробностях, — французы, союзники Трастамары, подвергли преследованиям и унижениям жену Гишара, которой пришлось бежать из своего замка Ашар, отдав его неприятелю, и искать защиты у герцога Беррийского. Последнему в конце концов удалось на протяжении 1374—1375 годов с помощью подкупа и обмена пленными выволить из неволи Гишара и его соратников.

Долгий тюремный кошмар остался позади, но так глубоко врезался Гишару д'Англю в память, что он, должно быть, нередко рассказывал о выпавших на его долю испытаниях. По возвращении в Англию Гишар часто встречался с Джеффри Чосером, так как оба были любимыми дипломатами двора и принадлежали к кругу ближайших друзей Гонта. С годами общность интересов, и не в последнюю очередь любовь Гишара к поэзии, еще более сблизила их. Гишар оставался в свите Черного принца, у которого Гонт со своей любовницей — и, вероятно, Чосеры — частенько гостили. В 1376 году, чувствуя приближение смертного часа, Черный принц назначил Гишара опекуном своего малолетнего сына Ричарда, будущего короля Англии. Это Гишар д'Англь первым подсказал Джону Гонту мысль о брачном союзе с Констанцией Кастильской, — союзе, который, в случае удачи, мог бы навсегда вывести Кастилию из орбиты французского влияния; это он вел переговоры о браке и в конце концов добился его заключения. Когда в 1380 году Гишар — любимый старый герой и верный друг сыновей Эдуарда и его внука, ныне короля, — скончался, Джон Гонт в знак своей глубокой скорби по этому человеку, воплощению благородства, непоколебимой веры и подлинно рыцарской доблести, заказал «отслужить 1000 месс за упокой души Гишара д'Англя».

Слушая рассказы сэра Гишара о злодейских убийствах, пытках, о том, как пленников калечили, морили голодом, содержали в грязи закованными в цепи в темных подземельях — подобное обращение считалось чрезмерно

жестоким даже в отношении крестьян, а уж по отношению к такому рыцарю, как Гишар, оно казалось чудовищно бесчеловечным, — Чосер, должно быть, утверждался в мнении, что Педро по крайней мере был меньшим злом по сравнению с его врагами. Как бы то ни было, когда несколько лет спустя в Англию приехала дочь Педро, черноглазая Констанция, чтобы стать законной супругой Гонта, Чосер поспешил забыть те сомнения, которые могли еще оставаться у него в отношении благородства Педро.

Тем временем начатая Эдуардом война против Франции тянулась и тянулась, и не было ей видно конца. В период, когда Черный принц сражался в Испании, военные действия между Францией и Англией не велись, но в январе 1369 года с молчаливого одобрения французского короля Карла V гасконцы подняли восстание против Эдуарда. 21 мая Карл официально объявил Англии войну, а 3 июня, вскоре по получении этого известия, Эдуард вновь принял на себя титул короля Франции. В сентябре Гонт, начав военные действия, совершил рейд по территории Франции — от Кале до Арфлера. Джеффри Чосер сопровождал его в этой кампании.

Между тем время для ведения войны было весьма неблагоприятное. С осени 1368 года Англия переживала глубокий духовный и экономический кризис. Небывало сильные осенние дожди залили землю: поля в низинах оказались затопленными, а на возвышенностях так пропитались влагой, что вспахать их было крайне трудно, а где и невозможно. Поэтому озимые посевы пшеницы и других злаков на всей территории страны были ничтожно малы. Весной же не удалось поправить дело за счет яровых, потому что на Англию обрушилась новая волна морового поветрия. К июню месяцу чума уже рыскала по Лондону. Двор укрылся в Виндзоре в надежде отсидеться в относительной безопасности уединенного замка, окруженного широким поясом парков и лесов. Чуму удалось удержать на расстоянии, но смерть изобретательна, о чем так красочно повествуется в «Рассказе продавца индulgенций». К июлю королева Филиппа вдруг слегла. Ее приковала к постели какая-то тяжелая болезнь, хотя и не чума. Прислуживающие ей фрейлины, в том числе ее любимица юная Алиса Перрерс, которая впоследствии станет любовницей короля Эдуарда, и Филиппа Чосер, попеременно сидели с больной, читали ей, прикладывали

к ее воспаленному лбу горячую материю, пытаюсь сбить жар, и горестно смотрели, как врачи отворяют королеве кровь, непреднамеренно помогая смерти делать свое дело. У одра умирающей королевы из близких были только король и их четырнадцатилетний сын Томас Вудсток — любящий, примерный мальчик, который станет потом графом Глостерским и будет казнен за измену. Другие родные и большинство любимых старых друзей находились в отъезде: не было рядом с ней ни Иоанны Кентской, ни даже Фруассара — он, как сопровождающий принца Лионеля, принимал участие в торжествах по случаю бракосочетания, которое оказалось для принца роковым. 15 августа королева исповедалась и причастилась. Фруассар успел вернуться перед самой ее кончиной. Вот как описал он потом ее последние минуты:

«И вот госпожа наша королева, поняв, что все лечебные средства оказались бессильны и смерть ее близка, пожелала говорить со своим мужем-королем, и, когда он с глубокой печалью в сердце приблизился к ней, она вынула из-под одеяла правую руку, положила ее на правую руку супруга и проговорила: «Сударь, мы с вами прожили в мире, радости и большом довольстве всю нашу совместную жизнь. Теперь, расставаясь с вами, я прошу вас исполнить три моих желания». Король, глотая слезы, вымолвил: «Мадам, я исполню все, что вы пожелаете».

«Во-первых, — сказала она, — я хочу попросить вас о том, чтобы всем тем людям, у которых я покупала товары, как здесь, так и за морем, и всем прочим, кому я осталась должна, вы сообразовали уплатить мои долги. А во-вторых, сударь, прошу вас сделать то же в отношении всех церквей, как в Англии, так и за морем, где я заказывала службы, молебны, давала обеты и обещания. В-третьих, сударь, я прошу вас о том, чтобы вы не избирали для своего последнего успокоения, когда бы господу ни было угодно призвать вас к себе из этой земной юдоли, никакого другого места, как рядом с моей гробницей в Вестминстере». Король, заливаясь слезами, ответил: «Мадам, я исполню все ваши желания». После чего госпожа наша королева осенила себя крестным знаменем и, поручив воле божией своего мужа-короля и своего младшего сына Томаса, стоявшего тут же рядом с нею, вскоре отдала богу душу, которую, как я твердо убежден, радостно приняли святые ангелы в рай, ибо за всю свою жизнь она ни в помыслах, ни в поступках, насколько это может быть известно людям, не совершила ничего пагубного для души. Так умерла добрая английская коро-

лева... Известие о ее кончине пришло в Торнэн, где стояло английское войско, и повергло всех в великую скорбь и печаль, особенно же ее сына герцога Ланкастерского [Джона Гонта]».

Хотя чума и война, казалось, должны были бы приучить Гонта легко относиться к смерти, он глубоко переживал уход близких людей. В память о каждом умершем, который был дорог его сердцу, включая его собственных вассалов и некоторых вассалов его братьев, он заказывал дорогостоящие заупокойные мессы и поминовения и регулярно помогал, чем только мог, осиротевшим родным. Из слов Фруассара можно понять, каким страшным горем стала для Гонта смерть матери. Но в том чумном 1369 году его ждало новое горе — горе, которое сполна разделит с ним его придворный Джеффри Чосер.

С многочисленным войском и необыкновенно большим и громоздким запасом продовольствия и фуража — повсюду царил голод — Джон Гонт (вероятно, с Чосером в качестве приближенного слугителя) переправился через Ла-Манш, чтобы предпринять поход в глубь Франции. (Чосер получил 10 фунтов стерлингов — 2400 долларов — «как вознаграждение или военное жалованье».) Герцогиня, супруга Гонта, с большой свитой сопровождала мужа часть пути к театру военных действий, как это было принято в рыцарских войнах. Вполне возможно, что в обязанности Чосера — ему сейчас было почти тридцать лет — входило заботиться о герцогине и развлекать ее. В сохранившихся документах должность Чосера не указана, но годы спустя он будет получать точно такую же сумму денег, состоя в должности, на которой ему, в частности, вменялось в обязанность прислуживать королеве Анне, пока Ричард II воевал в Шотландии, а нам известно, что Чосера в течение долгого периода его жизни, начиная со времен короля Эдуарда и вплоть до смерти королевы Анны, ценили, помимо прочего, за умение развлекать дам и знатных лиц поэзией и занимательной беседой, подобно тому как ценили Жана Фруассара, приятнейшего собеседника при дворе королевы Филиппы.

Почти наверняка вместе с Гонтом отправился в поход во Францию сэр Ричард Стэри, вассал Черного принца, пользовавшийся наибольшим его доверием. (Письменных свидетельств не сохранилось, но при Гонте, несомненно, состоял в качестве советника кто-то из лучших военачальников Черного принца — ветеранов, испытанных в его победоносных битвах.) Перспективы предстоящей кампании были весьма мрачными. Это знали все: Стэри,

Чосер, каждый воин. Армия высадилась в городе, встревоженные жители которого старались держаться подальше от незнакомцев, да и от друзей тоже, ибо каждый мог носить в себе «черную смерть». Если где-то и веселились, то это было отравленное веселье, которое Чосер описал в «Рассказе продавца индulgенций», — распутные оргии в кабаках низкого пошиба, этих храмах сатаны, где проститутки резвились с пьяными плясунами и игроками в кости:

...они в борделе
Иль в кабаке за ночью ночь сидели.
Тимпаны, лютни, арфы и кифары
Их горячили, и сплетались пары
В греховной пляске. Всю-то ночь игра,
Еда и винопийство до утра.
Так тешили маммона в виде свинском
И в капище скакали сатанинском*.

Подобные развлечения были не для Чосера и его друзей. Они поместили дам в загородном замке — уединенном укрытии, куда, как можно было надеяться, не проникнет чума, и, пока младшие служители разгружали повозки, вносили внутрь необходимую утварь, подавали вино, накрывали на стол, стелили постели, укладывая на холодные доски кроватей матрасы и валики для подушек, перины и одеяла, Гонт с друзьями вели неторопливую беседу. Наутро им предстояло ехать к войску, стоявшему лагерем в поле, и начать медленное продвижение в глубь Франции.

В тот вечер, сидя за столом рядом со своей бледной красавицей женой, Гонт казался оживленным; отогнав грусть, он говорил спокойно, почти весело, о том, как все переменялось тут со времени их прежних приездов, хотя осень во Франции, конечно, всегда прекрасна. В прошлом англичане нападали на Францию со стороны Фландрии. Этот маршрут они избирали благодаря боевому азарту их союзников. Ныне ситуация изменилась. В 1363 году, когда в Кале был создан рынок шерсти — это давало фламандцам большие выгоды и укрепляло их союз с Англией, — король Эдуард начал переговоры о женитьбе своего шестого сына, Эдмунда Лэнгли, графа Кембриджского, на Маргарите, наследнице не только Фландрии, но также герцогства Бургундия и графства Артуа. Французский король Карл V, исполненный решимости помешать заключению столь опасного для него союза, убедил папу Урбана V отказать в необходимом разрешении

* «Кентерберийские рассказы», с. 248.

на брак [Эдмунд и Маргарита были родственниками], а затем и сам повел переговоры о браке, предложив в мужья Маргарите своего брата Филиппа Смелого. И вот в несчастливом для англичан 1369 году Маргарита стала невестой Филиппа. Английскому господству во Фландрии пришел конец.

Все эти мысли, несомненно, теснились в глубине сознания Гонта, пока он беспечным тоном рассуждал о больших переменах в мире, как будто они касались только погоды. Встав из-за стола, старые друзья направились к выходу из обеденного зала.

Но красота недолговечна, «как пляска теней на стене». Возможно, дальше все было так. Из буфетной послышались поспешные шаги, и вошла старуха служительница. Беседа оборвалась. Женщина робко попросила позволения переговорить с герцогом. Стэри сделал ей знак, и она обратилась к нему. Выслушав ее, он побледнел и, быстро подойдя к герцогу, шепотом сказал ему что-то. Герцог выслушал его молча, подумал и наконец объявил, что всем им надо перебираться в другое место. В замке найдена дохлая крыса. В те времена никто толком не знал, что блохи, покидая сдохшую крысу, переселяются не на кошек, не на собак, а на давнего спутника и древнего родственника крысы, человека, — но все знали, что означает смерть крысы. Пополз шепот: «Чума!»

Но заражение уже произошло. Через четыре дня кожа Бланш Ланкастер покрылась темными пятнами, напоминающими чернильные: «черная смерть». На ее теле появились опухоли размером с яйцо. Если бы эти гнойники прорвались, у Бланш появился бы шанс на спасение, но они не прорывались. Больная металась в жару, бредила, никого не узнавала. Когда Гонт наклонился, чтобы поцеловать ее, служитель силой оттащил его от постели. И вот молодая красивая жена Гонта умерла. Горе Гонта было страшно, и, хотя он сразу сосредоточил внимание на военных заботах, дух его был сломлен, и он ехал во главе своего войска, похожий на привидение.

Некоторые политические деятели, властолюбцы по натуре, способны легко переносить глубокое горе; даже самые ужасные личные трагедии не лишают их жизнь смысла, ибо для них смыслом всей жизни является власть. Но Джон Гонт не был одним из таких людей. Хотя некоторые его современники, завидовавшие ему или боявшиеся его, распространяли слухи о его властолюбии, он никогда не добивался власти ни для себя, ни для своих сыновей, а, верный своему долгу подданного и стюарда Англии,

всегда поддерживал трон. Конечно, чувство выполняемого долга может быть важной движущей силой, но оно служило слабым утешением человеку, только что потерявшему мать и жену, которых он горячо любил, и сознающему, что его ближайший на свете друг и старший брат Черный принц стоит на краю могилы. Чосер видел, как скорбит Гонт, да и сам, без сомнения, горевал по Бланш и сделал единственное, что он мог сделать для Гонта, — начал писать элегию. Она должна была верно отражать чувства автора и быть достойной благородства Гонта и Бланш — для этого ей надлежало стать лучшей элегией, когда-либо написанной на английском языке. Таковой она действительно станет, когда Чосер закончит ее: это произойдет много времени спустя, потому что поэма, посвященная памяти Бланш, должна быть такой же грандиозной и изящной, такой же многосложной, изобилующей тонкостями, дразнящими воображение намеками и необычайно высвеченными красотами, как готический собор. Хотя «Книга герцогини» трудна для понимания современного читателя, она и сегодня стоит в числе четырех — пяти величайших элегий во всей англоязычной литературе — поэма, полная тайны и зыбкой изменчивости форм, характерной для наших снов. В памяти ее мужа Белая дама — Бланш — соединяет в себе всю красоту мироздания:

Что правда это, в том клянусь:
Как солнце летом нам сияет,
Сверканием своим пленяет,
Собою затмевая свет
Луны, Плеяд и всех планет,
Так — ярче, чем с небес светила, —
Нам красота ее светила...

И ее смерть, символизирующая непостоянство всего земного, становится источником абсолютного отчаяния. Но в конце концов ее любовь, подобно любви дантовской Беатриче, способствует духовному выздоровлению рыцаря, ибо она имеет не только материальную, но и духовную природу: любовь человеческая и божественная любовь действуют согласно одному и тому же принципу. Моя дама, говорит Черный рыцарь поэмы:

Мне милосердие явила
И снова к жизни возродила...
Случилось чудо из чудес:
Я мертвым был — и вдруг воскрес.

Иначе говоря, Белая дама соединяет в себе не только все, что радует и восхищает нас в природе, но также и бла-

госклонность той незримой силы, что скрывается за внешними проявлениями природы. Лирический и философский шедевр, «Книга герцогини» необычайно емка по своему содержанию, но великой ее делает прежде всего художественно убедительное выражение любви и горя Гонта, сострадания и дружеской заботы Чосера.

Как и следовало ожидать, предпринятый Гонтом поход во Францию оказался неудачным. Даже если бы Гонт выступал во всем блеске своих полководческих способностей, он вряд ли смог бы что-нибудь сделать. Под руководством такого блистательного военачальника, как Дюгеклен, французы воевали методично, с выдержкой, бесившей противника; они держались на почтительном расстоянии от англичан и не принимали боя, если не имели явного преимущества, — точь-в-точь так же действовали против англичан шотландцы сорок лет назад, во время первой кампании Эдуарда III. У армии Гонта не было другого выбора, кроме как совершать бесполезные изнурительные марши, а по ее пятам шли голод и чума, выхватывая из ее рядов ослабевших. В ноябре 1369 года герцог вернулся в Англию и пробыл там до июня 1370 года, советуясь с отцом и Черным принцем.

Наверное, невеселым было первое свидание братьев после смерти Бланш. За это время болезнь вконец истощила некогда могучее тело Черного принца, превратила его в ходячие мощи. Но, сыновья короля, они тут же приступили к делу. Причина неудач во Франции была достаточно ясна. При всей отваге, при всем желании сразиться невозможно разить тени, пустой воздух или такого невидимого неприятеля, как войско Дюгеклена. Но даже Черный принц поначалу не мог ничего противопоставить стратегии французского полководца. В сентябре Черный принц, большой физически и душевно, доведенный до бешенства нескончаемым характером войны и непостоянством союзников — с каждым месяцем их становилось у англичан все меньше и меньше, — пренебрег решительными протестами Гонта и применил к отколовшимся лиможцам тактику, к которой отнесся с презрением, когда к ней прибег на его глазах король Педро в Испании. Тогда эта тактика обернулась против Педро, а теперь привела к неприятным последствиям для англичан. Люди, занимавшие прежде нейтральную позицию, и безразличные к исходу войны крестьяне превратились в фанатичных англофобов. Черный принц, сотрясаемый лихорадкой и бессильным гневом, отплыл на родину.

Для Англии настала пора упадка и уныния. Общая подавленность сказывалась, конечно, и на Чосере. В опустошенных чумой Франции и Англии люди начали замечать, что рыцарство умерло. Порох получил повсеместное распространение, и применяли его теперь отнюдь не только для того, чтобы пугать коней. Как средство защиты от большого лука к кольчуге рыцаря были добавлены нагрудники и кожаные поножи. Это сделало спешенного рыцаря совершенно беспомощным: его ничего не стоило взять в плен или, если противник следовал все более популярной стратегии короля Педро, прикончить на месте. И хотя не перевелись еще благородные аристократы вроде тех, что ринулись навстречу собственной смерти в битве при Креси, — истые рыцари, подобные Ричарду Стэри и Гишару д'Англию, — рыцарское войско, в общем и целом, стало все более уступать отрядам наемников — закаленных в боях и умелых вояк самого нерыцарственного склада, готовых сражаться на любой стороне и за любое дело, пускай самое несправедливое, лишь бы им платили звонкой монетой. Создавалось «новое английское воинство» с кодексом чести участников европейского крестового похода, организованного епископом Нориджским, которые, запятнав само имя христианина, стали вместо неверных резать и грабить своих же братьев христиан — европейских бюргеров; или с кодексом чести тех рыцарей, которые поклялись всем самым святым для христианина, что обеспечат свободный проезд Ричарда II через их владения, а потом вероломно схватили его и предали смерти. Может быть, не все французские и английские аристократы ясно сознавали всю степень упадка рыцарских идеалов в 70-е годы XIV столетия. Некоторые из них хранили в памяти законы чести, которые воины блюли прежде, и верили, что еще и сейчас не поздно возродить истинное рыцарство. Что до Джеффри Чосера, то он не обманывался на этот счет. В поздний период своей жизни, став свидетелем гибели рыцарства и его идеалов, этого кодекса христианского благородства, сформулированного во французской поэме XIII века «Орден рыцарства», получившего яркое воплощение в «Парцифале» Вольфрама фон Эшенбаха и даже служившего буквальным практическим руководством для таких христианских рыцарей, как Людовик Святой и Генрих Ланкастерский, Джеффри Чосер, поэт благородства, с мягкой иронией нарисует портрет своего безусловно благородного рыцаря, который всю жизнь «как истый рыцарь скромность соблюдал», и вложит ему в уста великолепную историю — «Рассказ рыцаря», —

в которой прославляются идеалы рыцарства и одновременно с этим ясно показывается, что старый рыцарь видит крах кодекса рыцарской чести. В рассказанной рыцарем истории ее рыцарственным героям ничего не стоит нарушить священную клятву: явно нарушая рыцарский кодекс, они служат тирану Креону и с легкостью отрекаются от данных друг другу обетов верности, воспылав любовью к одной и той же женщине, которую они видят из окна своей тюрьмы. И тем не менее рыцарь, рассказывающий у Чосера эту историю, относится к их нерыцарственным поступкам довольно снисходительно, более того, с любовью говорит о своих неблагородных молодых героях; в конечном счете такова была, вне всякого сомнения, и позиция самого Чосера. В глазах большинства людей, и особенно представителей младшего поколения поэтов и художников повсеместно от Шотландии до Италии, мир начинал казаться более суровым, более безрадостным местом, этаким темным бесконечным лесом в духе сэра Томаса Мэлори, мрачной вселенской шуткой, где спастись — если спасение вообще достижимо — можно только через «куртуазную любовь». Но Чосер, исполненный мудрости и сострадания к людям, спокойно уповал на милосердие божие.

При всей своей преданности английскому королевскому двору (в этом он напоминал Гонта) Чосер не мог не видеть, что после смерти королевы Филиппы двор деградировал. Король Эдуард все больше выпускал из рук бразды правления, и все большую власть забирала при дворе его любовница Алиса Перрерс, «леди Солнце». Хотя эта дама обладала многими недостатками и получила весьма недоброжелательную оценку у историков, Чосер, несомненно, относился к ней с восхищением. Поскольку биография Алисы Перрерс представляет известный интерес, поскольку, далее, Алиса дружила с Чосером и в некотором роде покровительствовала ему и поскольку ее возвышение проливает свет на общий моральный упадок той эпохи, следует, пожалуй, познакомить читателя с ее историей.

Чосер, возможно, знал Алису, или слышал о ней, с детства, так как она вышла из той же среды, что и он, — из купеческого окружения его отца. Как и все королевские фаворитки, она, достигнув вершин власти, вызвала к себе ненависть современников, и их рассказы о ее происхождении говорят нам лишь о том, до какой степени ненавидели ее те, кто сочинял эти истории. В последнее время у нее появились защитники среди историков, и прежде всего

Ф. Джордж Кей, первый из биографов, написавший о ней сочувственно¹. Но даже профессор Кей слишком уж, пожалуй, осторожничает, воздавая ей должное. Ведь, в конце концов, Алиса была добрым другом Чосера и заботилась о его благополучии, пока у нее имелась такая возможность; она дружила с Джоном Гонтом и другими близкими Чосеру людьми. Это была женщина твердых убеждений; ее преданность королю не имела границ, и, если она не на жизнь, а на смерть сражалась за свои собственные корыстные интересы, она сражалась также за права и привилегии короны больше из принципа, чем из корысти, когда король Эдуард, убитый горем, разочарованный, тоскующий и пресытившийся жизнью полупокойник, потерял ко всему интерес.

По-видимому, Алиса Перрерс родилась в чумном 1348 или 1349 году в семье незнатных, но зажиточных горожан. Ей, безусловно, дали какое-то образование, иначе она не смогла бы стать фрейлиной королевы Филиппы. Ее происхождение и общественное положение, вероятно, были примерно такими же, как у Чосера: в расходных книгах двора их имена сплошь и рядом упоминаются вместе. Им неоднократно делались подарки по тем же самым случаям; Алиса служила у Гонта во дворце Савой в то же время, что и Филиппа Чосер, — 1 мая 1373 года обе получили от герцога подарки. Не исключена возможность, что кто-то из предков Алисы вел дела с дедом Чосера Робертом. Как указывает Холдин Брэдли, «...не кто иной, как Илайес Перр (Пирес, Пиорес, Перес), сменил 14 сентября 1309 года Роберта Чосера (назначенного 15 ноября 1308 года) на посту заместителя королевского виночерпия в городе Лондоне и лондонском порту. Кроме того, 2 августа 1310 года Роберт ле Чосер и упомянутый Илайес Перр (Перрерс) были назначены, совместно или по отдельности, сборщиками пошлины с вин, привозимых в порт города Лондона купцами-винооторговцами из герцогства Аквитании»².

Когда Алисе было восемнадцать лет, королева Филиппа жила в Хейверинге — своем любимом убежище, расположенном в уединенной сельской местности. Еще Эдуард Исповедник с похвалой отзывался о Хейверинге как о самой тихой из своих резиденций. С тех пор этот непритязательного вида дом в лесу традиционно являлся личной собственностью супруги монарха или постоянным пристанищем вдовствующей королевы. Отсюда, из этого дома, окруженного развесистыми, тенистыми деревьями, старыми мостами и ровными про-

Галинами, напоминавшими Филиппе ландшафт ее родины, пришла весть, что королева желает взять на службу в личную свою свиту новую девушку.

Ее выбор пал на Алису Перрерс. Алиса начала служить у королевы, когда той шел пятьдесят пятый год. Это была уже не та, прежняя, Филиппа — энергичная, крепкая женщина. В возрасте сорока шести лет она разбилась, упав с лошади: вывихнула плечо, может быть, получила и другие телесные повреждения. Теперь ее мучили боли в желудке, а год спустя ее надолго приковала к постели водянка. Конечно же, Филиппа, не жалуясь, несла свой крест. Это была самая милая, самая симпатичная женщина во всей Англии, обладавшая даром сразу же располагать к себе всякого, кто ее увидит, и пользовавшаяся всеобщей любовью. В данный момент ей нужна была приятная молодая особа, которая ухаживала бы за ней, составляла бы ей компанию, делала бы за нее утомительные, хлопотливые дела, которые стали королеве трудны или непосильны. Иными словами, Алисе предназначалась в личном обслуживающем персонале королевы роль камер-фрау.

У них, очевидно, сложились хорошие отношения. Королева Филиппа всю жизнь окружала себя привлекательными, умными женщинами и образованными мужчинами с тонким умом и благородным сердцем. Такие вещи, как знатное происхождение и громкие титулы, не производили на нее впечатления. Когда молодой Жан Фруассар, сын ремесленника, приехал в Англию изучать обычаи страны, традиционно враждебной его родине, Филиппа тотчас же распознала подлинное благородство этого молодого человека и пригласила его быть ее гостем при королевском дворе, где он и оставался вплоть до самой смерти королевы в качестве ее верного служителя, секретаря и составителя дневников. Такую же проницательность проявила она, остановив свой выбор на Алисе Перрерс, чья головокружительная карьера была бы невозможна без помощи Филиппы. Так, например, буквально через несколько месяцев после поступления Алисы на службу король пожаловал ей две большие бочки гасконского вина ежегодно. Это был дорогой подарок — четыреста галлов вина в год стоимостью не менее 10 фунтов стерлингов (2400 долларов), — а поскольку король фактически не имел возможности познакомиться за это время с Алисой, подарок, надо полагать, был сделан по просьбе самой Филиппы, позаботившейся о том, чтобы у новой фрейлины по-

явился постоянный гарантированный источник дохода.

Алисе было лет девятнадцать, когда она познакомилась — опять-таки в силу того лишь, что состояла при королеве Филиппе, — с сэром Уильямом Виндзором. Он служил под началом принца Лионеля в Ирландии, а до этого сражался вместе с Черным принцем в битве под Пуатье. Несмотря на то что Виндзор был выходцем из небогатой, хотя и аристократической семьи, он многого достиг в жизни и в конце концов стал «деятельным и отважным рыцарем, который приобрел большое богатство благодаря своей воинской доблести».

В Англию он вернулся вместе с Лионелем, чтобы посоветоваться с королем о нелегких ирландских делах. Должно быть, Виндзор хорошо справлялся в Ирландии со своими обязанностями — во всяком случае, по мнению Эдуарда, — поскольку король велел ему вернуться в Ирландию в качестве помощника нового правителя, а впоследствии назначил его на пост королевского наместника в Ирландии. В момент знакомства с Алисой он был почти вдвое старше ее, но, видимо, сумел обворожить ее своей рыцарской куртуазностью. Когда он в обществе молодого принца Лионеля нанес визит королеве Филиппе, Алиса сидела, ожидая распоряжений своей госпожи, и молча слушала. И если ее глаза, устремленные на старого воина, сияли, королева Филиппа наверняка это заметила. Уезжая обратно в Ирландию, Виндзор знал, что у него осталась в Англии хорошая знакомая, которая будет охотно информировать его о мнениях и политике двора в отношении Ирландии. В дальнейшем она станет его невестой и в конце концов женой. А еще много лет спустя, когда парламент осудит Виндзора, она, отбросив всякую осторожность, сделает все, чтобы вызволить его из тюрьмы³.

После смерти Филиппы король Эдуард добросовестно исполнил ее последние желания и наградил ее верных прислужниц. Его приказ казначею о выплате таких наградных начинается с суммы в «десять марок ежегодно, на пасху и на Михайлов день, любезной нашему сердцу деве Алисии де Престон [ошибка переписчика], бывшей фрейлине Филиппы, покойной английской королевы». Аналогичные подарки король сделал еще восьмерым фрейлинам королевы, но одну только Алису он назвал «любезной нашему сердцу девой». В самом этом выражении не было ни фривольного, ни романтического оттенка — оно служило только для того, чтобы выделить из общего ряда ту подданную, чье усер-

дие и положение заслуживало особого упоминания. Но люди, посвященные в тонкости придворного этикета, понимали, что, если король Эдуард упомянул первой в списке, да еще в особо благосклонной форме, девушку, занимавшую в свите королевы одну из младших должностей, это кое-что значило. Понимали и, по-видимому, одобряли. Королю, погруженному в скорбь, озабоченному нелегкими проблемами войны, изменами союзников и серьезными финансовыми трудностями, горящему по поводу неуклонно ухудшающегося состояния здоровья его любимца принца Эдуарда, можно было легко простить его привязанность к молодой Алисе, не такой уж и красивой, но уступчивой, преданной и необыкновенно умной. Со временем она станет для него смыслом всей жизни, и тогда одобрительное отношение подданных мало-помалу сменится прямо противоположным. Но, во всяком случае, пока что она казалась настоящим даром небес, женщиной, благодаря которой двор оставался оживленным, веселым местом, где королю, при всех его горестях и заботах, приятно было провести время и где он снова чувствовал себя прежним великим королем в блистательном окружении: интересные женщины, все в драгоценностях, рыцари, развлекающие их занятой беседой, богатые лондонские купцы (на них Алиса имела особенно большое влияние), музыканты, художники, поэт Джеффри Чосер, который с таким постоянством являлся ко двору и которого так часто видели с Алисой, что люди непосвященные принимали его за особого ее протеже. Ф. Джордж Кей характеризует ее следующим образом: «...эта женщина отнюдь не была пустой куклой с хорошеньким личиком и соблазнительными формами. Женщина, поднявшаяся из полной безвестности и в течение восьми памятных лет правившая страной в качестве некоронованной королевы Англии, где существовала почти абсолютная монархия, должна была обладать поистине гениальными способностями. Один ее современник, желая дать ей убийственную оценку, писал, что она не была красива, но умела обольстить человека речами. Разумеется, на самом деле это лучшая аттестация. Женщины с таким характером и таким умом, как у Алисы Перрерс, — явление редкое. И немногим из них удастся воспользоваться тем и другим в мире, где господствуют мужчины»⁴.

Какие бы честолюбивые замыслы она ни вынашивала — а она, несомненно, была честолюбива, как был честолюбив и Чосер (хотя Чосер отличался большей

осмотрительностью), — все говорит о том, что она любила короля Эдуарда и что Эдуард едва ли прожил бы так долго без ее успокоительной преданности. Кей пишет: «Страстная влюбленность короля достигла апогея, когда Алисе было около двадцати восьми лет. Привлекательная, как никогда раньше, она находилась в расцвете зрелой красоты, сил и здоровья. Заурядную тридцатилетнюю женщину считали тогда немолодой матроной. Добрая половина женщин не доживала до тридцатипятилетнего возраста. Но Алиса Перрерс не была заурядной женщиной, и она прожила незаурядную жизнь. Даже если у нее было тяжелое детство, то юность и взрослые годы она провела в обстановке комфорта и богатства при дворе... Ее тело не было истощено многочисленными родами. Авторы немногих сохранившихся описаний Алисы Перрерс, сделанных по большей части в критический период ее жизни, во второй половине 70-х годов, неохотно признают, что она имела здоровый, цветущий вид.

Пожалуй, еще важнее тут другое: Эдуард III, в результате переживаний детства, сформировался в мужчину такого типа, которому нужна женщина — источник материнской любви, а не красивая игрушка. Сорок с лишним лет ему дарила матерински заботливую любовь его королева. И он получал от Алисы такую же любовь, матерински заботливую и одновременно чувственную, в последние восемь лет своей жизни, после того как овдовел⁵».

Надо думать, отнюдь не своей пресловутой хитростью, а беззаветной преданностью королю завоевала Алиса дружбу Черного принца и Джона Гонта. Впрочем, все зависит от точки зрения: одним всюду мерещатся заговоры, тогда как другие видят только самые добрые намерения даже в действиях ядовитейших гадюк. (Если бы мы спросили Чосера, он наверняка стал бы утверждать, что змеи, как и люди, имеют добрые намерения.) Нельзя не признать, что дружба с двумя великими принцами ничуть не мешала Алисе преследовать свои честолюбивые и корыстные планы. С другой стороны, принцы без церемоний пользовались свободным доступом Алисы к королю, делая это то ли под давлением необходимости, то ли потому, что они восхищались ею, были согласны с ней и испытывали благодарность за ее заботу о здоровье короля, которого они оба любили.

Что касается Чосера, которому приходилось в те годы иметь дело с группой сильных мира сего, в кото-

рой Алиса имела наибольшее влияние и которой была больше всего обязана, а именно с подкупными и продажными политиками из числа лондонских купцов, сборщиками пошлин, снимавшими сливки с королевских доходов, и ростовщиками, ссужавшими королю деньги под непомерно высокие проценты, то не подлежит сомнению, что ее хитроумные и своекорыстные махинации были ему совсем не по душе, однако он старался закрывать глаза на ее нечестные делишки, ибо при всем своем корыстолюбии Алиса Перрерс могла быть и бескорыстно самоотверженной. Да и в любом случае ее свобода действий была ограничена: она, как и многие другие известные королевские фаворитки, любила своего мужа, но вместе с тем, как истинная средневековая верно-подданная, отвечала взаимностью на любовь короля и изо всех сил старалась сделать его счастливым. Одним словом, она занимала Чосера как объект художественного исследования: блистательно остроумная, интересная собеседница, славная, великодушная женщина, воровка, шлюха. Вышедшая, как и сам поэт, из купеческой среды, Алиса добилась в жизни поразительного для человека этого сословия успеха, но в то же время она испытывала острую неудовлетворенность своим положением, ощущала себя неудачницей. Любимица аристократов, она, подобно Чосеру, была отгорожена от них глухой сословной стеной. Чосер, любуясь и прощая, зачарованно наблюдал ее. Он стоял поодаль, заложив руки за спину, и был готов переброситься с дамой Алисой искрометными шутками, вступить с ней в беседу по вопросам библейской экзегетики либо астрономии или же прочесть по ее просьбе какую-нибудь недавно написанную поэму перед блестящим обществом, собранным ею для развлечения короля Эдуарда.

Ее звезда стремительно восходила в начале 70-х годов, когда самой ей было двадцать с небольшим лет. Она уговорила короля (а может быть, король сделал это сам, без уговоров) пожаловать ей Уэндовер, который еще со времен Эдуарда Исповедника, завладевшего им, считался одним из самых завидных маноров, принадлежащих короне. Он представлял собой красивое поместье в графстве Бакингемшир с плодородными пахотными землями и густыми дубравами на склонах холмов — источником ценной древесины и корма для свиней. До расположенного в тридцати милях от Лондона Уэндовера легко было добраться, поскольку поместье прилегало к Икнилдской дороге, весьма ожив-

ленному торговому пути, который вел через бакингермширские равнины, где повсюду, куда ни глянь, виднелись силуэты ветряков, из портов восточной Англии в зеленые и холмистые районы юго-западной части острова, богатые шерстью, кожей и зерном. Кроме того, рядом проходила и другая большая дорога, вся обсаженная каштанами, — древняя *Via Londoniensis*. Неподалеку от Уэндовера находились загородные имения Джона Гонта и Черного принца. Черный принц жил в огромном Беркестедтском замке, идеально приспособленном для демонстрации его военных трофеев и приема официальных гостей, но насквозь продуваемом, неудобном для жилья и губительном для здоровья хозяина. Он был скорее крепостью, чем домом. В этой же округе у Черного принца имелся и замок поменьше. Хорошо укрепленный, он стоял у подножия крутого откоса и служил удобной временной резиденцией. Тут же, в имении, находился конный завод — здесь разводили породу боевых коней. Джон Гонт был владельцем поместья Чэлфонт-Сент-Питер, которое он использовал только как источник продуктов питания и денежных доходов для его обширного двора во дворце Савой в Лондоне; помимо того, ему также принадлежало имение Уэстон Тэрвилл, которое чуть ли не граничило с земельными угодьями Уэндовера и являлось одной из любимых его загородных резиденций.

Возможно, трое близких соседей нечасто виделись, бывая в своих поместьях, потому что король предпочитал, чтобы Алиса Перрерс неотлучно находилась при нем, а принцы постоянно были в разъездах, стараясь поправить пошатнувшиеся дела короны. Однако все трое ладили между собой, несмотря на то что Иоанна Кентская, жена Черного принца, недолюбливала Алису. (Хотя некогда она сама славилась своим пристрастием к дорогой экстравагантной одежде, Иоанна находила Алису вульгарной и питала к ней глубокое недоверие.) Мирные, дружественные отношения между Гонтом, Черным принцем и дамой Алисой, их видимое согласие по всем важным вопросам — вещь совершенно поразительная для нравов Англии XIV века, свидетельствующая о внутреннем благородстве всех троих, сколь шатки ни были бы при этом нравственные критерии королевского двора и каковы бы ни были изъяны в характере любовницы Эдуарда. Казалось, ситуация с престолонаследием должна была сделать их врагами. Ведь, если бы Черный принц умер, оставив наследником английского престола

своего малолетнего сына Ричарда, на престол мог бы претендовать Джон Гонт, особенно в случае смерти сына Черного принца, которая ввиду высокой детской смертности в средние века не представлялась чем-то маловероятным. Но если бы Алиса родила от короля Эдуарда внебрачного ребенка, она почти с таким же основанием могла бы считать его законным престолонаследником. И еще одна поразительная вещь: мир и лад между ними сохранялись вопреки тому, что Алиса была тесно связана с лондонскими купцами, городскими властями и ростовщиками — сословием, к которому английские феодалы питали недоверие и даже ненависть. Гонт и принц Эдуард были не просто земельными аристократами, они являлись двумя самыми могущественными магнатами в Англии. Одно это вполне могло бы породить трения, и тем не менее во всех важных государственных делах все трое действовали в полном согласии, беспристрастно и решительно отстаивая права короны, кому бы ни пришлось надеть ее после Эдуарда. Теперь, когда король проявлял все меньше интереса к политике — он больше не мог удержать в памяти даже имена главнейших своих врагов, — иностранцы, нуждавшиеся в помощи Англии, обращались к двум принцам и Алисе. Например, когда новому папе, Григорию XI, увенчанному папской тиарой в Авиньоне 5 января 1371 года, понадобилась помощь, чтобы уговорить правителя Аквитании освободить за выкуп его брата, попавшего в плен, он направил свою просьбу Эдуарду, принцу английскому, Джону Гонту и Алисе Перрерс.

Король Эдуард впадал в старческое слабоумие. Он больше не мог придумывать, как прежде, блестящих или сумасшедших планов избавления Англии от ее финансовых невзгод, и это наряду со свойственным всем фаворитам стремлением урвать побольше богатства для себя толкало Алису на неблагоприятные поступки. Даже королева Филиппа, которая вела весьма простой образ жизни для супруги короля Англии XIV века, должна была преодолевать постоянно возникающие кризисы в королевском домашнем хозяйстве, оплачивать все новые и новые счета, отчаянно биться над разрешением трудных проблем содержания нескольких королевских резиденций в постоянной готовности для приезда его величества: Вестминстера, Тауэра, Элтема, Шина, Вудстока, Хейверинга и Уоллингфорда, не говоря уже о замках, расположенных дальше от Лондона, которые могли бы понадобиться королю, если бы начались воен-

ные действия с Шотландией и если бы ему захотелось поохотиться. Для того чтобы оплачивать подобные счета (и увеличивать собственное состояние), Алиса сталкивалась со своими старыми друзьями и сторонниками из числа самых бесчестных лондонских купцов, со многими из которых Чосер близко соприкасался по работе, и, кроме того, стала прибегать к хитроумным и весьма беспардонным приемам для выколачивания денег из королевской казны. Одна из наиболее невинных уловок состояла в следующем: она занимала деньги лично у короля, проследив при этом за тем, чтобы секретарь хранителя королевского гардероба тщательно записал занятую сумму, а затем убеждала короля простить ей долг. Другая уловка, куда менее невинная, заключалась в том, что она показывала Эдуарду драгоценности, которые он сам же ей и подарил, уверяя, будто эти драгоценности дал ей на время ювелир, чтобы она могла показать их ему. Забывчивый старый король загорался таким же горячим желанием подарить своей любимой Алисе эти камни, как и в тот раз, когда видел их впервые, и с радостью давал ей деньги на их покупку. Однажды — во всяком случае, так утверждал впоследствии парламент, когда ее звезда закатилась, — она вытянула таким способом из короля 397 фунтов стерлингов (95 280 долларов). А в конце концов король подарил Алисе все драгоценности королевы Филиппы.

Несмотря на подобные ее проделки, о которых престарелый король явно не догадывался и на которые его сыновья, по-видимому, сознательно закрывали глаза, любовь короля Эдуарда к Алисе, все усиливаясь, приняла прямо-таки маниакальные масштабы. Так, он устроил грандиозные сверх всякой меры торжества для прославления «леди Солнце». В тяжелые для Англии времена, когда страна находилась в отчаянном финансовом положении и лондонцев приводили в ярость все новые и непомерно высокие налоги и пошлины, вводимые короной, король Эдуард решил (или кто-то решил за него) порадовать лондонцев незабываемо пышным зрелищем. Было объявлено об устройстве праздничной процессии и семидневного турнира в честь Алисы Перрерс — предлогом для празднества послужило окончание великого поста. В Лондон съехались принцы со всей Европы, а также уличные торговцы, наемники, мечтающие подцепить богатую невесту, продавцы индульгенций, шлюхи, монахи нищенствующих орденов и карманники. Участники процессии построились на холме за

Тауэром; Джеффри Чосер, в своем лучшем праздничном одеянии, занял место среди королевских придворных. Держался он с приличествующей случаю важностью, и лицо его светилось радостным, праздничным оживлением, что бы он ни думал обо всем этом на самом деле. Шумная живописная процессия двинулась по Тауэр-стрит, миновала Чип и через городские ворота Олдергейт направилась к ристалищу. И на протяжении всего этого пути в самом центре блистательного церемониального шествия ехала — все остальные шли — «леди Солнце» в сверкающей золоченой колеснице. Вероятно, примерно в то же время Чосер начал сочинять свою поэму «Анелида и Арсит», в которой есть изумительный образ, быть может навеянный этим зрелищем. Тезей возвращается домой после войны с амазонками во главе торжественной процессии. Рядом с ним — его королева:

Прекрасна, радостна, лицом ясна,
В золотой карете ехала она,
Всех озаряя светом красоты,
Великодушия и доброты.

То, что присвоенный Алисе Перрерс титул «леди Солнце» имел явственно языческий оттенок, конечно, не было случайностью. Ведь окружающие должны были видеть в ней прежде всего даму сердца куртуазного влюбленного. Все поэтическое наследие Чосера, включая его великолепную «Книгу герцогини», свидетельствует о том, что поэтическая концепция куртуазной любви проводит параллель между христианством неоплатонического толка и романтической версией языческой религии или поклонения природным силам (в которой дама является символом идеализированной природы): подобно тому как христианин любит бога, Христа или деву Марию и эта любовь очищает и возвышает его, все больше приближая его душу к небесному совершенству, так и язычник, который поклоняется Пану, Купидону или Венере — богу или богине, олицетворяемым его дамой, — очищается и возвышается своей любовью, при том, конечно, условии, что и его дама, и его любовь «достойны». Так как языческая и христианская религия взаимопроникают друг в друга и в лучшем случае наделяют человека одинаковыми идеалами, что вынужден был скрепя сердце признать даже св. Августин и о чем теперь смело говорили такие приверженцы классиков, как Боккаччо, то аналогично тому, как языческая религия, особенно в сочинениях вдохновенных поэтов, подобных Вергилию, «прикасается к истине и

почти постигает ее», эта неоязыческая религия любви, эта любопытная инсценировка на подмостках жизни «Песни песней» была способна возвышать дух с помощью метафорического образа желанной плоти.

Эдуард, наверное, в буквальном смысле слова считал, что его дама сердца «воскресила его из мертвых». Его сыновья — и весь Лондон, — по-видимому, единодушно одобряли Алису за то, что она вдохнула в короля Эдуарда желание жить. Если нынешним историкам весь этот праздник представляется не совсем уместным излишеством, он отнюдь не казался таковым его участникам. Воскрешение к жизни помолодевшего короля, окончание великого поста, весеннее возрождение природы — все это настраивало на праздничный лад, требовало праздничной службы, какой всегда требует весна в произведениях Чосера. Даже благоразумно сдержанный рыцарь из «Кентерберийских рассказов», повествуя о том, как красавица Эмилия поклоняется майскому цветению природы, относится к этому с сердечным одобрением:

Эмилия, чей образ был милее,
Чем на стебле зеленом цвет лилеи,
Свежей, чем мая ранние цветы
(Ланиты с розами сравнил бы ты:
Не знаю я, которые алей),
Покорствуя привычке юных дней,
Оделась, встав до света на востоке:
Не по душе ведь маю лежебоки.
Все нежные сердца тревожит май,
От сна их будит и кричит: «Вставай
И верно мне служи, расставшись с ленью» *

И только лишь потом, когда честолюбие и алчность Алисы перешли все границы, англичане начали говорить о ней в таком же духе, в каком изобразил ее поэт Уильям Ленгленд, срисовавший с нее свою аллегорическую леди Мзду (или Награду и Взятку в одном лице):

Налево бросив взор, как указала Дама Церковь,
Узрел я женщину в роскошнейшем из платий,
Обшитом дорогим и шелковистым мехом,
С короной на челе, прекрасней королевской,
На пальцах у нее сверкали ярко перстни
С рубинами красней, чем жаркий пламень углей,
И с бриллиантами, которым нет цены,
С бериллами, с двойным сапфиром синим
(Берилл с сапфиром — средство против яда)

* «Кентерберийские рассказы», с. 60

Багряно-алым был ее наряд богатый,
А ленты — в золоте, в камнях драгоценных.
Я в жизни не видал столь пышного убранства.
«Кто эта женщина в роскошном одеянии, —
Спросил у Дамы я, — и чья она жена?»
И та промолвила: «Девушка Мзда. Нередко
Она чинит мне зло, клеветает на меня,
Чернит мою любовь, которой имя — Верность.
В доверье втерлась Мзда к блюстителям закона,
У папы во дворце вольготно ей, как мне,
Но Правда скрутит Мзду, ведь эта Мзда — ублюдох...»

Так называемый «Хороший парламент», созванный в 1376 году, потребовал, чтобы Алису лишили всех почестей и отстранили от двора короля Эдуарда. Чосер, конечно, понимал, какое раздражение должны были вызывать у членов парламента хитроумные проделки Алисы, опустошавшие казну; однако сам он придерживался убеждения (это, разумеется, было и убеждением Гонта), что «Хороший парламент» не только проявляет вопиющую бестактность, но и, хуже того, неправомерно вмешивается в личные дела короны и, следовательно, угрожает «стародавнему праву короля». Тем не менее Алиса была изгнана, и, хотя ей еще удавалось раз-другой вернуться на короткое время ко двору, ее влияние с этого момента все более ослабевало. Со смертью Эдуарда в 1377 году и со смертью ее мужа сэра Уильяма Виндзора дела ее покатались под гору. Надо надеяться, что это не о ней идет речь в Монмутских судебных отчетах за 1397 год, где говорится о женщине, уличенной в блудодеянии с валлийцем: «Item quod jankun ap Gwillum fornicatur cum Alicia Parrege». (К тому времени ей ведь было бы под пятьдесят.) Чем бы ни кончила Алиса Перрерс, не подлежит сомнению, что с годами цинизм, сутяжничество, испорченность все более явственно проступали в ее нравственном облике. В конце XIV века подобным моральным упадком нередко завершалась блестящая карьера.

По словам видного французского историка Симеона Люса, Чосер был «протеем фаворитки Алисы Перрерс»⁶. Независимо от того, имелись ли у него прямые основания для такого высказывания, оно, несомненно, соответствует действительности — во всяком случае, в широком смысле слова. Как минимум они принадлежали к одному и тому же придворному миру, и, если бы всемогущая Алиса была не расположена к Чосеру, он

не смог бы процветать при дворе. Связи между Чосером и Алисой обнаруживаются повсеместно. Так, сэр Луис Клиффорд, приятель Чосера, и любимый старый вассал принца Эдуарда сэр Гишар д'Англь, с которым поэт выполнял различные дипломатические поручения за границей (в частности, во Франции в 1377 году), являлись двумя из семерых поручителей, или гарантов доброго поведения, которые добились 20 августа 1376 года освобождения из Тауэра мужа Алисы Уильяма Виндзора. Сэр Ричард Стэри, коллега Чосера по многочисленным дипломатическим миссиям в Англии и за рубежом, принадлежал к числу самых ревностных приверженцев Алисы. Один анонимный хронист того времени утверждает — вне сомнения, правильно, — что (наряду с Гонтом и принцем Эдуардом) Стэри, лорд Лэтимер (которого Чосер хорошо знал) и эта «бесстыжая женщина и распутная шлюха по имени Алес Перес» были близкими друзьями Эдуарда III и что «король допустил, чтобы по их произволению решались все дела королевства, и передал им в руки свои бразды правления».

В некоторых случаях дама Алиса, похоже, либо сама непосредственно покровительствовала Чосеру, либо помогала Гонту оказывать покровительство поэту. В 1374 году Чосер получил в пожизненное бесплатное пользование особнячок над воротами Олдгейт. Как полагают большинство чосероведов, Гонт наверняка пустил в ход свое влияние, чтобы выхлопотать для друга этот ценный дар. Однако Холдин Брэдли справедливо указывает, что Гонт никогда не владел недвижимостью в районе Олдгейтских ворот, тогда как Алиса имела там ценное недвижимое имущество, и что раздавать своим протеже дома (от имени лондонских купцов-политиков) с освобождением от арендной платы было характерно именно для Алисы Перрерс. Она не раз получала от короля в свободное от арендной платы пользование участка земли и строения для себя и для других — как правило (и вероятно, в этом случае тоже), заручившись поддержкой лондонских ростовщиков, в особенности мэров (которые осуществляли контроль над недвижимостью), когда короля ограничивал недостаток финансовых средств. (Далее Брэдди продолжает: «Любопытно, что утрата Чосером права на бесплатную аренду Олдгейта в 1386 году поразительным образом совпадает по времени с концом преуспевания самой Алисы»⁷). Ныне нам почти достоверно известно, что Чосер не «утратил» Олдгейтского надвратного дома, а, напротив, удостоился

щедрых королевских милостей и получил в пользование другой, много лучший дом как преданный друг Ричарда II, сохранивший верность ему в тревожные времена.)

Никем из исследователей не высказывалось догадок относительно того, что Алиса Перрерс каким-либо образом фигурирует в поэзии Чосера. Но, поскольку писатели творчески перерабатывают, подчас преображая до неузнаваемости, опыт жизненных наблюдений, мы вправе предположить, что эта блестящая и привлекательная при всей своей вульгарности женщина оставила-таки свой след в произведениях Чосера. Придворные слушатели поэта, прекрасно знавшие Алису, возможно, вспоминали о ней, когда речь шла о той юной соблазнительной кошечке, носившей то же имя и даже то же уменьшительно-ласкательное производное от него — «Алисон», которая мурлычет и резвится в продолжение всего «Рассказа мельника». В этой Алисон, видит бог, нет ни капли придворной изысканности, и ничто непосредственно не связывает ее с Алисой Перрерс, кроме имени да того факта, что она полна сексуальной притягательности, каковой, несомненно, обладала в свое время Алиса Перрерс, что бы ни писали о ней враждебно настроенные хронисты:

...так была нарядна,
Что было на нее смотреть отраднo.
Нежна, что пух, прозрачна на свету,
Что яблоня весенняя в цвету.
У пояса, украшена кругом
Шелками и точеным янтарем,
Висела сумка. Не было другой
Во всем Оксфорде девушки такой.
Монетой новой чистого металла
Она, смеясь, искрилась и блистала.
Был голосок ее так свеж и звонок,
Что ей из клетки отвечал щегленок*.

Не будем необдуманно утверждать, что этот портрет, хотя бы в отдаленной мере, является сатирой на Алису, но вместе с тем и здесь, и в других местах «Рассказа мельника» бросаются в глаза определенные черточки сходства между молодой провинциалкой и королевской любовницей. Строка: «Она, смеясь, искрилась и блистала» — вполне могла ассоциироваться у слушателей Чосера с образом «леди Солнце», а сравнение с «монетой новой чистого металла» могло навести их на мысль о том,

* «Кентерберийские рассказы», с. 114.

что Алиса и впрямь была дороже Эдуарду, чем «нобль» — введенная им в обращение золотая монета, которая принесла ему и прибыль, и престиж, возместив, фигурально выражаясь, все, что он потерял в плане финансов и престижа по причине своего романа с Алисой Перрерс. Проводить и дальше эти параллели значило бы искажать смысл этой новеллы в стихах, потому что Алисон «Кентерберийских рассказов» — это и много больше, и много меньше, чем реальная Алиса Перрерс. Я только хочу сказать, что слушатели Чосера, наверное, невольно думали время от времени об Алисе Перрерс, когда он читал им «Рассказ мельника».

Аналогично этому Алиса Перрерс, славившаяся своим острым языком и выдающимся умом, сексуальностью и честолюбием, возможно, вдохновила Чосера, хотя бы отчасти, на создание яркого, великолепно полнокровного образа разбитной батской ткачихи, такой дамы Алисы в зрелом возрасте. Как показал годы назад Дж. М. Мэнли, Чосеру и его слушателям нравились шутки, понятные только людям их круга, сатирические выпады и комплименты личного характера. Спору нет, Чосер, имевший какие-то связи с королевским именем «Пезертонский лес», возможно, знал кое-кого из тамошних ткачих, быть может, знал и какую-нибудь ткачиху из Уолкота, деревушки «что возле Бата», звавшуюся Алисой, а его придворным слушателям почему-то мог быть известен этот факт. Тем не менее естественно предположить, что им, этим слушателям, припоминалась Алиса Перрерс, когда они представляли в своем воображении эту батскую ткачиху: ее природный ум, юмор, бесстыдную сексуальность, алчность, честолюбие, самолюбие, равно как и ее способность любить преданно и крепко, коль скоро любимый будет по ней. Да и суждения ткачихи напоминали убеждения Алисы Перрерс: ее до комизма серьезные уверения, что родовитость не имеет отношения к подлинному благородству, ее сочувственное отношение к некоторым положениям учения лоллардов. Возможно, слушатели Чосера вспоминали об Алисе Перрерс и тогда, когда им приходило в голову, что рассказ батской ткачихи в какой-то своей части имеет ирландские корни, т. е. происходит из страны, где должность королевского заместителя занимал супруг Алисы Перрерс. Старая колдунья из «Рассказа батской ткачихи» — это традиционная призрачная фигура, олицетворяющая Ирландию, и подразумеваемый политико-философский смысл рассказа тка-

чихи состоит в изложении точки зрения ирландцев, убежденных в том, что подданный должен иметь право голоса в принятии решений. Подобно тому как ткачиха утверждает, что женщины, зависящие от мужчин, должны принимать участие в семейном управлении, так и ирландцы утверждали, что Ирландия, зависящая от Англии, должна принимать участие в управлении своим островом. Само собой разумеется, что батская ткачиха, являясь собирательным художественным образом, могла иметь сколько угодно реальных и литературных прототипов, но у первоначальных слушателей и читателей Чосера вполне могло сложиться впечатление, что Алиса Перрерс — один из них. Если так, то нарисованный им портрет, комический и вместе с тем исполненный сочувствия, не мог причинить ей вреда в глазах тех, кто был способен оказать ей поддержку.

В пору наибольшего влияния «леди Солнце» успешно шли дела и у Джеффри Чосера. Вероятно, именно в этот период он начал совершать поездки за границу, выполняя важные поручения короны. Правда, еще в 1366 году Чосер ненадолго уезжал в Испанию, но тогда ему, по-видимому, отводилась роль второстепенного сопровождающего лица. Не исключается возможность того, что в 1368 году он совершил путешествие в Италию, чтобы посетить принца Лионеля. Спейт сообщал в 1598 году, ссылаясь на устное предание, что Чосер якобы находился в свите своего прежнего господина, когда Лионель отправился на бракосочетание с Виолантой Висконти. Это сообщение, как нам известно, едва ли соответствует действительности, поскольку жених со свитой покинул Англию в мае, а Чосер не только получил 25 мая ренту за полгода (хотя и не «в собственные руки»), но все еще находился в Англии два месяца спустя (17 июля 1368 года), когда он получил разрешение на отплытие из Дувра и 10 фунтов стерлингов иностранными деньгами. Если Чосер вернулся в Англию не ранее 31 октября 1368 года, когда ему была выплачена рента за второе полугодие, его путешествие могло продлиться максимум 106 дней. Тех 10 фунтов, которые ему было позволено взять с собой, за глаза хватило бы, чтобы добраться до Милана, но маловероятно, чтобы он успел проделать такое далекое путешествие туда и обратно, которое в те дни обычно совершали по суше, всего за 106 дней. Поэтому более

вероятным представляется, что он ездил во Фландрию в связи с переговорами о браке между Маргаритой Фландрской и сыном Эдуарда Эдмундом Лэнгли (Чосеру еще не раз придется путешествовать в роли участника брачных переговоров). Впрочем, не исключено, что он ездил с дипломатическим поручением во Францию или, может быть, в Испанию.

В 1369 году, как мы уже говорили, Чосер находился с Гонтом во Франции, а летом 1370 года снова ездил «за границу по поручению короля». Так как отлучка его была непродолжительной, можно предположить, что он побывал в Нидерландах или же на севере Франции — там в эту пору сэр Роберт Нолл во главе маленькой армии постоянно беспокоил французов. По-видимому, Чосер снова ездил по дипломатическим делам. Как раз тогда завершалась разработка нового договора с Фландрией, а когда Чосер отплыл домой, в Англии вот-вот должны были начаться переговоры с посланцем из Генуи.

Впервые важная дипломатическая миссия была поручена Чосеру, надо полагать, в ноябре 1372 года, когда он получил назначение в состав комиссии, куда входили еще два члена: генуэзцы сэр Джеймс Чован и Джон Мари (по-видимому, глава комиссии), — для ведения переговоров с герцогом, гражданами и купцами Генуи по вопросу о выборе какого-либо английского порта, где генуэзские купцы могли бы основать торговое предприятие. На эту поездку Чосер получил перед своим отбытием из Лондона 1 декабря 100 марок (16 000 долларов) авансом. Он находился в отъезде около года и при окончательном расчете получил на покрытие своих расходов 138 марок (21 480 долларов). Величина его расходов свидетельствует о важности порученной ему работы. Ведь заморские торговые предприятия в английских портах служили источником доходов для королевской казны, Англия же тогда, как обычно, отчаянно нуждалась в деньгах. Но, пожалуй, даже большую важность имела эта поездка для Чосера-поэта. Из платежной ведомости, в которой регистрировались служебные расходы Чосера, явствует, что он ездил по делам службы не только в Геную, но и во Флоренцию — вероятно, для того, чтобы договориться о предоставлении займа королю Эдуарду, который не раз уже занимал деньги у банкирских домов в Барди и во Флоренции. Есть основания полагать, что Чосер побывал также и в Падуе, где встречался с великим итальянским поэтом-ученым Петраркой. Исследователи обычно

называют эту поездку первым итальянским путешествием Чосера, и, хотя выражались сомнения по поводу того, было ли оно первым, это название, вероятно всего, справедливо. Надо полагать, Чосер был выбран для данной миссии потому, что он умел немного говорить по-итальянски. С итальянцами он был знаком еще с детства: когда его семья жила в Лондоне, его отец с матерью вели торговлю с итальянскими поставщиками перца. По возвращении из Италии Чосеру предстояло снова общаться с итальянцами: в должности надсмотрщика таможи Лондонского порта он будет иметь дело и с итальянскими купцами, и с итальянскими банкирами — кредиторами короля. Независимо от того, владел или нет Чосер итальянским языком, отправляясь в Италию, вернется он из этой поездки знатоком и почитателем итальянской поэзии.

Путешествие в Италию было тогда нелегким, рискованным делом. Переправа через Ла-Манш — первый шаг на длинном пути — уже грозила смертельными опасностями. Фруассар рассказывает, как некий Арв Леон однажды отплыл из Саутгемптона «с намерением прибыть в Арфлёр, но был застигнут на море бурей, носившей его по волнам пятнадцать дней, и потерял своих коней, которые были сброшены в море, а сам пережил столько волнений, что это вконец подорвало его здоровье». Несколько лет спустя королю Франции Иоанну понадобилось одиннадцать дней, чтобы переплыть Ла-Манш, а король Эдуард, переправляясь один раз через Ла-Манш, попал в ужасную переделку и был убежден в том, что стал жертвой магов и чародеев. Поскольку основные поездки Чосера за границу в составе посольств приходится на период после поражения Англии на море в 1372 году, у него были основания бояться не только штормов, но и французских каперов.

Хотя Чосер отправлялся в свое дальнейшее путешествие, когда на дворе уже стояла зима, поездка через Францию совершалась без особых хлопот. Правда, погода стояла холодная, и путникам приходилось ехать, несмотря на метели и заносы. Но по мере их продвижения к югу становилось теплее, а охранные грамоты, выданные королем, служили Чосеру надежной защитой. Да в такое суровое время года никакие военные действия между англичанами и французами и не велись. Зато переход через Альпы в глухую зимнюю пору представлял собой

смелое и невообразимо трудное предприятие. Дороги в горах, узкие и неровные, были в плачевном состоянии; не шире современного тротуара, они прихотливо вились по склонам, покрытым опасно нависающими толщами снега. Чосер, закутанный в меховые одежды, иногда с опаской поглядывал вниз. Там, почти под крупом его осторожно ступающего коня, зияла сверкающая ледяная бездна, а на дне пропасти бурлил седой от пены поток. В этом горном краю обитали диковатые, угрюмые люди, пастухи и бандиты, имевшие обыкновенные появляться как из-под земли и бесследно исчезать среди ледяных утесов. Впрочем, вряд ли они осмелились бы напасть на большой и хорошо вооруженный отряд Чосера. Наконец вершины Альп остались позади, и перед путниками лежала дорога, которую Данте назвал в своем «Чистилище» «безлюдным и пустынейшим путем от Леричи до Турбии». Для нас с вами, усвоивших наследие поэтов-романтиков, опасности и лишения долгого и трудного перехода через перевал искупались бы потрясающей красотой окружающего пейзажа, но Чосеру это чувство любования природой показалось бы довольно странным. Правда, и в его время некоторым людям нравились такие вещи — скажем, тому поэту-йоркширцу, сочинившему «Сэра Гавейна и Зеленого рыцаря», который мог, оглядевшись вокруг, сказать:

Их путь все в гору шел сквозь облетевший лес,
Цеплявший путников руками голых веток;
Потом они поднялись в край угрюмых скал
Под хмурым небом в низких рваных тучах.
Промозглой сыростью на них дышал туман,
Что полз, клубясь, от вересковых топей
И изморозью оседал на склонах
Высоких гор — гигантов в белых шапках.
Кипя и пенясь, мчали с гор ручьи
И низвергались в сонме брызг на камни.
Так ехали они, извилистой тропею
Взбираясь вверх. Тут занялась заря,
Их кони вынеслись на самую вершину,
И снег вокруг искрился и сверкал
В лучах холодных солнца...

Но на взгляд Чосера, человек, ломающий голову над тем, как бы получше изобразить красоту пейзажа, занимался довольно-таки странным делом. Вот Генуя с ее теплой зимой, напоминающей свежий летний день в Англии, с ее окультуренным ландшафтом, представляющим собой как бы гимн в честь человеческой воли, преобразовавшей природу в произведение высокого искусства, — Генуя была совсем другое дело.

Во многом Италия далеко опережала Англию, хотя в некоторых отношениях, как нам теперь видно, отставала от нее. В Англии получила распространение философия оксфордского рационализма — прародительница современной науки и промышленности; в Англии исстари, еще с англосаксонских времен, с чувством уважения относились к человеческой жизни — Чосер убедится в том, что, несмотря на влияние великого Данте, с этим чувством мало считались в краю отравителей и изобретателей изощренных пыток. Но на Чосера, как много веков спустя и на Генри Джеймса, Италия произвела впечатление своей глубокой стариной и высокой цивилизацией, во всяком случае в эстетическом смысле. Англии еще предстояло сделать поразительное открытие — Ренессанс. В Италии эпоха Ренессанса достигла уже полного расцвета.

Чосер покинул Лондон причудливых каменных и деревянных домов, извилистых улочек и неуклюжих судов, способных развалиться во время крепкого шторма на Ла-Манше, и приехал в Геную римских и псевдоримских — романских — колонн (ту Геную, которую воспел в пору ее заката Рескин), широких, ровных, овеянных духом старины улиц, огромных куполов и порталов, гавани, где стоял, по понятиям англичанина, флот будущего. С детства знакомый и близкий Чосеру национальный характер англичан, восхитительный в своей грубоватой бесцеремонности и сочетающий честную прямоту с детской импульсивностью, из-за которой преданный вассал мог, забывшись, сгоряча поднять меч на своего короля, — этот характер вызывал у генуэзцев отчужденную усмешку. Эти генуэзцы были, во всяком случае в глазах англичан вроде Чосера, людьми сухими, холодными, загадочно-импозантными. Они обладали апломбом, свойственным ныне английским банковским служащим, и, кроме того, имели репутацию ловких дельцов. Одно то, что Чосера послали вести дела с генуэзцами, свидетельствует об уважении, которое особы, пославшие его, питали к его красноречию, наблюдательности и практической сметке. Он уже начал завоевывать известность как на редкость хороший поэт, а в дипломатии XIV века тон общения значил много.

Среди других чар Италии не последнюю роль играла ее музыка, пленительность которой не могла ускользнуть от Джеффри Чосера, поэта, в чьих стихах снова и снова говорится о музыке всех видов, начиная от пения юной жены старика плотника, которой «из клетки

отвечал щегленок», и дьявольского брэнчания гитар в кабаке («Рассказ продавца индугенций») и кончая пронзительным завыванием волынки, под звуки которой паломники начинают свой путь из Соуерка в Кентербери. Выглядывая из экипажа, или стоя у окна своего палаццо, или осторожно пробираясь сквозь многоязыкую шумную рыночную толпу, Чосер слышал музыку, которая, казалось, лилась отовсюду. Тогда, как и теперь, Италия была страной песен. Остатки мелодий древнего Рима постепенно превратились в простые уличные песенки, подобно тому как арии Пуччини стали со временем достоянием неаполитанских мусорщиков. Во Франции, как было известно Чосеру, музыка имела более «экспериментальный», более «авангардистский» характер: примерно в это время Мишо сочинял мессу — первую мессу, написанную одним композитором. Зато в Италии серьезная музыка, как религиозная, так и светская, была так же популярна во всех слоях общества, как были популярны в Англии варварские лэ в роде «Маленького Масгрейва». В Италии, так же как и в Англии и в большинстве европейских стран, придворные композиторы сочиняли мотеты в стиле Мишо, но в Италии, где процветало много видов музыки, очаровательно замысловатые мотеты прошли более или менее незамеченно.

Но еще более важное значение для Чосера, во всяком случае для его будущей карьеры, имело знакомство с итальянской архитектурой. В поздний период жизни он получит назначение на должность смотрителя королевских строительных работ, иначе говоря, государственного чиновника, ответственного за осуществление большинства крупных строительных проектов короны; кроме того, весьма вероятно, что Чосер был так или иначе связан с ремонтными и строительными работами в продолжение значительной части своей служебной деятельности. Надсмотрщиком таможи его назначили как раз тогда, когда ремонтировались и перестраивались здание таможи и прилегающие верфи; с этой должности он перейдет на другую, тоже связанную с ремонтными и строительными работами, — на должность смотрителя королевских работ в Элтеме, Шине и Гриниче. Ни на одной из этих должностей Чосеру не приходилось лично заниматься архитектурной стороной дела, но в его обязанности входило нанимать зодчих, ведать покупкой и доставкой строительных материалов, расплачиваться с рабочими и инспектировать выполненные работы. Поэтому его непосредственное знакомство

с итальянской архитектурой являлось важным профессиональным достоинством. А поскольку надсмотрщиком таможни Чосер был назначен сразу по возвращении из Италии и поскольку через несколько лет плотник, ведавший строительными работами на таможне, предъявил ему иск об уплате долга (иски никогда не предъявлялись короне — они предъявлялись чиновнику, руководившему королевскими строительными работами; следовательно, это судебное дело, возбужденное против Чосера, может служить указанием на то, что он являлся смотрителем работ по перестройке таможни), напрашивается предположение, что высокопоставленные лица, отправившие Чосера с миссией в Италию, поручили ему внимательней приглядеться к знаменитым строительным достижениям тосканцев.

Итальянская архитектура, и в особенности архитектура Флоренции, способна была поразить воображение культурного англичанина. Так, Чосера едва ли мог оставить равнодушным вид необычайно красивых каменных стен, двумя ярусами охватывающих город. Еще более глубокое впечатление, наверное, произвел на него древний баптистерий св. Иоанна — Сан-Джованни, — по сей день считающийся одним из самых выдающихся памятников христианской архитектуры в Европе. Современные специалисты называют разное время создания баптистерия: одни относят его к VII веку, когда все еще дышало памятью Римской империи, другие — к более поздней эпохе. Однако изысканно-любезный придворный, показывавший баптистерий Чосеру, точно знал, что Сан-Джованни — древнейшее здание в мире, построенное в языческие времена и служившее храмом Марса (легенда эта дожила до конца XIX века, когда в результате раскопок было подтверждено христианское происхождение баптистерия). В сущности говоря, Чосер и его провожатый были недалеки от истины, когда, стоя внутри этого просторного, таинственного, сумрачного здания, заполняли его в своем воображении тенями язычников, совершающих страшные священные обряды в честь Марса: ведь, к какой бы вере ни принадлежал безвестный зодчий, строитель баптистерия, величественные колонны, капители и архитравы, собранные им на развалинах заброшенных языческих храмов, сохранили — и сохраняют поныне — присущую им атмосферу древности. Другие поэты-северяне могли недооценивать грандиозность ритуалов древней религии и воображать, что ее обряды отправлялись в хижинах, капищах внутри

кургана, пещерах с сочащимися влагой стенами, но Чосер, собственными глазами видевший баптистерий, не разделял их ограниченных представлений и изображал ритуалы древних язычников как торжественные и величественные богослужения:

По давнему обычаю Троил,
В затылок юных воинов построив,
Процессией вокруг храма их водил
И глаз не отрывал от женщин Трои...

Массивные колонны и строгие, суровые капители баптистерия поведали Чосеру, сколь серьезной и даже грозной бывала древняя религия, и, поняв это, Чосер смог с мрачноватым юмором описать, как Троила, позволившего себе поддразнить бога любви, постигло возмездие:

...с лукавством бровь подняв, Троил
Придал лицу такое выраженье:
«Мол, как я Купидона уязвил!»
«Ах так? Я отомщу за оскорбленье! —
Подумал бог. — Увидишь, милый мой,
Как меток Купидонов лук тугой».
Троилу в грудь его стрела вонзилась...

Когда Чосер осматривал баптистерий, его уже давно украшала внутри и снаружи инкрустация белого и зеленого мрамора, а также яркая (куда ярче, чем сейчас) мозаика интерьера, мозаика апсиды с ее триумфальной аркой и мозаика купола — эти изображения вдохновляли великого Данте, подсказали ему немало поразительных образов.

В нескольких сотнях шагов к востоку от баптистерия возвышался дворец подесты (ныне известный под названием «Барджелло»), одно из наиболее величественных монументальных зданий, воздвигнутых в Италии в эпоху подъема третьего сословия. Хотя создавали его горожане, которые являлись в Италии серьезными соперниками старого сословия феодалов, внешне дворец был построен по образцу стоявших здесь и там на холмах Тосканы квадратных и массивных феодальных замков с воротами, крепостными рвами, подъемными мостами и зубчатыми стенами. Но если снаружи внушительные стены из грубо обтесанного камня и мощная башня с бойницами придавали Барджелло такой вид, словно он был воплощением итальянского феодализма, то внутри дворец выглядел совсем иначе: это был настоящий народный дворец с большим и красивым внутрен-

ним двором, колоннадой, поддерживающей просторную сводчатую галерею, и грандиозной парадной лестницей, ведущей на величественную лоджию на уровне второго этажа.

Видел Чосер и другие великолепные здания Флоренции, многие из которых сохранились до нашего времени. За предшествовавшее столетие доминиканцы соорудили здесь превосходный ансамбль монастырских строений: церкви, в том числе церковь Санта-Мария Новелла, монастыри, трапезную, библиотеку, здание капитула и высокую звонницу. Францисканцы построили церковь Санта-Кроче, архитектура которой представляет собой поразительное отступление от суровой, тяготеющей к прямоугольным формам флорентийской традиции: это не совсем северная готика, но стиль, вобравший в себя некоторые ее лучшие особенности, такие, как стройность пропорций, изящество устоев, просторный интерьер, залитый светом благодаря верхнему ряду окон, освещающих хоры. Взор Чосера влекли к себе и дворец приоров, нынешний Палаццо Веккьо, и светлая, теплая площадь, созданная на месте разрушенных домов Уберти, нынешняя Пьяцца делла Синьория.

Любовался Чосер изящной — поныне вызывающей восхищение — шестигранной кампанилой (колокольной), которая являлась в ту пору частью церкви Бадии (сама эта церковь подвергалась в XVII веке грубой перестройке), недавно освященной церковью Орсанмикеле с ее большой крытой галереей и, конечно, розовой, облицованной мрамором кампанилой церкви Санта-Мария дель Фьоре — красивейшим, по общему признанию, архитектурным памятником Флоренции. Многие из этих зданий были в ту пору, когда Чосер осматривал их, совсем новыми: XIII и XIV века составили великую эпоху в флорентийском зодчестве; впрочем, некоторые из осмотренных им зданий были стары, как сами холмы Тосканы.

Однако из всех архитектурных шедевров Флоренции наибольшее эстетическое наслаждение, должно быть, доставила Чосеру кампанила Джотто — произведение искусства, которое наверняка оказало влияние на его собственное художественное видение мира, неуловимым образом сориентировав его в сторону так называемого «реалистического» стиля позднего периода творчества (независимо от того, оставило ли оно следы влияния на каких-нибудь английских сооружений, давным-давно разрушившихся). Когда Чосер впервые увидел эту кампанилу, ее строительство как раз завершалось. (Джотто

умер в 1337 году в возрасте семидесяти лет, но кампанила достраивалась еще полвека после его кончины.) По сравнению с нею большинство флорентийских башен стали казаться старомодными и угрюмыми — эффект этот достигался не с помощью контрфорсов и окон, а благодаря искусному сочетанию светлого и темного камня. Джотто успел при жизни возвести кампанилу до уровня чуть выше первого яруса скульптур, но этого оказалось достаточно, чтобы наложить печать его творчества на все произведение в целом, законченное лишь с незначительными отступлениями от его первоначального замысла. Вероятно, семь первых композиций на западном фасаде кампанилы выполнены самим Джотто. Во всяком случае, и по своему содержанию, и по стилю они, как мы можем легко себе представить, имели для Чосера первостепенное значение. Ряд композиций начинается с сотворения Адама, продолжается созданием Евы, после чего третья композиция изображает Адама и Еву после грехопадения: Адам падает, Ева прядет, согласно проклятию, которое они навлекли на себя. После этого ортодоксального вступления Джотто и его ученик Андреа Пизано запечатлевают в последовательной серии рельефов, сплошной полосой окаймляющих все четыре стороны башни, изобретения, ремесла и профессии, которыми было ознаменовано возвышение цивилизованного человечества. (Когда Чосер разглядывал эти композиции, четвертая сторона кампанилы еще не имела рельефов — они появятся здесь значительно позже.) Вот этот прославляющий человека гуманизм творчества Джотто, явившийся поразительным порождением народной стихии флорентийского зодчества и воплотившийся не только в его скульптурных работах, но также в росписях и ярких, красочных фресках, придавал его искусству характер волнующей новизны и захватывал воображение каждого художника, знакомого с его творениями.

Ну и, конечно же, Чосер видел самый впечатляющий (из того, что сохранилось до нашего времени) образчик этого нового гуманистического движения в изобразительном искусстве, главное произведение Андреа Пизано, созданное в период между 1330 и 1336 годами, — великолепные бронзовые двери баптистерия. Рельефы Пизано — восемь отдельных фигур, символизирующих религиозные и нравственные добродетели, и многочисленные фигуры, составляющие композиции двадцати сцен из жизни Иоанна Крестителя, — отмечены не только

простотой и ясностью образов, характерной для Джотто, но и новым духом любования свободным движением человеческого тела, которого Джотто, верный идеалу статичного достоинства, избегал. Подобный «реализм» — что бы ни означал этот эластичный термин — стал отличительной чертой флорентийского искусства второй половины XIV столетия и присутствовал повсеместно: в резных украшениях алтарей, дверей и окон, в скульптурах на площадях, в книжных иллюстрациях. Он знаменовал собой возврат человека в своем мироощущении к античным временам, о котором напоминает прощальное обращение Вергилия к Данте в «Чистилище»: «Отныне вверяю тебя твоей собственной воле... и делаю тебя королем и первосвященником над собой». На севере это мироощущение заявляло о себе в области схоластической и постсхоластической философии: оно выражалось в предпочтении, отдаваемом «опыту» перед «авторитетом», в заинтересованности оксфордских ученых в решении отдельно взятых научных вопросов вне связи с метафизикой и в независимом мышлении религиозных реформаторов, которое, восприняв всерьез слова Данте о «первосвященнике», в конечном счете приведет — через Гуса, Кальвина и Лютера — к протестантской Реформации. Но в Италии, и особенно в Тоскане, этот вновь открытый интерес к человеческому опыту не был абстрактным и умозрительным — он воплощался в материальном, осязаемом искусстве; этот гуманизм, говоря словами Чосерова орла в «Доме славы», можно было «подержать за клюв», так как он принадлежал миру конкретного и вещественного, а не миру туманной логики. Чосер и сам отдаст дань этому гуманистическому мироощущению в своих величайших поэтических творениях — «Троиле и Хризеиде» и «Кентерберийских рассказах», — написанных под влиянием итальянского искусства. Куда бы ни пошел Чосер во Флоренцию, повсюду он видел фрески, картины и статуи, воспевавшие человека и все человеческое: бородавки на лице, огрубелую кожу локтей, перекосившиеся плечи идущего с Библией под мышкой — все это, плюс присущее человеку стремление к добру и благородству.

«*Che bello!*» — без сомнения, восклицал Чосер, как восклицали тогда и восклицают теперь все путешественники по Италии, закрывая разговорник (если он все-таки не говорил по-итальянски).

Кстати сказать, тогда имелись в продаже разговорники на всех основных языках. Они были так же полны

нелепостей, как разговорники, которыми мы пользуемся сегодня, что можно проиллюстрировать на таком примере:

— Да поможет вам бог, мой друг, и да оградит он вас от зла.

— Спасибо, сударь.

— Сколько сейчас времени — заутреня, третий час молитвы, полдень или вечерня?

— Между шестым и седьмым часом молитвы.

— Далеко ли отсюда до Парижа?

— Двенадцать лиг, путь неблизкий.

— Дорога хорошая?

— Слава богу, да.

— Из этих двух дорог правильная вот эта?

— Избави бог, милостивый государь, нет⁸.

Литературоведы спорят о том, встречался ли когда-либо Чосер с двумя величайшими итальянскими писателями-гуманистами: Франческо Петраркой и Джованни Боккаччо, — и склоняются к мнению, что он с ними едва ли встречался. Однако у нас, по крайней мере в случае Петрарки, имеются более серьезные основания говорить о возможности их встречи, чем одно только наше романтическое желание, чтобы два этих великих поэта встретились и познакомились. В прологе к «Рассказу студента» оксфордский студент сообщает паломникам, едущим в Кентербери, что свой рассказ о терпеливой Гризельде он услышал от итальянского ученого мужа Петрарки в Падуе. Но дело в том, что как раз тогда, когда Чосер ездил с дипломатической миссией в Италию, Петрарка только-только закончил свой перевод на латынь новеллы Боккаччо о Гризельде из «Декамерона»; и тогда же — в годину войны — Петрарка был вынужден бежать из своего дома в Аркуа и искать убежища за крепостными стенами Падуи. Столь точная осведомленность Чосера о местонахождении итальянского поэта и его поэтической работе в тот период является веским доводом в пользу того, что они были лично знакомы. Если же они встречались и беседовали, то просто невозможно представить себе, чтобы в их разговорах не всплыло имя Боккаччо, блестящего ученика Петрарки, тем более что учитель недавно счел одну из работ своего ученика достойной перевода на возвышенную латынь.

Тем не менее большинство исследователей считают, что Чосер не встречался с Боккаччо, а может быть, даже и не слышал о нем, хотя из Флоренции Чосер

уехал совсем незадолго до того, как Боккаччо прочел там свою первую лекцию о Данте. Чосер заимствует из произведений Боккаччо даже чаще, чем он заимствует у Петрарки, но он никогда не ссылается на Боккаччо как на источник своих заимствований и нередко, цитируя Боккаччо или признавая факт заимствования у него, называет какое-нибудь совсем другое имя. Но подобные доводы нельзя признать решающими. Чосер, как и всякий средневековый поэт, в общем-то, не заботится о том, чтобы отметить заслуги своего литературного предшественника. Если он и называет авторов произведений, из которых что-то позаимствовал, то делает это исключительно ради своих художественных целей — чтобы взять определенный тон, снять с себя личную ответственность и т. д. , — но нигде не упоминает он их в современном смысле признания за какими-то писателями права собственности на литературный первоисточник. Может быть, Чосер и Боккаччо были коротко знакомы, до упаду смеялись, рассказывая друг другу непристойные истории, и просто-напросто не имели случая упомянуть о своем знакомстве в каких-нибудь своих сочинениях. Но более вероятным представляется все же другое: Чосер не был знаком с Боккаччо, а то, что он позаимствовал у него, взято из анонимных или подписанных псевдонимом рукописей, которые получили широкое хождение в позднее средневековье.

Как бы то ни было, влияние Боккаччо на поэзию Чосера уступает разве что влиянию Данте. Оно сказывается во всем — не только в сюжете и общей тематике таких больших поэм, как «Троил и Хризеида», но и в тоне веселой непочтительности, в беззастенчивом смаковании непристойного, благодаря чему эротическое у Чосера выглядит куда более полнокровным, да и куда более здоровым, чем эротика наших современников. Возьмем, например, его шаловливое, восхитительное в своем эротическом любовании описание Венеры, отдыхающей на ложе в храме Любви (образ, опять-таки идущий от Боккаччо):

Нашел Венеру я в укромной спальне,
Где забавлялась со служгой она.
В глубоком сумраке опочивальни
Богиня плохо мне была видна.
Вот свет проник. Гляжу, она одна
И прилегла на ложе золотое,
Чтоб нежиться до вечера в покое.

Волос распущенных спускалась грива
На плечи ей. Дразня, нагая грудь
К себе манила взгляд мужской игриво.
А чтоб на прочее тайком взглянуть
Никто не мог, Венера натянуть
До пояса решила покрывало,
Но кисея та мало что скрывала.

Как всюду у Чосера и в известнейших новеллах Боккаччо, неприличное не завуалировано: рассказчик подкрадывается в темноте к спальне Венеры и подглядывает, как она тешится со своим слугой, после чего следует откровенно игривое описание. Такую же откровенность мы наблюдаем в прочих непристойных сценах у Чосера: скажем, когда Пандар швыряет юного Троила, который только что лишился чувств от смущения, прямо в постель к Хризеиде и торопливо срывает с него все одежды, оставляя в одной рубаше, или когда молодая Мая из «Рассказа купца», поставив ногу на спину своего слепого супруга, забирается на грушу, где ее встречает нетерпеливый любовник. Подобные истории, конечно, были известны в Англии и до Чосера. Вспомнить хотя бы достаточно непристойный спор, описанный еще в XIII веке в поэме «Сова и соловей». Но только в творчестве Боккаччо физическая сторона любви обрела гуманистический характер, благодаря чему о ее радостях теперь стало возможным упоминать не только в связи с шутами и деревенскими девками, но и в связи с такими благородными и внушающими сочувствие персонажами, как принц Троил.

Во время своей первой дипломатической поездки в Италию Чосер познакомился с миром поэзии Данте Алигьери. У нас нет оснований полагать, что в ту пору Чосер «переживал глубокий религиозный кризис» или что «мистицизм Данте на какое-то время совершенно ошеломил Чосера»⁹. Но, с другой стороны, не подлежит сомнению, что Данте оказал огромное влияние на дальнейший литературный стиль Чосера и на весь образ его мышления. Хотя христианские убеждения Данте, сложившиеся под воздействием учения Фомы Аквинского, носили типично средневековый характер, несгибаемая личность поэта неудержимо влекла его вперед, в эпоху Возрождения. В городе враждующих политических партий, где его социальная роль была predeterminedена происхождением, он стал, как он говорил, сам своей собственной партией в политике. Его наблюдательность, позволившая ему в точнейших подробностях

рисовать индивидуальные человеческие характеры и жизненные события, его умение найти какую-нибудь яркую деталь в описании природы, будь то мрачные скалы или схватка ящериц, и, главное, его способность наполнить аллегории «Божественной комедии» живым личным чувством — все это сделало его великим поэтом своей эпохи и основоположником всей современной литературы с характерным для нее упором на личном видении мира, иными словами, искусства «как портрета художника». Гений Данте будет отбрасывать причудливые отблески на поэзию Чосера: величественный пейзаж «Божественной комедии» превращается в пародийно-величественный ландшафт «Дома славы»; создание точных, зачастую трагических образов у Данте, особенно в частях «Ад» и «Чистилище», оборачивается комической и сатирической портретизацией «Кентерберийских рассказов». Но какие бы преобразенные формы ни принимало могучее влияние Данте в творчестве Чосера, отныне оно будет заметно всегда.

Это влияние явственно ощущается уже в ранней поэме, «Птичий парламент», написанной Чосером, по всей вероятности, около 1377 года. Третья песнь Дантова «Ада» начинается словами: «Per me si va...» — «Через меня войдешь...» или «Здесь вход в...» — повторенными трижды, как удары судьбы; эти слова, начертанные на воротах ада, предупреждают о страшных последствиях греха: человек лишится бога и всего, что есть бог: силы, мудрости, любви. «Ужасный смысл» надписи на воротах «останавливает» Данте, и он некоторое время стоит, не в силах двинуться дальше. От внимания Чосера, конечно, не ускользнула впечатляющая сила этого образа — высокие ворота ада с надписью: «Оставь надежду всяк сюда входящий!» Однако в своем собственном видении, о котором он повествует в «Парламенте», Чосер стоит не перед адскими воротами, а перед воротами, ведущими в сад Любви, которая может либо возвысить, либо погубить. Поэтому он останавливается перед входом не в страхе, не в благоговейном ужасе, а в замешательстве, ибо две надписи на воротах (по одной на каждом столбе) противоречат друг другу:

«Здесь вход, — прочел я слева, — в край,
Где раненое сердце исцелится,
В страну счастливую, где вечный май
Весь в зелени цветет и веселится —
И манит, юный, радостью упиться.
Прочел, дружок? Оставь же груз скорбей.

Врата открыты — заходи скорей!»
«Здесь вход в страну, — гласила надпись справа, —
Где все опасностью тебе грозит:
Не изведет презрения отравы,
Так грусть-тоска под сердце нож вонзит.
Во всем тут дух отчаянья сквозит.
Ты можешь лишь одним себе помочь:
Прими совет мой, отправляйся прочь!»

Если Данте выводят из состояния ужаса трезвые доводы Вергилия, то Чосера комичным образом затаскивают в сад силой. Данте хорошо понимал, что любовь может привести либо в ад, как она привела туда Паоло и Франческу, либо в рай, куда надеялась привести Данте его любимая Беатриче. Поэтому Данте — добровольный и добродетельный возлюбленный. Чосер, бедный смешной чудака, «утратил вкус к любви», как говорит ему его провожатый. Короче говоря, хотя поэма Чосера носит шуточный характер и исполнена не возвышенно-благородного пафоса, а шутовского комизма, в ней обыгрываются и получают развитие идеи из творческого наследия Данте. То же самое можно сказать о бесчисленных коротких отрывках из других поэм Чосера, да и о целых поэмах. Но влияние Данте проявляется и иными, более существенными способами. Сострадание Чосера к людям, которых, как Троила, погубила любовь, стало возможным в основном благодаря сочувственному отношению Данте к подобным грешникам. Данте, увидевший в аду Паоло и Франческу, которых забросила сюда на веки вечные буря их страсти, горестно смолкает и размышляет о том, сколько нежных, благих мыслей толкнуло их на этот путь. Как ни предосудительна их любовь с христианской точки зрения, они невольно вызывают к себе жалость, а отчасти и восхищение. Точно так же и Чосер в прекрасных стихах отдает дань восхищения любви Троила — быть может, чрезмерной, но тем не менее искренней и преданной. В пятой книге поэмы есть, например, великолепная сцена, в которой Троил, увидев дом Хризейды с закрытыми дверями и ставнями, понимает, что она покинула Троя. Вид заколоченных дверей вызывает у него на глазах слезы, и он горько сетует: дом напоминает ему тело, из которого ушла душа, «фонарь, в котором свет погас». Потом, пишет Чосер:

С тяжелым сердцем ехал он обратно
По городу, где счастлив так бывал.
О радостях, минувших невозвратно,
Тут каждый камень память навевал.

«Здесь с милой я недавно танцевал;
Вот храм, где, глядя на нее в упор,
Впервые встретил я любимый взор...

На этом месте слушал пенье милой.
Так чист и нежен голос милой был,
И лился он с такой чудесной силой,
Так величаво над землею плыл,
Что я, заслушавшись, о всем забыл.
А тут она, узнав мою влюбленность,
Мне в первый раз явила благосклонность».

Многие средневековые поэты — предшественники Данте — испытывали чувство любви, но поэзия Данте больше, чем поэзия любого другого поэта той эпохи, способствовала облагораживанию темы любви и узакониванию ее в литературе.

Ученики Данте Петрарка и Боккаччо, разумеется, более откровенно «современны» в нашем понимании. Хотя недавно и высказывались утверждения, будто «Книга песен» Петрарки имеет не только буквальный, но и аллегорический смысл, тем не менее остается бесспорным и то, что, чем бы ни были эти стихи еще, они являются лирическим дневником поэта. И та же тяга к самовыражению, та же беспокойная склонность к интроспекции, к выявлению своей личности, которая водила его пером, заставила Петрарку пуститься в странствия по Италии, Франции и даже Богемии, подобно путешественнику XIX века в восторженной погоне за впечатлениями; тот же душевный непокой, тот же — вполне в духе нашего времени — дух исканий побудил его изучать античную латинскую литературу и обшаривать юг Европы в поисках рукописей неизвестных произведений и забытых авторов, рыться в старых библиотеках, старательно переписывать или приобретать потрескавшиеся от времени пергаменты с выцветшими письменами. Многие из сказанного характеризует и его ученика — флорентийца Боккаччо. Ему тоже приписывают (весьма неубедительно) аллегорические намерения, причем даже в «Декамероне», но, чем бы еще ни был «Декамерон», это в первую очередь собрание рассказов, преисполненных человечности, жизнелюбия и глубокой достоверности; именно такого рода вещи станет снова и снова писать Чосер после своей первой поездки в Италию. Подобно Петрарке, Боккаччо посвящал себя изучению древних латинских авторов, писал на латыни ученые жизнеописания выдающихся людей античности и труды по античной мифологии и охотился за старин-

ными манускриптами. Он даже приютил у себя какого-то — вероятно, малосимпатичного — уроженца Калабрии, который делал для своего хозяина прескверные переводы Гомера на латынь. Чосер во многом пойдет по стопам Петрарки и Боккаччо: он будет собирать старые книги, изучать античных авторов и писать о жизни во имя самой жизни.

Итак, первая дипломатическая поездка Чосера в Италию стала поворотным пунктом в его поэтической карьере. Сразу после нее он начал создавать краткие жизнеописания (вошедшие как «Рассказ монаха» в «Кентерберийские рассказы»), наподобие тех, что писали Петрарка и Боккаччо, и все больше и больше обращался в своем творчестве к темам и художественным приемам Данте.

Как видно, итальянская поездка оказалась весьма плодотворной и для его карьеры королевского чиновника. Через три месяца после возвращения из Италии Чосера вновь отправили в путешествие, связанное с предыдущей поездкой: ему поручили сопровождать судно, на которое был наложен арест, из Дартмута к его владельцу, генуэзскому купцу. (Вероятно, во время своего пребывания в дартмутском порту Чосер пополнил запас жизненных наблюдений для портрета «шкипера из западного графства» в «Кентерберийских рассказах».) Вскоре изменились к лучшему и материальные условия жизни Чосера: в награду за трудные, утомительные, но важные поездки и другие дела, выполненные им по поручению короны, он получил хороший дом, выгодную должность и, главное, время, чтобы писать.

ГЛАВА 6

Приключения Чосера — прославленного поэта, королевского чиновника и дипломата — в последние годы жизни короля Эдуарда III (1374—1377), а также некоторые суждения по поводу честности Чосера и замечания о его поэзии

В 1374 году, сразу после возвращения в Англию Джона Гонта, на поэта посыпались почести и награды. В день св. Георгия — большого праздника, соединявшего религиозные торжества с празднествами в честь рыцарского ордена Подвязки, — король пожаловал Чосера ежедневным кувшином вина пожизненно; в 1378 году этот дар заменили выплатами звонкой монетой. 10 мая 1374 года он получил в бесплатную пожизненную аренду превосходный дом, построенный над Олдгейтскими воротами лондонской городской стены; по-видимому, этот дом был предоставлен ему в связи с назначением на государственную должность, которую он уже получил неофициально (официальное утверждение состоялось 8 июня), а именно на должность надсмотрщика таможни по сборам и субсидиям с обязательством регулярно присутствовать на месте службы в лондонском порту и писать отчеты и списки собственной рукой. 13 июня, через пять дней после официального назначения его надсмотрщиком таможни, Чосер получил еще одну награду — ежегодную ренту в размере 10 фунтов стерлингов (2400 долларов) от Джона Гонта.

Эти и подобные сообщения могут немало поведать нам о занятиях Чосера в последние годы правления короля Эдуарда III. Пожизненный кувшин вина, дарованный в день св. Георгия — покровителя учрежденного Эдуардом ордена Подвязки, — вероятнее всего, являлся (по аналогии с премиями, присуждавшимися более поздним поэтам) наградой Чосеру за чтение какой-то поэмы при дворе. Судя по другим средневековым английским поэмам, предположительно связанным с днем св. Георгия, — таким аллитеративным поэмам, как «Стяжатель и расточитель», в которой прямо упоминается орден Подвязки, и «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь»,

которая заканчивается девизом этого ордена (хотя в старинной рукописи поэмы девиз приписан другой рукой), — мы можем заключить, что поэма, прочитанная Чосером двору, по своему объему была значительной, впрочем, к этому выводу мы пришли бы в любом случае, вспомнив, какими роскошными и продолжительными были празднества в честь ордена Подвязки в XIV веке. Члены ордена Подвязки, богатейшие рыцари королевства, являлись ко двору с женами и пышной свитой, в лучших праздничных нарядах; одежды знатных феодалов сверкали драгоценностями, их плащи и мантии были украшены золотым и серебряным шитьем, оторочены дорогими мехами.

Чосер — прославленный поэт, выступление которого ожидалось как одно из главных событий праздника, — тоже был разодет. В конце концов, он не чета какому-нибудь нищему странствующему менестрелю, которого вводят в обеденный зал, позволив ему исполнить одну какую-нибудь коротенькую вещицу, да и выпроваживают за дверь, сунув в руку несколько пенни. Подобно Фруассару или Дешану и Машо во Франции, Чосер являлся интеллектуальным украшением двора, ценным достоянием королевства, подтверждающим, если можно так выразиться, «высокий класс» двора. До нас дошло документальное свидетельство, относящееся, правда, к значительно более позднему времени, о том, что король пожаловал Чосера пурпурной мантией. Поэт, без сомнения, получал аналогичные, хотя, быть может, и не столь эффектные, подарки и раньше, пусть даже записи об этом не сохранились. Во всяком случае, мы можем быть совершенно уверены в том, что выступление Чосера в тот день являлось гвоздем программы торжеств; может быть, только «маска» — заключительное театральное действо и представление магов-фокусников, завершавшиеся общей танцевальной процессией гостей, — имела такое же значение в глазах участников празднеств. По всей видимости, Чосер читал поэму не во внутренних покоях замка, а на открытом воздухе — скорее всего, перед входом в роскошный шатер величиной с небольшое шапито, но несравненно более дорогой, украшенный со всех сторон цветами, огромными боевыми щитами, геральдическими флагами и знаменами. Возможно, по обе стороны от чтеца стояли рыцари в диковинных костюмах, а то и в масках, изображающих головы символических зверей. В день, когда происходили эти торжества, — 23 апреля — в Англии была

в разгаре весна, а в праздновании дня св. Георгия, надо сказать, центральное место исстари занимала таинственная связь между силами природы и силами духовными.

Если верна догадка, что каждодневным кувшином вина к столу Чосера наградили за чтение поэмы, то напрашивается вопрос: какую именно поэму прочел он в день св. Георгия 1374 года? Большинство исследователей творчества Чосера единодушно считают, что вопрос этот так и останется без ответа, ибо прочитанной тогда поэмой не могло быть ни одно из сохранившихся произведений Чосера. В этой связи небезынтересно отметить, что, если судить по перечням принадлежащих его перу поэм, составленным самим Чосером (в «Легенде о добрых женщинах», в прологе к «Рассказу юриста» и в «Отречении»), до нас дошли все его крупные произведения, за исключением загадочной «Книги льва», возможно представлявшей собой перевод известной французской поэмы того же названия. Мастерски сделанный перевод этой куртуазной французской поэмы мог прозвучать как нельзя более уместно на рыцарских празднествах в честь ордена Подвязки, особенно если вспомнить, что «перевод», как правило, означал в средние века творческую переработку. Мы знаем, что сравнительно незадолго до 1374 года Чосер многое позаимствовал из французской поэзии для своей «Книги герцогини» — произведения глубоко самобытного, несмотря на все заимствования. Известно нам и то, что вскоре после своей первой поездки в Италию Чосер стал все больше и больше черпать материал из итальянских источников — из поэзии Петрарки, Боккаччо и Данте. Поэтому весьма возможно, что утраченная «Книга льва», которая все еще несла на себе печать преимущественно французского влияния (если название поэмы — достаточный ключ), как раз и была той поэмой, что принесла Чосеру его приз — кувшин вина.

Как мы уже говорили выше, при назначении Чосера на должность надсмотрщика таможни по сборам и субсидиям в лондонском порту ему предписывалось неотлучно находиться на месте работы и собственноручно вести документацию. Вопреки мнению некоторых авторов эти предписания отнюдь не были пустой формальностью. Они обязывали Чосера лично выполнять трудную, изнурительную работу, имевшую большое значение для королевских финансов. Споры нет, когда королю требовалось применить таланты своего над-

смотрщика в какой-нибудь другой области, это обязательство — делать работу лично — можно было и отменить на время, переложив его на официального или неофициального заместителя. Как нам известно, в годы своей работы надсмотрщиком таможи Чосер не раз ездил за границу. Но из поэмы «Дом славы» мы знаем, что в остальное время Чосер собственноручно выполнял возложенные на него обязанности (или, во всяком случае, хотел, чтобы его придворные слушатели думали, что он выполняет их) и что его работа надсмотрщиком, как и большинство других работ, которые поручались ему короной, была отнюдь не легкой. В этой поэме орел — этот отрывок уже цитировался нами выше — говорит Чосеру:

Едва закончив труд дневной,
С таможи ты спешишь домой —
Не отдохнуть и не поесть,
А поскорей за книгу сесть
И ну читать до столбняка,
В глазах не зарябит пока...

Требование, чтобы Чосер лично производил все таможенные подсчеты, имело под собой веское основание. Ведь наряду с займом денег у лондонских купцов и иностранных банкиров сбор таможенных пошлин являлся главным источником денежных поступлений в королевскую казну, а во времена Чосера, как, впрочем, и в любое другое время в XIV столетии, сборщики податей — люди, чьи подсчеты Чосер должен был проверять, сличая со своими собственными, — были отъявленными мошенниками. При всем том они обладали огромной властью, нередко являлись мэрами Лондона и в этом качестве имели склонность отправлять своих врагов на виселицу без суда и следствия. Нечего и говорить, что это ставило Чосера в затруднительное положение. Большинство ученых чосероведов полагают, что Чосер безоговорочно осуждал образ действий этих мошенников, окружавших его в бытность его таможенным надсмотрщиком. Но так ли это было на самом деле?

Как надсмотрщик таможи, Чосер имел дело с рядом виднейших и влиятельных лондонских купцов; все они были друзьями Алисы Перрерс и пользовались репутацией темных дельцов. Господствующее положение в экономической жизни Лондона обычно занимала влиятельная гильдия хлеботорговцев, в которой задавала тон кучка богатых купцов; судя по жалобам, раздававшимся в палате общин, купцы эти, столкнувшись

друг с другом, взвинчивали цены на зерно, ссужали короля деньгами под непомерно высокие проценты и с помощью личного своего влияния и финансового давления побуждали короля издавать выгодные для них эдикты. Главариами этой компании купцов-воротил были Уильям Уолворт (далее нам еще предстоит встретиться с ним как с убийцей Уота Тайлера), Джон Филипот и Николас Брембр. Главными их соперниками в борьбе за экономическое господство являлись купцы из гильдии торговцев шелковым и бархатным товаром, традиционные враги хлеботорговцев, пользовавшиеся поддержкой Джона Гонта. Во главе этой группировки стояли два купца, Ричард Лион и Джон Нортгемптон, люди столь же сомнительной, судя по всему, репутации. С точностью установить степень бесчестности каждого из названных торговцев едва ли возможно — «суд», приговоривший Брембра к смертной казни через повешение, вряд ли можно признать справедливым даже по средневековым меркам, — но оценка профессора Джорджа Уильямса, вероятно, не очень далека от истины:

«Хлеботорговец Брембр оказался не только крупным мошенником, но также бандитом от политики и убийцей, которого впоследствии повесили за его преступление; Лион был законченным мерзавцем — его обезглавили в 1381 году восставшие крестьяне; Нортгемптона посадили в тюрьму за произвол и беззакония, которые он чинил на посту лорд-мэра. Уолворт и Филипот действовали не такими грубыми методами, как те трое. Более того, ни за тем, ни за другим историки не числят ничего особенно гнусного. Однако тот же Уолворт содержал несколько борделей; ссужал деньги казне под грабительские проценты; возглавлял монополистическую группу спекулянтов-хлеботорговцев; оказывал нажим на правительство, которое было у него в долгу, добиваясь принятия чрезвычайно выгодных для него и его клики правил торговли; годами тесно сотрудничал с Брембром и (несмотря на многочисленные интересы в других областях) находил время быть сборщиком пошлин в порту, где одна только торговля шерстью приносила в казну таможенных сборов всякого рода на круглую сумму 4 миллиона долларов [4 800 000 долларов на июнь месяц 1974 года] в год. Филипота, тоже по традиции, изображают в книгах по истории таким почтенным человеком, преданным интересам своей родины и враждебно относившимся к злонамеренным проискам Джона Гонта.

Но ведь и он был хлебным монополистом, кредитором короля, сборщиком пошлин и партнером омерзительного Брембра»¹.

Почти все двенадцать лет, что Джеффри Чосер был надсмотрщиком таможи, кто-нибудь один из трио Брембр — Уолворт — Филипот являлся сборщиком пошлин, выплачивавшим Чосеру жалованье в размере 10 фунтов стерлингов (2400 долларов) из огромной суммы выручки от сборов и делившимся с ним поступлениями от штрафов и премиями. Как относился Чосер к этим сомнительным личностям, с которыми был связан по службе? Между прочим, его должность открывала перед ним широкие возможности для бесчестного обогащения — была бы охота.

По мнению профессора Уильямса — аналогичного мнения придерживаются большинство чосероведов, — поэт неизменно блокировался с Джоном Гонтом, его друзьями и политическими сторонниками из гильдии торговцев шелком и бархатом в их борьбе против хлеботорговцев Брембра, Уолворта и Филипота. Но дело в том, что разногласия при дворе дряхлого короля Эдуарда в последние три года его жизни и при дворе его внука и престолонаследника Ричарда II в последующие годы не имели столь ясно очерченного характера. Советники молодого Ричарда выдвигали, как мы увидим далее, теорию абсолютной монархии, и хлеботорговцы, выступавшие против таких сторонников умеренного курса, как Гонт, принадлежали к числу самых рьяных приверженцев короля Ричарда II. «Омерзительный Брембр», в сущности, погиб из-за того, что не удрал вместе со своими друзьями, а остался в Лондоне и пытался собрать армию для короля. Вся дальнейшая карьера Чосера (служебные повышения и королевские милости, которых он удостоился в конце 80-х годов, когда Гонта не было в Англии; его сотрудничество на дипломатическом поприще с такими сторонниками абсолютистского правления Ричарда, как Саймон Бэрли, и всем известная дружба с людьми вроде Ричарда Стэри, которых в разное время сажали в тюрьму за спекуляцию и подобные преступления; наконец, избрание его, почти наверняка по инициативе Ричарда, представителем от Кента в оппозиционный парламент 1386 года, — парламент, который, как было известно Ричарду, постарается подрезать крылья его фаворитам) говорит о том, что поначалу Чосер не только терпимо относился к приверженцам Ричарда, но и сам являлся

одним из них. Это отнюдь не перечеркивало его дружбу с Джоном Гонтом; просто Чосер — как и Гонт, несмотря на его разногласия с Ричардом, — был также другом короля. Конечно, по сравнению с такими тузами, как Брембр, Чосер был не очень-то влиятельным роялистом, но он, несомненно, был и роялистом, и абсолютистом — иными словами, одним из этих пресловутых «придворных фаворитов». Если придерживаться той точки зрения, что Чосер отличался непогрешимой честностью и неподкупностью, то придется признать, что он являл собой в толпе придворных и друзей Ричарда исключение из правила. Возможно, так оно и было, но, вообще-то говоря, всеобщая коррупция разлагает, и в бочке гнилых яблок редко отыщется яблоко, совсем не тронутое порчей. Все дело тут, наверное, вот в чем: мы подходим с современными нравственными требованиями (которые и по сей день редко соблюдаются в политической жизни) к людям иной исторической действительности, которых наши моральные критерии повергли бы в крайнее изумление.

Как минимум следует сказать, что, если Чосер и впрямь отличался непоколебимой честностью, ему определенно везло: каждый раз, когда у него под носом вершили беззаконие, он смотрел в другую сторону. Некоторые его друзья и собратья-поэты открыто протестовали против коррупции в правительстве или вступали с ней в борьбу, и некоторые из них — например, молодой Томас Аск — были за это повешены. Джеффри Чосер избежал такой участи и, между прочим, получал назначение за назначением на должности, которых обычно домогались люди заведомо недобросовестные. (Особенно красноречивым в этом отношении оказалось назначение его мировым судьей.) Впрочем, что бы ни думал Чосер о делишках своих приятелей или, во всяком случае, деловых партнеров в те последние годы правления короля Эдуарда и позже, когда он служил внуку Эдуарда, изменить положение он все равно не мог. Всякий, кто посмел бы пойти против Брембра и его друзей, приобрел бы в их лице грозных врагов. Быть может, Чосер питал к Нику Брембру глубокую личную антипатию и предпочел бы иметь дело с другим мошенником — соперником Брембра и другом Джона Гонта Нортгемптоном (виновником казни поэта Томаса Аска), — но он не лез на рожон, а просто выжидал, уповая на перемены к лучшему.

Назначение в 1374 году на должность надсмотрщика

таможни имело для Чосера и свои положительные стороны, такие, например, как переселение в Олдгейтскую надвратную башню. Это был великолепный дом, настоящий городской замок, который иногда использовался в качестве тюрьмы. В документе об аренде говорилось, что мэр и олдермены предоставляют Чосеру «весь жилой дом над Олдгейтскими воротами — с надвратными помещениями и погребом под упомянутыми воротами с восточной стороны оных и со всем, что к дому относится, — до конца жизни упомянутого Джеффри». Мэр и олдермены давали в этом документе обязательство не помещать в дом заключенных, пока он находится во владении Чосера, но оговаривали, что городские власти могут забрать надвратную башню обратно, если это окажется необходимым для обороны Лондона. По тем временам Олдгейт был отличным жилищем в хорошем районе: прежний арендатор платил за дом 13 шиллингов 4 пенса (160 долларов) в год, помимо расходов на ремонт и содержание, что считалось тогда высокой квартирной платой. Даже сам Черный принц не счел ниже своего достоинства обратить внимание на здание такого типа и лично просил мэра Лондона предоставить аналогичный особняк над воротами Криплгейт одному из его соратников, Томасу Кенту. Олдгейт, как можно судить по драгоценным кубкам — новогодним подаркам герцога Ланкастерского Филиппе Чосер в 1380, 1381 и 1382 годах, — имел богатую обстановку, причем не последнюю роль в украшении дома играла огромная для той эпохи библиотека Чосера, насчитывавшая шестьдесят книг. Дом этот будет оставаться во владении Чосера вплоть до его переезда в Кент в 1385 году.

Через пять дней после того, как он стал надсмотрщиком таможни, Чосер получил, как мы уже упоминали, ежегодную ренту в размере 10 фунтов стерлингов (2400 долларов) от Гонта. Теперь он занял прочное место в правительственном аппарате (где будет отныне работать до конца жизни) — чрезвычайно полезный чиновник, безусловно преданный королю, знающий и благоразумный, не склонный зря кипятиться (с точки зрения короля) по поводу не применимых на практике идеалов. О том, как высоко ценили деловые качества Чосера Джон Гонт и сам король, говорит хотя бы тот факт, что в последующие несколько лет его часто посылали с королевскими поручениями за границу. Согласно документу, датированному 11 апреля 1377 года (год смерти Эдуарда), Чосер к тому времени уже совершил

несколько «различных вояжей» во Францию, а в документе от 10 мая 1377 года упоминается, что Чосер «часто» ездил за границу по делам службы его величества.

Все или почти все дипломатические поездки Чосера в ту пору — во второй половине 70-х годов, — по-видимому, были связаны, во всяком случае частично, с предполагаемыми мирными договорами и брачными союзами. 23 декабря 1376 года Чосер отправился вместе с сэром Джоном Бэрли, комендантом Кале, в путешествие, через снега и лед, за границу с некоей тайной миссией. Полтора месяца спустя, 13 февраля 1377 года, он получил охранную грамоту для новой поездки по делам государственной службы и с 17 февраля по 25 марта пробыл во Франции. Одновременно с ним во Франции находился и его друг Ричард Стэри, тоже выполнявший какое-то секретное поручение. От Фруассара мы узнаем цель их миссии. Стэри и Чосер, а кроме того, и старый друг Чосера сэр Гишар д'Англь прибыли во Францию договориться о браке между юным Ричардом и дочерью французского короля Карла V Марией.

Поскольку поездка Чосера с Джоном Бэрли имела место буквально накануне его новой поездки в обществе Стэри и Гишара и поскольку впоследствии Чосер будет участвовать вместе с Бэрли в переговорах о брачных союзах, можно предположить, что оба раза, в декабре 1376 и в феврале 1377 года, Чосер ездил по одному и тому же делу. Англия, само собой разумеется, была кровно заинтересована в предлагаемом династическом браке: здоровье короля Эдуарда быстро ухудшалось, а война, которую он начал с таким жаром, давным-давно утратила свою привлекательность. Неоднократно заключались перемирия, но всякий раз они нарушались, и Англия с Францией вновь оказывались вовлеченными в дорогостоящие и бесперспективные, особенно для англичан, военные действия. На фоне эпидемий чумы, неурожаев и социальных перемен, смысл которых все еще казался большинству людей неясным, но определенно зловещим — в среде крестьян обеих стран зрело недовольство, которое уже привело во Франции и скоро должно было привести в Англии к восстаниям, огромным разрушениям и еще более серьезным социальным переменам, — опасность и разорительность войны стала самоочевидной. Непомерные военные расходы способствовали дальнейшему усилению английской палаты общин, от которой в значительной степени зависело,

получит или нет Эдуард средства на ведение войны, и которой король сделал на протяжении долгих лет такие уступки, что теперь под угрозой оказались стародавние прерогативы трона, а некоторые королевские привилегии и вовсе были безвозвратно утрачены. Мало того, что парламент стремился контролировать расходы короля, в 1376 году палата общин предприняла серьезную попытку — совершенно возмутительную, на взгляд Джона Гонта и Джеффри Чосера, который выразит потом некоторую толику своего раздражения в поэме, — изгнать из правительства кое-кого из самых верных людей короля, в том числе Джона Гонта и Ричарда Стэри, коллегу Чосера по дипломатической миссии 1377 года. Но Англия страдала и от других, еще более серьезных бед.

Введенная Эдуардом практика выплаты жалованья своему войску, дабы оно не расходилось по домам через полтора месяца после формирования (максимальный узаконенный срок существования неоплачиваемой армии феодальных вассалов), и распространившийся в Англии и во Франции обычай брать на военную службу иностранных наемников привели к наводнению всей Европы обученными военному делу крестьянами — весьма опасной в пору перемирия средой, порождавшей грабителей, похитителей людей и убийц, способных действовать с эффективностью профессиональных террористов, — и образованию бродячих «вольных отрядов», сплошь и рядом пренебрегавших законами и обычаями стран, по которым они бродили. Кроме того, Англию, как это часто бывает в периоды ослабления трона, раздирали теперь распри и кровавые частные войны между соперничавшими баронами (Чосер назовет их «хищными птицами»). Достижение мира с Францией стало насущной необходимостью, и старый династический спор, из-за которого только и продолжалась война, мог быть разрешен, как казалось, единственно путем брака между отпрысками обеих королевских династий.

По всей справедливости миссия Чосера и его коллег непременно должна была бы увенчаться успехом. В состав посольства вошли самые влиятельные и самые утонченные дипломаты, каких только мог подобрать для этой цели Гонт, возглавлявший в ту пору правительство. Все трое не только обладали неотразимым обаянием, но и славились своим умением вести переговоры. Чосер пользовался во Франции большой популярностью как поэт; его стихами там восхищались и считали его поэзию

художественным продолжением французской поэтической традиции. Как и крупнейшие из молодых французских поэтов-лириков, он проявил себя мастером по части разработки изощренно-сложных поэтических форм и нахождения новых способов применения для старых поэтических условностей, но вместе с тем он так же виртуозно владел и более объемной, более основательной формой — аллегорической поэмой-видением. Гишар д'Англь, разумеется, был почитаем повсюду, даже во Франции, за рыцарскую честность, побудившую его стать приверженцем Черного принца, за героизм, проявленный им во всех битвах, в которых он участвовал, за муки, принятые им в Испании, за его на редкость глубокое знание изобразительного искусства, музыки и поэзии и, главное, за его природную мягкость и мудрость. Третий участник посольства, сэр Ричард Стэри, пользовался любовью и уважением в аристократических кругах, как бы ни относилось к нему третье сословие в английском парламенте.

Чосер был тесно связан со Стэри на разных этапах служебной карьеры последнего. Как и Чосер, Стэри воевал в кампании 1359—1360 годов и, подобно Чосеру, попал в плен. За Стэри, который, по-видимому, служил непосредственно под началом короля, Эдуард заплатил выкуп в размере 50 фунтов стерлингов. (Тогда как на выкуп Чосера король, как мы видели, ассигновал 16 фунтов.) В расходных книгах королевского двора за 1368 год значатся выплаты на покупку к рождеству праздничных мантий Джеффри и Филиппе Чосер, Ричарду Стэри и другим; имя Чосера вновь стоит рядом с именем Стэри в записи от 26 июля 1377 года, где Чосер назван «scutifer regis» («королевский щитonosец»), а Стэри — «miles» («воин»). Много лет спустя, в марте 1390 года, они опять получают совместное назначение — отчасти в силу того, что у обоих имелся опыт работы с третьим сословием, — в качестве членов комиссии по восстановлению плотин и водостокон по течению Темзы от Гринича до Вулиджа. Стэри принадлежал к числу рыцарей, допущенных в королевские покои, т. е. приближенных советников короля, много раз удостоивался королевских милостей и, подобно другим людям кружка, в котором вращался Чосер, по-настоящему любил поэзию. В его завещании, помимо прочего, фигурирует дорогая рукопись «Романа о Розе» — подлинное художественное сокровище; его литературные интересы и связи отличались большим многообразием. Этот непо-

колебимо стойкий приверженец королевской власти был мыслящим человеком, лоллардом, рыцарем, известным своим благородством, великодушием и мужеством.

Сватовство англичан трагически расстроилось: участники посольства были на высоте, французы заинтересовались их предложением, дело шло к успешному завершению, но в этот момент Мария внезапно умерла. Тогда Чосер и его коллеги по дипломатической миссии стали сватать за Ричарда вторую дочь короля Карла, но теперь по каким-то не вполне выясненным причинам французы, очевидно, передумали. Король Эдуард умер, а Англия была ослаблена борьбой палаты общин с феодалами, феодалов с феодалами, верхушки общества с крестьянами. Французские рейдеры безнаказанно наносили удары по английскому побережью, французские пираты хозяйничали в Ла-Манше. В силу всех этих и, возможно, еще каких-то обстоятельств во французском правительстве одержали верх противники брачного союза; так или иначе, посольство англичан вернулось домой. Почти сразу вслед за этим Чосера, опять-таки в обществе сэра Джона Бэрли, в прошлом вассала Черного принца, отправили с новой дипломатической миссией, на сей раз в Ломбардию, — обговорить, помимо всего прочего, предложение о брачном союзе между юным Ричардом и Екатериной, дочерью герцога Миланского. Идея этого предложения, понятно, состояла в том, чтобы заручиться в Италии союзником в борьбе против Франции, который угрожал бы королю Карлу V войной с юга. И эта миссия — во всяком случае, в том, что касалось заключения брачного союза, — потерпела неудачу. Чосер снова пустился в утомительное, казавшееся нескончаемым обратное путешествие в Англию и был несказанно рад снова увидеть дом над Олдгейтскими воротами, весы и сложенные штабелями товары в таможене. Опять погрузился он в изучение счетов, деловых бумаг и, весьма вероятно, планов начинавшегося строительства с целью расширения и реконструкции правительственных верфей. Вечерами, закончив свои дневные труды в таможене, он возвращался домой к своим книгам и без конца читал и перечитывал тома Бозция, Макробия, но чаще всего теперь — Данте.

При всей своей загруженности в период с начала 70-х годов и вплоть до кончины короля Эдуарда делами государственной службы Чосер написал много стихов,

хотя исследователи и не могут с определенностью сказать, какие именно вещи и когда именно были созданы им в этот период. Поначалу, до своей первой поездки в Италию, Чосер — мы уже говорили об этом — тяготел к французским образцам, поэтическим приемам и формам. Помимо многочисленных символических ссылок на «Песнь песней», у Чосера почти нет в поэме «Книга герцогини» (написанной, вероятнее всего, в самом начале 70-х годов) иных примеров для подражания и источников аллюзий, чем творчество таких французских поэтов, как Машо. Его поэтическая техника во всех ранних произведениях в общем и целом совпадала с французской — то же сложное переплетение аллюзий с оригинальным материалом, тот же «высокий стиль», та же страсть к музыкальным эффектам (эхо, повторы, разные виды игры слов). Типично французскими были и его излюбленные жанровые формы: «видение» и «жалоба». В обеих этих формах, отличающихся сдержанностью и высокой интеллектуальностью, в качестве темы берется какое-нибудь сильное чувство (скорбь по умершему, муки неразделенной любви и т. д.) и в результате столь холодной, рассудочной трактовки это чувство замораживается до состояния изящных кристаллов. Целесообразно будет коротко остановиться тут на особенностях поэтических форм, явившихся той отправной точкой, с которой начался творческий путь Чосера-художника.

Лирическая жалоба писалась от лица какого-нибудь вымышленного персонажа или от лица самого поэта, представлявшего себя в окарикатуренном виде: чаще всего это была шаблонная фигура страдающего влюбленного, известная нам со времен Ренессанса в облике печально сетующего, но никогда не теряющего надежды лирического героя книг сонетов. В жалобе, как и в сонете, ценилась обычно не сила слова, а тонкость и изысканность, изобретательная рифмовка (много более свободная, чем в сонете), непринужденная легкость интеллектуального жонглирования. Ранние вещи Чосера — «Жалоба даме», «Жалоба Милосердию», «Жалоба Марса» и жалоба, входящая в качестве составной части в его незаконченную поэму «Анелида и Арсит», не говоря уже о жалобах, включенных в «Книгу герцогини», — все до одной являются образцами этой жанровой формы. Из них нельзя почерпнуть — у нас уже шла речь об этом — никаких биографических сведений о поэте, поскольку «жалоба» — это такая же общая,

формальная категория, как «прелюдия» или «сюита контрдансов» для композитора. Зато мы можем почерпнуть из них кое-что другое: что с первых своих шагов на поэтическом поприще Чосер имел независимый, немного озорной взгляд на вещи (хотя при этом он умел писать и глубоко серьезные лирические стихи) и что ему нравилась изобретательная выдумка и поэтическая сложность.

«Видение» представляло собой более пространную, более сложную, насыщенную символикой жанровую форму: «видение» композиционно строилось из отдельных частей-«секций», которые могли иметь либо не иметь очевидную внешнюю связь друг с другом. Но при этом «видение» обычно начиналось и завершалось одной и той же обрамляющей историей, подобной сценам, посвященным бессоннице рассказчика, в начале и конце «Книги герцогини». Отдельные же части сна, привидевшегося рассказчику, связаны между собой символически. Но, так как сюжетные связи в «видении» неопределенны (впрочем, современникам Чосера они казались куда менее неопределенными, чем сегодняшним читателям), каждую конкретную «секцию» автор волен наполнять различным содержанием, варьируя традиционные штампы: сцена охоты, жалоба куртуазного влюбленного, описание диковинного пейзажа, диспут между людьми или животными и т. д. Нечего и говорить, что в произведениях этого жанра читатель получает удовольствие не от оригинальности сюжета, не от искусства лепки характеров и т. п. (хотя иногда и то и другое могло присутствовать и способствовать созданию общего впечатления), а от того, насколько тонко, умело и уверенно манипулирует поэт набором стандартных схем, поворачивая их то одной, то другой стороной, представляя их в неожиданно новом ракурсе или противопоставляя их таким образом, чтобы добиться новых эффектов.

Похоже на то, что тогда — во всяком случае, в Англии — поэт мог обратиться лишь к двум типам поэзии: коротким поэмам или длинным поэмам, составленным из коротких поэм, последовательно присоединенных друг к другу (т. н. «секционный способ» построения поэтического произведения). Вспомним, к примеру, творческое наследие Джона Мэсси — поэта, автора «Гавейна», — которое представляет собой как бы один труд, состоящий из четырех взаимосвязанных частей: «Жемчужина», «Чистота», «Терпение» и «Сэр Гавейн и Зеленый ры-

царь»; вспомним «Вторую пастушескую пьесу» Уэйкфилдского цикла, представляющую собой трехактный педжент, три части которого объединены лишь слабым подобием сюжетной связи, — тут и в помине нет неизбежности в развитии действия, рекомендованной еще Аристотелем. Вспомним, наконец, такие сборники поэм, соединенных общим обрамлением, как «Кентерберийские рассказы». В Италии Петрарка стремился преодолеть эту ограниченность путем возвращения в таких крупных драматических поэмах, как «Африка», к формам классической поэзии, а Боккаччо, трудившийся над разрешением той же проблемы, дал Чосеру материал для создания «Троила».

На протяжении всей своей творческой жизни Чосер экспериментировал, пытаясь различными способами решить проблему большой, «значительной» поэмы, и некоторые вещи, оставленные им незаконченными в ранний период творчества, — может быть, и «Рассказ сквайра», к примеру говоря, — наверно, потому и не получили продолжения, что эксперимент показался автору неудачным. Если не считать «Троила», самыми важными для позднейшей его поэзии экспериментами явились «Книга герцогини» и «Птичий парламент».

Как полагают некоторые литературоведы, Чосер, работая над поэмой-элегией и «Парламентом», соединял вместе уже написанные им стихотворные произведения или их фрагменты, добавлял к ним новые стихи, после чего выстраивал материалы в связный ряд, подгонял их друг к другу, стараясь создать панорамное полотно, единое и цельное. Хотя теория эта, похоже, несостоятельна, проблема единства, породившая ее к жизни, представляет большой интерес. Единство, которого Чосер в конечном итоге добился в обеих этих поэмах, было типично средневековым единством, скорее интеллектуальным, нежели «драматическим». Сталкивая идею с идеей, образ с образом, жанр с жанром (распространенное явление в литературе XIV века — вспомним хотя бы «Сэра Гавейна и Зеленого рыцаря», где изысканный рыцарский роман и грубоватое фэблио взаимопроникают друг в друга), Чосер научился придавать поэзии философский характер. Однако пока он еще не научился добиваться полной эмоциональной цельности. Но даже и тогда, когда он овладеет этим умением, достигаемая им цельность так и не станет до конца его творческого пути — таково мое личное мнение, не разделяемое большинством чосероведов, — плодом глубокой душевной

убежденности (как, например, в поэзии Данте или Гёте); искусно драматизируя свой материал, поэт по большей части будет воздерживаться от высказывания собственного мнения. Иными словами, Чосер занимал сугубо номиналистскую позицию таких философов, как Роджер Бэкон, считавший истину — вне догматов религии — в конечном счете непознаваемой. По мере того как влияние итальянского искусства, укреплявшего веру Чосера в реализм, пускало все более глубокие корни в его творчестве, он начал создавать полнокровные характеры таких персонажей, как батская ткачиха, монастырский капеллан и слуга каноника, чье индивидуальное своеобразие так ярко окрашивает истории, которые они нам рассказывают, что в результате рождается, по выражению Э. По, целостность впечатления. Но при всем своем блистательном искусстве создания характеров — его даре имитатора, если хотите, — Чосер в отличие от Шекспира или от его собственного современника — поэта, автора «Гавейна», менее склонного к философии, — никогда «не видел жизнь целиком». Джеффри Чосер мог по собственному усмотрению осмеивать или защищать все, что он наблюдал; он мог пересказать нам, читателям, мнения собак, кошек, плотников или человека на Луне и сопоставить все это с ортодоксальной «истинной правдой» — великим мирозданием, «что зиждется на цифре „семь"», нумерологически отображенным в «Птичьем парламенте». Но никогда, даже в старости, Чосер не смог занять твердую идейную позицию, во всяком случае в поэзии. Если это являлось личным недостатком, изъяном его характера (а дело наверняка обстояло не так!), то больше всех это беспокоило его самого. Каждая его крупная поэма представляет собой философский поиск, тщательно продуманное взвешивание альтернатив, попытку ясно разглядеть действительность, откровенно рассказать об увиденном и, главное, прочувствовать сердцем свои убеждения, иными словами, попытку привести в гармоничное соответствие двух Чосеров, обычно присутствующих в его поэзии: знаменитого христианского поэта и комичного, близорукого рассказчика, исполненного сочувствия и симпатии к этому брэнному миру и людям, его населяющим. Так, например, в «Троиле и Хризеиде» Чосер-рассказчик всячески показывает, что он понимает своих героев и сочувствует им, что он считает их проблемы — проблемы всеобщие — крайне важными, и тем не менее в отдельные моменты, особенно ближе к концу, он, как

бы спохватываясь, вспоминает (или это напоминает ему Чосер-художник, осуществляющий контроль в произведении?), что, с другой стороны... Конечно, можно «объяснить» концовку «Троила и Хризейды», где Чосер довольно-таки неожиданно переходит к христианскому морализированию, осуждает земную любовь, во всяком случае по сравнению с любовью к богу. Можно «оправдать» этот резкий переход и эстетически, и философски — так и поступают многие исследователи, — но никакое философское оправдание не меняет самого факта внезапной перемены тона: то, что думал Чосер о прелюбодеянии, решительно расходилось с ортодоксальной догмой. Внебрачные связи были при дворе короля Эдуарда, а впоследствии и при дворе короля Ричарда распространенным явлением, и Чосер видел, что происходит вокруг; он восхищался Джоном Гонтом, для которого адюльтер стал поистине образом жизни, но вместе с тем христианское вероучение не признавало никаких послаблений в этом вопросе. И вот Чосер с отвагой, которая могла бы поспорить со смелостью религиозного реформатора Уиклифа, взялся за разрешение трудной задачи. В философском плане ему это вполне удалось, но на эмоциональном уровне он потерпел неудачу — как, пожалуй, и все мы. То же самое случится и позже в «Кентерберийских рассказах», где светскому, философскому мировоззрению рыцаря противопоставлена проповедь священника об отречении от мирских соблазнов, да и в реальной жизни Чосер наверняка сталкивался с подобной ситуацией. Свой творческий метод столкновения разных мировоззрений Чосер вырабатывал в первых двух своих поэмах-видениях: «Книге герцогини» и «Птичьим парламенте», — где противоборствующие позиции как бы взаимно нейтрализуют друг друга.

Нам нет надобности задерживаться здесь на проблематике философского и эстетического воздействия этих поэм, но нужно все-таки коснуться двух более легких вопросов: датировки поэм и той информации, пусть самой общей, которую мы можем почерпнуть в них о личности поэта и его взглядах.

Хотя исследователи много раз называли предположительные даты создания этих двух поэм, никто не может сколько-нибудь уверенно сказать, когда была написана каждая из них. Поскольку «Книга герцогини» представляет собой элегию на смерть Бланш Ланкастер, которая скончалась в 1369 году, и поскольку ранним исследователям она казалась сравнительно простой и

даже бездумной поэмой, некогда ее было принято датировать 1369 годом. Позднейшие исследователи, признававшие сложность этой поэмы и памятовавшие о том, что вплоть до своей смерти Гонт каждый год устраивал торжественную и дорогостоящую церемонию, посвященную памяти Бланш, церемонию, украшением которой вполне могла бы стать поэма Чосера, отдают предпочтение более поздней дате. В настоящее время нам известно, что в поэме наряду с сильным влиянием Боэция прослеживается как французское, так и итальянское влияние (французское, правда, преобладает), и поэтому есть основания предполагать, что она была написана во время первой дипломатической поездки Чосера в Италию в 1373 году или сразу после нее.

Столь же неясен вопрос о датировке «Птичьего парламента». Некоторые литературоведы утверждают, что, подобно элегии, посвященной памяти Бланш, эта поэма выстроена из отдельных фрагментов, первоначально создававшихся как самостоятельные вещи, а не как составные части единого крупного произведения. По их мнению, в поэме имеется целый ряд указаний на это, в большинстве своем слишком сложных, чтобы приводить их здесь. Они, в частности, обращают внимание на несоответствия во времени действия: тогда как в одной части видения «цветет зеленый май», другая часть того же видения происходит в феврале, «в день святого Валентина». (Но ведь яснее ясного, что время в поэме летит и что идея быстротечности времени является одним из ее лейтмотивов.) Сторонники этой точки зрения указывают далее на то, что в одних разделах поэмы Чосер прибегает к заимствованиям из Боккаччо и Данте, как он это часто делал в произведениях, созданных после своего итальянского путешествия, в других разделах обнаруживается сходство с вещами его так называемого «французского периода», а почти вся третья часть поэмы выдержана в «реалистическом» духе позднейшего периода его творчества. (Разумеется, это не было подлинным реализмом и имело больше общего с красочными, похожими на карикатуры миниатюрами, которыми украшали итальянские книги в ту эпоху: люди в комично больших шляпах и с бородавками на носу, ночные посудины в углу покоев и т. п. Если считать первый период творчества Чосера периодом «французского влияния» — возможно, оно нам только чудится, — а второй период — периодом итальянского влияния в том смысле, что в произведениях той

поры он цитирует конкретных итальянских поэтов и подражает им, то последний период его творчества следует рассматривать не как период национально-самобытного реализма, а как период итальянского влияния, полностью ассимилированного и проявляющего себя обычно через национальное английское содержание.) Однако вся аргументация сторонников мнения, что поэма была скомпонована из старых материалов, рассыпается как карточный домик перед лицом того факта, что ее композиция следует строгому нумерологическому плану и представляет собой изобретательное применение в области поэзии музыкальных принципов, почерпнутых в трактате Боэция «О музыке» и восходящих к Пифагору и Платону. Короче говоря, вся поэма по символическим соображениям написана строфами-семистишиями, насчитывает 699 строк (на одну строку меньше семисот — таков замысел автора), подразделена на нумерологически значимые разделы и тематически подчинена семи музыкальным категориям.

Другой подход к проблеме датировки «Птичьего парламента» основывается на предположении ряда специалистов о том, что поэма написана по какому-то конкретному случаю. В течение долгого времени эта теория пользовалась широким признанием; такие ранние исследователи творчества Чосера, как Тируит и Годвин, доказывали, что, описывая в поэме сватовство к орлице, которую предстоит выдать замуж, Чосер имел в виду женитьбу Ричарда II на Анне Богемской или предполагавшуюся женитьбу Ричарда на Марии Французской (либо на какой-нибудь другой французской принцессе). Современные исследователи отказались, по большей части без достаточных к тому оснований, от поисков того события, которому могла быть посвящена поэма.

Спору нет, такого события, которым можно было бы исчерпывающе объяснить все и вся в поэме, обнаружить не удалось. Например, вновь выдвинутая в XX веке теория, согласно которой в поэме речь идет об Анне Богемской, не дает объяснения тому факту, что орлица в поэме не хочет идти замуж и выражает желание еще год подумать, прежде чем принять решение, тогда как в действительности инициатива переговоров о браке с Ричардом исходила от Анны Богемской. Опять-таки теория, в соответствии с которой в поэме идет речь о Марии Французской, исходит из того, что, коль скоро руки орлицы ищут три орла, на право жениться на Марии, должно быть, претендовали три жениха, а не

один только Ричард, что представляется весьма сомнительным. А недавно возрожденная старая теория Тирюита — Годвина, датирующая поэму 1358 годом и объявляющая, что под тремя орлами в ней подразумеваются три сына короля Эдуарда: Черный принц, Гонт и Эдмунд Лэнгли (все трое в 1358 году были еще не женаты), — не в состоянии объяснить, почему в таком случае столь нелестно обрисованы в поэме два младших сына Эдуарда. Еще одной причиной, по которой исследователи отказались ныне от поисков события, иносказательно описанного в «Птичьем парламенте», явилось то соображение, что поэма, дескать, вполне объяснима и просто как развлекательное чтение.

На все эти возражения можно без труда найти ответ. Просьба подождать один год, прежде чем избранница даст свое согласие, входила в обычный церемониал куртуазной любви (то же самое мы видим и в «Книге герцогини»), и даже применительно к Анне Богемской она не вызвала бы ни у кого из слушателей недоумения. Кроме того, поэма, содержащая намеки на реальных людей и подлинные события, разумеется, не обязательно должна быть точна во всех подробностях. Откровенная злободневность в искусстве невыносимо скучна. (Исключение составляют разве что произведения Александра Попа.) Что до теории, согласно которой поэма имеет в виду Марию Французскую, то ссылка на несоответствие количества претендентов в поэме и в жизни не может быть доводом против нее. Три орла, добывающиеся расположения орлицы, являются воплощением трех традиционных отношений к любви: 1) женщина должна дать согласие из милосердия, 2) она должна согласиться из признательности к своему возлюбленному и 3) она должна согласиться, потому что это ей выгодно. Иначе говоря, мотивы женитьбы варьируются от бескорыстных до эгоистичных. Этот спор являлся чуть ли не обязательным компонентом куртуазной поэзии, и у Чосера, наверное, просто не было другого выбора, как включить его в поэму безотносительно к действительному положению вещей. С другой стороны, поскольку представляется совершенно невероятным, чтобы в этом трафаретном любовном споре Чосер отождествил своего друга Гонта с одной из низких точек зрения на любовь, мы можем с уверенностью исключить версию о том, что три орла олицетворяют собой Черного принца, Гонта и Лэнгли. (Датировка 1358 годом всей поэмы или любой ее части, и в особен-

ности полной комизма заключительной, безусловно, является слишком ранней. В 1358 году Чосеру было восемнадцать лет.) Отвечая сторонникам мнения, что поэма имеет самостоятельное философское и эстетическое содержание как традиционный спор о любви и посему не может быть также и стихами на случай, достаточно будет напомнить, что в поэме «Книга герцогини» отлично совмещены обе эти функции, что всевозможные аллюзии на темы дня вообще характерны для поэзии эпохи Чосера и что даже некоторые места «Кентерберийских рассказов» имеют злободневный характер, как это стало нам известно после выхода в свет книги Мэнли «Некоторые новые данные о Чосере».

Хотя большинство исследователей склоняются к тому мнению, что «Птичий парламент» имеет отношение к женитьбе Ричарда на Анне Богемской, нам представляется более вероятным, что поэма была создана в 1377 году, когда Чосер и его коллеги по переговорам были убеждены, что завершили наконец выработку брачного договора между юным принцем Ричардом и Марией. Ведь только теория, исходящая из предположения о том, что автор аллегорически изобразил сватовство к Марии, согласуется с главной чертой поэмы — самим птичьим парламентом. В поэме Чосера Природа считает необходимым выдать замуж красавицу орлицу, но обсуждение этого важного вопроса собравшимся парламентом птиц приводит к комическим по своему безрассудству и бестолковости дебатам. (Недаром название «Птичий парламент» было созвучно на среднеанглийском языке словам «Дурацкий парламент».) Чем ниже стоит на иерархической лестнице та или иная птица, тем безумнее ее речи. По-моему, читая поэму, невозможно отделаться от мысли, что сумасшедший птичий парламент имеет определенное сходство с беспокойной английской палатой общин.

Так называемый «Хороший парламент» 1376 года — как раз в этом году Чосер начал переговоры о династическом браке с Марией Французской — впервые в истории представлял все общественные классы Англии. Пускай канцлер сэр Джон Найвет в открытую и не объявлял об этом, созыв данного парламента имел целью принять какие-то меры в связи с напряженными отношениями, сложившимися между членами палаты общин и чиновниками короля Эдуарда. В момент, когда эти чиновники приступали к осуществлению новой программы мира и последующего процветания Англии

посредством заключения династического брака, нападки парламента на главных творцов этой программы воспринимались как нечто крайне нежелательное. Палата общин заняла наступательную позицию и выдвигала все новые обвинения против фаворитов короля. Мишенями для ее критических выпадов стали такие видные фигуры, как главный патрон Чосера Джон Гонт (он возглавлял лагерь оборонявшихся роялистов), старые друзья Чосера Алиса Перрерс и Уильям, лорд Лэтимер, а также друг Чосера и его коллега по дипломатическим переговорам во Франции сэр Ричард Стэри. Хотя этот парламент вошел в историю под названием «Хороший», можно не сомневаться, что Гонт и Чосер таковым его не считали. Они считали его грубым, низким, бесчинно-разнузданным и чуть ли не изменническим сборищем. Палата общин пожаловалась королю на Алису Перрерс и напомнила ему, что она замужем за Уильямом Виндзором (совершенно одряхлевший к этому времени король торжественно поклялся, что он никогда не слышал об этом); несмотря на просьбу Эдуарда обойтись с Алисой помягче, палата общин настояла на изгнании ее из страны с конфискацией имущества. Уильяма, лорда Лэтимера, верного друга Джона Гонта и Чосера, палата обвинила в незаконном обложении товаров чрезмерно высокими пошлинами без разрешения на то парламента; он и его сообщники, утверждали обвинители, установили слишком высокие цены, и в результате их действий «в стране стало так мало товаров на продажу, что простым людям едва можно прожить». (Это был первый в истории случай, когда палата общин подвергла импичменту министра короны.) Члены палаты общин выдвигали обвинения не только против Джона Гонта и его приближенных, но и против самого короля, хотя благо разумно не заходили в этом слишком далеко. Ко времени закрытия сессии многие и многие коллеги Чосера, в том числе Стэри, лорд Лэтимер, Ричард Лион и сэр Джон Невилл (сплошь друзья и приближенные Гонта), оказались в тюрьме, где ч просидели, негодуя, до самого того времени, когда их наконец вызволил оттуда «Дурной парламент» 1377 года.

Возможно, всем этим и объясняется тот тон, в котором Чосер пишет о парламенте птиц простых пород. Взять хотя бы следующие строки:

Едва лишь был объявлен перерыв,
Поднялся гомон, щебет, свист, галдеж.
«Пора домой!» — был общий птиц порыв.

«Про сватовство судить нам неverteпуж,
Какой жених достойней — не поймешь!»
«Как я узнаю «против» я иль «за»,
Коль доказательств не видал в глаза?»

«Га-га! Кряк-кряк! Ку-ку, ку-ку! Клох-клох!»
Казалось, лес весь ходит ходуном.
От птичьих криков я совсем оглох.

Разумеется, Чосер осуждает птиц разных пород за разные недостатки; если он посвящает немало стихов изображению эгоизма и глупости птиц простого звания, то в комичном свете изображены у него и женихи-орлы, которые ведут нудные и многосложные переговоры. Вполне возможно, что автор юмористически отобразил переговоры о династическом браке, которые вели Гишар д'Англь, Стэри и он сам. Как бы то ни было, орлы — претенденты на руку орлицы — с рассвета и до наступления темноты «к ней обращают нежные мольбы, суля любовь и прочие блага».

Профессор Эдит Рикерт много лет назад выявила основные линии политической аллегории в этой поэме. Хищные птицы, указывает она, олицетворяют собой знать, заседающую в палате общин, водные птицы — купечество, зерноядные птицы — мелкопоместное нетитулованное дворянство, а птицы, питающиеся червями и , — горожан.

Птицы в поэме соблюдают правила парламентской процедуры, и от каждого птичьего сословия выступает его представитель. Гусь, представляющий водных птиц, решительно заявляет:

Клянусь, козавки этот спор не стоит!
Я знаю средство, что нас всех устроят.
Вот водных птиц совместный приговор,
Кого женить нам, справедлив и скор!

Самец кукушки, представитель птиц, питающихся червями, говорит, исполненный сознания собственной важности:

Я, думая о нашем общем благе,
Авторитетно заявляю всем...

В таком же духе высказываются и остальные птицы, представляющие низшие слои общества. Ко всем этим простолюдинам Чосер выказывает добродушное презрение, и в каждом случае их в конце концов ставят на место хищные птицы, иными словами, аристократы, среди которых выделяется сокол, избранный хищными

птицами своим представителем путем «открытых выборов». Один только сокол непосредственно обращается к трем претендентам на руку и сердце орлицы. Он — единственный из всех представителей, кто по существу разбирает притязания соперников и дает понять, что ему известен неизбежный выбор орлицы:

Супруга должно ей самой избрать.
Кого из трех — нетрудно угадать.

Сама Природа относится к соколу с особым уважением; она дважды с одобрением ссылается на его слова:

Судить, кто больше из троих влюблен,
Не место здесь, *как сокол говорил...*

И далее:

Возьми в мужья того, кто благородней,
О чем искусно *сокол здесь сказал...*

Профессор Брэдди пишет:

«Вероятно, не будет ошибкой... предположить, что в образе сокола у Чосера выведен реальный человек, притом такой, в ком роялистская фракция видела бы своего признанного руководителя. И если это предположение верно, единственным человеком, которому подошла бы эта роль, явно был Джон Гонт, герцог Ланкастерский, сын престарелого короля. Именно его с достаточными основаниями мог изобразить Чосер в образе сокола. Более того, Джон Гонт фактически председательствовал на сессии парламента 1376 года как представитель короля»².

Все сказанное выше, разумеется, наводит на мысль, что «Птичий парламент» был написан около 1377 года, но с полной уверенностью мы можем сказать лишь то, что, создавая «Парламент», Чосер испытывал по меньшей мере легкое презрение к палате общин с ее все возрастающим влиянием — чувство, которое он пронесет через всю последующую жизнь. То, что нам кажется расширением политических свобод, Чосеру казалось обременительной и смехотворной глупостью. Идею гуманизма он воспринял в Италии, преимущественно от Петрарки и Боккаччо, но, когда эта идея получала политическое воплощение, Чосер — точно так же, как Боккаччо и Петрарка, — встречал ее с неодобрением, которое выражалось в сатирической форме. Но вот король Эдуард умер, и королем стал сын покойного Черного принца. Способный и красивый, как все Плантагенеты,

это был верный муж и сторонник умеренности в политике. Он изо всех сил противился новому духу, распространившемуся по всей Англии, — духу гуманизма и нового свободомыслия, которому Чосер служил и которого страшился. В конечном счете этот новый дух, соединившись с прочими историческими силами, обрек Ричарда II на поражение.

Еще одна поэма, написанная, вероятно, в середине или в конце 70-х годов (хотя некоторые ее части имеют более позднее происхождение), представляет собой произведение, состоящее из многих историй на тему о крахе гордых и властных; она дошла до нас в виде «Рассказа монаха» в «Кентерберийских рассказах». Некоторые биографы полагают, что поэма, возможно, была прочитана Чосером на празднествах ордена Подвязки в 1374 году, но эта теория представляется не очень убедительной, так как влияние итальянской поэзии в «Рассказе монаха» еще более очевидно, чем в «Птичьем парламенте». Кроме того, в рассматриваемой поэме ни слова не говорится об ордене Подвязки и она не имеет ясно выраженной связи с днем св. Георгия, если не считать присутствующего в ней общего интереса к темам рыцарства и христианской веры. Правда, подобные упоминания (если они имелись в первоначальном варианте) могли быть исключены из позднейшей редакции, в которой эта поэма стала рассказом монаха во время паломничества, а люди, из чьих кратких биографий составлена поэма, могли с известным основанием рассматриваться во времена Чосера как фигуры рыцарственные, т. е. как хорошие или дурные рыцари. Даже Люцифер, ополчившийся против воина-Христа, мог рассматриваться в подобном свете. Но прославление в поэме такого ярого абсолютиста, как Педро Кастильский, и презрение, выражаемое в ней к самонадеянным выскочкам незнатного происхождения, побуждают нас связать ее скорее уж со временем растущей неуправляемости парламента; по меньшей мере одна из содержащихся в поэме кратких биографий, в которой изображен Барнабо Миланский (с ним Чосер встречался во время своей итальянской поездки 1378 года), «бог произвола, бич Ломбардии», была создана в довольно поздний период творчества Чосера, так как Барнабо умер в 1385 году.

Появление этой поэмы, несомненно, было встречено с восторгом и восхищением и наверняка способствовало дальнейшему укреплению репутации Чосера как

поэта. Хотя время от времени Чосер еще будет возвращаться к французским поэтическим формам (в поэме «Дом славы», например), здесь, в поэме о гордецах, он не прибег к излюбленным французским жанровым формам видения и жалобы. На английский аристократический вкус поэма явилась в некоторых отношениях новшеством, оригинальным и увлекательным произведением. Английским любителям поэзии и раньше случалось слышать морализаторские стихи о Люцифере, Адаме, Каине и т. п. Подобные стихи писались еще в англосаксонские времена и будут писаться, главным образом в назидание школярам, вплоть до XVIII века. Слушателям Чосера были знакомы и различные поэмы (или же отдельные части таких крупных стихотворных произведений, как аллитеративная поэма «Смерть Артура»), в которых краткие биографии, взятые из Библии и христианских преданий, соседствовали с краткими биографиями выдающихся исторических личностей (Александра Македонского, Юлия Цезаря и др.). Во всех этих поэмах, посвященных так называемым Девяти героям древности, библейским и небиблейским, на примере возвышения и падения каждого из девяти показывается, сколь опасно доверяться фортуне. Однако Чосеру удалось сказать здесь новое слово. Итальянская поездка вооружила его новым пониманием этих старых поэтических преданий, а также снабдила материалом для новых историй. Там, в Италии, где пробуждался дух гуманизма, Петрарка и Боккаччо создавали короткие (а иногда и длинные) жизнеописания великих мира сего, в которых характеру и поступкам изображаемых людей уделяли не меньше внимания, чем морали, которую надлежало вывести. Разумеется, этот сдвиг акцентов был замечен уже в творчестве Данте, в чьей «Божественной комедии» персонажи вроде Фаринаты и старшего Кавальканти существуют не просто как иллюстрации последствий того или иного греха, а как живые люди. По крайней мере в одном тосканском дворце Чосер видел серию портретов великих людей древности и более позднего времени. (Такие портреты висели в Падуе, где он, возможно, познакомился с Петраркой.) Рассказывая истории не только традиционных Девяти героев древности и персонажей Книги бытия, но и людей, живших на его веку или в недавнем прошлом, таких, как Педро, Барнабо или Уголино, граф Пизанский, Чосер выразил новое гуманистическое мироощущение средствами английской поэзии: он продолжил старую художественную

традицию таким же примерно способом, каким это сделал Джотто, который, создавая серию изображений, перешел от картин рая и грехопадения человека к картинам, отобразившим развитие ремесел и искусств человечества. Таким образом, Чосер подтвердил свое поэтическое мастерство в глазах современников, показав, как хорошо пишет он в традиционной манере (значительно ее, впрочем, изменив), но вместе с тем поразил своих слушателей чем-то таким, что было для большинства из них в новинку; по всей вероятности, эту ноту новизны внесла присущая гуманизму интеллектуальная (и вместе с тем отдающая сплетней) любовь ко всему современному.

Современные читатели, находя «Рассказ монаха» довольно малоинтересным, высказывают предположение, что и сам Чосер в пожилом возрасте считал эту поэму неудачной, почему и вложил ее в уста монаха, человека уныло-скучного в своей ханжеской умеренности (на что намекает его собеседник трактирщик Бэйли), интеллектуально ограниченного и неспособного понять, что традиционное христианское и боэцианское учение о судьбе и свободе воли может служить обоснованием не только для трагедии, но также — и с таким же успехом — для комедии (прославления). Согласно традиционному учению — оно нашло отражение в рассказе о Навуходоносоре, — врагом человека является не злой рок, а его собственная неспособность заглянуть за пределы своей судьбы (или вынести за эти пределы свою веру) и увидеть благожелательность промысла божия, или провидения.

Едва ли можно отрицать, что данная поэма является одним из наименее удачных произведений Чосера — отчасти по причине отсутствия в ней подлинного объединяющего принципа. Но при всем том это более тонкая и более занимательная вещь, чем считают большинство литературоведов. Умело сочетая элементы традиции Девяти героев древности (падение гордецов с высот своего величия), традиции стихов на библейские темы и биографий гуманистического толка и владея широким спектром интонаций, от откровенно насмешливых до серьезных, Чосер создал сборник жизнеописаний, отличающихся большим многообразием и большей разносторонностью интересов, немислимыми в рамках прежних жанровых форм.

Поэма начинается с коротких, всего в несколько строк, историй об Адаме и Люцифере, пересказанных

небрежной скороговоркой и чуть ли не безразличным тоном. В них просто повторена ортодоксальная истина, что не следует доверяться «слепой удаче», и высказана имевшая вековую традицию мысль, что оба были свергнуты в ад, так сказать, по политическим причинам: за грех неповиновения. Далее в сборнике следуют более пространственные истории. Одни из них написаны не без нотки шутовщины, другие совершенно серьезны, как, например, краткая трагедия, в которой Чосер отозвался о короле Педро Жестоком с большей похвалой, чем кто-либо из писателей-современников, включая испанского хрониста Аялу, но все они представляют интерес как поэтические произведения. Взять хотя бы изображение обезумевшего Навуходоносора, который лежит на земле под дождем и, как вол, жуется сено: «Его волосы подобны перьям были; как когти — ногти, длинные и грязные». Или трогательную и страшную историю, которую Чосер пересказывает из Данте (опустив намек на каннибализм), — историю Уголино, брошенного с тремя детьми в темницу и умершего вместе с ними голодной смертью. Тут Чосеру предоставилась возможность проверить, владеет ли он оружием пафоса и драматической иронии. Младший сын Уголино, трехлетний мальчуган, не понимающий того, что семья обречена на голодную смерть, спрашивает отца:

...Что плачешь ты? Скорее
Обед бы нам тюремщиком был дан!
От голода, смотри, я коченею;
Дай мне лепешку, и засну я с нею*.

Такие стихи, впечатляющие своей прямоотой и простотой и уверенным умением поэта выразить то, что говорят и чувствуют люди в реальной жизни, предвосхищают более крупное и удачное произведение Чосера в жанре собрания жизнеописаний — «Легенду о добрых женщинах».

Прежде чем завершить эту главу биографии Чосера, охватывающую период его службы королю Эдуарду III и его возвышения на дипломатическом поприще, уместно будет снова упомянуть о некоторых его друзьях, о которых мы коротко говорили ранее, присовокупив несколько слов о двух-трех других государственных служащих,

* «Кентерберийские рассказы», с. 214.

ставших в этот период друзьями Чосера и его собратьями-поэтами, правда второстепенными. У нас уже шла речь об оксфордском ученом-логике Ральфе Строуде, чьим влиянием, возможно, объясняется тяготение Чосера к номинализму; может быть, он и есть тот «Рудольфи», который был известен как сочинитель не дошедшей до нас длинной поэмы, написанной, по-видимому, на латыни. Познакомились мы также и с правоведом Джоном Гауэром, приближенным ко двору поэтом, читавшим свои произведения и при Эдуарде и, позже, при Ричарде, покуда Ричард не разочаровал его.

Чосер был хорошо знаком с молодым Томасом Аском, блестящим человеком и идеалистом, который называл Чосера «благородным поэтом-философом» и считал его своим учителем в поэзии. Зная его восторженные отзывы о Чосере, трудно поверить, что он не принадлежал в политике к той же партии, что и Чосер, но дело обстояло именно так — к несчастью для него. В конце концов парламент отправил Томаса Аска на виселицу за преступление, состоявшее в том, что он боролся за справедливое, но обреченное на неудачу дело: он осмелился в открытую выступить против мошенника Нортгемптона, который находился под покровительством Джона Гонта. Имелись у Чосера и другие последователи в области поэзии: его ученик Томас Окклив (во всяком случае, по уверениям самого Окклива — вероятнее всего, правдивым); монах Джон Лидгейт, слишком многословный для большого искусства и слишком льстивый по отношению к меценатам, но изобретательно и талантливо применявший введенные Чосером новшества в области ритмики; наконец, прославленный французский поэт Дешан, с которым Чосер обменивался письмами, поэмами, лестными эпитетами и у которого он позаимствовал кое-какие поэтические приемы и темы для творчества.

Знаком был Чосер и с мудрым старым сэром Джоном Клэнвау, дипломатом и поэтом, автором по меньшей мере одной превосходной подражательной поэмы «Кукушка и соловей», написанной в манере Чосера. Так как Клэнвау и Чосер вместе ездили за границу по дипломатическим делам и имели общих близких друзей, так как оба были верными сторонниками Джона Гонта (Клэнвау принадлежал к числу так называемых рыцарей-лоллардов), они наверняка прекрасно знали поэзию друг друга и были на короткой ноге. Во всяком случае, они обладали сходным во многих отношениях складом

ума и характера. Оба отдавали в поэзии щедрую дань юмору и иронии, обоих посылали вести переговоры по щекотливым, явно затруднительным вопросам и обоим нравились — в этом они оставались истыми сыновьями средневековья — пышность, внешний блеск, славные подвиги. Клэнвау на деле доказал эту свою любовь к смелым приключениям, приняв участие в знаменитом Сен-Энглверском турнире, который состоялся в 1389 и 1390 годах в пограничной полосе Кале, после того как трое французских рыцарей пригласили всех христианских воинов устроить великолепные тридцатидневные ристалища, поклявшись, что примут вызов всех, кто явится. На турнире были многие друзья Чосера, хотя сам он, по-видимому, приехать не смог.

Среди друзей Чосера можно упомянуть еще сэра Луиса Клиффорда. Он родился около 1336 года и, подобно Чосеру, однажды попал в плен к французам (в 1352 году, когда Чосер был двенадцатилетним мальчиком). По-видимому, Луис Клиффорд служил при дворе Черного принца и, как и Чосер, всю жизнь оставался стойким приверженцем короля и дома Ланкастеров. С 1389 года его имя снова и снова упоминается в списках лиц, присутствовавших на заседаниях Тайного совета, а это значит, что он являлся одним из доверенных советников короля-интеллектуала Ричарда II и входил в его «мозговой трест». Фруассар, этот выразитель королевского мнения, отзываясь о Клиффорде с большим восхищением, Клиффорд часто выполнял те же дипломатические поручения, что и Чосер. Он участвовал в ряде случаев в переговорах о заключении перемирий и занимался разработкой брачных договоров, в частности договора о предполагаемой женитьбе Ричарда II на Изабелле, дочери французского короля Карла VI. При всем своем уме и мужестве кончил он плохо. Больной, он позволил запугать себя и отрекся от убеждений, которые они с Гонтом защищали; более того, он передал архиепископу Кентерберийскому, инициатору травли еретиков, список догматов последователей учения Уиклифа вкупе со списком его тайных сторонников. В своем завещании, датированном 17 сентября 1404 года, Луис Клиффорд называет себя «предавшим бога» и делает распоряжение о том, чтобы его «грешные останки» погребли в самом дальнем углу погоста в том приходе, где его застигнет смерть, и не ставили на его могиле ни камня, ни какого-либо другого памятника.

О том, что значит на самом деле это завещание,

конечно, можно спорить. Но что бы ни имел в виду Клиффорд — что он предал бога, когда поддержал Уиклифа или, наоборот, когда отрекся от него под непереносимым для старика давлением нового религиозно-политического режима, — трагедия Клиффорда достаточно ясна и так же красноречива, как трагедия молодого Томаса Аска. Поистине те, кому, подобно Джеффри Чосеру, удалось уцелеть в трудные времена конца XIV века, были людьми удивительными.

Можно было бы еще многое сказать о друзьях Чосера и его собратях-поэтах, но эти подробности приведены здесь только ради того, чтобы показать, что, как чиновник короля — а государева служба оставалась основным его занятием, — Чосер общался с людьми, известными своей рыцарственностью, дипломатическими способностями, верой в благотворность интеллектуального исследования и политической ориентацией, которую мы могли бы назвать сегодня реакционной. Они оказывали твердую поддержку Джону Гонту, а когда взгляды Гонта сталкивались со взглядами Ричарда, с готовностью поддерживали (как и сам Гонт) короля, и все вместе они являлись яркими противниками «либеральной», по оценке большинства историков, палаты общин. Друзья и сторонники Алисы Перрерс, они все бросились к ней на помощь, когда палата общин осудила ее законного мужа. При дворе Ричарда II, славившегося своей любовью к пышным зрелищам, поэзии и живописи, равно как и своими абсолютистскими представлениями о правах и обязанностях монарха и палаты общин, они чувствовали себя как дома. Со всеми своими достоинствами и недостатками они составляли все вместе консервативную правящую верхушку Англии конца XIV века. Они могли роптать, даже гневаться — как гневается Чосер в «Великом шатании», одной из своих поэм, обращенных к королю Ричарду, — но даже в минуты наибольшего разочарования они стойко поддерживали дело, которое история признала неправым. Они хотели, чтобы в их мире царил правопорядок, обеспечиваемый твердой и непререкаемой монаршей властью, «единой волей, что для всех закон», пользуясь выражением Данте; повсюду же вокруг себя они видели неустойчивость, обесценивание идеалов, нескончаемые распри, безумное смешение высокого с низким, многовластие вместо единовластия — картину, глубоко им ненавистную, которую Чосер описал в своей великолепной переработке поэмы Боэция в виде вселен-

ского блуда. Люди, говорит он, не знали зла в золотом веке:

Когда еще Юпитер-сластолюбец
На землю не принес с собой разврат,
А в Вавилоне Нимрод-властолюбец
Не тщился башню взвести до райских врат.
Но род людской ухудшился стократ
С тех пор. Увы, увы! Кругом грызня,
Алчба и зависть низкая царят,
Предательство, злодейство и резня.

ГЛАВА 7

Жизнь в годы несовершеннолетия Ричарда II. Крестьянское восстание и его последствия (1377—1385)

Когда умер король Эдуард, Чосер, по-видимому, находился за границей, выполняя какое-нибудь дипломатическое поручение, — во всяком случае, его имя не значится в списке придворных, которым 21 июня 1377 года были выданы траурные одеяния, — и, похоже, он не присутствовал на коронации малолетнего Ричарда: то ли уехал с новой миссией, то ли не вернулся из прежней. Но и трудясь на благо родины вдали от ее берегов — может быть, все еще изо всех сил стараясь выработать более прочные соглашения о перемирии или заключить какой-нибудь брачный договор, который дал бы Англии хотя бы кратковременную передышку от войны и возможность заняться своими расстроеными внутренними делами, — поэт наверняка с жадностью ловил любые обрывки новостей, долетавшие к нему через Ла-Манш. Ведь политика нового короля в решении сложнейших проблем, стоявших перед Англией, будет иметь самые серьезные последствия для жизни Чосера и его поэзии.

Ричард взшел на престол десятилетним мальчиком. Он стал великой надеждой страны, такой же великой надеждой, как король-мальчик Артур в народных сказаниях или как новый король Артур — Эдуард III, дед Ричарда, когда он сменил на троне Эдуарда II, неспособного и равнодушного правителя. В подтверждение своей веры, что отныне все у них пойдет хорошо, подданные Ричарда, по сообщению хрониста, который вошел в историю под именем Ившемского монаха, устроили в его честь коронационные торжества, «ознаменовавшиеся такими великолепными церемониями, каких никогда и нигде не бывало прежде, в присутствии архиепископов, епископов, прочих прелатов и всех магнатов его королевства»¹. Это пышное коронационное действо с его возвышенным ритуалом, вызвавшее всеобщее вос-

хищение, было разработано и разыграно под непосредственным руководством и наблюдением дяди Ричарда — стюарда Англии Джона Гонта, герцога Ланкастерского. Торжества по случаю коронации являлись составной частью его благородного плана, имевшего целью вернуть стране утраченное единство, иначе говоря, положить конец эпохе раздоров и подозрительности, наступлению которой способствовали нескончаемые и разорительно дорогие войны Эдуарда и олицетворением которой некоторые грубые умы считали самого Гонта.

Джон Гонт постоянно противился усилению влияния палаты общин, стремился в корне пресекать всякое возможное посягательство на власть короны и старался всеми доступными ему способами расширить эту власть — например, предоставив возможность богослову Джону Уиклифу выступать по всему Лондону с аргументированными лекциями и проповедями против контроля церкви над светскими учреждениями. Уиклиф, человек большой учености, говоривший негромким голосом, носивший очки и помышлявший о церковной реформе, занимал в политике, безусловно, честную позицию: он не заискивал ни перед Гонтом и ни перед кем другим, а то уважение, которое оказывал ему в середине 70-х годов Гонт, отнюдь не было вызвано лишь соображениями политической выгоды. Гонт немало размышлял над вопросами политической теории и, оказывая поддержку кое-кому из церковников, в целом придерживался твердого убеждения, что даже видимость власти из Рима или, еще хуже, из Авиньона во Франции, где пребывал ныне «плененный» папа, представляет опасность. Однако открытая поддержка Гонтом богослова, откровенно высказывавшего свои радикальные взгляды, выступавшего против правления алчных и корыстных английских или чужеземных епископов и ратовавшего за передачу всей власти светским правителям, таким, как Гонт, не могла не вызывать подозрений. Во всяком случае, использование Гонтом духовного лица и церковных кафедр в политической войне, которую он вел против засилья церкви, только подлило масла в огонь. Священники, не согласные с высказываниями Уиклифа, выступили с резкими возражениями, опять-таки с проповеднических кафедр, и битва, которая могла бы вестись за кулисами, как ведется большинство крупных политических битв, стала достоянием широкой гласности. На глазах народа разыгрывалось представление, в котором ретрограду приходскому священ-

нику или епископу отводилась роль христианского героя, а Гонту, якобы превратившему Уиклифа в свою марионетку, — роль чужака, вмешивающегося не в свои дела, и даже еретика. Церковники намекали, что Гонт намеревается отобрать у церкви ее богатства, эту земную опору страждущих и нуждающихся, чтобы оплатить расходы по содержанию собственного дворца Савой и королевского двора, печально известного своей расточительностью.

Если поначалу выдвинутые против Уиклифа (и Гонта) обвинения в ереси носили главным образом риторический характер, то очень скоро в стане лондонского епископа смекнули, сколь выгодно с точки зрения политики принимать их всерьез. Позиция Уиклифа была уязвима во многих отношениях — например, он отвергал таинство евхаристии, — и осудить его как еретика не представляло никакого труда, а его унижение или даже сожжение, дойди дело до этого, опорочило бы его политические воззрения, сделав их такими опасными, чтобы отбить впредь у его единомышленников охоту покушаться с их помощью на богатства церкви. Поэтому Уиклифа официально обвинили в ереси и предали суду лондонского епископа. Гонт, считая себя отчасти ответственным за то, что Уиклиф оказался в подобном положении, и понимая, что данный церковный суд представляет собой — во всяком случае, в значительной степени — циничный политический маневр, насмешку над подлинной верой, в гневе прекратил этот судебный процесс.

Посягнув на независимость церковного суда, утвердив с оружием в руках свою власть в сфере, где по закону он не обладал никакой властью, Гонт, разумеется, навлек на себя яростное негодование всех лондонцев, которые ревниво охраняли свое право на почти полное самоуправление внутри лондонских стен. Превышение Гонтом своих законных полномочий и впрямь выглядело как попытка расширить пределы правительственной — если не своей личной — прямой власти, и последующие его попытки уладить ссору с лондонцами не рассеяли такого подозрения. Тем не менее он действительно добивался, действуя в свойственной ему высокомерной манере, примирения с ними.

Лондонцам и другим его врагам Гонт казался гораздо более могущественной и опасной фигурой, чем он был на самом деле, и уж Чосер-то наверняка отлично знал это. В 1377 году, когда Черного принца уже не было в живых, а король Эдуард находился при смерти,

Гонта — и это было неизбежно — считали реальным главой правительства и человеком, ответственным за его ошибки. Если он иной раз расходился во мнениях с Алисой Перрерс и ненавистными ему лондонскими купцами, с которыми она так тесно сотрудничала, — хлеботорговцами вроде Брембра, чье влияние Гонт стремился ограничить, поддерживая их политических и экономических противников, торговцев шелком и бархатом, — верность королю не давала ему возможности открыто заявить о своих разногласиях с Алисой и ее дружками. Если у него имелись сомнения по поводу политического курса новой группировки, набравшей силу в правительстве, — тех бывших вассалов Черного принца, которые, сделавшись впоследствии любимыми слугами и советниками Ричарда, станут уговаривать его занять рискованную абсолютистскую позицию и бросить открытый вызов власти крупных феодалов, — то верность Гонта Ричарду и памяти покойного брата мешала ему предать свои сомнения гласности. В силу этих причин Гонт, возглавлявший правительство, отнюдь не всегда отстаивал свои собственные принципы; он даже оказывался вынужденным надменно защищать право короля тратить миллионы на свою любовницу.

Хроникер Уолсингем рассказывает, что во времена «Хорошего парламента» 1376 года и позже получили хождение всевозможные неприятные слухи: будто Гонт жил в открытом грехе с воспитательницей своей дочери (это-то как раз было правдой); будто он отравил сестру своей любимой первой жены Бланш, дабы завладеть ее наследством, и хотел отравить своего племянника Ричарда; будто он сговорился с Францией, заклятым врагом Англии, с тем чтобы заполучить папскую буллу, объявляющую Ричарда незаконнорожденным; будто Гонт на самом деле был вовсе и не принц, а фламандский подкидыш, которым тайком подменили в Гентском аббатстве родившуюся у королевы Филиппы дочь. И слухам этим отчасти верили. Ясно и недвусмысленно выраженное парламентом признание Ричарда престолонаследником наводило людей на подозрение, что Гонт сам претендует на трон, — подозрение это было выгодно феодалам, полагавшим, и не без основания, что влияние, которым Гонт пользовался в государственных делах, может поставить под угрозу их собственные корыстные интересы или ограничить их возможности возвыситься.

Но вопреки всем этим подозрениям Джон Гонт был далек от мысли возродить старинные норманнские или

анжуйские прецеденты отстранения прямого королевского наследника ради того, чтобы посадить на трон другого близкого родственника короля, более опытного в делах правления, такого, например, как он сам. Гонт любил своего племянника, живого ясноглазого мальчика, как всегда любил его отца. Ведь Гонт был для Черного принца не просто братом, но и ближайшим другом, и некоторые важные компоненты проводимого Гонтом плана устройства государственных дел — в том числе и его примирения с лондонцами — были предложены не самим Гонтом, которому претила мысль об этом, а его умирающим старшим братом и добросердечной принцессой Иоанной.

Короче говоря, еще задолго до кончины короля Эдуарда в 1377 году Гонт и все его окружение — включая Джеффри Чосера, который проявит себя как смелый и верный друг молодого наследника, — связывали свои надежды только с Ричардом, и ни с кем другим.

Гонт и его друзья стремились к идеалу, близкому тому, что выдвигался Эдуардом I, — идеалу сильной монархической власти, которая не глуха к голосу народа, пользуется дружной поддержкой рыцарски преданной монарху королевской семьи, сосредоточившей в своих руках огромные земельные владения, баронов, связанных с королевской семьей узами родства, и вассалов, верно служащих баронам, как те — короне. В конце концов, Гонт был не только благородным рыцарем, но и собирателем произведений искусства, любителем поэзии; ему, как никому другому, было во всех тонкостях известно воспеваемое поэтами учение о «куртуазности» — взаимной зависимости и любви сверху донизу на всех ступенях феодальной иерархии. Годы спустя Чосер введет эту тему в поэму («Легенда о добрых женщинах»), предназначенную для чтения при дворе Ричарда: как видно, потому, что к тому времени Ричард будет нуждаться в напоминании. Что до Гонта, то он не нуждался в поучениях на тему куртуазности. Подобно своему предшественнику стюарду Англии Томасу Ланкастеру, он серьезно относился к своим государственным обязанностям, но в отличие от Томаса не переносил малейшего привкуса измены.

Таким образом, грандиозная церемония коронации Ричарда являлась составной частью плана Гонта, имевшего целью вернуть стране утраченное единство и сосредоточить внимание и верноподданнические чувства всех англичан на молодом короле. Гонт сделал принца Ри-

чарда официальным председателем на заседаниях «Дурного парламента» 1377 года, подчеркнув тем самым законность престолонаследных прав своего племянника, и добился проведения такой миротворческой акции, как объявление всеобщего помилования за все гражданские и уголовные преступления в честь «юбилея» царствования короля Эдуарда (празднование этого юбилея также являлось инициативой Гонта). Он, как мы уже говорили, предпринимал планомерные действия, направленные на урегулирование его конфликта с Лондоном, а после того, как лондонцы несколько раз уклонились от переговоров с ним, подозревая какую-нибудь ловушку, он форсировал события с помощью точно рассчитанного театрального жеста. Когда в королевском маноре Шин, где собрались почтить память усопшего короля Эдуарда Ричард II, его мать и дяди, появились представители Лондона, Гонт упал перед юным королем на колени и стал умолять его взять дело примирения в свои руки и простить лондонцев, как и сам он готов простить их. При этом в его мольбах не было ни намека на понимание того, что он сам должен был бы просить прощения у них и что, обращаясь к королю с просьбой помиловать лондонцев, он косвенно отвергает их притязание на фактическое самоуправление. Однако сам жест был эффектен и тронул лондонцев, прежде чем они успели как следует подумать. Снова Гонт обставил дело так, что в центре внимания оказался Ричард, а чтобы еще больше поднять престиж своего племянника, Гонт «принял» сделанное устами Ричарда предложение примириться с епископом Винчестерским, одним из противников Уиклифа и старым врагом Гонта. Как пишет Мэй Маккисак, «Уолсингем комментирует это событие именно так, как хотел представить его Гонт: „О, сколь счастливое предзнаменование в том, что мальчик столь юного возраста по собственному почину (*nullo impellente*) проявил такую заботу о мире в стране, в том, что, не будучи никем научен, он сам знал, как стать миротворцем!“»²

Та же цель ясно просматривается в изменениях, внесенных в церемонию коронации, которая, по всей вероятности, была разработана Гонтом или же его другом архиепископом Садбери. Впервые за все времена традиционный вопрос, с которым архиепископ, совершающий коронацию, обращается к собравшимся людям: желают ли они этого нового короля, дают ли согласие на его венчание, — был задан не до принесения корона-

ционной присяги, а после нее. В результате этого нововведения роль народа ограничивалась безропотным согласием и выражением преданности, древняя английская идея избрания оказывалась затемненной, а реальная и символическая власть короны, этого воплощенного источника национального единства, еще больше выдвигалась на первый план. Новое истолкование было дано и такому ритуальному моменту в церемонии коронации, как обряд прикосновения феодалов к короне нового короля. Этот акт рассматривался теперь как символическое обязательство лордов служить королю, оказывать ему поддержку и облегчать тяжелое бремя монаршей власти. В стране, раздираемой кровавыми феодальными междоусобицами и известной своей традиционной повышенной чувствительностью ко всему символическому (такой сверхчувствительностью отличался даже сам Гонт, не говоря уже о короле Ричарде), это театральное прикосновение должно было растрогать всех собравшихся до слез, вызвать у них в сердцах чувства радости и преданности.

Итак, свершилось символическое венчание короля и его страны, и оба — жених, «новый Авессалом», и невеста, Англия, — казались такими юными и прекрасными! Неплатежеспособное правительство не останавливалось ни перед какими затратами; купцы и простолюдины тоже не скупились на расходы. Коронационные торжества вылились в грандиозное празднество: море стягов, шум и клики, роскошные одеяния, экипажи, кони, шатры, жонглеры, горлающие пьяные на всех прилегающих улицах, сотни опоздавших к началу коронации, которым не нашлось места где встать. Во всех слоях общества с надеждой взирали на нового короля, и особенно большие надежды возлагали на него «люди низкого звания». Они вспоминали прославленного отца короля и его блистательного деда, потом внимательно вглядывались в черты лица Ричарда — красивый, как все дети Мелюзины, мальчик, явно смысленный, с твердым, даже упрямым характером, истинный Плантагенет, но, как и его дед Эдуард III, не безрассудный в своем упрямстве, — и сердца их переполнял восторг. Как выразил общие чувства один тогдашний поэт:

Он отпрыск их, их кровь, порода,
И хоть чертенок в мальчике растет,
Я верю: всех он нас еще спасет!

В этом поэтическом парадоксе, должно быть, заключалась крупица истины; в Ричарде действительно было

что-то от «чертенка» — потомка сатаны, сулящего надежду на спасение. Наверное Джеффри Чосер и его друзья — дипломаты, находившиеся во время коронации где-то в Европе, — со слезами на глазах подняли тост за десятилетнего короля в далекой Англии. И слезы радостного умиления стояли в глазах их соотечественников на родине, уверовавших в то, что отныне все пойдет хорошо, все изменится к лучшему. Но у подобного безоблачного оптимизма был короткий век.

Дела в Англии совершенно вышли из-под контроля, и даже если бы Ричард был закаленным воином, совершеннолетним принцем, то и тогда он при всем его уме, мужестве и огромной популярности среди простых людей оказался бы игрушкой событий. Маленький ребенок, единственное, что он смог сделать, — это пожаловать графским титулом нескольких своих близких друзей. В частности, Ричард сделал своего молодого дядю Томаса Вудкока, который впоследствии изменил ему, графом Букингемским (в дальнейшем — герцогом Глостерским), а любимого старого наставника и опекуна Гишара д'Англя — графом Хантингдонским. Вся же реальная власть находилась в руках его официальных королевских советников.

Первый совет при новом короле, сформированный преимущественно в том патриотически-доброжелательном духе, который насаждался Гонтотом, являл собой представительный, даже демократический орган, чье назначение состояло в том, чтобы помешать любому отдельно взятому деятелю или клике, в том числе и клике Гонта, захватить постоянную власть над политической жизнью страны. Ни один из дядей короля — ни Гонт, ни Томас Вудкок, ни Эдмунд Лэнгли — не получил места в совете, хотя на них была возложена обязанность совместно бороться со взяточничеством и коррупцией. Власти предержавшие, и в особенности Джон Гонт, эффектно выказали свою добрую волю, и палата общин приняла предложенный порядок вещей. Однако если 1377 год не благоприятствовал воцарению тиранов — не благоприятствовал он и деятельности неумелого демократического комитета. Впрочем, никакого третьего пути и не было.

Англо-французская война 1369—1389 годов явилась для английского правительства самым серьезным военным испытанием после французского вторжения 1216 года, и не одному только Джеффри Чосеру, по-прежнему тщетно пытавшемуся договориться о том или ином

брачном союзе, первый год царствования Ричарда представлялся настоящим бедствием.

«В том году, — писал хронист, известный под именем Ившемского монаха, — потерпели полную неудачу мирные переговоры... В ту же пору шотландцы сожгли по наущению графа Данбарского город Роксборо. Тогда лорд Генри Перси, новый граф Нортумберлендский, вторгся в пределы графства Данбарского с десятью тысячами солдат... поджег подвластные Данбару города и грабил его владения в продолжение трех дней.

Затем на острове Уайт высадились французы. Разграбив и спалив несколько селений, они взяли за остров выкуп в тысячу марок. После чего они вернулись на море и беспрестанно плавали вдоль английского побережья вплоть до Михайлова дня. При этом они сжигали многие селения и убивали, особенно в юго-восточных графствах, всех жителей, которых только могли найти. Встречая слабое сопротивление, они уводили скот, забирали прочее добро и взяли несколько человек в плен. Полагают, что на сей раз неприятельские нападения на Англию причинили больше вреда, чем за предыдущие сорок лет.

В том же самом году французы напали на город Уинчелси... Пока шла битва, французы послали отряд своих кораблей сжечь город Гастингс. Тогда же французы вторглись в Англию под городом Роттингдином, что возле города Льюиса в Суссексе...»³.

И так далее в том же духе. Англичане — иногда — воевали с большой доблестью. В кругах, где вращался Чосер, рассказывали историю об отважном слуге приора Льюиса, французе по происхождению, «который сражался против своих соотечественников-французов так неистово, яростно и упорно, что из его живота, пронзенного вражескими мечами, выпали внутренности. Не обращая на это внимания, он бросился преследовать противника, волоча за собой собственные кишки»⁴. Но, несмотря на то что временами Англия сражалась храбро, она, подобно тому героическому воину-французу, была ослаблена и раздираема изнутри.

Чосер нигде не высказывает нам впрямую своего мнения о том периоде, хотя многое в «Кентерберийских рассказах» отражает в завуалированной форме его взгляд на вещи: корень зла кроется в отсутствии с каждой стороны доверия и терпимости и в примитивной убежденности, что насилие способно восторжествовать, как торжествует оно, по крайней мере временно,

в плохих браках. Но, вероятно, даже Чосер понял всю сложность и многоликость причин бедственного положения Англии лишь много лет спустя.

Беды и неурядицы, обрушившиеся на страну, разумеется, объявились не в одночасье: лихо копилось годами, подкрадывалось с разных сторон, коварно разрасталось, но его до поры почти не замечали или упрямо отказывались признать, считая совершенно немыслимым. Все началось задолго до первой волны чумной эпидемии. Менялся климат, менялся характер трудовых отношений, менялось отношение к закону, религии и мысли. Поэтому, когда недуг в конце концов обнаружил себя, наподобие злокачественной опухоли, это уже была болезнь, давшая метастазы повсеместно, так что можно было только гадать, что положило ей начало. Наиболее явно недуг, поразивший английское общество, обнаружился в крестьянском восстании 1381 года, о котором Оман писал в своем превосходном, хотя в чем-то устаревшем исследовании:

«Большинству авторов — современников восстания — оно казалось каким-то необъяснимым явлением, бурей, поднявшейся из-за сущего пустяка, бессмысленным бунтом против тяжелого и непопулярного налога, какие нередко случались и раньше. Но на этот раз буря приобрела невиданные масштабы, грозные тучи закрыли весь горизонт, ураганной силы вихри пронесли по сельской Англии, угрожая все смести на своем пути, а затем буря вдруг утихла, почти так же необъяснимо, как поднялась»⁵.

Хотя восстание было в конце концов подавлено, условия, его породившие, остались в основе своей неизменными, и Джеффри Чосер знал это лучше, чем кто-либо другой. Исполдволь, на протяжении XIII и XIV столетий в Англии, да и в других странах, креп дух, представлявший в глазах многих даже большую опасность, чем чума; Чосер в яркой форме раскроет для своих придворных слушателей его сущность в значительной части «Кентерберийских рассказов», так называемой дискуссии о браке, которая, при правильном понимании, прослеживается от «Рассказа юриста» вплоть до «Рассказа франклина»: повсюду — в семье, в государстве, даже в церкви — вновь пробуждалась старая англосаксонская идея частичного самоопределения для всех классов.

В «Поэме о Беовульфе», английском эпосе VIII века, утерянном и забытом ко временам Чосера, провозгла-

шался основополагающий принцип: король не вправе посягать «на землю людей и на их жизнь». Победа французов в 1066 году отменила в Англии старые порядки: место прямых взаимоотношений между королем и народом заняла феодальная система, которая со временем приобретала все более бюрократический характер; король теперь был отгорожен от своих подданных иерархическими перегородками, означавшими для тех, кто занимал низшее положение в обществе, крепостное рабство. Война, начатая Эдуардом, повысила роль простых, незнатных людей и способствовала возрождению в низших сословиях желания возвратиться к старым порядкам, вернуть себе свободу, а ведь война была лишь одной из многих сил, побуждавших людей восстать против существовавшего в XIV веке положения вещей.

Ранее мы уже говорили о том, что еще задолго до чумы в Англии пришли в движение силы радикальных перемен и что эпидемия чумы оказалась столь смертоносной отчасти и по той причине, что вот уже в продолжение долгих лет толпы крестьян бежали из сельских местностей (где лишь низший слой крестьянства, вилланы, был прикреплен к земле), устремляясь к более легкой и вольготной, как представлялось им, жизни в трущобах на окраинах больших городов. Там они, конечно, пробавлялись всякой случайной работой, а поскольку рабочие руки имелись в большом избытке, часто становились ворами. Те, кому посчастливилось, — т. е. те, кому удавалось избежать смерти от голода, от болезни, от петли или от ножа какого-нибудь головореза, — могли завербоваться в пешие ратники и отправиться воевать во Францию или в Шотландию. На войне можно было обогатиться, поскольку Эдуард и его полководцы платили воинам жалованье и даже людям низкого происхождения позволялось сохранять военную добычу. Кроме того, во времена Эдуарда вилланы, особо отличившиеся в бою, могли получить по закону освобождение от крепостного состояния. В Англию они возвращались профессиональными убийцами, умело владеющими всяким оружием: дубинами с железными наконечниками, боевыми топорами, ножами, луками со стрелами. И в городах, и в сельской местности возникали и множились разбойничьи шайки — многолюдные и беспощадные, — организованные по образцу боевых соединений. Чосер в старости не раз подвергался нападению подобных отрядов. С другой стороны, не подлежит сомнению, что

наемные работники занимали все более воинствующую и угрожающую позицию, представлявшую постоянную опасность для имущества и жизни людей среднего сословия, а система крепостного труда уже была к тому моменту непоправимо ослаблена. То же самое происходило и повсюду в Европе.

По иронии судьбы, именно «Хороший парламент» при всей его ненависти к бунтовщикам-крестьянам сам окажет то влияние, которое в конечном счете подтолкнет восставших крестьян к крайностям насилия. Предаваясь воспоминаниям о Креси и Пуатье, Слэйсе и Эспаньоль-сюр-Мер, палата лордов и палата общин мечтали только об одном: как отвоевать утерянные провинции. Похоже, никто в парламенте не отдавал себе отчета в том, что обстоятельства коренным образом изменились, что исчезли те условия, которые давали возможность Черному принцу и Эдуарду III одерживать блистательные победы. Франция научилась противодействовать тактике Эдуарда и переманила на свою сторону многих союзников Англии. В результате Англия стала слишком слаба, а Франция слишком сильна для того, чтобы можно было рассчитывать на победу англичан. Однако в 1376 году многолетний опыт неудачных походов и территориальных потерь все еще не открыл парламенту глаза на обстоятельство, хорошо известное Гонту и его помощникам, которые вели переговоры о заключении династического брака: что единственной надеждой Англии является мир. Палате общин казалось, что обрушившийся на англичан поток бедствий может быть объяснен лишь одним: продажностью или некомпетентностью министров дряхлого Эдуарда (а позже — малолетнего Ричарда). И вот палата снова и снова привлекала их к суду, заключала в тюрьму или посылала на плаху (особенно во времена Ричарда). У палаты лордов, которая зависела от палаты общин в том, что касалось введения налогов на необходимой широкой основе, не оставалось иного выбора, как молчаливо соглашаться.

Таким образом, власть политического учреждения, которое Джеффри Чосер изобразил как парламент с птичьими мозгами, в 70-е годы стремительно возростала, а централизованное правительство страны, подвергаясь постоянным нападкам и осыпаясь упреками, почувствовало неуверенность и ослабило бразды правления. Среднее сословие видело огромное достижение в том, что широкопредставительная палата общин полу-

чила возможность обвинять в тяжких преступлениях тех финансистов короля (друзей Гонта), которых она считала спекулянтами, наживавшимися на войне. В большинстве случаев, если не во всех, правительственная коррупция, разоблачаемая палатой, действительно имела место. Однако развернутая палатой общин кампания преследований имела один ясно выраженный, хотя и непредусмотренный результат: доверие к правительству оказалось подорванным, так что, когда в 1381 году вспыхнет крестьянское восстание, его участники будут убеждены, что королевские министры, как всегда, сплошь продажны (хотя на сей раз это были честные люди) и что крестьянство сослужит королю хорошую службу, перебив всех его чиновников, начиная с Гонта.

По мере того как палата общин, становясь все сильнее, вынуждала короля и феодалов оказывать ей помощь в ее борьбе с крестьянством, крестьяне отвечали на это тем, что стали организовываться и склоняться ко все более радикальным убеждениям. Представляется маловероятным, чтобы в среде крестьянства действовал некий центральный комитет недовольных, который координировал бы стачки или издавал приказы о крестьянских восстаниях, — во всяком случае, нет никаких исторических свидетельств этого. По всей Англии происходили, как жаловалась палата общин в 1377 году, кровавые местные бунты и стачки, в подготовке которых явно чувствовалась рука умных руководителей. Но несмотря на то, что бунты возникали во всех краях страны, несмотря на то, что некоторые восставшие крестьяне, особенно в Норфолке, любили вести разговоры о «Великом обществе» (*Magna societas*), всякий, кто изучал историю крестьянского восстания, не может не признать, что оно отнюдь не являлось результатом организации на общенациональной основе. Скорее, оно явилось результатом повсеместного существования невыносимо тяжелых условий (различных в разных районах, но по существу одинаково переносимых) и воздействия на умы заразной идеи, что люди вправе противиться несправедливой власти — положению, которое Чосер назовет, говоря о семье, но намекая на жизненные обстоятельства во всей стране, «горестями женитьбы».

В городах же идея восстания получила распространение главным образом в мастерских. В былые времена мастер-ремесленник работал с двумя-тремя подмастерьями, которые рассчитывали со временем сами стать мастерами. Однако расширение промышленной деятельно-

сти в Англии — еще одно порождение войны — привело к тому, что к последним десятилетиям XIV века сложился класс крупных предпринимателей и класс угнетенных ремесленников, лишенных всякой надежды стать мастерами. Чиня ложные, незаконные препятствия и прибегая к бюрократической волоките в гильдии, хозяин умышленно не давал своим многочисленным рабочим возможности открыть собственное дело и вынуждал подмастерьев, завершивших положенный срок обучения ремеслу, продолжать работать на него в качестве низкооплачиваемых наемных работников. Эти работники создавали — обычно под видом религиозных общин — лиги и сообщества для совместной защиты своих прав.

Об одном таком защитнике Чосер наверняка слышал множество рассказов, а может быть, и наблюдал его в действии, поскольку был связан с той местностью, где проповедовал «безумный священник из Кента» Джон Болл, которого сегодня помнят главным образом как автора проповеди на тему двестишестидесяти:

Когда Адам пахал, а Ева пряла пряжу,
Где дворянин был, кто мне скажет?

По-видимому, Джон Болл ничего — либо почти ничего — не знал об Уиклифе или оксфордских рационалистах; в сущности, все его идеи, как было показано исследователями, представляли собой взгляды, широко распространенные среди сельских священников. Но Джон Болл, судя по всему, проповедовал эти взгляды с необычайным жаром. В предложенную Боллом программу действий, по утверждению его врагов, входило убийство и перераспределение земли. И в этом утверждении, несомненно, была доля истины. Двадцать лет скитался он по деревням и селениям, разжигая недовольство или, если выразить это несколько иначе, предлагая картину мира, которую еще не одно столетие никто, кроме доведенных до отчаяния или обезумевших, не будет принимать всерьез. А предлагал он, по словам враждебно к нему настроенного автора «Анонимной хроники», создать королевство более или менее равных по положению крестьян, управляемое королем Ричардом. В годину бунтов, продолжает хронист, Болл советовал крестьянам «избавиться от всех господ, от архиепископа и епископов, от аббатов и приоров и от большинства монахов и каноников, говоря, что в Англии не должно быть епископов, кроме одного лишь архиепископа, и что он сам будет этим прелатом... Пользуясь у просто-

людинов за такие свои речи славой пророка, он изо дня в день проповедовал им, укрепляя их в их злом умысле, — и получил по заслугам, когда был повешен, четвертован и обезглавлен как изменник»⁶. Во всех концах Англии объявлялись и другие вожаки, фанатичные визионеры, обладавшие даром убеждения, отчаянно смелые.

Чосеровскую Англию конца 70-х годов одолевали и другие раздоры и беспорядки. Богатые горожане — верхушка купечества, бюргерства, ремесленных цехов, сосредоточенная по преимуществу в Лондоне, — обладая влиянием, уступающим только влиянию крупных феодалов, могли бы стать стабилизирующей силой в стране. Но и эта группа, подобно феодалам, не смогла преодолеть вражды и соперничества в своей среде. А церковь с ее богатыми денежными поступлениями и земельными владениями была ничем не лучше. Гонт и все его сторонники презирали ее не только за свойственное ей своекорыстное злоупотребление властью, но и за ее интеллектуальную отсталость; она испытывала неуверенность, окруженная со всех сторон недовольными, которых Уиклиф вооружил аргументами; церковные землевладельцы, самые реакционные в Англии с точки зрения предъявления непомерных требований к крестьянам по части службы, денежной и натуральной платы, становились жертвами бунтов возмущенных вилланов (протестовавших, в частности, против заковывания недоимщиков в кандалы) еще задолго до рождения Чосера.

Еще одним источником беспокойства в первые годы царствования Ричарда являлось засилье, особенно в Лондоне, иностранцев, в частности фламандцев. В те дни иностранцы в крупнейших английских городах были не только отчаявшимися нищими бедолагами, каких видишь сегодня в лондонском Ист-Энде. В Англии XIV века иностранец мог быть толстым улыбающимся купцом или хозяином мастерской, а крадущиеся закоулками, словно бродячие коты, и опасливо выглядывающие из-за углов босяки в лохмотьях были чаще всего коренными англичанами, беглыми вилланами, бездельниками поневоле, готовыми взяться за любую работу, законную или незаконную, ибо их положение, как им думалось, ничто уже не могло ухудшить, даже петля. Иностранец, и в особенности богатый иностранец, вызывал у обнищавших англичан недовольство, поскольку им казалось, что иностранец высасывает из их страны богатство и (как жаловались лондонские

купцы в парламенте в 1381 году) тайком вывозит английское золото и серебро, давая взамен лишь бесполезные предметы роскоши, А так как звонкая монета уплывает из королевства, рассуждали крестьяне, денег стало мало, и поэтому так низки заработки. И виноват в этом купец-иностранец. Предпринимателю же — владельцу мастерской, особенно предпринимателю из Фландрии, вменялось в вину, что, прибегая к бесчестным методам конкуренции, таким, как использование дешевого труда своих соотечественников, в том числе женщин и детей, он разоряет ремесленников-англичан. Жалобы на иностранных работников и предпринимателей, разумеется, не были совершенно беспочвенными. С тех пор как Эдуард III впервые уговорил фламандцев и зеландцев поселиться в Норфолке, искусные ремесленники и простые работники толпами прибывали в Англию из-за границы.

Так обстояли дела в сельской и городской Англии в конце 70-х — начале 80-х годов. Страна превратилась в пороховой погреб, однако никто не знал, где выход из положения, даже друг Чосера Джон Гауэр, который в своей написанной по-французски поэме «Зерцало размышляющего» описывал зреющее беспокойство и предвещал грядущий социальный катаклизм. Не предлагая никаких практических советов относительно того, как можно было бы поправить дело, он констатировал:

Есть три стихии,
Что в разрушенье жалости не знают,
Лишь дай им только волю:
Поток воды, бушующий огонь
И буйное простонародье.
Толпу народную
Ничто не остановит:
Ни голос разума, ни принужденье.

Чосер наверняка был согласен с этим. Мы найдем в его поэзии несколько портретов людей низшего сословия, нарисованных с явным сочувствием, таких, как честный, твердый в несчастье приходский священник — участник паломничества в Кентерберии — или его брат, пахарь:

Терпеньем, трудолюбием богат,
За век свой вывез в поле он навоза
Телег немало; зноя иль мороза
Он не боялся, скромн был и тих
И заповедей слушался святых,
Будь от того хоть прибыль, хоть убыток,
Был рад соседа накормить досыта,
Вдовице брался землю запахать:

Он ближнему старался помогать.
И десятину нес трудом иль платой,
Хотя имел достаток небогатый *.

Кроме того, мы обнаружим проходящую через всю его поэзию озабоченность тем, чтобы власть имущие справедливо обращались с зависящими от них бедняками. Однако бедняки были для Чосера (как впоследствии и для Шекспира) существами, как правило, занятыми, подчас и симпатичными, но нередко глупыми и всегда потенциально опасными. В конце 70-х годов они, несомненно, казались прежде всего опасными, особенно Чосеру, который чаще всего находился за границей, выполняя поручения короля, и поэтому не мог следить за развитием событий.

«Дурной парламент» 1377 года (нельзя сказать, чтобы тенденциозно подобранный Гонтом, но явно направляемый им) был насквозь реакционен и сосредоточен на упразднении мер, принятых предшествовавшим ему «Хорошим парламентом». То, что столь консервативное собрание могло санкционировать введение первого в истории Англии подушного налога, иной раз рассматривалось исследователями как загадка, достойная всяческого удивления, но эта загадка имеет довольно простой ответ. Гонт стремился восстановить доверие к монархии, а это, как он знал, требовало большего, чем оправдание королевских чиновников, объявленных в минувшем году государственными преступниками. Ему нужно было сбалансировать бюджет (или хотя бы максимально сократить разрыв между расходами и доходами) и при этом всеми возможными способами предотвратить критическое и враждебное отношение со стороны палаты общин. Требовалось найти средство облегчить финансовое бремя сословия, представляемого палатой общин, и в то же время увеличить поступления в королевскую казну. И Гонт решил перенести упор с обычного обложения пошлинами движимой собственности (налога, особенно непопулярного, по понятным причинам, среди купцов, для которых их большие запасы товаров становились сущим разорением) на «сбор гротов», т. е. на обложение налогом в размере «одного грота, или четырех пенсов [4 доллара], всех мирян обоего пола старше четырнадцати лет» (за исключением «заведомых бедняков, публично просящих подаяния») и налогом в «двенадцать пенсов всех членов религиозных орденов, как мужчин, так и жен-

* «Кентерберийские рассказы», с. 47.

щин, и всех духовных лиц, рукоположенных в священный сан»⁷.

Эта новая стратегия в какой-то степени уменьшила бремя налогов, взимаемых с купцов и хозяев мастерских (поставив под удар старых врагов Гонта, церковников), и одновременно с этим расширила, во всяком случае в теории, базу налогового обложения. Идея была хитроумна, но несправедлива по отношению к беднякам. Если этот план действительно исходил от Гонта, а как человек, замещающий короля, Гонт, по всей вероятности, являлся-таки его автором, то ненависть к нему участников крестьянского восстания 1381 года была им вполне заслужена. Тем не менее в защиту Гонта нужно сказать следующее: 1) Гонту было крайне важно заручиться поддержкой палаты общин ради достижения такой похвальной цели, как восстановление в стране доверия к центральному правительству — иными словами, к короне или, пользуясь сегодняшней терминологией, к государственному аппарату; 2) Джон Гонт и все его приближенные, включая Чосера, с возрастающим сочувствием относились в более поздние годы к угнетенным и проявляли серьезную озабоченность их общим благом, хотя большинство крестьян никогда не простили Гонту того, что они сочли жестокостью и «надменным безразличием» с его стороны; 3) последнее лишний раз свидетельствует о том, что для Гонта, как и для любого политика того времени, крестьянство являлось в 1377 году неизвестной величиной. Никто не знал, сколько насчитывается в стране крестьян, какие у них средства, ни даже того, что в разных местностях жизнь крестьян регулировалась разными административными правилами и обычаями.

Крестьяне не замедлили указать на несправедливый характер плана Гонта. У них нашлись первоклассные адвокаты, которые доказали, что налог непомерен. Восставая против несправедливого обложения, крестьяне давали неправильные сведения о своей численности, так что подушный налог платил, может быть, один из десяти. В 1379 году Гонт (или кто-то другой) отреагировал на это введением нового «дифференциального налога», в некоторых отношениях сопоставимого с нашим современным подоходным налогом и основанного на признании факта социальных различий. Историки обычно интерпретируют введение прогрессивного налога как свидетельство признания палатой общин принципа социальной справедливости, но эта интерпретация представляется сомнительной. Ведь в 1379 году никому и в голову не приходило,

что страну охватит пожар крестьянского восстания. Прогрессивный подоходный налог был введен по той простой причине, что, будучи более справедливым, он мог быть собран с меньшими трудностями. План этот почти наверняка был предложен не палатой общин, а Гонтom.

На практике сбор этого налога действительно оказался делом более или менее осуществимым. Но взимание налога производилось такими мошенниками, что собранная сумма оказалась совершенно недостаточной. На январской сессии парламента 1380 года лорд-канцлер Ричард Скруп объявил, что поступления в казну от подушной подати «вкуже с подобным же денежным вкладом, сделанным... духовенством», составили менее 22 000 фунтов — и это тогда, когда полугодовое жалование английскому войску превышало 50 000 фунтов. Признание Скроупом провала финансовой политики привело к замене его Саймоном Садбери, архиепископом Кентерберийским. Садбери вернулся к налогу на «движимость», но и его постигла неудача. Доведенное всем этим до крайности правительство снова созвало парламент. Памятуя о своей непопулярности у лондонцев, оно намеренно назначило местом проведения сессии не Вестминстерский дворец в Лондоне, а Нортгемптон. Садбери нарисовал верную во всех подробностях и удручающую картину финансового положения страны, следствием чего явилось введение в 1380 году единого подушного налога в размере трех гров.

Это было решение, продиктованное паникой, о чем, должно быть, знал Гонт и уж тем более должен был знать Чосер, который теперь снова жил в Англии, прислушивался к ропоту простых рабочих и моряков в таможене во время разгрузки судов, рассуждал о жизни с друзьями, мыслящими людьми, у себя дома над Олдгейтскими воротами. Но правительство не имело другого выбора. Прогрессивный подоходный налог, справедливый в принципе, совершенно не оправдал себя на деле, и палата общин больше не хотела о нем и слышать. Налог на «движимость» был невыгоден для членов палаты общин, и они бы его тоже не приняли. Гонт с его миллионами не мог понять, что уплата трех гров была решительно не по средствам для большинства крестьян. В предвидении неизбежного массового уклонения от уплаты налога правительство было вынуждено принять суровые меры по взысканию: эффективной программой выявления уклоняющихся предусматривалась посылка на места следственных комиссий, наделенных полномочиями карать

неплательщиков заключением в тюрьму или другими «необходимыми» способами. На беду, жестокие меры оказались действенными. К концу мая в казну поступило 37 000 фунтов стерлингов, приблизительно четыре пятых предполагаемой общей суммы поступлений. Но к пороховой бочке уже был поднесен факел. В тех местах, где действовала королевская следственная комиссия, произошел взрыв народного гнева. Первыми восстали графства, окружающие Лондон, и Восточная Англия: тут жили наиболее состоятельные крестьяне с более высоким классовым сознанием, да и старая манориальная система в этих графствах расшаталась сильнее, чем в других местах. Волнения начались в Эссексе в конце мая 1381 года и, как пожар, распространились по всему Кенту, где у семейства Чосеров, вероятно, имелась недвижимая собственность. Именно в Кенте действия восставших крестьян больше всего напоминали тактику, которой они обучились, когда в качестве английских ратников сражались во Франции, — тактику грабежа, поджогов, убийства наиболее ненавистных лиц.

Брат сэра Джона Бэрли, друга Чосера и его соотарища по некоторым дипломатическим миссиям, сэр Саймон Бэрли, с которым Чосер будет служить впоследствии в должности мирового судьи и который накануне восстания был любимым ученым-наставником короля Ричарда, упоминается в летописях как один из самых строгих королевских чиновников. Поскольку Чосер будет позднее тесно связан с сэром Саймоном, интересно было бы узнать, что думал он, слушая рассказ о поведении своего коллеги в таком, например, эпизоде:

«Затем, в духов день [3 июня], сэр Саймон де Бэрли, рыцарь королевского двора, прибыл в Грейвсенд в сопровождении двух парламентских приставов и предъявил права на одного жителя как на собственного своего крепостного. Добрые горожане явились к Бэрли, чтобы уладить это дело любовно из уважения к королю, но сэр Саймон потребовал не менее 800 фунтов стерлингов серебром [72 000 долларов] отступного — сумму, которая разорила бы упомянутого человека. Услышав это, добрые горожане Грейвсенда просили Бэрли смягчить свое требование, но им так и не удалось поладить с ним или убедить его уменьшить эту сумму, хотя они и говорили ему, что этот человек христианин и пользуется доброй славой и посему не должен быть обречен на полное разорение. В ответ на что помянутый сэр Саймон рассердился и повысил голос, выказав большое презрение

к этим добрым горожанам; в надменности сердца своего он повелел приставам связать того человека и отвести в Рочестерский замок для содержания его там под стражей. Много зла и вреда причинил сей поступок; после отъезда рыцаря простой народ поднял восстание, и восставшие охотно принимали в свои ряды людей из многих кентских приходов и поместий»⁸.

В поэзии Чосера любые крайности, и особенно крайности, порожденные уверенностью в собственной правоте, подвергаются осмеянию, и мы можем с полным основанием предположить, что упрямство, с которым Бэрли настаивал на уплате причитающихся, как он считал, ему денег, какими бы страданиями ни обернулось это для его бывшего крепостного или для всей Англии, было бы расценено Чосером как проявление тупого безрассудства. Хотя крестьяне могли иной раз выглядеть «грязным и неприятным сбродом» (как аттестовал своих солдатянки Джордж Вашингтон), Чосер, вероятно, сказал бы Бэрли (если бы возникла необходимость выразить свое мнение) то, что он написал в балладе «Благородство»:

Спаситель дал нам в благородство веру,
И тот, кто хочет благородным быть,
Обязан следовать его примеру,
Творить добро, а про грехи забыть.
Не сможет знатный благородным слыть,
Пусть удостоен митры он, венца,
Коль добродетель тронула гнильца.

Поскольку графство Кент было невелико по размерам и далеко не так плотно заселено, как в наше время, Чосеру, имевшему родственников и знакомых среди зажиточных обитателей Кента, наверняка было известно то, чего мог и не знать Бэрли, чужак в этом краю: жители графства Кент были гордыми людьми, верными королю, но по горло сыты произволом его министров. Если Бэрли полагал, что малейшее проявление уступчивости с его стороны откроет путь анархии, он ошибался. Его непреклонность лишь подтвердила худшие опасения обитателей Кента в отношении людей этого типа, и Кент пошел на них войной. Бэрли имел дело не просто с неблагодарными крестьянами, а с людьми, исполненными воодушевления и предводительствуемыми решительными вождями, такими как Уот Тайлер, Джек Стро и Джон Болл. Крестьяне Кента, Эссекса, Суссекса и Бедфордшира до основания разрушали дома, сжигали хозяйственные постройки и посевы, а потом, по свидетельству Фруассара, шестидесятитысячной армией двинулись на Лондон, чтобы со-

единиться там с угнетенными и разгневанными ремесленниками-подмастерьями.

Чосер наблюдал их приход из своего дома над Олдгейтскими воротами. О том, какие мысли это у него вызвало, он нигде не говорит. Лишь вскользь упоминает он об этом событии в «Рассказе монастырского капеллана», в юмористическом тоне сравнивая крики пожилой вдовы, двух ее дочерей и всей домашней живности (когда злокозненный лис утащил их петуха) с ужасным шумом, поднятым Джеком Стро и «его оравой», когда они бросились избивать фламандцев:

Услыша во дворе переполох,
Спешит туда вдова, не чуя ног,
И, чтоб беде неведомой помочь,
Бежать скорей она торопит дочь.
А та лису с добычей увидала.
«Лиса! На помощь! — громко закричала, —
Ату ее! Вон убегает в лес!»
И через луг спешит наперерез.
За нею с палками бежит народ,
И пес Герлен, и Колли, и Талбот,
Бежит корова, а за ней телята
И вспугнутые лаем поросята,
Соседка Молкин с прялкою в руке
И старый дед с клюкою, в колпаке, —
Бегут, запыхавшись до полусмерти,
И все вопят, как в преисподней черти.
И кричат утки, копошатся мыши,
Перелетают гуси через крыши,
От шума пчелы покидают ульи.
Но передать тревогу ту могу ль я?
Джек Стро, наверно, так не голосил,
Когда фламандцев в Лондоне громил.
И не шумней была его орава,
Чем эта многолюдная облава.
Кто рог схватил, а кто пастушью дудку,
Трубил, дудел всерьез, а то и в шутку,
И поднялся у них такой содом,
Как будто бы земля пошла вверх дном*.

Этот пассаж с его пародийно-эпическим строем и стремительным напором ритмов исполнен типично чосеровской веселой динамики, однако упоминание о крестьянском восстании кратко, и даже окружающие его комические сравнения с воплями чертей в преисподней и со светопреставлением мало говорят нам о подлинных чувствах Чосера. О том, что он чувствовал, можно, впрочем, догадаться. Ведь Филиппа Чосер была фламандка и, как жена друга Джона Гонта, «самого ненавистного человека

* «Кентерберийские рассказы», с. 231.

в Англии», во всяком случае в глазах простого народа, она, как и сам Чосер, подвергалась вполне реальной опасности.

Успех крестьян в 1381 году лишь отчасти объяснялся решительностью их действий, хотя они действовали достаточно решительно. Те, против кого они выступали, главные королевские министры, были, на свою беду, в общем и целом людьми непредубежденными, людьми иного склада, чем Саймон Бэрли. Лорд-канцлер архиепископ Садбери, которого поставили у кормила правления, оторвав его от тихой жизни в Кентербери, потому что за ним укрепилась репутация мудрого и праведного пастыря, был человеком мягким и рассудительным. По меткому замечанию профессора Омана, «английская церковь, по всей вероятности, причислила бы его к лику своих святых мучеников, прояви он сам больше готовности делать мучеником из других». Так, он отказался сокрушить предполагаемую ересь Уиклифа, поскольку выдвинутые Уиклифом аргументы заставляли задуматься. Государственные дела, в том числе и сбор налога, он вершил со скрупулезной честностью, как, между прочим, и его коллега казначей сэра Джон Хейлс, «благородный рыцарь, хотя и не пользовавшийся любовью палаты общин». Такие люди не могли бороться с крестьянским восстанием, потому что у крестьян, как они хорошо знали, была своя правда. Они колебались, раздумывали, старались поступать справедливо, и дело кончилось тем, что после длинных гневных речей, полных обвинений, восставшие отрубили им головы.

Неспособность королевского правительства и властей города Лондона подавить восстание в самом его начале объясняется все той же нерешительностью и замешательством. Советникам короля было известно о том, что городские низы сочувствуют восставшим, и они наверняка яростно спорили друг с другом о том, что следует предпринять. Сторонники взглядов Гонта выступали за умеренность (сам Гонт находился тогда в Шотландии, ведя переговоры о мире, которые из-за вспыхнувших бунтов кончились ничем); люди вроде старого наставника короля Саймона Бэрли ратовали за принятие более суровых мер. В конце концов они, судя по всему, пришли к выводу, что единственная их надежда — это политика умиротворения. Начали с попытки вступить в переговоры с восставшими. Король, его канцлер, казначей и личная свита двинулись водным путем из Тауэра, чтобы встретиться с крестьянами. Но у бунтовщиков был решительный

и устрашающий вид: вилы угрожающе подняты, большие луки готовы к бою, боевые полотнища развернуты. Восставшие громко требовали выдать им головы Гонта и других важнейших должностных лиц государства. Королевская барка в смятении повернула обратно. Обманувшись в своей надежде переговорить с королем и зная, что запасы его армии на исходе, Уот Тайлер повел восставших в Соуерк, где они выпустили узников из тюрьмы Маршалъси и разрушили дом королевского маршала, после чего двинулись в Ламбет, чтобы сжечь архивы канцлерского суда, и в первую очередь, конечно, документы о крепостных повинностях. Отсюда они пошли к Лондонскому мосту и с помощью своих единомышленников из числа горожан вступили в Лондон. Продвигаясь по Флит-стрит, они открыли двери тюрьмы, затем направились к Темплу, где сожгли судебные бумаги и дома юристов, а также дома государственных чиновников. Лондонцы тем временем разрушили самое красивое здание в Англии, где некогда была служительницей Филиппа и частенько появлялся среди гостей Чосер, — дворец Джона Гонта Савой. Великолепная обстановка дворца, витражи, столовое серебро, драгоценности и роскошные одеяния — все было растоптано толпой, сожжено или брошено в Темзу. Остальное доделал порох, оставивший на месте дворца груды почерневших камней. Вероятно, по приказу Тайлера разгром этот не сопровождался грабежом. «Мы не воры и не грабители, — говорили о себе восставшие, — мы ревнители правды и справедливости». Одного человека, пойманного с украденной серебряной вещицей, швырнули в огонь вместе с его добычей.

Юный король Ричард, наблюдавший из Тауэра, как повсюду в городе занимают пожары, тщетно просил помощи у своих советников и, наконец взяв бразды правления в собственные руки (если верить хроникам тех лет), помиловал бунтовщиков, обещал удовлетворить их жалобы и повелел им явиться следующим утром на встречу с ним в Майл-Энд. Король сдержал слово. Когда он с небольшой свитой прибыл на место, огромная толпа опустилась на колени с возгласом: «Рады видеть тебя, король Ричард! Мы не хотим никакого другого короля, кроме тебя». Ричард обещал, притом искренне, наказать любых «предателей королевства» (под каковыми крестьяне подразумевали людей вроде Гонта и надсмотрщика таможни Джеффри Чосера), если их измена будет доказана в законном порядке. Но уже тогда, когда король

давал это обещание, поздно было действовать в законном порядке. Другая толпа восставших в этот самый момент штурмовала Тауэр, где шестьсот тяжеловооруженных всадников и шестьсот лучников — как видно, в интересах умиротворения, — отступив, пропустили толпу внутрь. Крестьяне обшарили гардероб короля, где хранились королевские доспехи и оружие, и, не обуздываемые такими ревнителями дисциплины, как Тайлер, ворвались в королевские опочивальни и «пытались фамильярничать» с насмерть перепуганной пожилой толстухой принцессой Иоанной, вдовой Черного принца и матерью короля. Затем, застав за молитвой Садбери, Хейлса и других, они поспешно отвели их к месту казни.

Однако проявленная Ричардом умеренность несколько разрядила атмосферу. Большие толпы крестьян покинули Лондон, поверив обещаниям, которые он дал в Майл-Энде, а с оставшейся частью разношерстной крестьянской армии, возглавляемой Уотом Тайлером, Ричард условился встретиться на следующий день на Смитфилдской площади. И снова король Ричард стал героем дня. История этой встречи блистательно рассказана Уолсингемом, но я вынужден изложить здесь несколько измененную версию, которая, судя по всему, ближе к истине⁹.

Уот (Уолтер) Тайлер, уроженец Кента и в прошлом воин, был пылким и умным революционером, хотя и не в современном значении этого слова, ибо добивался он возвращения к прошлому, к обычаям минувших дней, к прямому общению между человеком из народа и королем в мире, который стал насквозь иерархичным. Он ратовал не за «всеобщую свободу» в нынешней ее трактовке, а за свободу взаимного понимания и взаимного уважения между королем и подданным. В наше время он, вероятно, стремился бы к свержению всего правительства вместе с его главой, но, будучи дитящем XIV века, он всем сердцем верил в короля, хотя ненавидел королевских министров. Поэтому Уолсингем, как видно, не погрешил против истины, утверждая, будто Тайлер хотел (думая, что того же хочет и король), чтобы ему и его людям «было поручено казнить всех юристов, судейских и прочих, обученных праву или имеющих дело с законом по должности». Вероятно, справедливо утверждение Уолсингема: «Он считал, что после того, как все законники будут перебиты, все на свете будет впредь регулироваться постановлениями простых людей». Иначе говоря, Тайлер хотел заменить хитроумные «писанные законы» и беспощадное ремесло крючкотворцев-законников пра-

вом «простого здравого смысла», общим правом, как его понимали крестьяне и люди, подобные легендарному королю Беовульффу.

Когда Тайлер явился на Смитфилд для переговоров с королем, его встретил не король, как то было обещано, а рыцарь сэра Джон Ньюфилд. Рыцарь выехал к нему навстречу на боевом коне, вооруженный, чтобы выслушать то, что он имеет сказать. По версии Уолсингема, «Тайлер вознегодовал, потому что рыцарь подъехал на коне, а не подошел к нему, спешившись, и в ярости заявил, что было бы более приличным приближаться к его особе пешком, а не верхом на лошади». С этими словами Тайлер вынул нож. Ньюфилд обнажил свой меч. Тайлер не дрогнул и приготовился к бою — не из-за того, что «счел нестерпимым такое оскорбление перед лицом крестьян», но из ненависти к знатым и из принципа.

Видя, что сэра Джон подвергается опасности, и желая успокоить разгневанного Уота Тайлера, король Ричард строго приказал сэру Джону слезть с коня и отдать меч, который он поднял на Уота. Ньюфилд повиновался. Но Тайлер, по словам Уолсингема, не отказался от желания убить своего обидчика. Может быть, и так — гнев толкает людей на странные поступки. Но последовавшее далее совершалось каким-то до странности неспешным, до странности нарочитым образом, так что вся эта сцена смахивает на откровенное убийство, ликвидацию представителем купеческого сословия вожака армии работников:

«Мэр Лондона Уильям Уолворт [тот самый плутоватый толстяк Уолворт, что был сборщиком податей в таможене у Джеффри Чосера и тесно сотрудничал со сборщиком Ником Брембром, который однажды повесил двадцать два своих недруга на одном дереве] и многие королевские рыцари и оруженосцы, стоявшие поблизости, подошли к королю, ибо допустить, чтобы в их присутствии благородный рыцарь пал у него на глазах столь бесславной смертью, было бы, по их разумению, неслыханным и невыносимым бесчестьем...

После чего король, хотя совсем еще дитя, собрался с духом и приказал мэру Лондона арестовать Тайлера. Мэр, человек несравненной решительности и храбрости [1], без лишних слов арестовал Тайлера и нанес ему сильный удар по голове. Тут Тайлера окружили приближенные короля и в нескольких местах пронзили его тело мечами».

Так умер Уот Тайлер. Он стал жертвой собственного

идеализма. Тайлер верил, что стоит ему поговорить с королем, и он добьется справедливости. Как знать, может быть, он и добился бы ее, если бы застал короля одного. Ему не повезло, как, впрочем, не повезло и Ричарду, который ни при каких обстоятельствах не хотел убийства Тайлера.

Крестьяне, на глазах которых совершилось убийство, по словам Уолсингема, вскричали: «Наш вождь умер, нашего предводителя злодейски убили. Так останемся же здесь все и умрем вместе с ним, подожжем наши стрелы и жестоко отомстим за его смерть!» Приведи они свою угрозу в исполнение, сам король, возможно, был бы убит. Однако король, проявив (согласно Уолсингему) паразитическое для столь юного возраста присутствие духа и мужество, пришпорил коня, поскакал навстречу крестьянам и, въехав в гущу толпы, воскликнул: «Что вы такое говорите, мои подданные? Что вы задумали? Неужели вы станете стрелять в вашего короля? А я в самом деле буду вашим королем, вашим вожаком и вашим предводителем! Следуйте за мной!»

Как по мнению хронистов — современников тех событий, так и по мнению большинства историков от тех времен до нынешних, это была уловка. Цель Ричарда, говорят нам, состояла в том, чтобы увести крестьян от Смитфилда и помешать им поджечь окружающие дома. Но это, конечно, лишь половина правды. Хотя Ричард и стремился предотвратить поджоги, он тем не менее был искренен. Подобно королю Альфреду древних времен, который служил ему образцом для подражания, Ричард считал (и будет считать так всю жизнь), что в «малых мира сего» его сила и что он обязан печься о них. Ведь в конечном счете он и погибнет, пытаясь сформировать из них армию для борьбы с собственными крупными феодалами.

Тем не менее соглашения, которые он заключил со своими восставшими крестьянами, были все до одного порушены феодалами из окружения короля и его мудрыми старыми советниками, включая Бэрли и мэра Лондона Уолворта. В награду за то, что они поверили обещаниям молодого короля, крестьян ждала казнь за измену: повешение с последующим четвертованием или отсечение головы. Джон Гонт, обычно выступавший в королевском совете за проявление умеренности, на много месяцев задержался по делам королевства на севере, но, будь он даже в Лондоне, ему наверняка ничего бы не удалось изменить. Король, давая свои справедливые и идеалистические обещания, представления не имел о степени

развращенности его правительства, равно как и о том, какой угрозе подвергались люди его окружения, люди, которых он любил (Джон Гонт, Саймон Бэрли или славный придворный поэт). Добейся ангелоподобно красивый голубоглазый король строгого выполнения своих обещаний — и он оказался бы человеком без родных и друзей или только с друзьями, подобными «безумному священнику из Кента». Однако, к стыду и конфузу, негодованию и огорчению юного доброго короля, верх взяли сторонники более циничного, но в конечном счете и более умеренного образа действий.

Не прошло и года, как у короля появились новые, более приятные заботы. Государственным деятелям, годами искавшим случая заключить династический брачный договор, который усилил бы Англию, наконец-то улыбнулась удача. Далекая Богемия, действуя по своей собственной инициативе, обратилась к Англии с матримониальным предложением. Черноглазая принцесса Анна, воплощенная утонченность и мягкость, выразила заинтересованность в заключении посредством брачных уз союза с могущественной (с чешской точки зрения) Англией. Представители Англии на последовавших переговорах — вполне возможно, что в их числе был и Джеффри Чосер, — изучая это предложение, боялись поверить в неожиданную удачу, но чем больше они вникали в суть дела, тем заманчивей представлялась им эта женитьба: Богемия присоединяла к союзу с Англией свою собственную систему союзов с немецкими и славянскими государствами. Что до Ричарда, обвенчавшегося с Анной в 1382 году, то ему невероятно повезло, если учесть, что династические браки по расчету, как правило, не бывали счастливыми. Он полюбил Анну и продолжал преданно любить ее все двенадцать лет до ее смерти. Когда она умерла, горе его было так велико, что он приказал разрушить любимый дворец, где его мучили воспоминания о невозвратном прошлом.

Нам нужно было более или менее подробно остановиться на условиях, которые привели к крестьянскому восстанию, и на том, какую позицию занимали тогда король Ричард и его придворные советники, так как это проливает важный свет на позднейшую поэзию Чосера и его дружески преданное, хотя подчас и критическое отношение к королю. Но, занимаясь рассмотрением общих исторических вопросов, пусть даже и проясняющих наше понимание предубеждений и опасений Чосера,

мы оставляли в стороне не менее важные для нас конкретные подробности биографии Чосера в период от коронации Ричарда до крестьянского восстания, поэтому для пользы дела вернемся немного назад.

Период между 1377 и 1382 годами был для Чосера не только временем дурных предчувствий — временем, когда враждебность крестьян к правительственным чиновникам непосредственно угрожала его личной безопасности и безопасности всей его семьи, — но и временем почти непрекращающихся неприятностей, огорчений, досадных незадач. Почти непрерывно ему приходилось переносить тяготы, связанные в средние века с путешествиями. После первой своей поездки в составе посольства, имевшего целью посватать Ричарда за Марию Французскую и заключить соответствующий брачный договор (1376 год), Чосер в конце февраля — марте 1377 года ездил во Фландрию и побывал во Франции, в частности в Париже и Монтрё, возможно по-прежнему выполняя ту же матримониальную миссию (если верны данные, согласно которым Мария умерла в мае). Так или иначе, он путешествовал за границей «по секретному делу короля» и, вероятно, все это путешествие, либо его часть, проделал в обществе известного военачальника и дипломата, ветерана мирных переговоров сэра Томаса Перси, который уезжал из Англии в то же время и посетил, согласно сохранившимся документам короны, те же места. Весной 1377 года Чосер совершил еще несколько поездок за границу, надо полагать, выполняя трудные и ответственные поручения, потому что в апреле месяце он получил за свою работу 20 фунтов стерлингов (4800 долларов), а в мае Чосера, по всей очевидности, уже снова не было в Англии, поскольку в этом месяце его заместителем в Лондонском порту был сделан некий Томас Ившем, «гражданин Лондона» и заимодавец короля, годами связанный со сбором таможенных пошлин, которому было поручено выполнять за Чосера работу, пока тот находится «в дальних краях». Трясаясь мило за милей в седле, или тащась в средневековом рыдване через леса, кишасшие разбойниками, или же стоя на палубе утлого суденышка, которому ежеминутно угрожала опасность встречи в море с кораблями французов или пиратов, а в мыслях уносясь обратно в Англию, где на таможене теперь хозяйничали жулики, подвергая угрозе не только его репутацию, но и саму жизнь, поэт должен был призывать на помощь всю свою прославленную жизнерадостность, чтобы не пасть духом. В конце июня

1377 года он вновь отправился за границу — на этот раз вести переговоры о женитьбе короля Ричарда на какой-то другой французской принцессе (Мария к тому времени умерла), — правительство удосужилось оплатить его расходы по этой дипломатической поездке лишь 6 марта 1381 года.

На этом странствия Чосера не кончились. С 28 мая по 19 сентября 1378 года его замещал по службе новый заместитель, Ричард Баррет, который около четырнадцати лет был связан с лондонской таможней. В течение этих месяцев Чосер совершил вторую, как принято считать (а на самом деле, может быть, и третью), поездку в Италию, на сей раз — мы уже имели случай упомянуть об этом — в Ломбардию, чтобы переговорить с правителем Милана Барнабо Висконти о возможности брачного союза с Екатериной. Возможно, что миссия Чосера включала в себя также ведение переговоров по военным вопросам при участии зятя Барнабо сэра Джона Хевуда (поездка Чосера была оплачена по счету военных расходов) и переговоров об улаживании запутанных отношений Англии с папой Галеаццо Висконти.

По всей видимости, Чосер отправился в Италию во главе небольшого отряда, в котором было, помимо него, еще пять человек. Переправившись морем из Дувра в Кале, он вновь пустился в утомительное, унылое путешествие по суше, делая от силы миль пятьдесят в день. Дорога шла сначала через Францию с ее по-летнему живописными, хотя и обезображенными войной долами и холмами, затем стала подниматься в пустынные, наводящие ужас Альпы. Тут уж путникам, с трудом продвигавшимся горными дорогами под музыку водопадов, пришлось намучиться: лошади, в хлопьях пены, напрягались из последних сил и в испуге пятились, когда дорога поворачивала под гору; вероятно, испуганно озирался по сторонам и наш герой, ибо на этот раз партия путешественников была малочисленной и могла подвергнуться разбойничьему нападению диких горцев. Впрочем, к тому времени отряд Чосера, возможно, соединился с партией сэра Эдуарда Беркли — десять человек и десять лошадей, — который, видимо, входил в состав того же посольства. Находясь в Ломбардии, поэт наверняка наведывался в фамильную библиотеку Висконти, которая была предметом законной гордости этого рода и могла похвастать тогда одной из красивейших книг в мире — знаменитым «Часословом» Висконти.

Уезжая в Италию, Чосер назначил своими поверен-

ными, которые ограждали бы его интересы в случае судебных тяжб, поэта Джона Гауэра и Ричарда Форестера (или Форстера) — вероятно, того самого Форестера, который в 1369 году служил вместе с Чосером при дворе в ранге эсквайра, а впоследствии стал преемником Чосера как арендатор дома над Олдгейтом. Зачем понадобились Чосеру услуги адвокатов, с достоверностью сказать нельзя. Вполне могло стать, что он просто решил обезопасить себя на всякий случай. При отъезде за границу было в порядке вещей заручиться на время своего отсутствия защитой от исков в суде с помощью «охранных листов». Но в тех обстоятельствах охранные листы, возможно, казались Чосеру недостаточно надежной защитой. Они защищали человека от судебного преследования, но не обеспечивали его правовыми средствами предъявления исков к другим с целью взыскания или в порядке самозащиты. В свете всеобщей враждебности к правительственным чиновникам Чосер, видимо, счел за благо принять все доступные меры предосторожности.

Дорожные неудобства нескончаемо долгого путешествия в Италию не были единственной отрицательной стороной этой поездки. Похоже, она не принесла Чосеру ощутимых материальных выгод. Более того, едва только поэт вернулся в Англию, на него посыпались мелкие денежные неприятности — требования об уплате казне долгов за прошлый год, в частности два требования о внесении канцелярских пошлин (за скрепление печатью жалованных грамот — сборы, несколько напоминающие высокие нотариальные пошлины в современной Англии) и требование лондонского шерифа от 1377 года о возвращении Чосером денег, переплаченных ему казной. Чосер добился отказа истцов от этих требований, а в ноябре месяца требовал с казначейства недовыплату по ренте, пожалованной в свое время его жене, с момента подтверждения Ричардом этого пожалования. Почти наверняка тут не обошлось без помощи Джона Гонта.

Как видно из сказанного (и весь дальнейший опыт Чосера подтверждает это), в XIV веке работать на правительство — при всей престижности этого занятия — было накладно и хлопотно. Осложнения, с которыми Чосер столкнулся в конце 70-х годов при получении из казны того, что ему причиталось, были лишь началом. Хотя в иные периоды ему и Филиппе сполна и в срок выплачивались положенные суммы — например, когда он лично вел учет шерсти в таможне и в силу этого тесно

сотрудничал с персоналом казначейства (надо сказать, что вообще-то ему лучше, чем большинству других английских государственных служащих XIV века, удавалось стребовать с казначейства собственное жалованье), — сплошь и рядом он оказывался вынужденным прибегать к всевозможным уловкам, чтобы получить деньги, которые ему была должна казна: добиваться прощения короной его собственных долгов ей (как тогда, когда в бытность свою чиновником по производству королевских строительных работ он был ограблен разбойниками, отобравшими у него казенные деньги), обращаться с просьбами о денежных пожалованиях, занимать деньги у казначейства и просить затем о погашении долга (излюбленный прием Алисы Перрерс) или же — вероятно, это средство он приберегал на самый крайний случай — обращаться за содействием к Джону Гонту. За участие в переговорах 1376—1377 годов во Франции Чосер не получал никакой платы вплоть до 1381 года, да и тогда только в форме «подарка» от короля (22 фунта стерлингов, или 5280 долларов), а за поездку в Ломбардию ему выплатили деньги только в ноябре 1380 года. Разумеется, все эти финансовые неприятности чинили ему не Ричард и не члены правительственного совета, а сквалыжные по долгу службы королевские чиновники. Ведь неписанный закон обремененного долгами правительства гласил: «Никогда не плати, пока кредитор не возьмет тебя за горло».

Хотя получение из казны причитающегося всегда было сопряжено с затруднениями, это еще не значит, что Чосер терпел в ту пору большую нужду. Помимо ренты, он получал жалованье за работу в таможене, составлявшее 10 фунтов стерлингов в год (2400 долларов), плюс ежегодное «вознаграждение» в размере 10 марок (1600 долларов), плюс различные премиальные, не говоря уже о том, что таможенная служба, возможно, приносила ему значительно больший доход. Как надсмотрщик таможни, он давал присягу в том, что никогда не будет принимать «подарков» за исполнение своего служебного долга, но обязательство это не всегда строго соблюдалось; более того, нарушали его, наверно, гораздо чаще, чем соблюдали, как это явствует из дела некоего Джона Белла, которого уличили на суде в том, что он принимал денежные дары. Чосер, кроме того, получал жалованье (размер его нам не известен) за исполнение второй своей должности — надсмотрщика «малой таможни», а также за отправление обязанностей таможенного контролера по шерсти и субсидиям. Следует добавить, что, помимо этих

жалований, премий и прибавок, Чосер некоторое время получал вознаграждение за выполнение опекунских обязанностей, возложенных на него королем. Когда в 1375 году умер кентский землевладелец Эдмунд Стэпгейт, оставив своим наследником несовершеннолетнего сына, носившего то же имя, Чосер был назначен опекуном ребенка. Ему вменялось в обязанность содержать подопечного сообразно его состоянию и заботиться о сохранении его имущества — все это за определенную плату; помимо всего прочего, это означало, что наследник мог жениться только с согласия опекуна, которому выплачивалась определенная сумма. В данном случае Чосер получил 104 фунта стерлингов (24 960 долларов). Чосеру была также поручена опека над Уильямом, сыном Джона Соулса, другого кентского землевладельца, и над феодальным сюзереном Уильяма, несовершеннолетним Ричардом, лордом Пойнингом. Попечительство над обоими приносило Чосеру немалый доход.

Сложив вместе все дела и занятия Чосера в конце 70-х — начале 80-х годов — многочисленные путешествия в далекие края по королевским поручениям, многочисленные баталии с казначейством за выплату вознаграждения за его работу, инспекционные поездки в Кент для осмотра имений своих подопечных, встречи с Гонтон и другими высокопоставленными лицами для обсуждения вопросов внешней политики с целью выработки правительственной позиции по отношению к договорам, о которых Чосеру и его коллегам-дипломатам предстояло вести переговоры, собственноручная регистрация учетных операций на таможне (когда его никто не замещал) и вдобавок ко всему этому сочинение по меньшей мере одной большой и сложной поэмы («Птичий парламент»), явившейся плодом долгого изучения предмета и многих размышлений, — мы начинаем лучше понимать роль его насмешливого замечания по адресу юриста в «Кентерберийских рассказах»: «Работник ревностный, пред светом целым, / Не столько был им, сколько слыть умел им» *. При всех своих неторопливо-беспечных привычках, при всей своей готовности отложить дела, чтобы познакомиться с поэтическим творением какого-нибудь юного пиита или остановиться поболтать о том о сем со встречными незнакомцами (он не раз изображает себя в своих поэмах предающимся подобным занятиям), Чосер, не хуже кого бы то ни было в Англии,

* «Кентерберийские рассказы», с. 41.

знал, что такое быть по-настоящему ревностным работником.

Авторы, писавшие о Чосере, порой выражали досаду в связи с тем, что он-де недостаточно осветил в своем творчестве такие вопросы, как крестьянское восстание Уота Тайлера, и зачастую объявляли его нравственным приспособленцем. Так, Олдос Хаксли сетует: «Там, где Ленгленд гневно возвышает голос, грозя соотечественникам геенной огненной, Чосер посматривает по сторонам и улыбается», а Дж. Дж. Коултон выражает свое неодобрение в совершенно таком же тоне: «Там, где Гауэр видит Англию в когтях дьявола без какой бы то ни было надежды на спасение, воспринимая действительность в еще более мрачном свете, чем Карлейль в самых кошмарных своих видениях; там, где более крепкий духом Ленгленд видит надвигающийся армагеддон — великое религиозное побоище... там Чосер с его неискоренимым оптимизмом видит прежде всего добрую старую Англию»¹⁰. Подобные упреки — сущий вздор. Изучая взгляды Чосера, воплотившиеся в его поэзии, мы обнаружим прежде всего то, что отмечал в нем профессор Говард Пэтч: «Если учесть, каковы были главные интересы изящной литературы его времени, остается, в конце концов, только поражаться тому, сколь сильны демократические симпатии Чосера, сколь мало он склонен ограничиваться изображением людей высокого звания и сколь велико его знание людей, принадлежащих к низшим слоям общества»¹¹. В сущности, во всех своих поздних поэтических произведениях, и особенно в «Кентерберийских рассказах», Чосер активно отстаивает необходимость сбалансированного отношения ко всем сословиям и проведения в жизнь социальной программы взаимной заботы и «общей выгоды», призывает людей учиться прощать, идти навстречу, брать на себя ответственность и проявлять понимание. Все творчество Чосера проникнуто настроениями, подобными тем, которые он выражает в «Рассказе священника» по отношению к кичащимся своим богатством:

«...от какого семени происходят простолюдины, от того же семени происходят и господа. И смерд, и сеньор одинаково могут спасти свою душу... Прими же, лорд, мой совет: относись к своим крепостным так, чтобы они не боялись тебя, но любили. Я хорошо понимаю, что одни стоят выше, другие ниже, как есть на то причина,

и что каждому человеку надо выполнять свой долг там, где ему определено, но прямо тебе скажу: не вымогай у стоящих ниже тебя и не презирай их, ибо сие достойно порицания».

С этим высказыванием близко перекликаются суждения героини «Рассказа батской ткачихи» о «благородстве», представленные в контексте рассказа как своего рода шутка, но тем не менее вполне серьезные по существу, так как Чосер станет снова и снова повторять их и в прозе, и в поэзии (как делает он это в своем совершенно серьезном стихотворении «Благородство»), словно пытаясь наставить на путь истины сеньоров из числа его придворных слушателей. Напрашивается сравнение этих суждений с идейным смыслом «Рассказа студента» о похвальном долготерпении крестьянской девушки Гризельды, вышедшей замуж за сеньора, капризное, своенравное тиранство которого — и непонимание им должной феодальной взаимозависимости и взаимной любви сеньора и вассала — содержит намек на наболевшие проблемы Англии. Батская ткачиха в своем рассказе только что утверждала, что женщины не переносят тиранства над собой и что там, где их тиранят, жены — иначе говоря, подданные — восстают. Рассказывая о жене, которая не взбунтовалась, студент в многочисленных репликах, обращенных к паломникам, отмечает мучительность ее положения и странность поведения ее мужа. Например, он говорит о склонном к тирании супруге Гризельды:

Испытывал Гризельдину любовь
Уже не раз он, и супругой верной
Она оказывалась вновь и вновь,
Зачем же снова муке беспримерной
Ее подвергнуть вздумал он? Наверно,
За мудрость это многие сочтут.
Я ж недомыслие лишь вижу тут *.

Привлекая внимание к положению Гризельды, находящейся в вассальной зависимости от мужа, и подчеркивая родство Гризельды с другими вассалами — жертвами тирании, Чосер старается сделать как можно более явными политические выводы из этого рассказа. И столь же ясно доводит до сознания слушателей и читателей свое политическое предостережение. Гризельда являет собой образец терпеливой покорности, но пусть ни один муж, ни один король не воображают, что те, кто им под-

* «Кентерберийские рассказы», с. 343.

властны, будут вести себя, как Гризельда. Эта история, говорит студент паломникам, рассказана не для того, чтобы другие жены подражали Гризельде: «В смиренность с ней сравнится ль кто? Едва ли» *. И уж совершенно впрямую взывает Чосер к разуму и справедливости в балладе «Великое шатание», адресованной королю Ричарду:

Блюди, король, достоинство и честь,
Будь правдолюбцем и слугой закона.
Цари и помни: бог над нами есть!
Добром пусть славится твоя корона,
Но острым меч держи, защиту трона.
Гони мздоимство, свой люби народ.
Искорени, король, в стране разброд.

Можно еще прибавить к этому жалобу Чосера на тиранию в «Легенде о добрых женщинах», по-видимому вставленную в поэму по той единственной причине, что она предназначалась для прочтения в королевском дворце в Элтеме или Шине.

Одним словом, профессор Пэтч, взявший Чосера под защиту и указывавший в этой связи на его озабоченность вопросами социальной справедливости и хорошее знание жизни низших слоев общества, сделал только первый шаг на пути к истине. Тогда как Ленгленд в обличительных тирадах клеймит пороки своего времени, грозя, что скоро господь возьмет земные дела в свои собственные руки, и тогда как Гауэр предупреждает, что общество поражено недугом, и призывает Ричарда принять какие-то меры — какие, он и сам не знает, кроме того, что следует «держат в узде» низшие сословия, — Чосер пишет тщательно продуманные философские стихи, в которых центральное место сплошь и рядом занимают вопросы политической теории. В стихотворных вещах, созданных в начале или середине рассматриваемого периода, таких, как стихотворение «Былой век», написанное в конце 70-х или начале 80-х годов, он выражает взгляды, близкие к взглядам Джона Болла и его последователей (с той разницей, что Чосер никогда не впадал в неистовый тон), а именно что изначально — во времена Адама и в золотом веке — все люди были равны и что прежний порядок нарушила гордыня. В поздней, так называемой «брачной», группе «Кентерберийских рассказов» Чосер гораздо более тонко и осторожно анализирует проблему соотношения прав, с одной стороны, и иерархического строя — с другой. Авторитарной по-

* Там же, с. 361.

зиции юриста — в рассказе которого проводится мысль, что подданному следует во всех превратностях судьбы сохранять постоянство: женщины должны с готовностью подчиняться мужчинам, вассалы — сеньорам и т. д., какие бы муки они ни терпели, — Чосер противопоставляет точку зрения батской ткачихи, которая на опыте узнала «все горести женитьбы», когда супруг — тиран.

Дальнейшее обсуждение, продолжающееся вплоть до «Рассказа франклина», слишком сложно для того, чтобы пытаться коротко изложить здесь его сущность, но мы можем, не рискуя впасть в чрезмерное упрощение, констатировать, что недалекий, но доброжелательный франклин высказывает мнение, близкое к позиции самого Чосера: все сословия должны руководствоваться «терпимостью».

Крестьянское восстание, разумеется, не могло вызвать у Чосера сочувствия. Он верил в иерархический порядок, где каждый должен принимать свой долг и подчиняться власти, и был до глубины души убежден в том, что если власть развращена — как он мог видеть это на протяжении большей части своей жизни, — то она должна сама и исправиться, без какого-либо вмешательства со стороны крестьян, ибо не их это дело. Крестьяне, забывшие, как ему казалось, свой долг и свое место, были ему ненавистны, но во всех прочих ситуациях он относился к ним с любовью: проникательным, все подмечающим взором наблюдал он их в горестях и радостях, а когда прошло некоторое время после их жестокого бунта и сердце его успокоилось, Чосер возложил вину за происшедшее не только и не столько на крестьян, сколько на богатых горожан и феодалов, трагическим образом нарушивших, по его мнению, установленный богом порядок вещей.

Фактически даже в 1381 году у Чосера, быть может, имелись личные причины в равной степени винить крестьян и феодалов. Профессор Уильямс указал на некоторые любопытные факты, связанные с имущественным положением Чосера в 1381—1382 годах. Влияние Гонта в правительстве сильно пошатнулось во время крестьянского восстания и нескольких месяцев непосредственно вслед за ним и оставалось шатким в течение всего его долгого пребывания на севере. Чосер, возможно, ощутил на себе последствия ослабления власти его покровителя. 19 июня 1381 года, сразу после восстания, Чосер продал лондонский дом своих родителей. 1 августа он просил выплатить ему авансом 6 шиллингов 8 пенсов (80 долларов) из

ренты, выплачиваемой ему правительством, и получил этот аванс. А 15 ноября обратился за аналогичным авансом, который и был ему выдан. В записи, датированной 29 сентября 1382 года, значит, что Чосеру и некоему Джону Хайду было выплачено вознаграждение за то, что они на протяжении предшествовавшего года последовательно занимали должность таможенного надсмотрщика. Возможно, в течение какого-то периода в 1381 году Чосер болел или был нетрудоспособен, но это предположение представляется сомнительным, поскольку ни в каком другом случае не возникала нужда в назначении нового надсмотрщика на время его отсутствия (обычно ему предоставлялся заместитель). А возможно и другое: когда влияние Джона Гонта как политической фигуры ослабло, Чосер добровольно отказался от должности, на которой он, как друг Гонта и как человек, не имеющий тесных связей с группой сборщиков, коих он был призван контролировать, оказался бы в небезопасном положении. Или могло оказаться, что враги Гонта сместили Чосера с должности, которая не только рассматривалась как теплое местечко, но и служила также наблюдательным пунктом, откуда можно было проследить, куда идут таможенные сборы. Уильямс пишет:

«Если Чосера сместили по той причине, что он был другом Гонта, то враги Гонта слишком поспешили. К концу года герцог, похоже, сосредоточил в своих руках больше власти, чем когда бы то ни было. В начале ноября 1381 года на пост лорд-мэра Лондона был избран кандидат Гонта Джон Нортгемптон; мало того, на сессии парламента, открывшейся примерно в то же время, самые могущественные враги Гонта были вынуждены смириться и униженно просить у него прощения за то, что отступились от него в трудные дни крестьянского восстания. В следующем году, когда пост мэра занимал Нортгемптон, а Гонт обрел прежнее влияние, Чосер был вновь назначен на свои должности таможенного надсмотрщика (20 апреля и 8 мая)»¹².

Положим, у нас нет оснований думать, что Брембр и компания являлись заклятыми врагами Чосера. Но мы имеем достаточно оснований считать, что в ту пору Чосер был так же тесно связан с кругом приближенных Гонта, как и с кругом самых доверенных советников Ричарда, и что ослабление могущества Гонта отразилось на положении Чосера. Вполне вероятно, что он рад был оставить место, где легко мог бы оказаться под перекрестным огнем.

Следующие несколько лет после того, как Гонт вернул свое былое влияние, Чосер оставался в Лондоне, вел спокойную жизнь в доме над Олдгейтскими воротами вместе с супругой, чью ренту часто самолично получал в казначействе, и исправно нес службу в таможене. Ричард теперь был счастливо женат на Анне Богемской и больше не нуждался в услугах Чосера как специалиста по брачным переговорам, крестьяне были до поры до времени усмирены, и Чосер мог свободно предаваться поэзии и ученым занятиям. Он перевел «Утешение философское» Боэция, сочинил несколько стихотворений, вдохновленных этим трудом, написал, а потом бесконечно шлифовал свой трагикомический шедевр — поэму «Троил и Хризеида», одной из побочных тем которой является борьба рыцарственных принцев (Гектора и Троила) против своекорыстной и в конечном счете трагически близорукой (обмен Хризеиды на будущего предателя Антенора) политики парламента.

Помимо того, в этот период Чосер создал и «Дом славы» — большую поэму-пародию, в которой карикатурно отобразил многие стороны современной ему действительности, и в особенности дурацкое важничанье людей, самонадеянно озабоченных собственной репутацией и местом в истории (как раз тогда разгорелась борьба за власть между Ричардом и магнатами, да и каждый придворный Ричарда старался заполучить побольше власти). По-видимому, в ту же пору Чосер начал вынашивать замысел «Легенды о добрых женщинах». Среди этих поэтических трудов он не забывал проверять счета сборщиков пошлин, сводя, надо надеяться, до минимума их воровство и, вероятно, вынуждая их пускаться на всяческие хитрости из опасения, что Гонт может в любой момент попросить Чосера представить отчеты.

В те годы в жизни Чосера в основном царили мир и покой, или, может быть, так только кажется на расстоянии, отделяющем его от нас. Хотя его служба в таможене была нелегкой лямкой, ему не обязательно требовалось ходить в присутствие каждый день. Ведь он мог — во всяком случае, теоретически — откладывать проверку счетов до последнего, а потом день и ночь сидеть над ними в течение нескольких недель перед тем, как ему надлежало сдать их в отревизованном виде. Это касалось только его одного. Для решения же любых практических проблем, которые могли бы возникнуть в порту, он мог оставлять там своего доверенного человека, вроде Ричарда Баррета. Баррет имел длительный опыт работы

в таможне, и Чосер верил ему в достаточной степени, чтобы рекомендовать его на место своего заместителя и поручиться за все его действия в этом качестве.

Когда же Чосер работал в таможне, он мог иногда, оторвавшись от счетов, подойти поболтать к группе моряков, сидящих без дела в ожидании, когда разгрузят их корабль и взвесят товар, или посмотреть, как трудятся плотники в порту, и перекинуться с ними несколькими фразами. Когда он только вступил в должность надсмотрщика — с тех пор минуло уже почти десять лет, — вдоль пристани стояли три больших здания: таможня по шерсти (находившаяся с октября 1377 года на попечении Баррета), малая таможня и склад. В первом здании, а возможно, и во втором имелся большой полутемный зал для взвешивания товаров на городских весах, вдоль толстых деревянных стен которого стояли многочисленные мешки с шерстью, каждый величиной с человека. На массивных тачках и ручных тележках с ручками, до блеска отполированными ладонями грузчиков, и покривившимися от долгого употребления колесами мешки подвозили к железным весам, рядом с которыми лежали большие обточенные камни, служившие гирями. Однако в 1382—1383 годах Джон Черчмен приступил к строительству еще одного портового здания, предназначенного служить помещением для купцов. По первоначальному плану предполагалось соорудить погреба, над ними — зал для взвешивания с комнатой для подсчетов и чулан-уборную на чердаке, однако в 1383 году этот план претерпел изменения: к зданию был надстроен еще один этаж с двумя комнатами и мансардой. Едва закончив строительство этого здания, Джон Черчмен начал перестраивать (или возводить заново) дом малой таможни.

Как мы уже говорили, Чосер, возможно, был тем правительственным чиновником, который руководил этим строительством. Впоследствии Джон Черчмен предъявит Чосеру иск о взыскании долга — единственное оставшееся у Черчмена средство получить свои деньги, если правительство отказалось заплатить ему. Чосер не только своими глазами видел достижения зодчества в Тоскане, где в XIV столетии велось большое строительство, но и наблюдал за долгие годы своей службы короне за ходом многих государственных строительных работ. Когда поэт состоял при дворе Эдуарда III, король постоянно осуществлял те или иные строительные проекты. По его приказу, например, была возведена круглая башня

в Виндзоре — еще одна его удача — и строился красивый замок Куинсборо на острове Шеппи. Заложенный в 1361 году, он предназначался в подарок королеве Филиппе. Строились и многие другие сооружения. Чосер, как видно, и тогда и теперь, в начале 80-х, интересовался строительными делами, ибо впоследствии его сочли подходящим специалистом для должности смотрителя королевских строительных работ.

В эту пору, после 1382 года, у Чосера появилось больше свободного времени для поэзии — и светской жизни, — чем когда бы то ни было раньше. По всей вероятности, он порой покидал на несколько дней Лондон и то отправлялся вместе с Филиппой на север погостить у ее сестры Катрин, то ехал в один из загородных королевских дворцов — может, для того, чтобы прочесть новые стихи. Он по-прежнему сохранял тесные связи с королевским двором, а также был своим человеком при дворе Гонта. В последние годы царствования Эдуарда III, когда Чосер служил в должности надсмотрщика таможи, его продолжали именовать в официальных бумагах «эсквайром» — «оруженосцем» Эдуарда, несмотря на то что он уже не нес регулярной службы при дворе. И хотя мы не располагаем официальными документами, в которых Чосера называли бы «эсквайром» при дворе Ричарда в период, о котором у нас идет речь, — тем более что уцелели только весьма отрывочные записи того периода, — сохранился один документ от 1380 года, касающийся поездки в Ломбардию, в котором Ричард называет его «*nostre bien ame Geffrey Chaucer*», а также документ от 1385 года, в котором имя Чосера стоит в перечне имен королевских служителей.

Несмотря на все сложности политики двора, Чосер чувствовал себя при дворе Ричарда свободно. Хотя он и не носил высшего придворного ранга, к нему относились здесь как к любимцу. Мягкая по характеру королева Анна, счастливому браку которой Чосер, по всей вероятности, поспособствовал, была большой любительницей поэзии, и в особенности поэзии Чосера, выделявшейся необычайно тонким и сочувственным для своего времени отношением к женщине, и у изысканно-учтивого поэта, умеющего быть таким занимательным, не было причины конфликтовать с окружающими королеву придворными политиками. Один из них, седобородый, слабеющий глазами Саймон Бэрли, был старым твердолобым реакционером, чьи абсолютистские теории о божественном характере прав короля и чья непоколебимая убежден-

ность в необходимости строгой дисциплины оказывали, по-видимому, большое влияние на политику Ричарда, однако Чосер и Бэрли умели ладить между собой и в течение многих лет находили общий язык, совместно выполняя поручения правового характера. Ну и, само собой разумеется, у них были общие знакомые и общие интересы. Бэрли слыл заядлым книголюбом, притом читал не только жития святых, которые читали — или, во всяком случае, созерцали во имя умерщвления плоти — все рыцари, но и книги стихов; и если даже мнения, которые высказывал Бэрли о книгах, отдавали узколобым и подчас довольно нудным педантизмом, Чосер с готовностью выслушивал всякого, старого или молодого, умного или глупца, о чем в один голос свидетельствуют в дошедших до нас отзывах его друзья и поэтические последователи. Надо думать, среди влиятельных придворных Ричарда были и люди, антипатичные Чосеру, который старательно прятал свою неприязнь под маской светской любезности. Пожалуй, худшим в этой компании был юный любимец Ричарда Роберт де Вер, граф Оксфордский, — глуповатый хлыщ, которого Ричард возвышал и баловал, подобно тому как Эдуард II возвышал и баловал Гейвстона. Де Вер ненавидел друга Чосера Гонта и не считал нужным скрывать своих чувств. Но ведь в каждой ситуации есть свои недостатки, и на Оксфорда, в конце концов, можно было смотреть как на человека слишком глупого для того, чтобы представлять реальную опасность, хотя иметь с ним дело было, конечно, трудно: он все время вынашивал планы убийства то одного, то другого крупного феодала (одним из феодалов, которого он много раз замыслил убить, был Джон Гонт). Чосер, без сомнения, относился к Оксфорду сдержанно, но не мог позволить себе нажать в его лице могущественного врага.

Что до Ричарда, то при всех своих недостатках этот золотоволосый красавец был король. Порой чрезмерно властный (подобно восточному властителю, он любил, чтобы люди простирались перед ним ниц), он вместе с тем был щедрым покровителем, человеком, которого Джеффри Чосер мог легко понять и которому мог сочувствовать, даже если не во всем соглашался с проводимой Ричардом политикой. Что и говорить, король Ричард не оправдал тех надежд, которые возлагались на него при коронации. Неизвестно, от кого воспринял он свои представления о том, какой должна быть королевская власть, — может быть, еще до 1380 года от старого Гишара д'Англя, этого неисправимого поклонника Педро

Жестокого и апологета учиненной Черным принцем расправы над лиможцами. (Никто не упрекал Гишара в этих крайностях: он много претерпел, а человек, чей дом сгорел от молнии, едва ли может здраво судить о грозах.) Или, возможно, король набрался этих идей у Саймона Бэрли или у Ричарда Аббербери, еще одного апологета тиранической твердости. А может быть, он вычитал их из книг о римском праве или услышал из уст какого-нибудь более или менее ученого монаха одного из нищенствующих орденов, которыми король Ричард восторгался и постоянно окружал себя, как это делал до этого его отец Черный принц. (Яростные при всей их комичности нападки, с которыми Чосер обрушивается в «Кентерберийских рассказах» на богатых монахов нищенствующих орденов, звучали гораздо острее для его современников, чем для нас. Вспоминая шутки, которые отпускает по адресу этой братии демократичная до мозга костей батская ткачиха, нельзя не подивиться смелости Чосера. Должно быть, по отношению к поэту при дворе Ричарда выработался своеобразный иммунитет: ему позволялось то, что позволялось обычно придворному шуту.)

Но из какого бы источника ни почерпнул Ричард свои абсолютистские идеи, его взгляды на монархию резко расходились со взглядами Гонта, выступавшего за гармонию в отношениях между сословиями, и со взглядами, отстаиваемыми героями Чосера в «Рассказе батской ткачихи», «Рассказе студента» и других местах «Кентерберийских рассказов». Учитывая несомненный талант Ричарда — талант не полководца, а мастера плести интриги, манипулировать людьми, знатока политической теории и расчетливого шахматного игрока, — можно предположить, что король разработал свою теорию абсолютной монархии по большей части самостоятельно. Разумеется, его взгляды имели под собой прочную эмоциональную основу. Мэй Маккисак пишет:

«Торжественная церемония коронации, вероятно всего, произвела глубокое впечатление на восприимчивого десятилетнего ребенка. Его традиционное появление как венценосца на открытии каждой сессии парламента наверняка возрождало в его сознании воспоминания о спектакле, в котором он играл главную роль. Его наставники — принцесса Иоанна, Джон Гонт и другие, — без сомнения, пытались внушить ему, что королевская власть подразумевает не только привилегии, но и обязанности; однако все, что окружало его в детские и отроческие годы, способствовало развитию в нем представ-

ления о себе как о личности исключительной, и такое представление, должно быть, окрепло и усилилось в 1381 году. Храбрость, которую Ричард проявил перед лицом бунтующей толпы, сама по себе служит достаточным опровержением клеветнических утверждений, будто он был от природы трусом или тряпкой; однако удивительная готовность восставших следовать за ним, чрезвычайно лестная для его самомнения, вскружила ему голову. Казалось, один лишь он способен совладать с ними и лишь одному ему дано решать их судьбу»¹³.

В Майл-Энде он видел, как толпа крестьян опустилась перед ним на колени с возгласом: «Здравствуй, король Ричард! Мы не хотим никакого другого короля, кроме тебя». Он помиловал их, как помиловал и на следующий день на Смитфилдской площади, и спас положение, когда его советники были бессильны. А потом эти же советники заставили его, словно он был не королем, а нашкодившим мальчишкой, униженно наблюдать, как в нарушение его обещаний судят и казнят людей, которых он обещал пощадить. Отныне он замкнется в себе и никогда не будет столь открытым. За этим унижением последовали другие: советы при короле контролировали каждое его маломальски важное решение, парламент выносил свой суд по каждому его политическому предложению и зачастую отвергал их. Его дед в пятнадцать лет самостоятельно вел войну; его отца в двадцать лет провозгласили самым блистательным воином во всей Европе. Ричард же стал действующим в одиночку интриганом, который, впрочем, умел подбирать и блестяще использовать лучших советников, какие только имелись в королевстве. Он стал фанатиком шахматной игры, проницательным искусствоведом (еще одно проявление его умственной самостоятельности), человеком, злопамятно вынашивавшим мстительные чувства и поражавшим современников тем, что, когда он в конце концов осуществлял свою месть, делал он это с большой умеренностью и сдержанностью. В первые годы общения Чосера с Ричардом как с королем в личности последнего получили развитие свойства классического неврастеника — но отнюдь не психопата, каковым считали его большинство историков. Его невротические свойства выражались как в той неистовой одержимости, с которой он занимался изучением истории, просиживая дни и ночи над старинными книгами, взвешивая, обдумывая, теоретизируя, так и в его чрезмерном преклонении перед памятью своего убитого прадеда Эдуарда II. Подобно своему кумиру, Ричард станет

противником войны — что, конечно, было политически правильно. По совету друзей он выбрал в жены Анну Богемскую, связав себя с папой римским и политикой установления мира в Европе. В подражание Эдуарду II он будет с презрением отвергать вмешательство парламента в хозяйственные дела его двора, насаждать фаворитизм, увлекаться охотой. В грубых ошибках своего прадеда Ричард станет усматривать тонкий расчет и целеустремленность, что, наверное, удивило бы и озадачило старого Эдуарда II. Многие из этого имело своей подоплекой не особенности характера Ричарда, а требования политики, которая в конце концов склонила на свою сторону даже Чосера. Король, наделенный твердой верховной властью, вполне мог оказаться единственной надеждой перед лицом соперничества крупных феодалов, и реабилитация Эдуарда II могла отныне способствовать укреплению позиций короны.

Однако мудрый, уравновешенный Чосер не мог не заметить, что Ричард действительно имел склонность к меланхолии, как называли в ту пору невротические расстройства. Эта меланхолия наиболее явно обнаруживалась то в накатывавших на него время от времени бурных приступах гнева, то во вспышках слезливой чувствительности, казавшихся совершенно необъяснимыми, если только не предположить, что король пьян. Рассказы о его странностях, вероятно, сильно преувеличены, а в некоторых случаях, как это было доказано историками, от начала до конца вымышлены; они распространялись заговорщиками — сторонниками узурпатора Генриха IV — с целью опорочить Ричарда, изобразив его гомосексуалистом и неспособным правителем, как Эдуард II, и безнадежно помешанным, как королева Изабелла. Но в этих рассказах, вероятно, содержалась по меньшей мере крупица правды: Ричард, как видно, и впрямь был способен совершать необъяснимые поступки и впадать в припадки бешеного гнева. Так, стоило архиепископу Кортни однажды заметить королю, что его выбор советников не вполне удачен, как Ричард обнажил свой меч и бросился на архиепископа с намерением пронзить его в сердце, а когда его верный приближенный Михаил де ла Пол, «мозг придворной партии», по определению Мэй Маккисак, вмешался, чтобы не дать Ричарду совершить этот безумный поступок, Ричард приготовился сразиться с Полом.

Его неудержимые вспышки гнева имели губительные последствия не только для подданных, но и для него

самого. В 1385 году, когда Ричард отправился на войну в Шотландию — это была первая военная кампания, в которой он участвовал, — его единоутробный брат Джон Холланд убил в уличной драке под Йорком наследника графа Стаффордского, и Ричард в пароксизме ярости и скорби поклялся, что поступит со своим братом так, как с обычным убийцей. Эта жестокая ссора, по видимому, преждевременно свела в могилу их мать, принцессу Иоанну. Чосер не комментировал поступки Ричарда впрямую — во всяком случае, не оставил никаких прямых высказываний в своей поэзии. Но как раз в это время он писал «Троила и Хризеиду», и там, в пятой книге поэмы, он предается подробным размышлениям о меланхолии принца, который, чувствуя себя обманутым в любви, отказывается от всего, что было в его характере от Венеры, ради служения Марсу. Молодой Троил не может помышлять ни о чем другом, кроме как о мщении, и, одержимый меланхолическим гневом, разит врагов, тщетно пытаясь утолить чувство мести, пока не находит свою смерть от меча «свирепого Ахилла». Поэма «Троил и Хризеида» никоим образом не являлась политической аллегорией, но сопоставление того, что делает с человеком слепая вера в любовь — в самом широком смысле любви-милосердия, — с тем, что делает с ним слепая вера в силу (на примере развития воинственных склонностей в характере Троила). Сопоставление, занимающее в поэме центральное место, имело в глазах двора Ричарда вполне понятный смысл.

Чосер при всех оговорках оставался надежным приверженцем двора Ричарда и был принят там как один из близких Ричарду людей. В королевском рескрипте о выдаче приближенным траурных одеяний по случаю похорон принцессы Иоанны, Чосер, которому было отпущено три с половиной локтя черного сукна, назван в числе эсквайров и других придворных чинов Ричарда. С печалью в сердце прощался поэт с покойной, которая была ему другом и покровительницей. Принцесса скончалась в Уоллингфордском замке 7 августа 1385 года — в день, когда войско Ричарда перешло границу и вторглось в Шотландию. Ее тело, обмотанное многими слоями вошеной ткани, перенесли в Стэмфорд в Линкольшире, с тем чтобы похоронить ее рядом с первым ее мужем, Томасом Холландом. Ричард отложил погребение — как он отложит потом погребение королевы Анны, — чтобы иметь возможность устроить приличествующие случаю пышные похороны. В конце концов ее прах был

предан земле в стэмфордской церкви францисканцев после возвращения короля из Шотландии. Вероятно, похороны состоялись в январе 1386 года, когда судьи, разбиравшие дело Скроупа — Гровнора (Чосер, как мы помним, выступал на этом суде свидетелем), отложили слушание, чтобы поехать на север и принять участие в церемонии.

Печаль Чосера и Филиппы, присутствовавших на похоронах, имела, конечно, и другие поводы, помимо ухода в иной мир кроткой старой толстушки принцессы. Чосер, теперь уже немолодой, сорокашестилетний, мужчина с седеющими волосами и исполненной достоинства осанкой, хорошо знал всех вокруг, в том числе и молодого Ричарда. Коленопреклоненный перед катафалком — помостом с двенадцатью высокими свечами, на котором стоял гроб его матери, — в окружении архиепископов, епископов и других прелатов и всех крупных феодалов королевства, смутно различимых на некотором отдалении от него в полумраке церкви, Ричард больше не был надеждой Англии. Он стал угрозой для нее. Гонт, полный тревоги, но, как всегда, сдержанный, безмолвно наблюдал; Чосер, должно быть, с грустью во взгляде взирал на сцену прощания. Дядя короля Томас Вудсток, который вскоре получит титул герцога Глостерского, угрюмый и отчужденный в этой толпе людей со скорбно-серьезными лицами (на которые падал сквозь высокие витражи слабый свет снежного зимнего дня), начинал, размышляя о положении дел в королевстве, склоняться к измене.

ГЛАВА 8

Возвышение Глостера и судьба Чосера — сторонника короля в годину испытаний (1385—1389)

Еще в ноябре 1381 года парламент жаловался на непомерную величину свиты Ричарда и колоссальные расходы его двора, подобно тому как в прежние времена он жаловался на многочисленность свиты и непомерные расходы кумира молодого короля Эдуарда II. Однако, несмотря на различные шаги, предпринятые парламентом и дядьями Ричарда, в том числе Джоном Гонтом, король продолжал швырять деньги на ветер — одаривать ценными подарками и прибыльными должностями своих любимцев, таких, как Михаил де ла Пол, помогавший устройству брака между Ричардом и Анной Богемской, Саймон Бэрли и его родственники и многие-многие другие, включая Джеффри Чосера. Еще не были уплачены военные долги Эдуарда III (те, от уплаты которых власти еще не отказались), а уже росли новые. Сама корона и большая часть королевских драгоценностей были заложены городу Лондону, а когда канцлер Ричард Скруп, ставленник Ланкастера, попытался было остановить рост задолженности, Ричард и его придворные сместили его.

В подобных условиях традиционным выходом из положения могла быть война, сулившая новые земли, ренты и богатые выкупы верхушке общества, работы и военную добычу (и уменьшение числа лишних ртов) социальным низам. Хотя Джон Гонт являлся противником разорительной войны с Францией, он со времени коронации королевы Анны настойчиво добивался возобновления войны в Испании, ссылаясь на целый ряд причин, главной из которых был, пожалуй, тот факт, что кастильские галеры, которые постоянно совершали нападения на английское побережье, можно было бы нейтрализовать, а еще лучше повернуть против Франции, если бы Генриха Бастарда удалось сбросить с его трона, вернее, с трона, по праву принадлежащего ему, Гонту. Кроме того, это было время великого папского раскола, когда

одновременно два папы, Урбан VI и его французский соперник Климент VII, каждый при поддержке своих политических друзей, претендовали на исключительную власть над церковью. Поэтому война, за которую выступал Гонт, направленная, в частности, против португальских сторонников Климента, могла бы рассматриваться в качестве священного крестового похода — во всяком случае, теми христианами, которые поддерживали Урбана.

Здесь не место останавливаться на перипетиях великого раскола; достаточно сказать, что это была мрачная для всего христианства пора, и Англия, как и другие страны, оказалась глубоко затронутой тем цинизмом, который нашел выражение в соперничестве двух претендентов на роль духовного отца христианского мира. Предложенный Гонтом план крестового похода против приверженцев Климента был отклонен в пользу другого плана — «славного крестового похода» епископа Нориджского в Европе, против которого возражали английские лорды, но который поддерживали общины и королевские советники, сделавшие это отчасти потому, что поход должны были возглавить епископы, а не светские магнаты вроде Джона Гонта, всевозрастающее могущество которых они намеревались обуздать, но главным образом потому, что этот поход предполагалось финансировать за счет продажи полных отпущений грехов папой — индульгенций, способных, если верить папе, отпускать грехи как живым, так и мертвым. «Продавцы индульгенций утверждали, что по их призыву ангелы будут спускаться с небес, чтобы брать души из чистилища и возносить их на небо»¹. Гонт кипел негодованием, так же как и его друг Джон Уиклиф, осмеивавший подобные индульгенции. Их чувства, разумеется, разделял и Чосер. Он с изумлением прислушивался к абсурдным заверениям торговцев индульгенциями и впоследствии увековечил всю эту подлую свору в лице своего «продавца индульгенций папских» с «патентом от братства Ронсевалья» и коробом индульгенций, который он «с пылу с жару, из Рима вез». Вот как характеризует его Чосер в «Общем прологе»:

Но что касается святого дела —
Соперников не знал, скажу я смело.
Такой искусник был, такой был хват!
В своем мешке хранил чудесный плат
Пречистой девы и клочок холстины
От савана преславных кончины.
Еще был крест в цветных камнях-стекляшках,
Была в мешке и поросычья ляжка,

С их помощью, обманщик и нахал,
В три дня он денег больше собирал,
Чем пастырь деревенский за полгода
Мог наскрести с голодного прихода... *

«Славный крестовый поход» кончился полным провалом. Он скорее подорвал, нежели укрепил военно-политические позиции Англии и не обратил ни одну заблудшую душу в веру англичан, согласно которой законен тот папа, которого поддерживают они.

В общем и целом это был период неудач для Гонта, а следовательно, в какой-то мере и для Чосера. Восемнадцатилетний король имел свои собственные твердые суждения о том, что должна представлять собой власть монарха — почти магическая и ослепляющая своим величием власть помазанника божия, не зависящая ни от кого. Молодого короля теперь невозможно было переубедить — даже Гонт оказался бессилён, отчасти по той причине, что мнения Ричарда были хорошо продуманы и аргументированы, а Гонт, будучи лояльным стюардом Англии, затруднялся возражать королю, когда тот выдвигал идеи, противоречившие взглядам Гонта и его интересам крупного феодала. Хотя Гонт без колебаний сурово осуждал дурных советников Ричарда и настаивал на их смещении, и в первую голову на смещении этого воинственного глупца — молодого друга короля Роберта де Вера, графа Оксфордского, Ричард с возрастающим упрямством поступал по-своему: раздавал владения короны, осыпал своих фаворитов милостями и всячески доказывал, что ему принадлежит божественное право вседозволенности, тогда как на его подданных лежит обязанность субсидировать его щедрые дары, во сколько бы они ни обходились. Раздавались все более громкие жалобы, все круче действовал Гонт, пытаясь урезонить и укротить короля (неспособность сделать это стоила Гонту его краткой популярности), а Ричард с затаенным негодованием противился вмешательству дяди.

В 1384 году на сессии парламента, проходившей в Солсбери, монах-кармелит по имени Джон Лэтимер сообщил Ричарду, что его старший дядя замышляет убить его. То ли в силу своей нерушимой веры в правдивость нищенствующих монахов — над подобным легковерием, которое проявляет «деревни лорд и господин», Чосер посмеивается в своем «Рассказе пристава церковного суда», — то ли по причине того, что вся эта история представляла собой заговор, устроенный Оксфордом с ведома

* «Кентерберийские рассказы», с. 51.

Ричарда, то ли, наконец, потому, что Гонт казался Ричарду врагом, каковым он не был на самом деле, Ричард поверил обвинению, выдвинутому монахом против Гонта. Надо сказать, что Гонт, случалось, властно и жестоко отчитывал племянника, как, например, в том случае, когда, поставив у всех дверей королевского дворца своих людей с приказом никого не впускать и не выпускать, он прошел к королю и, вперив в него суровый стальной взгляд, приводивший в трепет врагов, задал ему безжалостную словесную выволочку. Как бы то ни было, едва услышав навет монаха на Гонта, Ричард решил немедленно повесить дядю. Гонт защищался со строгим достоинством — в ту пору он все еще мог противостоять своему золотоволосому вспльчивому племяннику, который всегда был так уверен в собственной правоте, — и лорды, явившиеся на сессию парламента, убедили короля отправить монаха в тюрьму на то время, пока будет расследоваться обвинение против Гонта. По дороге в тюрьму монах был перехвачен группой сторонников Ланкастера, в числе которых находился и единоутробный брат короля Джон Холланд, подвергнут жестоким пыткам и в конце концов убит. Хотя Джеффри Чосер, услышав эту новость, пожалел монаха, это ничуть не умерило его ненависти к нищенствующей братии, к которой благоволили Ричард и его придворные. Вскоре после этого он напишет, скрываясь под маской разъярившегося пристава церковного суда:

Ведь, черт возьми, слышали мы стократ,
Как брат один попал однажды в ад.
В виденье ангел с братом вознеслись,
И ангел вверх водил его и вниз,
Чтоб все мученья ада брат познал,
Но тот нигде монахов не сыскал —
Одни миряне наполняли ад.
И ангела так вопрошает брат:
«О сударь! Неужель мы столь блаженны,
Что не для нас мучения геенны?»
«Нет, — молвил ангел, — здесь вас очень много»
И к Сатане пустилися в дорогу.
И видит брат, дойдя: у Сатаны
Хвост протянулся с парус ширины.
«Приподыми свой хвост, о Сатана! —
Промолвил ангел, — покажи до дна
Узилище, монахи где казимь».
И полуверстной вереницей мимо,
Как пчелы, коим стал несносен улей,
Тыщ двадцать братьев вылетело пулей
Из дьяволова зада... *

* «Кентерберийские рассказы», с. 311—312.

Если граф Оксфорд и был организатором этого заговора против жизни Гонта, доказательств тому найдено не было. В то время когда друзья Гонта пытались кармелита, стараясь заставить его говорить, второй дядя короля, Томас Вудсток, впоследствии граф Глостерский, в гневе ворвался в королевские покои и поклялся сразиться с любым — включая короля, — кто попытается обвинить в измене его брата герцога Ланкастерского. Ричард и его придворные на некоторое время были уstraшены, но укрепились в своей решимости рано или поздно начать править, не допуская ни малейшего постороннего вмешательства. По мере того как борьба между королем и его магнатами приобретала все более ожесточенный характер, сопротивление Томаса Вудстока становилось все более дерзко безрассудным. Что касается Гонта, то он, предвидя дальнейший ход событий, попросил оказать ему поддержку в подготовке новой военной экспедиции в Испанию, получил ее вместе с официальным признанием Ричардом его прав на кастильский престол, оставил все свои дела в Англии на попечение своего сына и наследника Генриха Болингброка и 9 июля 1386 года отплыл из Плимутской гавани к испанским берегам, чтобы сражаться за свою собственную корону.

После того как Гонт покинул Англию, могущество Томаса Вудстока стремительно возрастало, а Чосер, верный королю, обнаружил, что он опасным образом втянут в борьбу. В 1385 году, когда Гонт искал способа избежать столкновения с Ричардом и его двором, а Томас Вудсток становился главным голосом оппозиции, Чосер, похоже, стремился получить (наверное, с помощью Гонта) какой-нибудь другой правительственный пост, менее опасный и кляузный, чем должность таможенного надсмотрщика. Он отказался от своего дома над Олдгейтскими воротами и от работы в таможене, которая, по видимому, как-то связывалась с владением этим домом. Вне сомнения, Чосер поступил так отчасти потому, что сбор пошлин перестал быть прибыльным делом, а любой сборщик или надсмотрщик, который в прошлом имел от сбора пошлин какую-то выгоду, неизбежно подвергся бы тщательной проверке со стороны парламента и его лидера Вудстока, ныне герцога Глостерского. (Глостер ввел такой строгий режим экономии, что даже с королевы Анны казна брала деньги за постой и стол.) Но весьма возможно, что Чосер имел причины видеть в возвышении Глостера угрозу для себя лично. Три года спустя, в мае 1388 года, когда Глостер осуществлял полный контроль

над правительством страны, Чосер счел нужным (а скорее всего, был вынужден) «отказаться по собственной просьбе» от своих пенсий в пользу Джона Сколби. Он получил их обратно после 1389 года, когда Ричард вернулся к власти. Большинство чосероведов выражают сомнение в том, что поэт на самом деле отказался от своих рент по собственному желанию; однако он вполне мог сделать это, чтобы дать добровольное доказательство того, что он не собирается причинять беспокойство власти имущим, кому бы он ни был предан лично. Очевидно, что в любом случае у Глостера не было необходимости отнимать у своего врага ренту и утверждать, что тот добровольно отдал ее в подарок.

Так или иначе, если господство Глостера подорвало материальное положение Чосера, король позаботился о его благосостоянии вопреки желаниям своего дяди. Хотя мы не располагаем несомненными свидетельствами в виде уцелевших документов, Маргарит Гэлуэй убедительно показала в 1941 году, что, когда Чосер оставил работу надсмотрщика таможи (1385 год), ему уже была предоставлена другая, еще лучшая работа в должности клерка — смотрителя и управителя двух любимых дворцов короля и королевы, Элтема и Шина (возможно, и одного-двух еще, помимо этих), и что вместо Олдгейта он, вероятно, получил в свое личное пользование новое жилище — не больше и не меньше как небольшой королевский загородный дворец в Уэст-Гринвиче — центральную усадьбу королевского имения Розерхит. Не вдаваясь в подробности, ограничимся кратким изложением доводов исследовательницы.

Дворцы Элтем в Кенте и Шин в Суррее находились соответственно в семи и восьми милях от Лондона. Королевская усадьба в Гринвиче, в которой наездами жилал Эдуард III, но которая оказалась недостаточно роскошной для Ричарда, была расположена на полпути между Элтемом и Шином. Таким образом, один человек мог без лишних хлопот нести заботы по содержанию в порядке и ремонту всех трех дворцов. В 1370 году эти заботы нес значившийся клерком — смотрителем крупных работ в Элтеме, Шине и Розерхите Роберт Сибторп, который вскоре стал (как станет Чосер в 1389 году) главным смотрителем королевских работ. В качестве главного смотрителя Сибторп имел помощника, на попечении которого находились Элтем, Шин, Розерхит и Бэнстед (неподалеку от Шина). Другой чиновник, некий Арнольд Брокас, был назначен главным смотрителем королевских

работ в 1381 году, после того как он прослужил какое-то время смотрителем работ в Элтеме, Хейверинге и Хэдли (в Эссексе). Эти и другие документы свидетельствуют о том, что обычно, прежде чем получить назначение на пост главного смотрителя королевских работ, человек должен был доказать свою компетентность в должности смотрителя трех или четырех имений; свидетельствуют они и о том, что должность смотрителя Элтема и близлежащих маноров служила, как правило, ступенькой для продвижения вверх.

В поэзии Чосера мы находим ясные указания на то, что когда-то он жил в Гринвиче и имел какое-то отношение к Элтему и Шину. В ранних рукописях, включая лучшую, Эллимерскую, напротив смутного намека на местожительство Чосера в «Послании к Скогану» на полях страницы имеется примечание «Гринвич», а строчка в одном списке пролога к «Легенде о добрых женщинах» говорит о том, что поэма читалась в Элтеме или Шине. Имя Чосера стоит в списке гринвичского совета фригольдеров состава 1396 года — это доказывает, что он жил там в то время, а может быть, и ранее; в «Прологе мажордома» (около 1385 года), возможно, содержится шутовское упоминание о месте жительства Чосера: трактирщик говорит, что уже недалеко до «Гринвича, где люди — плут на плуте». Есть также и другие доказательства, все до одного подтверждающие ученый вывод, сделанный Скитом, знаменитым издателем Чосера: «В высшей степени вероятно, что Чосер проживал в Гринвиче с 1385 до конца 1399 года, когда он обрел новый дом в Вестминстере»². Джон Черчмен, предъявляя поэту судебный иск об уплате долга, наверняка знал о служебных обязанностях Чосера в Элтеме и Шине и поэтому указал шерифам, что его должника следует разыскивать в графствах Кент и Суррей. (Розыски оказались безуспешными — несомненно, тут не обошлось без взятки или помощи влиятельных лиц.)

В 1385 году, готовясь к войне на севере с соединенными силами шотландцев и французов, Ричард счел необходимым распорядиться о попечении над его именными и об удобствах его семьи в его отсутствие. Он официально поручил троим друзьям Чосера, сэру Луису Клиффорду, сэру Ричарду Стэри и сэру Филипу Вашу, наряду с другими рыцарями и сквайрами заботиться об «удобстве и безопасности его матери [принцессы Иоанны], в какой бы части королевства она ни жила, и оказывать ей прочие услуги, сообразные с положением

столь знатной госпожи». Надо полагать, аналогичные распоряжения он отдал и в отношении своей супруги-королевы, и Чосеру, безусловно, отводилась в них определенная роль. 6 апреля 1385 года Ричард пожаловал Чосеру 10 фунтов стерлингов (2400 долларов). Эта сумма, выплаченная в порядке займа или предварительного вознаграждения, не имела отношения ни к жалованью на таможене, ни к его рентам и была вручена Чосеру в Элтеме «в его собственные руки». Как явствует из других документов, поэта не было в Лондоне в апреле, июне и снова в октябре, когда он наверняка уже жил в Кенте — иначе его не могли бы назначить (12 октября) мировым судьей вместо покойного Томаса Шарделоу.

В обязанности Чосера, как смотрителя Элтема, Шина и Розерхита, входило, помимо прочего, надзирать за любыми строительными работами, которые производились в этих королевских имениях, за содержанием в исправности и ремонтом больших жилых домов, служб (сараев, конюшен, будок, надвратных строений и т. д.), садов и садовых стен, парковых оград, прудов и рыбных садков, мостов и аллей. Смотритель должен был заботиться о покупке и доставке строительных материалов, расплачиваться с временными рабочими, платить жалованье постоянным работникам — сторожам, лесникам, садовникам — и вести подробный бухгалтерский учет. Это была, по всей очевидности, хлопотная, трудная работа. Но хотя порученный Чосеру надзор за порядком в королевских имениях никоим образом не был синекурой, эта должность имела для поэта свои привлекательные стороны, с лихвой вознаграждавшие его за все труды и заботы. Королевские имения славились своей великолепной живописной красотой. Фруассар рассказывает о длинных аллеях Элтема, увитых виноградными лозами, а разнообразие стихов и картины той эпохи дают нам некоторое представление о том, в чем состояла красота тех ансамблей: ухоженные леса и заповедные оленьи парки; дорожки, обрамленные подстриженным кустарником, с которых неожиданно открывался вид на тихое озеро в кувшинках; долина, пестреющая цветами; наполовину скрытая плющом усыпальница; пещера древнего отшельника.

В поэтических произведениях, созданных Чосером в Гринвиче, ясно просвечивает восхищение прелестью сельской жизни. При всем том, что легкий, шуточный пролог к «Легенде о добрых женщинах» представляет собой отчасти насмешку над сентиментами любителей

природных красот, он полон метких наблюдений природы, сделанных с любовью, а не только ради использования их в аллегорических целях. Воспевая маленькие красные и белые английские маргаритки, которые сплошь и рядом использовались в поэзии XIV века по аллегорическим соображениям, Чосер приводит такие подробности, благодаря которым у нас создается впечатление, что он действительно — и не раз — совершал ранним утром прогулку по росистому лугу. Он рассказывает, как рассыпались маргаритки по всей лужайке, превратив ее в узорный ковер, как, проснувшись поутру, цветы поднимают головки, раскрываются и смотрят на солнце, а в сумерках опять закрываются. И он отдает дань восторженного поклонения полевым цветам:

...Я чуду этому не надивлюсь!
Пред ними на колени становлюсь,
Чтоб рассмотреть, как яркие цветки
На солнце раскрывают лепестки;
Как на ковре из трав, лаская взор,
Они сплетают красочный узор.
А нежный маргаритки аромат
Ее мне делает милей стократ...

С этой же любовью к природе мы, разумеется, сталкиваемся в начальных строках «Общего пролога» к «Кентерберийским рассказам» или, например, в описаниях сельской жизни в «Рассказе рыцаря», «Рассказе мельника» и «Рассказе мажордома» — вещах, написанных примерно в это время.

Вероятно, в тот же период своей жизни Чосер близко познакомился с теми типами сельских жителей, которые он увековечил потом в «Кентерберийских рассказах». Каждому читателю с первого взгляда видно, с каким великолепным мастерством изображает Чосер таких тертых деревенских жителей, как мажордом и мельник, или восхитительных юных селянок вроде Алисон, жены старого плотника. Но читатель может не заметить, как искусно обрисовывает он второстепенные характеры. Взять, к примеру, бедную вдову из «Рассказа монастырского капеллана». Старуха вдова, являющая собой совершенный образец «простой крестьянки», умышленно противопоставлена автором ее гордому петуху Шантеклэру; однако Чосер со свойственной ему лукавой иронией подсмеивается даже над этим идеальным типом христианской скромности, отказываясь от какого бы то ни было сентиментального умиления. Он пишет:

Она с тех пор, как мужа потеряла,
Без ропота на горе и невзгоды

Двух дочерей растила долги годы.
Какой в хозяйстве у вдовы доход?
С детьми жила она чем бог пошлет.
Себя она к лишениям приучила,
И за работой время проходило
До ужина иной раз натошак.
Гуляли две свиньи у ней и хряк,
Две телки с матерью паслись на воле
И козочка, любимица всех, Молли.
Был продымлен, весь в саже, дом курной,
Но пуст очаг был, и ломоть сухой
Ей запивать водою приходилось —
Ведь разносолов в доме не водилось.
Равно как пища, скуден был наряд.
От объеденья животы болят —
Она ж постом здоровье укрепила,
Работой постоянной закалила
Себя от хвори: в праздник поплясать
Подагра не могла ей помешать.
И устали в труде она не знала.
Ей апоплексия не угрожала:
Стаканчика не выпила она
Ни белого, ни красного вина.
А стол вдовы был часто впору нищим,
Лишь черное да белое шло в пищу:
Все грубый хлеб да молоко, а сала
Иль хоть яиц нечасто ей хватало.
Коровницей та женщина была
И, не печалась, с дочерьми жила *.

Если жизнь этой доброй старой женщины служила посрамлению роскоши сильных мира сего, то и жизнь сильных мира сего бросает иронический ответ на образ жизни старухи вдовы. Терпение, простота и неприхотливость похвальны, но у вдовы ведь нет выбора, ибо «какой в хозяйстве у вдовы доход?». Ей не нужны пряные соусы, от которых «животы болят», потому что нет у нее на столе изысканных мясных блюд, которым они могли бы послужить лакомой приправой, — «ведь разносолов в доме не водилось». В том же духе Чосер продолжает рисовать портрет вдовы-крестьянки, лукаво подтрунивая над бедными и над богатыми, но неизменно сохраняя уважительный тон. В ту пору, когда придворные — современники Чосера начинали придавать чрезмерно большое значение вопросу о том, когда следует пить красное вино, а когда белое, старуха вдова благоразумно не пьет никакого вина — потому что его у нее нет. И в то время как жизнь в роскоши чревата подагрой, лишаящей богача возможности «в праздник поплясать», простые богобоязненные крестьяне не болеют подагрой — впрочем, если

* «Кентерберийские рассказы», с. 217—218.

подагра и не могла им помешать пуститься в пляс, они все равно не плясали, считая это занятие греховным. Так же тепло, с любовью и юмором, искусной и уверенной рукой написаны все прочие портреты сельских жителей, созданные Чосером на рубеже 80-х и 90-х годов. Одно из преимуществ жизни в Кенте, безусловно, заключалось в том, что она снабдила Чосера богатым новым материалом.

Работа в Гринвиче имела для Чосера и еще одно преимущество. Хотя он состоял на службе у короля, всю свою жизнь он в более глубоком смысле был служителем королевы. Он служил графине Ольстерской, королеве Филиппе, Бланш Ланкастер, отчасти и Алисе Перрерс. Теперь, в середине 80-х годов, он довольно регулярно прислуживал королеве Анне, которую по меньшей мере один раз с любовью упомянул в «Троиле и Хризеиде» и для развлечения которой писал в ту пору «Легенду о добрых женщинах» и начал писать «Кентерберийские рассказы». Вероятно, он более или менее регулярно читал ей свои произведения, как это изображено на фронтисписе одного из списков «Троила», и, по-видимому, сопровождал королеву Анну в ее путешествии в Уоллингфордский замок, где она гостила в июле и августе 1385 года у принцессы Иоанны. Обе женщины относились друг к другу с большой любовью, а Иоанна была теперь слишком больна, чтобы поехать в гости к Анне, как она делала это прежде. Обеим Чосер, согласно общепринятой трактовке, адресовал комплименты в прологе к «Легенде».

В Гринвич Чосер переселился, как видно, со всей своей семьей, за исключением Елизаветы, которая — при щедрой финансовой помощи Джона Гонта — была помещена в монастырь. Томас Чосер, которому было теперь лет двенадцать, большую часть времени жил вдали от дома — учился, наверное, в лондонской школе; в скором времени его определят в свиту какого-нибудь крупного феодала, вероятно Гонта, дабы он получил придворную подготовку в качестве сквайра, после чего станет постоянным придворным служителем Гонта. Луису было лет пять, и он, по-видимому, все еще находился на попечении кормилицы. Хотя служба королевского смотрителя оставляла Чосеру мало досуга, мы можем быть уверены, что он старался проводить как можно больше времени с детьми, чаще всего, наверное, с Луисом. В таких семьях, как у Чосера, дети обычно рано начинали читать, а из замечаний Чосера в «Астролябии» нам известно, что Луис был понятливый мальчик, особенно способный к матема-

тике. Возможно, что в период, когда Луису еще не исполнилось десяти лет, Чосер написал для него книгу о «Сфере», иначе говоря — о планете Земля, за которой в дальнейшем последовал его учебный трактат о том, как пользоваться астролябией. Очень может быть, что Луис, а иногда и Томас сопровождали отца, когда он отправлялся проверить работу плотников и каменщиков или посетить арендаторов, живших в королевских имениях; возможно, Чосер брал детей с собой, когда объезжал на лодке королевские озера и пруды — отчасти ради удовольствия, отчасти для того, чтобы проверить прочность дамб и мостов. Подобно своему собственному отцу, Чосер, несомненно, заботился о будущем своих детей. Родительская любовь, поддержка и поощрение придали им чувство уверенности в себе и в своем будущем, без которого им вряд ли удалось бы достичь столь многого в дальнейшей жизни, даже с учетом дружеской помощи Гонта. Как нам известно, главным делом жизни Томаса — и, вероятно, Луиса — стало управление такими крупными королевскими владениями, как Пезертонский лес. Может статься, что именно здесь, в Гринвиче, неотступно следуя за отцом, наблюдая и прислушиваясь, шутя и дурачась с ним по дороге домой, впервые приобщались они к искусству управления королевскими землями.

Филиппа Чосер, видимо, тоже жила в Гринвиче и, по всей вероятности, стала прихварывать. Ей было уже далеко за сорок — преклонный возраст для женщины средневековья, которую прежде времени старили многочисленные роды, а еще пуще — жизнь в нездоровых помещениях, насквозь продуваемых, сырых и холодных, как бы красиво ни выглядели эти дома снаружи. (Мы не располагаем документами, из которых бы явствовало, что у Филиппы были еще дети, помимо тех троих, о которых нам известно, однако, по всей вероятности, она, подобно другим женщинам своего общественного положения, имела больше, чем троих детей, умерших, по-видимому, в младенчестве.) Может быть, пошатнувшееся здоровье Филиппы как раз и явилось причиной, убедившей Чосера и его придворных покровителей в необходимости переезда семьи за город. Конечно, все это лишь предположения, но они подкрепляются тем фактом, что к этому времени Филиппа окончательно оставила работу фрейлины и больше не получала свою ренту лично. Через три года она умерла.

Если Филиппа действительно болела, то жизнь Чосера в этот период была до отказа заполнена трудами и забо-

тами. Помимо того что у него была масса дел и хлопот в качестве королевского управляющего, ответственного за содержание в полной исправности двух любимых загородных дворцов короля, он усердно творил — больше и лучше, чем когда бы то ни было раньше. Черновики стихов, по мере того как они выходили у него из-под пера, Чосер отдавал своему переписчику Адаму, юнцу с длинными вьющимися локонами и привычкой лепить ошибку на ошибку, побудившей как-то раз потерявшего терпение поэта написать со строгостью, за которой угадывается ласковая ирония:

Что делать мне с тобой, писец Адам?
Ты всюду, брат, сажаешь тьму описок,
Переписать тебе что я ни дам,
А я скобли потом и правь твой список,
Пока не озверею от подчисток!
Не потому ли твой небрежен труд,
Что мучает тебя чесотки зуд?

Хотя Чосер писал в это время для королевы Анны окончательный вариант «Троила и Хризейды» (предположительно), всю «Легенду о добрых женщинах» и отдельные части «Кентерберийских рассказов», он должен был выполнять еще одну ответственную работу, повышавшую его престиж и материальное благосостояние, но, по всей очевидности, отрывавшую его от Филиппы и детей. Как мы уже говорили, в 1385 году он был назначен мировым судьей, а вскоре после этого избран в парламент, чтобы принимать участие в политических схватках, имевших огромное значение для короля.

Несмотря на то что грамота о назначении Чосера на должность судьи датирована 12 октября 1385 года, он, возможно, приступил к исполнению обязанностей мирового судьи вместо умершего Томаса Шарделоу еще в феврале месяце этого года, когда он подал прошение о том, чтобы ему дали заместителя для присмотра за делами на таможне. В должности мирового судьи Чосер оставался, с одним коротким перерывом, вплоть до 1388 года. В те времена (за исключением последнего года службы Чосера) мировым судьям не платили ни жалованья, ни какого-либо другого вознаграждения; в 1388 году судьям разрешили получать сугубо номинальные 4 шиллинга (48 долларов) в день за максимум двенадцать дней в году, но, судя по всему, эти деньги никогда им не выплачивались. Тем не менее некоторые

мировые судьи обогащались, занимая эту должность, и особенно заметно богател на этом посту сэр Саймон Бэрли. Как указывает Маргарит Гэлуэй, палата общин снова и снова подавала жалобы на мировых судей, утверждая, что эти всесильные чиновники, «налагая чрезмерные штрафы и чиня прочие обиды, более способствовали разорению королевских подданных, чем искоренению злоупотреблений»³. Помимо прочего, судей обвиняли в том, что они берут взятки и вымогают выкуп у узников. В ходе одной-единственной судебной сессии через руки судей проходило от 200 до 300 фунтов стерлингов (48 000 и 72 000 долларов соответственно), и те, кто хотел, легко могли положить часть этих денег в собственный карман. Как знать, может, Чосер тоже грел руки, хотя даже и в таком случае он в силу своего природного благоразумия — достоинства, которое он высмеивает и превозносит в «Рассказе о Мелибее», — наверняка не заходил слишком далеко. (Отсутствие этого достоинства у Бэрли впоследствии стоило ему головы.)

В царствование Ричарда мировые судьи проводили судебные сессии четыре раза в год, длительностью около трех дней каждая, собираясь в различных местах графства, в том числе и в Гринвиче, по решению самих судей. Сессии проводились в начале октября, в начале января, примерно в середине марта и в середине июня, в зависимости от того, на какую дату приходилась в том году пасха. Специальные, или малые, сессии могли состояться в любое удобное для судей время. Всем мировым судьям полагалось присутствовать на каждой проводимой сессии, однако позднейшие статуты, требовавшие от судей явки на заседания, свидетельствуют о том, что это требование не всегда соблюдалось всеми судьями. В обязанности мирового судьи входило: «...следить за соблюдением законов, регулирующих заработную плату, цены, трудовые отношения и прочие вопросы, — задача сплошь и рядом не только юридического, но и административного характера. На него, помимо прочего, возлагалась также обязанность следить за тем, чтобы жители его округа не ходили вооруженные, не прибегали к запугиванию, не проводили незаконных сборищ, не учиняли драк в трактирах, не повреждали чужой собственности. Судья был уполномочен арестовывать «подозрительных» и брать поруку в добром поведении со всякого, кто угрожает причинить вред другому. Под его юрисдикцию попадали „всевозможные уголовные преступления и правонарушения“, кроме измены. В их число входили убийство, поджог,

насильственный увоз, вымогательство, жульнические нарушения мер и весов, изготовление фальшивых денег и все виды воровства, начиная от мелкой кражи и кончая незаконным присвоением земли. Наказания, которые могли назначать мировые судьи, включали в себя смертную казнь, отсечение членов, тюремное заключение, наложение штрафов, конфискацию движимого имущества в пользу короны и земли в пользу феодала»⁴.

В дополнение к четырем очередным сессиям созывались и специальные сессии вроде той, которая проводилась в Числхерсте в связи с похищением некоей Изабеллы Холл в 1387 году и в работе которой принял участие Чосер. На этих специальных сессиях в задачу судьи того ранга, какой был у Чосера, входило арестовать преступников, допросить их под присягой и составить проект обвинительного акта для профессиональных судей, которым предстояло слушать дело в судебном присутствии и вынести по нему решение. Мелкие же дела мировой судья, без сомнения, решал самостоятельно. Исследователям не удалось разыскать никаких судебных протоколов о работе какой-нибудь сессии кентского мирового суда, заседавшего под председательством Чосера, но в «Фактах биографии»⁵ приведены ради иллюстрации типичные для Кента протоколы разбирательства по более серьезным преступлениям: двум убийствам, одному преступному нападению и угрозе убийством и одному убийству, совершенному в порядке самозащиты.

Служба в качестве мирового судьи была для Чосера занятием второстепенным, и нам нет надобности подробно останавливаться на ней. Поскольку судейские собирались только четыре раза в году (если не считать специальных сессий), дел к очередной сессии накапливалось предостаточно, и они слушались одно за другим. Чосер получал на такой сессии богатую, хотя и мимолетную возможность изучать сознание преступника — скажем, образ мыслей какого-нибудь фальшивомонетчика или алхимика, выведенного им в «Рассказе слуги каноника».

К 1386 году графство Кент оказалось в основном в руках друзей короля Ричарда, начиная от таких влиятельных, как Бэрли, и кончая сравнительно менее влиятельными, как Чосер, и это не было такой уж случайностью. В 1386 году дело дошло до открытого столкновения между Ричардом и Глостером. Хотя мы не располагаем

никакими доказательствами того, что король Ричард или какая-либо другая заинтересованная сторона пытались заполнить своими сторонниками парламент этого созыва, графство Кент явно было представлено сторонниками короля, и одним из представителей Кента в парламенте являлся Джефффри Чосер. В отличие от большинства парламентариев XIV века он заседал в парламенте только один срок. Чосер и его коллега Уильям Бетенхем, другой член парламента от графства Кент, получили по два шиллинга суточных за шестьдесят один день, из чего следует, что Чосер от первого до последнего дня присутствовал на этой бурной парламентской сессии, успевая в то же время делать другие, более мелкие дела: 15 октября он давал свидетельские показания на процессе Скруппа — Гровнора, 20 октября получил свою ренту и ренту Филиппы, 13 ноября поручительство в большом зале суда по гражданским делам за своего зятя (мужа сестры Чосера Катрин) Саймона Мэннингтона, привлеченного к суду за неуплату долга, а 28 ноября, в день роспуска парламента, получил свое жалованье в качестве надсмотрщика лондонской таможни по шерсти. На той же неделе он откажется от этой должности, а еще через десять дней подаст в отставку с поста надсмотрщика малой таможни. Мы можем только догадываться, что Чосер, потрясенный тем, что увидел на этой сессии парламента, счел за благо не стоять поперек дороги Глостеру.

Чосер и раньше — прежде чем отправиться из Гринвича на сессию парламента в качестве представителя от Кента — знал, что Глостер враг. Глостер, вернее, Томас Вудсток, поскольку более высокий титул герцога Глостерского он получит только в ходе этой сессии парламента, был человеком выдающимся, в некоторых отношениях напомиавшим своего брата Джона Гонта. У них был разный темперамент. Сдержанный Гонт производил на врагов и незнакомцев впечатление холодной надменности; если он, случалось, и выходил из себя, то делал это умышленно, блестяще играя гнев. Вудсток, напротив, отличался вспыльчивостью, и его грозный гнев был вполне реален. В конечном счете несдержанный характер и погубил его. Оба брата обладали огромной силой воли: они были способны годами удерживать вместе раздираемые распрями коалиции и заставлять людей, более слабых духом, занимать позиции, казавшиеся, должно быть, им

самим достойными удивления. Как и Гонт, Вудсток придавал большое значение рыцарскому кодексу. В юности он создал «майскую компанию», состоявшую, по-видимому, из сочинителей стихов и веселых песен, теплую память о которых он сохранял и в более поздние годы. Вудсток был опытным полководцем, грозным турнирным бойцом; о нем с восхищением отзывались его враги-французы, утверждавшие, что по тому, как он говорит, можно узнать подлинного сына короля. Большой любитель музыки, он держал у себя на службе слепого арфиста, а в зале его большого лондонского дома был установлен орган; даже на шпалерах в его доме были изображены ангелы, играющие на музыкальных инструментах. Он любил литературу: собрал одну из самых больших библиотек своего времени, в которой были не только жития святых и молитвенники, но и книги исторического содержания, рыцарские романы и поэмы на нескольких языках, в том числе и поэмы Чосера. О его благочестии ходили легенды — тут он перешеголял Гонта, поскольку не содержал любовниц, более щедро и открыто жертвовал деньги монастырям, церквям и церковным школам и ходил во всем черном, как какой-нибудь сельский священник.

Покуда Гонт оказывал Ричарду поддержку, Вудсток следовал его примеру; однако теперь Гонт был далеко, а Франция собирала огромную армию вторжения. Для Англии единственный вопрос заключался в том, кто возглавит отпор неприятелю: то ли придворные Ричарда, то ли закаленные в боях магнаты, выбранные в военачальники с согласия парламента? Чосер, заседавший в парламенте, слышал, как канцлер Ричарда Михаил де ла Пол в присутствии молодого Ричарда, сидевшего на тронном помосте позади него, изложил от имени короля просьбу о создании армии для обороны страны. После этого Ричард спокойно удалился в свой Элтемский дворец дожидаться решения парламента. Во время парламентских прений стало известно, что презренному Роберту де Веру, графу Оксфордскому и маркизу Дублинскому, теперь пожалован высокий титул герцога Ирландского, в качестве политической подачки Томас Вудсток был удостоен титула герцога Глостерского, а Эдмунд Лэнгли, третий дядя короля, — титула герцога Йоркского, второстепенных по сравнению с новым титулом де Вера.

Парламент, действовавший, несомненно, под нажимом разгневанного Глостера, послал сообщить королю, что он настаивает на смещении королевского канцлера, а также на смещении королевского казначея. Ричард

в ответ приказал парламенту молчать и объявил, что он не станет по требованию парламентариев отстранять «повара от кухни». Последовал дальнейший обмен посланиями. Ричард, в частности, заявил, что он готов встретиться с небольшой группой наиболее авторитетных членов палаты общин — группой, в которой видное место занимал бы сторонник короля Чосер, — но по настоянию Глостера это предложение было отвергнуто. И вот в конце концов состоялась знаменитая встреча короля с его дядей герцогом Глостерским и другом Глостера Томасом Аранделом, епископом Илийским. Герцог с епископом имели все основания люто ненавидеть свору королевских фаворитов, и в особенности кровожадного интригана де Вера, ныне герцога Ирландского, и опасаться их. В речи, изобиловавшей вполне понятными в устах представителя рыцарства яростными выпадами против придворных Ричарда, чуждых ратному делу и проводящих время в охоте на оленей, Глостер потребовал, чтобы королевская власть не была глуха к нуждам подданных, и угрожающе предостерег короля, что, если тот и далее будет упорствовать в своем отказе, подданные могут прибегнуть к средству, узаконенному «древними статутами и недавним прецедентом». Прозрачный намек на судьбу, постигшую Эдуарда II, вынудил Ричарда капитулировать.

Явившись в парламент, король с показным смирением согласился с отрешением Пола от должности и привлечением его к суду, который приговорил бывшего канцлера к штрафу и тюремному заключению, а также с отстранением ряда других членов его правительства и созданием «большого постоянного совета» для руководства его делами. Парламент был распущен, а Чосер поспешно вернулся домой, подав в отставку с тех своих таможенных постов, где он мог бы попасть под огонь Глостера. Что до короля, то он вскоре продемонстрировал свое пренебрежение к решениям парламента. Он освободил Пола от штрафа и послал его отбывать заключение в Виндзор, где его тюремщиком стал Саймон Бэрли и куда на рождество прибыл сам король. Пока совет, приступив к работе, своею собственной властью скреплял государственной печатью королевские рескрипты, Ричард и его фавориты, вырвавшись из-под опеки, объезжали Англию, Ирландию и Уэльс, собирая армию и, что еще важнее, юридические мнения.

Сначала в Шрусбери, а затем в Ноттингеме король встречался с самыми высокопоставленными юристами

королевства и поставил перед ними тщательно сформулированные вопросы относительно законности действий парламента 1386 года. Глостер узнал о том, что король встречался с судьями высшего ранга, от архиепископа Дублинского, который присутствовал на встрече в Ноттингеме.

Профессор Р. Х. Джонс пишет:

«Легко представить себе, как встревожились Глостер и его союзники, услышав рассказ архиепископа: ведь вопросы Ричарда и ответы судей значили куда больше, чем просто подготовку к схватке с советом. Они пробуждали призраков, дремавших более полувека. Отныне в спор было привнесено внушающее трепет слово «измена» со всеми вытекающими из обвинения в измене последствиями: конфискацией имущества, лишением всех гражданских прав и смертной казнью через повешение, четвертование и вырывание внутренностей. Помимо того, вопросы, поставленные королем, представляли собой более ясно сформулированное и подробное изложение некоторых аспектов роялистской теории исключительного права короля, чем все, что когда-либо говорилось по этому поводу ранее»⁶.

Единодушный и неизбежный вывод судей — они отвечали на вопросы короля под присягой и вопреки позднейшим своим утверждениям не под принуждением — сводился к тому, что действия, подобные предпринятым Глостером и его друзьями, должны квалифицироваться как измена. Следует здесь отметить, что Ричард добивался не видимости законности для обоснования своих поступков, когда для него придет время расквитаться с врагами, но подлинной законности — защиты прав и привилегий английского короля и их четкого определения на все времена.

Вооружившись этими заключениями, которые он, увы, не подкрепил вооруженной силой, так как полагал, что его враги будут связаны силой закона, король вернулся в Лондон и призвал к себе своих надменных недругов. Те уклонились от встречи под тем предлогом, что король окружил себя людьми, жаждущими убить их. Ричард выпустил королевскую прокламацию — оружие, которое он в течение большей части своей жизни применял вместо пороха, — запрещающую жителям города продавать что-либо графу Аранделу. Немедленно вслед за этим Глостер, Арандел и дряхлый, но многоопытный Уорик начали собирать войско в Харрингуэйском охотничьем парке к северу от Лондона. Затем они отступили

к Уолтем-Кросс и принялись рассылать оттуда хитроумно составленные циркуляры, в которых объясняли причины своей оппозиции фаворитам и призывали оказать им поддержку. Их пропаганда побудила к действию горожан, и Ричард был вынужден пойти на компромисс. Глостер настойчиво утверждал, что он и его сторонники никогда не намеревались причинять вред самому королю, а лишь хотели избавить его от дурных советников. Глостер потребовал суда на этими советниками и потребовал далее, чтобы король держал их в тюрьме, пока не соберется парламент. Ричард с церемонной учтивостью согласился удовлетворить эти требования и приказал парламенту собраться в одиннадцатинедельный срок. Однако он совсем забыл о втором своем обещании, и все обвиняемые скрылись в густых английских лесах, за исключением одного только Николаса Брембра, который храбро оставался в Лондоне, пытаясь собрать для короля войско.

На заседаниях парламента, когда он собрался, кипели бурные страсти. (Чосер не присутствовал на этой сессии — возможно, он не был избран.) Согласно вестминстерскому летописцу, некоторая часть лордов хотела низложить короля и посадить на его место Глостера, который был готов принять этот план, но старик Уорик убедил их избрать более благоразумный образ действий: собрать армию и устроить облаву на Роберта де Вера, герцога Ирландского. Армия, предводительствуемая, среди прочих, Генрихом Болингброком, сыном Гонта, настигла и окружила войско де Вера, но упустила самого де Вера, которому удалось бежать, воспользовавшись густым туманом, и которого король сумел спрятать и тайно переправить через Ла-Манш. Ричард укрылся в Тауэре, где чувствовал себя в большей безопасности, и, по-видимому, начал составлять заговор, с тем чтобы заручиться помощью Франции в борьбе против своих зарвавшихся баронов. В числе прочих он поручил ехать за границу и Джеффри Чосеру, который, конечно, тяжело вздохнул — это поручение могло оказаться гибельным даже для человека, до сих пор ухитрявшегося уцелеть во всех исторических передрягах, — но тотчас же отложил все дела и выправил бумаги для поездки в Европу. По какой-то причине Чосер так и не совершил этой поездки, хотя другие эмиссары Ричарда отправились в путь. А тем временем состоялись весьма серьезные переговоры в Тауэре. Еще в 1385 году, когда девятнадцатилетний бездетный Ричард собирался предпринять военный поход в Шотлан-

дию, парламент назначил его наследником Мортимера, и Ричард согласился с этим назначением. И вот теперь лорды, явившиеся для переговоров, сурово напомнили королю, что его наследник достиг возраста, в котором он может управлять королевством, «после чего Ричард, *stupefactus* *, обещал, спасая свою корону и свое королевское достоинство, что будет послушен их управлению»⁷. Лорды, обратившиеся к королю — они получили название «лордов-апеллянтов» (Глостер, Ричард Арандел, Томас Бошам, граф Уорик, Томас Моубрей, он же граф Ноттингемский, и сын Гонта Генрих Болингброк), — приняли это обещание всерьез и исполнились решимости править страной по своему усмотрению.

3 февраля 1388 года в Вестминстер-холле собрался так называемый «Беспощадный парламент». 14 февраля Михаил де ла Пол, де Вер (граф Оксфордский, герцог Ирландский), главный королевский судья Роберт Тресилиэн (автор искусно сформулированных вопросов, с которыми король обратился к судьям) и архиепископ Йоркский были объявлены виновными в измене и все, за исключением архиепископа, которого спасла сутана, приговорены к ужасной казни. Три дня спустя обвинение в измене было предъявлено партнеру Чосера по таможенным делам толстяку Нику Брембру. Когда Брембр заявил, что он не виновен, и предложил доказать свою невиновность при помощи судебного поединка, король попытался заступиться за него, но пятеро апеллянтов со звоном бросили к ногам Брембра свои рыцарские перчатки, вслед за которыми, «как снегопад», посыпались перчатки многих других. По формально-юридическим причинам в судебном поединке Брембру было отказано. Разгорелись споры, с разных сторон выражались серьезные сомнения относительно виновности Брембра в каком-либо преступлении, караемом смертью, но после трехдневного бесчестного и циничного судебного разбирательства он был осужден. Тем временем схватили Тресилиэна, уже осужденного заочно. На повозке, на которой возили преступников к месту публичной казни, Тресилиэна доставили на Тайберн и подвергли жестокой казни. На следующий день такой же казни подвергли Брембра.

Последовали новые суды, приговоры и казни. На Тайберне пролились реки крови. Никогда еще в истории Англии не было казнено столько людей благородного происхождения под столь неубедительными предложениями. Споры

* Ошеломленный (*лат.*).

нет, многие придворные Ричарда были алчны, безответственны, близоруки, но никого из них не удалось уличить в преступлениях, и никто из них, конечно, не заслуживал смерти именем закона. При рассмотрении некоторых дел — дела Саймона Бэрли, например, — между самими апеллянтами вспыхивали ожесточенные разногласия. Генрих Болингброк решительно защищал Бэрли, а младший сын Эдуарда III Эдмунд Лэнгли, герцог Йоркский, человек по характеру невоинственный, грешивший стихами, вызвался даже защищать Бэрли на поединке со своим собственным братом, герцогом Глостерским. Однако Глостер, чей неукротимый нрав теперь, в отсутствие Гонта, ничто не могло сдерживать, победил в этом споре и занялся установлением твердого контроля над тронем, который, как он себя наполовину уверил, должен бы был занимать он сам. Впрочем, он, видимо, и впрямь ненавидел не короля, а королевских советников; с другой стороны, если бы Глостер не уничтожил любимых друзей короля, тот пощадил бы его, когда настал час расплаты.

Торжество Глостера было недолгим. 3 мая 1389 года на заседании большого совета Ричард спокойно спросил, сколько ему лет. Выслушав ответ: «Двадцать два года», он объявил, что намерен теперь, по достижении полного совершеннолетия, править королевством самостоятельно. Против этого ничего нельзя было возразить. К тому же самые опасные враги совета были к этому времени мертвы или скрывались от преследования. В ноябре того же года рухнула последняя надежда Глостера вернуть себе власть: ничего не добившись в Испании и не имея больше оснований опасаться врагов в окружении Ричарда — все они были уничтожены, — в Англию возвратился Джон Гонт.

Годы 1386—1388, на которые пришелся период господства Глостера, были печальной порой в жизни Чосера, и политическое положение Англии, надо думать, затрагивало его меньше, чем другие несчастья. По-видимому, летом 1387 года умерла Филиппа Чосер. 18 июня этого года Чосер в последний раз получил ренту, которая выплачивалась его жене, а 7 ноября он получил уже только свою ренту. Странно сказать: мы знаем столько фактов биографии Чосера и ничего не знаем о самой, может быть, сокровенной стороне его жизни. Мы можем только предполагать, что последняя болезнь Филиппы или ее смерть избавила Чосера от поездки во Францию,

когда Ричард укрылся в Тауэре и искал помощи из-за границы. Но как бы то ни было, Чосер был рядом с ней — или где-то поблизости, — когда Филиппа скончалась; по-видимому, тут же были и дети, приехавшие домой на летние каникулы. Если не считать его ранней поэмы, написанной на смерть Бланш Ланкастер, Чосер нигде не затрагивает тему смерти любимой жены — он пишет, притом часто, лишь о радостях любви и семейной жизни; пожалуй, это дает нам лучший ключ к пониманию того, что он чувствовал. Он часто говорит о том, чего женщины хотят от мужчин и чего мужчины хотят от женщин, предвосхищая Уильяма Блейка, писавшего — в высшем физическом и духовном смысле — об «утоленного желания чертах». И он выставляет в комическом свете мужчин и женщин, неспособных понять эту простую истину. Немыслимо, чтобы он мог быть одним из неумелых мужей, изображенных в его комедиях. Наверняка он любил жену и был любим ею, а что до ее смерти, то, как бы он ни горевал, у него не было ни малейшего сомнения в возможности воссоединения любящих в раю (в этом нисколько не сомневаются даже худшие из его злодеев). Как и всякий средневековый добрый христианин, он поплакал над покойницей, похоронил ее и полем побрел вместе с сыновьями с кладбища домой.

Однако после смерти жены Чосеру пришлось собрать все свое мужество, чтобы не впасть в отчаяние. Обстоятельства обернулись против него, ибо он оказался на стороне побежденных — на стороне короля, — и на его долю выпало немало неприятностей и обид. В 1388 году — году «Беспощадного парламента» — рента, которую выплачивало ему казначейство, была передана — «по его собственной просьбе», что бы это ни значило, — Джону Сколби, человеку Глостера. В том же 1388 году на Чосера подали в суд за неуплату долгов Джон Черчмен, конюх Генри Этвуд, бакалейщик и бывший мэр Лондона Уильям Венор, будалейщик Джон Лейер и Изабелла Бакхолт, управительница состоянием Уолтера Бакхолта. Никто уже теперь не узнает, какую подоплеку имели эти долги Чосера, но почти наверняка можно сказать, что по меньшей мере один из подавших на Чосера в суд, Уильям Венор, являлся ростовщиком. Другой, Уолтер Бакхолт, имел с Чосером деловые отношения, когда поэт стал главным смотрителем королевских строительных работ. В годы, когда Чосер занимал эту должность, равно как и в последующие годы, Бакхолт исполнял обязанности заместителя лесничего Кларендонского королевского охотничьего запо-

ведника, а впоследствии, возможно, служил и заместителем лесничего в парке Чаринг-Кросс. Следовательно, некоторые долги Чосера могли быть личными, а некоторые, если не все, возможно, были сделаны им в качестве должностного лица на службе короля. В конечном счете, разумеется, для Чосера это особого значения не имело. Покуда делами в стране заправлял Глостер, Чосеру было крайне трудно получить от правительства то, что ему причиталось, да и после того, как Ричард вновь обрел в 1389 году свою королевскую власть, правительство продолжало платить Чосеру деньги весьма нерегулярно, вынуждая его прибегать ко всяческим уловкам; и вполне вероятно, что это наполняло его душу невеселым, тоскливым чувством, подобным унынию, описанному им давным-давно в другой связи в «Книге герцогини»:

Судьба мне шлет удары — пусть!
Мне все одно: веселье, грусть.
Что радовало, жгло, кипело,
Теперь в душе окаменело,
И все наводит лишь тоску...

Все эти долги, что кредиторы взыскивали с Чосера через суд, были сравнительно невелики: 3 фунта 6 шиллингов 8 пенсов (800 долларов) Чосер задолжал Джону Черчмену, 7 фунтов 13 шиллингов 4 пенса (1840 долларов) — Генри Этвуду, 3 фунта 6 шиллингов 8 пенсов (800 долларов) — Уильяму Венору и т. д. Учитывая размеры денежных сумм, которыми Чосер распоряжался после 1389 года, когда Ричард назначил его главным смотрителем королевских строительных работ, эти долги — кстати, все еще не уплаченные, — должно быть, являлись для него досадными пустяками; фактически он всякий раз не являлся по вызову в суд и потом утрясал вопрос о долге во внесудебном порядке. Но хотя эти долги вовсе не свидетельствуют — вопреки версии ранних биографов Чосера — о том, что Чосер-де имел склонность к мотовству, а на старости лет расплачивался за свою расточительность, они свидетельствуют о другом: что Чосер — смотритель королевских строительных работ, проводивший время в разъездах по всей Англии, одинокий вдовец, порой охладевавший к своей поэзии, — иной раз чувствовал себя задержанным и очень несчастным человеком.

Ричард потребовал вернуть ему право управлять королевством — и получил это право в мае 1389 года. И тотчас же начал возвращать своих друзей — тех, что

уцелели, — на государственную службу. Уже 12 июля Чосер был назначен на должность главного смотрителя королевских строительных работ, которую он будет занимать вплоть до июня месяца 1391 года. В том же 1389 году Чосеру вернули ренту, которая выплачивалась ему казначейством.

Должность главного смотрителя королевских строительных работ, безусловно, показалась Чосеру в первый момент замечательным повышением по службе, но вскоре оказалось, что она связана с таким количеством трудной и скучной работы, о каком он раньше, может быть, и представления не имел. В качестве смотрителя он, согласно королевскому рескрипту о его назначении, должен был нести ответственность за «...все строительные работы в нашем Вестминстерском дворце, нашем лондонском Тауэре, нашем Беркамстедском замке, наших манорах Хеннингтон, Элтем, Клерендон, Шин, Байфлит, Чилтерн, Лэнгли и Фекенхем, наших Хэзберских охотничьих павильонах в нашем Новом лесу и в других наших заповедных парках и конюшнях, в нашем соколином хозяйстве на Чаринг-Кросс, равно как и за все работы по содержанию в исправности наших садов, рыбоводных прудов, мельниц и парковых оград, относящихся к упомянутым выше Вестминстерскому дворцу, Тауэру, замкам, манорам, охотничьим павильонам и конюшням, будучи уполномочен (лично или через заместителя) подбирать и нанимать каменщиков, плотников и всевозможных прочих мастеров и работников, которые потребуются для наших строительных работ, всюду, где их только можно будет найти, со всеми привилегиями или без оных (за исключением церковного сбора), и поручать им производить работы в перечисленных местах по нашим расценкам»⁸.

Предшественником Чосера был некий Роджер Элмхем, который являлся смотрителем не только всех мест, перечисленных в рескрипте о назначении Чосера, но также и смотрителем Виндзорского замка, включая Виндзорский манор и охотничий павильон, замка Хэдли в Эссексе и ряда других маноров и охотничьих домиков. Пока Чосер занимал должность главного смотрителя, Виндзор оставался под управлением коннетабля замка; однако в тот же день, когда Чосер получил назначение на должность главного смотрителя, его назначили также смотрителем строительных работ в часовне св. Георгия в Виндзоре. По-видимому, в часовне шло строительство, и король хотел уменьшить бремя своих расходов по содержанию

Виндзора, переложив оплату строительства на казначейство.

Тяжесть и однообразие смотрительской работы, разумеется, до известной степени компенсировались сознанием определенной ее значимости, притом даже значимости эстетической, равно как и сознанием того, что она требует таланта и опыта, даже известной дальновидности, так что человек, занимавший этот пост, мог получать моральное удовлетворение от своей работы, более того, мог при желании считать себя одним из самых важных правительственных должностных лиц. Во всяком случае, ему и его помощникам было суждено оставить более долговременный отпечаток на облике Англии, чем большинству их современников. Царствование Ричарда ознаменовалось широким размахом строительных работ, хотя в ту пору, когда Чосер стал смотрителем, строительная программа еще только разворачивалась. Чосер расходовал примерно столько же средств, сколько его предшественники, зато уже смотритель, сменивший его на этом посту, и все последующие смотрители в годы правления Ричарда тратили значительно больше. Тем не менее и Чосер осуществлял руководство крупными строительными работами, как о том можно судить даже по случайно сохранившимся записям. В числе нанятых им работников были некоторые мастера, услугами которых пользовались впоследствии и другие чиновники, занимавшие должность смотрителя, и кое-кому из этих мастеров он платил огромное жалованье; у него, в частности, работали такие известные строители, как лондонский кровельщик Хью Суэйн по прозвищу Хью Поставщик и каменщик-подрядчик (и зодчий) Генри Йивли (названный впоследствии «Реном XIV века») — по его проекту построен неф Вестминстерского аббатства. Подбирать таких чудо-мастеров, способствовать возрождению английской архитектуры, перестраивать отдельные части Тауэра и порта, сооружать или поправлять озера, пруды, каналы, формировать английский ландшафт — это занятие напоминало Чосеру, пускай отдаленно, создание поэтических произведений.

Он ушел с должности смотрителя — или был отстранен от нее — 17 июня 1391 года в возрасте пятидесяти одного года или около того. Своему преемнику, некоему Джону Гедни, он передал свои бухгалтерские книги, строительные материалы и т. д.; среди строительных материалов значились, в частности, 101 тонна стэплтонского камня и 200 возов рейгейтского камня для ремонта часовни св. Георгия в Виндзорском замке. Высказывались вся-

ческие догадки относительно того, почему Чосер ушел или был смещен с должности главного смотрителя, в том числе и гипотезы о том, что он «был нерасторопным служителем» и что «он не проявил хватки делового человека»⁹. Подобные гипотезы являются выражением прекраснородушного романтического предубеждения, связанного с представлением об особом поэтическом образе жизни, согласно которому поэты ищут приключений и органически не способны приковать себя к бухгалтерским книгам. Чосер, конечно, посмеялся бы над подобными представлениями. Ведь так чудесно, сказал бы он, занимать прочное положение, жить в красивом доме, распорядиться целой армией служителей и помощников, иметь влияние и вес. К тому же, мог бы добавить он, 200 возов ослепительно белеющего на солнце рейгейтского камня, который в скором времени будет превращен трудом и искусством людей в творение зодчества, представляют собой впечатляющее зрелище. Короче говоря, причины, по которым он оставил должность главного смотрителя, носили, вероятно, практический, житейский характер. Главным объектом работ в годы пребывания Чосера в этой должности являлось строительство, для руководства которым он был как нельзя лучше подготовлен: продолжавшиеся ремонт и перестройка пристани шерстяной торговли возле Тауэра и зданий для взвешивания шерсти, тоже по соседству с Тауэром. На эту стройку Чосер выплатил или ассигновал свыше 654 фунтов стерлингов (156 960 долларов) — это составляло более половины всех расходов, произведенных им в качестве смотрителя строительных работ. (Следующей по величине статьей его расходов — 100 фунтов стерлингов (24 000 долларов) — явилось строительство в часовне св. Георгия, все еще не завершённое к моменту его ухода с должности.) Строительство в порту, разумеется, имело важное значение для короля, поскольку было связано со сбором пошлин, но вполне возможно, что ему придавал большое значение и Чосер — как знать, может, это его стараниями оно было санкционировано, — ведь в бытность свою надзирателем таможи он на собственном опыте убедился в необходимости реконструкции порта и портовых сооружений. Здесь следует также упомянуть о том, что в 1390 году Чосер вместе со своим приятелем сэром Ричардом Стэри и другими должностными лицами принимал участие еще в одном проекте, связанном с улучшением состояния водных путей, — осмотре и восстановлении дамб, насыпей и водостоков на участке русла Темзы от Вулиджа до Гринвича.

Дело в том, что под утро 5 марта 1390 года здесь пронесся страшной силы ураган, повергший в ужас жителей и разрушивший немало домов, амбаров и изгородей. Ураган вывернул с корнем более сотни дубов в Элтеме, к югу от Гринвича, и стал причиной затопления обширных земель и повреждения мостов, дамб и водостоков. В задачу комиссии, членом которой состоял и Чосер, входило установить, на кого из землевладельцев ложится обязанность произвести ремонтные работы, и привлечь к суду всякого, чье нерадение к содержанию в исправности водных путей способствовало умножению ущерба. Назначение Чосера в комиссию, которой поручалось инспектировать поврежденные водные пути и определять, какие затворы шлюзов, разрушенные ураганом, были к этому времени гнилыми, ясно показывает, что его считали авторитетом в этих вещах. Так как Чосер перестал работать смотрителем сразу по завершении руководимых им строительных работ в порту и здании для взвешивания шерсти, напрашивается следующее объяснение причины его ухода: по-видимому, Чосера взяли на должность главного смотрителя королевских работ в силу того, что он обладал специальными техническими познаниями в области строительства портовых и таможенных сооружений, а когда эти специальные познания стали больше не нужны, ему предоставили другую, столь же почетную, но менее изнурительную работу.

Во время своего недолгого пребывания на посту смотрителя Чосер, разумеется, наблюдал и за другими строительными работами, помимо тех, что велись в порту и часовне св. Георгия. Так, например, под его надзором сооружалась на Смитфилдской площади арена с трибунами для турниров, состоявшихся в мае и октябре 1390 года, а также арены, трибуны и барьеры для судебных поединков, которые происходили всякий раз, когда обвиняемый изъявлял желание доказать свою невиновность с помощью «божьего суда», — процедура, нередко применявшаяся в случае отсутствия свидетелей преступления. Арены с трибунами для судебных поединков должны были обладать особой прочностью: в 1380 году, например, посмотреть один судебный поединок собралось, по утверждениям очевидцев, больше народу, чем на коронацию Ричарда. В ведении Чосера и его помощников находились сотни других, менее крупных, строительных работ, но важнейшей стройкой того периода была, как уже говорилось, реконструкция порта у Тауэра.

Должность главного смотрителя в общем и целом была

одной из самых трудных за всю служебную карьеру Чосера. Одно ведение бухгалтерских книг вполне можно было бы считать загрузкой на полный рабочий день, а ведь в круг служебных обязанностей смотрителя входило множество дел, помимо бухгалтерии. Мы не имеем возможности с документами в руках утверждать, что смотрителю строительных работ полагалось по должности быть архитектором, хотя по меньшей мере один из предшественников Чосера на этом посту, Уильям Уайкхем, являлся известным зодчим; сохранившиеся документы свидетельствуют о том, что смотритель не только в теории, но и на практике заботился о покупке, перевозке и хранении самых разнообразных строительных материалов, инструментов, орудий, принадлежностей, механизмов и т. д. и т. п.; если какие-либо из этих материалов разворовывали, обязанностью смотрителя было вернуть их; по завершении работы он должен был распродать остатки. В его обязанности входило разбирать дела работников-смутьянов, подыскивать рабочих, квалифицированных и неквалифицированных, и следить за тем, чтобы нанятым работникам, ломовым извозчикам и прочим оплачивали их труд.

Таким образом, в 1389—1391 годах Чосер много разъезжал по стране. Разъезды эти были не только трудным и утомительным, но и небезопасным занятием. Даже самые лучшие дороги в Англии XIV века представляли собой узкие и извилистые коридоры между высокими стенами; сверху над ними нависали сучья старых деревьев, и даже днем в непогоду (когда лил дождь, опускался туман или падал снег, если дело было зимой) там царил полумрак. В темное время суток дорога не освещалась. Окна в средневековых сельских домах плотно закрывались на ночь ставнями, так что даже сравнительно многолюдное селение погружалось ночной порой во тьму и безмолвие, как в наше время глухая горная деревушка где-нибудь на Крите. Английские деревни находились тогда дальше друг от друга, чем сейчас; требовались дни, чтобы добраться от одного крупного центра до другого — ну, скажем, чтобы смотрителю Чосеру доехать до Йорка, где велись королевские строительные работы. Путники на этих обнесенных стенами ухабистых дорогах попадались редко. Время было благоприятное для всяких лихих людей, и Англия кишела разбойничьими шайками.

3 сентября 1390 года неподалеку от пользовавшегося дурной славой «грязного дуба» в Кенте, огромного, кряжистого, зловещего вида дерева, на суках которого нередко вешали преступников и поблизости от которого

нередко совершались ограбления — в парламенте 1387 года говорилось о том, что однажды темной ночью Николас Брембр вздернул на этом дубу без всякого суда двадцать два преступника, — новая, только что сбившаяся шайка кентских разбойников, профессионалов в этом деле, устроила засаду. Расположившись кто за кустами, кто в ветвях деревьев, они подстерегали свою жертву. Это не были какие-нибудь неотесанные мужланы: двое знали латынь достаточно хорошо, чтобы выдавать себя за церковников, неподсудных мирскому суду; двое других были мастера по побегам из тюрем; вероятно, все члены шайки имели кое-какой военный опыт; все они давно уже промышляли разбоем то в одной, то в другой банде, но ни один не попадался в руки блюстителей порядка как разбойник.

Но намерение ограбить солидного, с густой сединой в бороде королевского служителя, который точно в рассчитанный ими час подъезжал верхом к дереву, где они сидели в засаде, оказалось для бандитов роковым. Конь Чосера заржал и испуганно шарахнулся к середине дороги. Разбойники спрыгнули на дорогу и с криками: «Стой!» — окружили Чосера, вырвав мечи из ножен. Чосер, будучи человеком благоразумным, повиновался. Разбойники отобрали у него коня и все бывшие при нем ценности (возможно, они отобрали и одного-двух сопровождавших его стражников), затем, как видно, отколотили его (так как в обвинительном акте против них употреблен термин *depredare* — «отнимать силой», — а не более мягкий термин *fugari* — «украсть»), отняли у него 20 фунтов стерлингов (4800 долларов) королевских денег и скрылись.

Если делом Чосера было разъезжать по всей центральной Англии, и в особенности по Кенту, и иметь здесь широкие связи, то делом властей, следящих за соблюдением закона, было в первую голову позаботиться о том, чтобы никто не мог безнаказанно ограбить короля. Даже если бы разбойники не проявили крайнего безрассудства, ограбив Чосера во второй раз в Вестминстере и в третий раз в Хэтчеме (оба раза — 6 сентября), королевские власти, наверное, сумели бы выследить их и поймать. Человек, который казался такой легкой поживой, стал причиной гибели шайки.

Документальные свидетельства противоречивы или, во всяком случае, непоследовательны, они дают почву для различных интерпретаций. Некоторые считают, что Чосера, возможно, ограбили не три раза, а только один раз. Если понимать уцелевшие записи буквально, то у него отобрали 20 фунтов 6 шиллингов 8 пенсов (4880 долларов)

возле «грязного дуба» 3 сентября, 10 фунтов стерлингов (2400 долларов) 6 сентября в Вестминстере и примерно столько же в Хэтчеме в Суррее. Грабители были опознаны и отданы под суд — может быть, над ними состоялось даже несколько процессов. Судила их необычайно авторитетная коллегия судей, со многими из которых Чосер познакомился, будучи мировым судьей. Один из разбойников, Ричард Брайерли, состоявший раньше в шайке, которая орудовала в нескольких графствах, заявил было о своей невинности, потом одумался и в надежде избежать наказания стал изобличать своих сообщников: он назвал ирландца Томаса Толбота по кличке Крепыш, Гилберта — подручного Толбота — и Уильяма Хантингфилда, в прошлом члена известной шайки, разбойничавшей в Суррее. Впоследствии Брайерли назвал еще некоего Адама Грамотея как своего соучастника в другом ограблении, в Хертфордшире. Адам не признал себя виновным и вызвал Брайерли на судебный поединок, который состоялся 3 мая 1391 года. Брайерли потерпел поражение и был повешен. Адама повесили год спустя за другое преступление — ограбление в Тоттенхеме. Уильям Хантингфилд, слывший ловким конокрадом и имевший такую власть над людьми, что Ричард Мэнстон из Ланкашира, рискуя собственной головой, вызвался помочь Хантингфилду бежать, предстал перед судом 17 июня 1391 года по обвинению в ограблении Чосера в Вестминстере и Хэтчеме. Он был признан виновным в вестминстерском ограблении и заявил, что пользуется привилегией лиц духовного звания, иными словами, доказал, что умеет читать по-латыни, и потребовал на этом основании, чтобы его судил церковный суд. Дело об ограблении в Хэтчеме должно было рассматриваться судом графства Суррей, который собрался 6 октября; к этому времени Хантингфилд успел убежать из-под стражи. Его снова поймали, судили за побег из тюрьмы, и он признал себя виновным. Что с ним случилось дальше — неясно. Поскольку его возражение против юрисдикции суда со ссылкой на привилегию лиц духовного звания было, как явствует из судебных протоколов, отклонено, вероятнее всего, что, невзирая на все его познания в латыни, его все-таки повесили. Что до Толбота, то он тоже сослался на свою подсудность церковному суду и был передан в 1396 году архидиакону Йоркскому как заключенный-причетник, и о дальнейшей его судьбе сведений не сохранилось. Его подручный Гилберт был объявлен вне закона за неявку в суд, но, по-видимому, так и не был пойман и су-

дим. 6 января 1391 года Чосер был освобожден от обязанности уплатить в казну украденные у него 20 фунтов, и на том его треволения, связанные со всей этой историей, благополучно закончились. А еще через пять месяцев он навсегда распростился с должностью смотрителя работ, хотя правительство еще не выплатило ему всего, что задолжало. До самого конца жизни будет он пытаться получить в казначействе причитающиеся ему деньги и отбиваться от докучливых кредиторов, требовавших уплаты различных мелких долгов. Но вместе с тем он будет получать и от Ричарда, и от сына Гонта Генриха IV заслуженные почести как величайший из всех европейских поэтов своего времени. В ту пору Чосер нередко навещался в Оксфорд, где у него было немало старых друзей и где учился его «сынишка Луис»; частенько вплоть до самой смерти своего друга и покровителя навещал он Гонта, любимым придворным которого был Томас Чосер и у которого служили или регулярно гостили многие старые друзья Чосера и их дети.

ГЛАВА 9

Смерть Глостера, Джона Гонта и героя этой книги

Часто приходится слышать рассуждения о том, что, мол, тот или иной поэт — скажем, Вордсворт или Колридж — утратил в какую-то пору жизни поэтический дар; то же самое нередко говорилось и о Чосере, притом по меньшей мере дважды им самим. Спору нет, ему не удалось даже приблизиться к завершению своего грандиозного замысла «Кентерберийских рассказов», но было бы, пожалуй, ошибкой принимать слишком серьезно утверждение Чосера, что ему, дескать, «Злодейка-старость притупила ум, / Умения слагать стихи лишила». Эти строки из заключительной строфы-посвящения стихотворения «Жалоба Венеры» и впрямь производят, как мне кажется, впечатление искреннего сетования старика, огорченного тем, что в последнее время стихи пишутся уже не так легко, как раньше. Но, пытаясь понять, что могут значить эти строки (или вдумываясь в смысл строчек «Обращения к Скогану», где с более ощутимой иронией говорится о его спящей музе), следует помнить о том, что даже тогда, когда Чосер наиболее серьезно говорит о себе, в его стихах звучит глубоко затаенное ироническое подтрунивание над собой. Из поэмы в поэму подшучивает он над своими душевными или физическими недостатками, и, хотя эти насмешки служат отражением абсолютно серьезно-самокритичного склада ума, они вместе с тем комично преувеличивают то, в чем поэт видит свои действительные изъяны. Из строк его стихотворного обращения к Генри Скогану явствует, что в последние годы своей жизни он уже не писал так много, как прежде, но едва ли можно искать в них какой-либо другой смысл. В этом стихотворении Чосер дает Скогану один шуточный совет, затем изображает дело так, будто Скоган, не принимая Чосера всерьез, восклицает: «Хотя ты сед, а шутки на уме. / Все б старине играть да рифмовать!» В ответ на

это воображаемое восклицание друга Чосер разуверяет его:

Нет, Скоган, нет, уже я не рифмую.
И музу, погрузившуюся в сон —
Пусть спит себе! — давненько не бужу я.
Заржавел меч, не вынут из ножен —
Им прежде я махал напропалую.
Ничто не вечно — жизни в том урок.
Стихам и прозе и всему свой срок.

Его муза крепко спит вот уже не один год, и даже ради этого стихотворения, заверяет Чосер, он не станет будить ее. Тем не менее само это послание к Скогану говорит о чем угодно, но только не об угасании поэтического дара автора. Следовательно, утверждение Чосера, что он забыл-де искусство писать стихи, могло иметь для него совсем другой смысл.

Мы располагаем достаточно убедительными доказательствами того, что в действительности Чосер писал в последние годы не менее блистательно, чем прежде (хотя теперь он писал меньше), но писал по-другому, на новый, ироничный, лад. Его все меньше интересовала поэзия как подражание — как имитация характера и действия — и все больше интересовала поэзия как высокая и значимая форма шутовства в самом прямом смысле слова. Хотя его, возможно, одолевали сомнения относительно этого странного нового направления, в каком стало развиваться его поэтическое творчество, он, по сути дела, открывал новый подход к искусству, который получит широкое признание у художников только в XX веке. Каким же образом, спрашивается, произошла эта переориентация?

В начале 90-х годов дела у короля Ричарда шли хорошо — поэтому, разумеется, хорошо шли дела и у Чосера. Поэт получил освобождение от многотрудной должности смотрителя королевских строительных работ (в 1391 году) и получил менее хлопотную службу: по видимому, дважды он занимал в течение короткого периода времени должность помощника лесничего в Пезертонском лесу, но по большей части не исполнял никакой другой работы, помимо управления королевским имением в Гринвиче, если он действительно жил там вплоть до 1397 или даже 1399 года, когда переселился в меньший по размеру, но тоже превосходный дом, находившийся под защитой храма, где Чосеру не могли причинять беспокойство его (или, быть может, правительственные)

кредиторы. Иначе говоря, на протяжении нескольких лет, а именно с 1391 года примерно по 1397 год, лишь с краткими, как мы увидим, перерывами, Чосер впервые в своей жизни свободно распоряжался собой, наслаждался досугом, пожиная плоды долголетней напряженной деятельности в качестве государственного служащего. Он часто бывал в Лондоне, где получал свою ренту и, случалось, подарки от короля, время от времени улаживал, не доводя дело до суда, свои денежные дела с кредиторами, навещал старых друзей. По всей вероятности, Чосер читал свои стихи при дворе короля — он много лет продолжал нерегулярно развлекать двор стихами, — и король относился к поэту с неослабевающим уважением: когда дела Ричарда незадолго до его смерти примут дурной оборот, одним из первых, к кому он обратится за помощью, будет Чосер.

Овдовевший поэт жил один, без сыновей, из которых один служил при дворе Гонта, другой учился вдали от дома, так что у него было теперь много свободного времени для стихов. С течением лет душевная рана, причиненная ему смертью Филиппы, затягивалась, острые чувства боли и скорби мало-помалу притуплялись, находили выход в общепринятой в средние века обрядовой форме: он регулярно заказывал заупокойные службы с пением, ставил свечи в ее память, может быть, устраивал ежегодные поминовения. Он не страдал от одиночества: неподалеку жила его сестра Кейт с семейством, в Англию вернулся Гонт, навещались ученики. А большой особняк, в котором он жил, обслуживаемый многочисленной дворней, окруженный широкими лужайками и парками, являл собой предел мечтаний для любого поэта, остающегося на почве реального. Хотя у него бывали настроения, когда он чувствовал себя стариком, Чосер не утратил полностью интереса к красивым женщинам и придворным сплетням о знатных дамах и их кавалерах. В конце 90-х годов поэт сочинил одно откровенно шутовское стихотворение с призывом полюбить его, обращенное к некой «Розамунде», и два восхитительных стихотворных послания о любви и браке, адресованных одно Скогану по случаю его отказа от дамы, которой он добивался, и другое Бактону, предстоящая женитьба которого, как видно, казалась Чосеру неразумным шагом. Следует отметить, что распространенное толкование, согласно которому Чосер прямо осуждает в этом стихотворении брак как таковой, в корне ошибочно. Да, брак может обернуться рабством, говорит Чосер. Он может стать для человека поистине «цепями Сатаны».

Но, если Бактон уверен в своей любви, ему совершенно нечего бояться, добавляет Чосер, советуя Бактону еще раз перечесть «Рассказ батской ткачихи».

Одним словом, у Чосера наконец-то появились идеальные условия для творчества. И он воспользовался этой благоприятной возможностью — во всяком случае, в начале 90-х годов, когда еще писал стихи в прежней, прославившей его манере. В этот период он внезапно изменил свой грандиозный план, по которому создавались «Кентерберийские рассказы». К тому моменту им уже были написаны (не обязательно в порядке перечисления, поскольку «Пролог», например, писался позже других вещей) «Общий пролог», «Рассказ рыцаря», «Рассказ мельника», «Рассказ мажордома», отдельные куски «Рассказа повара» вместе с соответствующими прологами и вступительными частями и еще несколько рассказов, включая «Рассказ шкипера». Хотя мы опускаем ввиду его сложности весь ход доказательства, можно фактически с полной уверенностью утверждать, что нынешний «Рассказ о Мелибее» первоначально был вложен в уста юриста. (В «Прологе юриста» юрист объявляет, что будет говорить прозой, но далее следует, к нашему удивлению, рассказ в стихах, явно вставленный на это место позднее; кроме того, «Рассказ о Мелибее» изобилует юридическими словечками и выражениями.) Наблюдая за делами двора из своего мирного уединения в Гринвиче, беседуя с друзьями во время своих приездов в Лондон, Чосер с растущим разочарованием отмечал, как все больше проникается его любимый король абсолютистскими воззрениями, и наконец счел нужным выразить свое отношение к этому наиболее действенным способом, доступным ему как любимому придворному поэту. Он приступил к решительной переработке «Кентерберийских рассказов». Юристу вместо первоначального рассказа про Мелибея он отдал рассказ о верной Констанце, в котором намеренно преувеличил до смешного аргументацию в пользу слепого повиновения власти (господа бога, короля или мужа), т. е. именно такого, какого требовал от подданных король Ричард. Кроткий ответ героини на повеление отца ехать в далекую от дома страну, чтобы выйти замуж за султана, типичен в этом отношении:

Я уезжаю к варварам от вас,
Покорно вашу исполняя волю.
Мне тот, кто умер на кресте за нас,
Поможет с горькою смириться долей,
Хотя б томилась я от тяжкой боли.

Мы, женщины, для рабства рождены
И слушаться мужей своих должны*.

Даже взятый отдельно, этот нарочито благочестивый, с тщательно спрятанной издевкой рассказ — вещь не комическая, а ироничная — наверняка был воспринят понимающими людьми среди слушателей Чосера как тактичная критика некоторых заветных убеждений короля Ричарда. Но для того, чтобы устранить всякие сомнения, Чосер дал новый рассказ и батской ткачихе (в более ранней редакции она рассказывала историю, ставшую впоследствии «Рассказом шкипера»). Если раньше ткачихе отводилась роль всего лишь рассказчицы, весело повествовавшей о ловких проделках женщин, то теперь она стала смелой защитницей прав женщин, которая начинает свои речи с прямой атаки на деспотический идеал юриста, воплощенный в послушной Констанце:

Чтоб горести женитьбы описать,
Мне на людей ссылаться не пристало:
Я их сама на опыте познала!

Вот так, осуществляя свой замысел посвятить последовательный ряд историй рассмотрению, в тактичной косвенной форме, проблем справедливого и несправедливого правления, Чосер и создал группу «Кентерберийских рассказов», именуемую «брачным циклом».

Никогда еще не писал он так блистательно. Живой разговорный ритм поэтической речи, прозрачно-ясный образный строй, экономное и уверенное построение сюжета — все это говорит о высочайшем мастерстве. Столь же блистательна и разработка Чосером его общей темы. Аргументация батской ткачихи в основе своей благородна и бескорыстна: жене (равно как и подданному) следует предоставить власть над собой, после чего она обязательно передаст бразды правления своему господину из любви к нему. Но из предлагаемой ею аргументации вытекает и менее лучезарный вывод: если жене не будет добровольно предоставлена власть, она захватит ее и станет тиранить своего господина.

Такая аргументация переворачивает всю средневековую иерархию, и в «Рассказе кармелита», помещенном сразу вслед за «Рассказом батской ткачихи», автор беспечно развивает эту нелепость. В начале рассказа говорится:

Так слушайте, что расскажу вам, други:
Викарий некий жил в моей округе.

* «Кентерберийские рассказы», с. 158.

Он строгостью своею был известен —
Даров не брал, не поддавался лести,
Сжег на своем веку колдуний много,
Карал развратников и сведен строго,
Судил священников и их подружек,
Опустошителей церковных кружек...
Кто в церкви был на приношенья скуп,
На тех всегда точил викарий зуб.
На них он вел с десятков черных списков,
Чтоб посохом их уловлял епископ.
Но мог и сам он налагать взысканье,
Для этого имел на содержанье
Он пристава, лихого молодца:
По всей стране такого хитреца
Вам не сыскать со сворою ищеек.
Винных он тащил из всех лазеек *.

Разумеется, дело епископа — исправлять грешников (наставлять их на путь истинный своим пастырским посохом), дело викария — служить епископу, а дело пристава — исполнять распоряжения викария. В «Рассказе кармелита» пристав является не служителем, а главным деятелем, который наказывает согрешивших прежде, чем об этом распорядится викарий, а викарий наказывает прежде, чем получит приказ от епископа. В подобном перевернутом мироздании, как явствует из этого рассказа, только дьявол, низшее существо в мирозданческой иерархии, может исправить положение.

Продолжая свое рассмотрение проблемы власти и правления, Чосер в конце концов достигает в «Рассказе Франклина», как мы уже говорили выше, своего рода равновесия. Муж в этом рассказе действует со всей полнотой власти, предоставленной ему женой и направленной на ее же благо. Нам нет необходимости проследживать здесь весь ход аргументации из рассказа в рассказ, анализировать функции каждого рассказа в рамках общего композиционного плана, вникать в смысл споров и соперничества между паломниками. Отметим лишь главное: в начале 90-х годов, когда Ричард стал полновластным правителем и начал проводить в жизнь свою теорию абсолютной монархии, Чосер отреагировал на это созданием великолепных рассказов, написанных в прежней манере подражания действительности и призванных служить выражением более широкого авторского замысла.

Представляются бесосновательными утверждения, что с годами Чосер утратил способность сочинять яркие, исполненные драматизма рассказы. Взять хотя бы «Рас-

* «Кентерберийские рассказы», с. 300.

сказ продавца индульгенций», написанный, безусловно, в поздний период его жизни и представляющий собой великолепное переложение древней легенды о чуме. Повествование окутано мрачной и таинственной атмосферой: бренчат гитары в темной дымной таверне, трое пьяных повес встречают странного, внушающего суеверный страх старца в черном — то ли это Смерть, то ли Вечный жид, то ли призрак из старинных валлийских легенд, то ли просто перепуганный старик (такая неопределенность придана этому образу, разумеется, умышленно) — «Рассказ монастырского капеллана» и «Рассказ слуги каноника», написанные с непревзойденным мастерством, также, несомненно, принадлежат к числу поздних произведений Чосера.

Но хотя он и не научился писать рассказы-шедевры, Чосер заинтересовался в последние годы жизни искусством другого рода — искусством, вновь открытым значительными писателями нашей собственной эпохи, искусством, если можно так выразиться, писать плохо. Возможно, что такой реалист, как Чосер, неизбежно должен был сделать это открытие, коль скоро он решил прибегнуть к идее литературного соревнования между паломниками. Ведь должен же будет кто-то позорно проиграть. А что, если проигравших будет несколько?

Чосер экспериментировал с «искусством писать плохо» и с не заслуживающими доверия повествователями и раньше. «Дом славы», помимо всего прочего, является пародийным подражанием «Божественной комедии». А «Рассказ о Мелибее», как ни восторгался им по-монашески серьезный молодой друг поэта Джон Лидгейт, представляет собой пародию на распространенный смешанный жанр.

Но если прежде Чосер лишь заигрывал порой с идеей преднамеренно плохого искусства, то на склоне лет, живя в уединении и фактически удалившись от дел, свободный писать при желании ради собственного удовольствия, он начал более серьезно разрабатывать эту открытую им новую любопытную литературную форму, которую я назвал бы «шутовской поэмой», — произведение искусства, задуманное как неумелое подражание не реальной действительности, а искусству и достигающее художественных целей окольным путем или весело пренебрегающее их достижением. Время от времени Чосер брал свои вещи, написанные давным-давно и больше не нравившиеся ему, такие, как «Рассказ монаха», и приспособлял их для своей новой задачи. Но чаще он писал новые

великолепные в своей ужасающей слабости вещи вроде «Рассказа врача», «Рассказа о сэре Топасе», «Рассказа аббатисы» или «Рассказа эконома».

Чосера давно занимали вопросы, поднимаемые философией номинализма, особенно номиналистская идея, что ни один человек не способен по-настоящему понять другого человека или быть понятым им. Он мог не соглашаться с солипсической точкой зрения номиналистов, но сама проблема представлялась ему сложной и серьезной. Много лет назад он уже имел с ней дело в поэме «Дом славы». Символика поэмы, как показали различные исследователи творчества Чосера, являла собой своего рода надстройку из библейских аллюзий, цитат из сочинений латинских авторов, из «Божественной комедии» и т. д., рассчитанную на то, чтобы напомнить читателю о предусмотренном богом обширном и упорядоченном плане мироздания, в то время как «Джеффри», от лица которого ведется повествование в поэме, охарактеризован как человек недалекий и неспособный даже примерно представить себе этот план, что не мешает ему, впрочем, испытывать на себе его благодетельное действие. Впоследствии, в первых трех рассказах Кентерберийского сборника, Чосер опять обратился к этой проблеме ограниченности человеческого ума и склонности людей рассматривать мироздание через призму собственного характера. В «Рассказе рыцаря» излагается, по всей вероятности, взгляд самого Чосера на вселенский порядок вещей: божественное провидение справедливо и милосердно. Но пьяный мельник тотчас же вызывается «перешибить» рыцарев рассказ и рисует картину мира, как он сам его понимает, после чего мажордом рассказывает историю, в которой выражена третья точка зрения на порядок вещей в мире. На взгляд мельника, люди получают — по милосердию божьему, если на том угодно настаивать рыцарю, — именно то, чего они заслуживают, но получают строго по заслугам. Что касается мажордома, которым движет, по его собственному признанию, прежде всего чувство злобы, то для него главное — месть, поэтому в его понимании истинная картина мира состоит в том, что люди получают максимум зла, какое могут причинить им враги. Кто же прав — рыцарь, мельник или мажордом? И если ответить на этот вопрос можно, то как мы переубедем пьяного мельника или желчного мажордома? Это типично номиналистский аргумент: нет у человечества общности в суждениях, нет восславленной Аквинатом «человеческой природы», нет понимания между людьми.

Но как же тогда могут существовать в нашем мире справедливость, честное управление, упорядоченное общество? Это и является основной темой «Кентерберийских рассказов».

Ни один номиналист, живший в XIV веке, не употреблял понятия «релятивизм», но каждому номиналисту было хоть немного знакомо то ощущение недомогания, приступа тошноты, которое мы испытываем, когда смеемся на представлении пьесы Сэмюэла Беккета. Потрясение, вызванное открытиями ученых XIV столетия в области оптики, имело много общего с потрясением, которое испытали люди нашего века в результате открытий Эйнштейна и других физиков. Если нет единой нормы человеческого видения — или, говоря о нашей эпохе, если нет абсолютных пространства и времени, — то в чем же мы можем быть уверены, какие абсолюты уцелели? Для художника, искреннего христианина, единственными абсолютными в конечном счете являлись: 1) божеская любовь и 2) человеческое искусство, иначе говоря, заслуживающее доверия ощущение и восприятие человека, который тщательно запечатлевает то, что видит. Но ведь номинализм учит, что всякое видение, даже видение художника, всего лишь субъективное мнение. Художник чувствует, что есть истины, которые можно открыть, а не просто декларировать (как декларируются, за недостаточностью свидетельств, божественная справедливость и любовь). Но как доказать эти истины? Все серьезные художники нашего времени, по-моему, сталкиваются с проблемой, вставшей перед номиналистами, — проблемой невозможности выразить что-либо, хотя ты знаешь или на короткое время представляешь в воображении, что есть некие глубокие истины, которые каким-то образом все-таки можно выразить.

Христианин и оптимист по натуре, Чосер мог с безмятежным спокойствием взирать на свою собственную художническую беспомощность. Даже в наиболее традиционных своих поздних рассказах — «Рассказе монастырского капеллана», например, — он считает нужным, говоря о вещах высоких и благородных, приправить свои рассуждения изрядной толикой иронии, в которой он не нуждался прежде, описывая облагораживающее действие любви на Троила. Но в своей поздней шутовской поэзии Чосер насмехается и над самим творческим актом писательства как над чем-то абсурдным.

Врач в «Кентерберийских рассказах» изображен Чосером как человек более или менее порядочный и чрезвычайно серьезный — каким и подобает быть всякому

человеку искусства, — тем не менее, созданное им «произведение искусства», «Рассказ врача», — это сущее бедствие. Пытаясь изобразить жизнеподобный характер Виргинии — позже он станет поучать паломников тому, как надлежит воспитывать девушек, чтобы они были такими же добродетельными, как его героиня — он выбирает самые неподходящие для этого поэтические средства, делая ее не персонажем из жизни, а фигурой искусства. По уверению врача, Природа — аллегорическая абстракция, — создав Виргинию, как будто хотела сказать о своем творении:

Глядите, люди!
Какой творец мечтать о большем чуде
Дерзнул бы? Может быть, Пигмалион?
Как ни лепил бы, ни чеканил он,
Со мной сравняться был бы тщетен труд.
Зевксис и Апеллес не превзойдут
Меня в искусстве украшать созданья... *

Подобное описание продолжается еще много строк, а когда дело доходит до самой истории, она оказывается столь же неубедительной: Чосер старательно изымает все мотивы, имевшиеся в первоисточнике (великом труде Ливия), вводит в сюжет элементы путаницы и непоследовательности, безбожно перегружает повествование пустыми словами и ненужными подробностями и т. д. и т. п. Когда Чосер читал «Рассказ врача» — надо думать, он исполнял его самодовольным голосом врача, имитируя педантичную врачебную манеру, — его придворные слушатели, должно быть, покатывались со смеху. Продавец индulgенций, чей рассказ следует сразу за «Рассказом врача», в отличие от своего предшественника — человек непорядочный (хотя при этом большой моралист); это негодяй, открыто признающийся в своей подлости, гомосексуалист и, вероятно, скопец, который бесстыдно похваляется своей ненормальностью и непристойно заигрывает с самим трактирщиком Гарри Бэйли, организатором паломничества, приведя его в ярый гнев. Однако, как бы низок и отвратителен ни был он сам, вложенное в его уста произведение искусства — настоящий шедевр.

В других своих поздних произведениях Чосер исследует проблему ненадежности искусства иными способами. В «Рассказе второй монахини» он подражает древнему жанру, а по сути дела, древнему строю религиозных

* «Кентерберийские рассказы», с. 235.

чувств, соответствующему давным-давно устаревшей легенде о святой мученице, и для обогащения структуры текста налагает на эту старинную партитуру аллегория из области алхимии. Если бы эта вещь была написана, скажем, в IX веке, ее темой стало бы жизнеописание св. Цецилии, а центральной эмоцией — христианское смирение и благочестие. Но, поскольку поэма написана в самом конце XIV столетия, объектом поэтического исследования стал в ней сам старинный жанр и простое религиозное чувство, которым были исполнены произведения этого жанра. В «Рассказе о сэре Топасе» Чосер пародирует самую распространенную в его время форму стихоплетства — рыцарский роман в стихах, высмеивая этот жанр и одновременно показывая (как это будет делать впоследствии Льюис Кэрролл с ритмикой Роберта Саути), какого рода материал больше всего подходит для его ритмов. А в самой выпендренной из своих шутовских поэм, «Рассказе эконома», он, беспардонно растягивая простенькую басню о том, как ворона стала черной, превращает ее в комический шедевр претенциозной чепухи. Поэма завершается рассуждением, которое можно, пожалуй, рассматривать в качестве комментария Чосера по поводу выявленного номинализмом конфликта между стремлением высказаться и сомнением в возможности высказать что-либо. На протяжении семидесяти двух строк (зло пародирующих некоторые стихи Джона Гауэра) эконом распинается о том, как важно держать язык за зубами (дабы не навлечь на свою голову беду, подобно вороне из басни), и эти вирши могли бы служить образчиком нарочито плохого искусства, которое в конечном счете оказывается творческой удачей Чосера:

Друзья мои. Из этого примера
Вы видите: во всем потребна мера.
И будьте осмотрительны в словах.
Не говорите мужу о грехах
Его жены, хотя б вы их и знали,
Чтоб ненавидеть вас мужья не стали.
Царь Соломон, как говорит преданье,
Оставил нам в наследство назиданье —
Язык держать покрепче под замком,
Но я уже вам говорил о том,
Что книжной мудростью не мне блистать.
Меня когда-то поучала мать:
«Мой сын, вороны ты не позабудь
И берегись, чтоб словом как-нибудь
Друзей не подвести, а там, как знать,
Болтливостью их всех не разогнать.
Язык болтливый — это бес, злой враг,
И пусть его искореняет всяк.

Мой сын! Господь, во благи своей,
Язык огородил у всех людей
Забором плотным из зубов и губ,
Чтоб человек, как бы он ни был глуп,
Пред тем, как говорить, мог поразмыслить
И беды всевозможные исчислить,
Которые болтливость навлекла.
Но не приносит ни беды, ни зла
Речь осмотрительная и скупая,
Запомни, сын мой, в жизнь свою вступая
Обуздывай язык, пускай узда
Его не держит только лишь тогда,
Когда ты господу поешь и славяшь.
И если хоть во что-нибудь ты ставишь
Советы матери — будь скуп в словах
И то ж воспитывай в своих сынах,
Во всем потомстве, коль оно послушно.
Когда немного слов для дела нужно,
Губительно без устали болтать».
Еще сказала мне тогда же мать:
«Многоглаголанье — источник зла.
Один пример привести бы я могла:
Топор, он долго сучья отсекает,
Потом, хватя, руку напрочь отрубает,
И падает рука к твоим ногам.
Язык так разрубает пополам
И дружбу многолетнюю, и узы,
Связующие давние союзы.
Клеветники все богу неуютны.
Про это говорит и глас народный,
И Соломон, и древности мудрец —
Сенека, и любой святой отец.
Прочтите хоть псалмы царя Давида,
Коль слышал что, не подавай ты вида,
Что разобрал, а если при тебе
Предался кто-нибудь лихой божбе,
Речам опасным — притворись глухим.
Сказал народ фламандский и я с ним:
«Где мало слов, там мир и больше склада».
Коль ты смолчал, бояться слов не надо,
Которые ты мог не так сказать.
А кто сболтнул — тому уж не поймать
Спорхнувшей мысли. Коль сказал ты слово,
То, что с к а з а л, — сказал. Словечка злого,
Хотя б оно и стало ненавистно,
Нельзя исправить. Помни днесь и присно,
Что при враге не надобно болтать.
Ты раб того, кто сможет передать
Слова твои. Будь в жизни незаметен,
Страшись всегда и новостей, и сплетен.
Равно — правдивы ли они иль ложны;
Запомни, в этом ошибиться можно.
Скуп на слова и с равными ты будь,
И с высшими. Вороны не забудь»*.

* «Кентерберийские рассказы», с. 486—487.

Эта поздняя, нарочито неуклюжая поэзия до недавнего времени не вызывала особого восхищения. Может быть, не вызывала она особого восхищения и в эпоху Чосера. Но, как бы ни относились к ней его друзья и покровители, писать подобные стихи, посмеиваясь над их несообразностью, было одной из утех мирной «старости поэта».

Хотя успеху Ричарда как правителя была суждена недолгая судьба, к середине 90-х годов он завоевал широкую популярность: короля любили, пусть даже и критиковали за высокомерие. По-видимому, не без помощи Гонта ему удалось поправить отношения со своими магнатами. Шотландия была спокойна; Гонт и Глостер совместно с Томасом Перси и другом Чосера сэром Луисом Клиффордом («предавшим бога») сумели заключить четырехлетнее перемирие с Францией (в дальнейшем оно будет продлено); миролюбивая политика Ричарда стала причиной экономического подъема и процветания, хотя большинство феодалов в те времена, как видно, не видели связи между наступившим миром и новоявленным преуспеянием; Ричард собственноручно добился мира в Ирландии, притом почти бескровным путем, воздав почести этим диким, грубым варварам, как именovali ирландцев английские хронисты, и возведя их вожаков в рыцарское достоинство, а также помиловав восставших против него мятежников и даже предложив признать полноправный юридический статус местных ирландских королей и вождей под английской короной. Хотя стратегия Ричарда привела некоторых англичан в ужас, никто не мог отрицать ее действительности. Бывшие лорды-апеллянты в большинстве своем теперь как будто бы примирились с правлением Ричарда, тем более что оно способствовало — через экономический подъем — их процветанию. Не примирился один только Арандел, по-прежнему дерзко непокорный и полный подозрений; как утверждала молва, он тайно поддерживал вспыхнувшие в 1394 году локальные восстания против Ланкастера и Глостера. Арандел выступал в парламенте с открытыми нападкамии на Джона Гонта, которого обвинял в том, что он злоупотребляет своим доступом к королю (подобные обвинения — разумеется, вполне справедливые — высказывались с давних времен), чрезмерно властно держится в королевском совете и парламенте, надменно присвоил в интересах собственного обогащения герцогство Аквитанию, предпринял в своекорыстных целях дорогостоящую военную экспедицию

в Испанию и пытается ныне пойти на мировую с Францией. Ричард яростно защищал своего дядю и свою собственную мирную политику от критики Арандела, которая велась с позиций старомодной и самоубийственной кровожадности, и заставил Арандела униженно просить прощения. Он нагнал на Арандела такого страха, что некоторое время спустя тот попросил короля выдать ему специальную грамоту о помиловании за прежние его проступки. Несмотря на грамоту, ни король, ни Арандел не забыли и не простили былых обид. Когда летом того года умерла королева Анна — ее смерть вызвала у короля пароксизм скорби, — старый Арандел так и не присоединился к похоронной процессии, которая двигалась в Лондон из Шина (Англия не видала еще таких пышных, многолюдных похорон), и, явившись с опозданием в Вестминстерское аббатство, обратился к королю с оскорбительной при тех обстоятельствах просьбой позволить ему не присутствовать на погребальной службе. Ричард в бешенстве ударил Арандела, повергнув его наземь и «осквернив святилище его кровью», и приказал заточить обидчика в Тауэр, где продержал его несколько недель, а потом вынудил поклясться, что он не станет впредь совершать неблагоприятные поступки, а в случае нарушения клятвы уплатит залог — невероятную сумму в 40 000 фунтов стерлингов (9 600 000 долларов).

Но до поры до времени Арандел являлся исключением. Ноттингем (Томас Моубрей), давно уже перетянутый на сторону короля, был назначен в осуществление Ричардовой политики примирения правителем болотистой восточной части Шотландии и комендантом Кале; Уорик удалился от политики, а беспокойный сын Гонта Генрих — один из лордов-апеллянтов, которые в свое время выступили против Ричарда и осуществили то, что Гонт, в числе других, считал убийством королевских друзей, — перестал играть активную роль в английских делах: он часто воевал за границей, с большим успехом и удовольствием сражаясь во всех малых битвах, которые происходили на суше и на море, и добывая себе воинскую славу. Хотя миролюбивая политика короля (современники часто порицали Гонта и Глостера, считая их инициаторами этой политики) сама по себе не пользовалась популярностью, никто не мог выдвинуть сколько-нибудь веских доводов против преимуществ мира, обеспечиваемого королевской властью, которая поддерживается — как это было символически выражено в оригинальной церемонии коронации — солидарностью королевской семьи и со-

гласием лордов. Что до Гонта, то его врожденная лояльность основательно подкреплялась теперь соображениями необходимости. В марте 1394 года умерла Констанция Кастильская, и Гонт не мог впредь рассчитывать больше, чем на роль английского барона. Он играл эту роль с осторожностью и благоразумием, а также с театральностью, сделавшись главным защитником политики Ричарда, — и был по заслугам вознагражден. В январе 1396 года он женился на Катрин Суинфорд; парламент признал законнорожденными их детей; владения и привилегии Гонта значительно увеличились. Проступки его наследника Генриха Болингброка как одного из апеллянтов, похоже, были забыты, хотя память об этом жила в отцовском сердце. Позиция Ричарда еще больше укрепилась за счет того, что он дарами и милостями сумел приобрести друзей среди менее крупных поместных аристократов — слоя землевладельцев, поставлявшего «рыцарей своего графства» — представителей графств в парламенте.

9 марта 1396 года Ричард добился двадцативосьмилетнего перемирия с Францией и брачного союза, призванного служить символом этого перемирия и его опорой. Бледная миловидная королева-дитя Изабелла была официально передана ему в октябре на церемонии, представлявшей собой пышное театральное зрелище, устраивать которые Ричард был большой мастер. Этот триумф казался тогда величайшим политическим достижением Ричарда, и всех присутствовавших поразило, с каким явным — более того, чрезвычайным — восторгом встречает Ричард свою малышку королеву; однако на деле достижение это окажется источником серьезных неприятностей. В своей первой редакции брачный договор содержал пункт, в соответствии с которым французский королевский дом брал на себя торжественное обязательство поддерживать короля Ричарда «против всевозможных лиц, обязанных ему повиноваться, а также оказывать ему помощь и защиту всеми имеющимися силами против любых его подданных». Это зловещее положение, впоследствии опущенное, вероятно, имело в виду английскую Гасконь или возможные восстания крестьян в Англии, но оно не на шутку встревожило английскую знать. Возникли и другие проблемы. Женитьба Ричарда на девочке вызвала сомнения в том, оставит ли он наследника престола, а его явно фантастическая надежда получить корону императора Священной Римской империи — надежда, осуществления которой он в то время

активно добивался, — порождала опасения (или подкрепляла старые опасения), что король не вполне в своем уме. Распространились странные слухи. Рассказывали, что, когда в Англию было доставлено тело бывшего королевского фаворита Роберта де Вера, Ричард велел открыть гроб и долго и внимательно вглядывался в лицо забальзамированного покойника, стискивая унизанные перстнями пальцы. Душевная неуравновешенность короля Ричарда в конце 90-х годов придавала правдоподобие такого рода историям. У него появилась привычка с горячностью одержимого разглагольствовать, публично и в частных беседах, о своем убиенном прадеде Эдуарде II, которого он стал считать — и из соображений политической выгоды, и из глубокой личной симпатии — святым, принявшим мученический венец. Ричард много лет имитировал стиль Эдуарда, каким он его себе представлял: фаворитизм, расточительно щедрые подарки, благочестие, пышные зрелища, соколиная охота, надменное презрение к вмешательству парламента в личные дела короля. Враги Ричарда с радостью использовали это пристрастие Ричарда против него же самого. Его умную и неоднократно разъяснявшуюся подданным политикой мира они объявляли порождением лени и неспособности — таких же, как у Эдуарда II. Любовь Ричарда к искусству, его женитьбу на маленькой девочке, с которой исключалась супружеская жизнь, даже то, что он пользовался носовым платком, этим завезенным из Франции новшеством, — все это преподносилось распространителями враждебных слухов как доказательства того, что Ричард, как и Эдуард II, гомосексуалист. Ричард презрительно игнорировал эти слухи, настойчиво проводил те параллели, которые считал правомерными, и гнул свою линию, запугивая противников. Это была опасная идея, и король при всем его актерстве действовал достаточно сознательно, чтобы полностью отдавать себе отчет в возможных конечных последствиях избранного им курса на воспроизведение исторического прецедента: или он оправдает в глазах истории абсолютизм, заставив ее пересмотреть свою оценку Эдуарда II и перечеркнув своей собственной судьбой печальную судьбу Эдуарда, или трагедия Эдуарда неминуемо повторится еще раз. Он смело продолжал вести эту странную игру, но, может быть, только лишь перед самым ее концом по-настоящему понял, что может проиграть.

Ричард все еще уверенно контролировал положение в 1397 году, когда палата общин пожаловалась на рас-

точительство его двора, и король с присущим ему высокомерием не только вынудил палату униженно просить у него прощения, но и добился от палаты лордов принятия резолюции, согласно которой всякий, кто станет склонять палату общин или кого бы то ни было в пользу реформы королевского двора, будет обвинен в измене. Ободренный тем, как ему удалось запугать парламент, Ричард рассчитывал в результате тщательно спланированной атаки до основания разрушить дело рук Беспощадного парламента 1388 года, действовавшего под эгидой Глостера. В этих условиях Глостер стал волей-неволей сближаться с так и не исправившимся графом Аранделом, попеременно бывавшим ему то другом, то врагом. Он подверг яростным критическим нападкам французскую политику короля и без громких ссор разошелся со своим старшим братом Гонтом, сторонником умеренности. До Ричарда дошли слухи, что Глостер подготавливает заговор с целью его убийства — слухи почти наверняка правдивые, — и, памятуя о судьбе, постигшей Эдуарда II, Ричард решил нанести удар первым.

Задуманную операцию он обставил в своем привычном вкусе. Он разослал приглашения на грандиозный банкет. Глостер не явился, сославшись на болезнь; Арандел остался дома в своем укрепленном замке в Рейгете. Старый Уорик, принявший приглашение, был встречен с большой сердечностью, обласкан и успокоен королем и только после типичного для Ричарда великолепно пышного обеда был закован в кандалы и препровожден в Тауэр. Некоторое время спустя король вероломно схватил Арандела, точь-в-точь так же, как враги Ричарда схватят потом его самого. (Как и предшествовавшее противоборство Эдуарда II и его баронов, борьба Ричарда с феодалами будет иметь вид шахматной партии с зеркально повторяющимися ходами.) Ричард дал торжественную клятву брату Арандела, архиепископу, что Аранделу не причинят физического вреда, если он согласится прийти к Ричарду; когда же Арандел явился, его арестовали и заперли в замке Кэрисбрук. Затем король отправился за Глостером. С небольшим войском, составленным из личной своей охраны, лондонцев и друзей, он совершил ночной бросок в Плеши, а когда Глостер, как истый королевский сын, вышел встретить короля во главе процессии из причетников и священников недавно основанной им соборной церкви, Ричард сказал ему, что, раз Глостер отказался принять его приглашение, он сам приехал за ним. Глостер с достоинством попросил короля проявить

к нему милосердие — душевное качество, которое, как всегда настаивал Джеффри Чосер, «не дремлет в благородном сердце». Король ответил, что к Глостеру будет проявлено ровно столько же милосердия, сколько он сам проявил его к сэру Саймону Бэрли.

После того как 17 сентября 1397 года собрался парламент, было официально объявлено, что все трое — Уорик, Арандел и Глостер — взяты под стражу по обвинению в измене. Вскоре к этому списку был добавлен брат Арандела Томас, архиепископ Кентерберийский. Этот парламент являл собой странную картину для такой просвещенной страны, как Англия. Повсюду виднелись вооруженные воины, так как король просил дружественных ему магнатов явиться на сессию парламента со своими вооруженными вассалами, чтобы обеспечить ему защиту, и, кроме того, призвал в Лондон своих собственных вассалов и йоменов, в том числе знаменитых чеширских лучников. Поскольку большой зал Вестминстерского дворца в ту пору перестраивался, сословия королевства заседали в здании, временно возведенном во дворе этого дворца. Внутри здания был сооружен трон необычайной высоты со свободным пространством по каждую его сторону для обвинителей и обвиняемых; перед троном находились места для представителей сословий. Парламент привлек к суду архиепископа Кентерберийского, обвиненного в том, что он принимал участие в судебных процессах 1386—1388 годов, признал его виновным «по общеизвестности» его преступлений и приговорил к конфискации его церковных владений и доходов и к пожизненному изгнанию. Вслед за этим Гонт, как стюард Англии — председатель суда пэров, — открыл слушание дела по обвинению короной трех магнатов.

Он уведомил Арандела о выдвинутых против него обвинениях и, по словам одного хрониста, добавил: «Поскольку парламент обвинил вас, вы заслуживаете того, чтобы вас осудили — согласно вашим же собственным понятиям о законности — без права защиты». Попытке Арандела оправдаться с помощью судебного поединка был положен конец, после того как, повторив сцену происшедшую в парламенте Глостера при осуждении Николаса Брембра, теперешние обвинители швырнули свои рыцарские перчатки к ногам Арандела. Выполняя волю короля, светских членов палаты лордов и членов палаты лордов, представляющих духовенство, Ланкастер объявил Арандела виновным в измене и вынес обычный в таких случаях приговор, который король немедленно

смягчил, заменив смертную казнь через повешение, вырывание внутренностей и четвертование простым отсечением головы. Под конвоем отряда королевских чеширских лучников Арандел был доставлен на Тауэр-хилл и обезглавлен там в присутствии обоих Холлендов и своего собственного зятя, графа Ноттингемского.

Дело Глостера являлось, с точки зрения короля, довольно рискованным. Глостер всегда пользовался поддержкой в парламенте и славился своей способностью переубеждать людей; кроме того, хотя, в понимании Гонта, он был, безусловно, виновен в измене, это был его любимый младший брат. Конечно, шансы на то, что парламент осудит Глостера, были велики, но, по-видимому, не так велики, как хотелось бы королю, а если бы Глостеру удалось избежать осуждения, задача, которую ставил перед собой король и которая, помимо личной мести за незаконное убийство его ближайших друзей в 1388 году, состояла в основе своей в том, чтобы явить объективное, наглядное, юридически обоснованное доказательство королевской власти (к уменьшению какой-либо в первую очередь стремился Глостер в 1388 году), оказалась бы невыполненной. Поэтому случилось так: когда в суд вызвали Глостера, было объявлено, что он уже мертв. По всей вероятности, его убили, может быть, даже без ведома Ричарда. Возможно, это сделал бывший союзник Глостера Ноттингем, ставший теперь преданным сторонником короля. В ходе несколько странной, но законной с формально-юридической точки зрения судебной процедуры Глостер был посмертно признан виновным в измене и приговорен к конфискации всех его имений.

Затем в суд ввели старика Уорика. Он не стал защищаться, но, по свидетельству хрониста Адама Аска, «как жалкая старая баба, сознался во всем, что содержалось в обвинительном акте, плача, стелая, жалобно причитая, что он, изменник, совершил все эти злодеяния и отдает себя во всем на милость короля». Его приговорили, как изменника, к позорной смертной казни, но король смягчил приговор, заменив смертную казнь пожизненной ссылкой на остров Мэн. По словам другого хрониста, Уолсингема, королю Ричарду признание Уорика было дороже всех земель, конфискованных у Арандела и Глостера.

В течение нескольких месяцев после этого король сумел избавиться, опять-таки всячески подчеркивая законный характер своих действий, от своих менее могущественных врагов, добившись их изгнания, а в некоторых слу-

чаях и конфискации их имений, которые перераспределил между своими сторонниками или закрепил за короной. В числе прочих прежних своих врагов он счел необходимым разделаться с герцогом Норфолкским и сыном Гонта Генрихом, который стал к тому времени герцогом Херефордским и знаменитым героем морских сражений, молодым красавцем, пользовавшимся почти такой же популярностью среди простых англичан, какой пользовался в свое время отец Ричарда Черный принц. Ситуация была затруднительной для Ричарда. По совету отца Генрих передал парламенту содержание одного своего разговора с Норфолком, в котором Норфолк убеждал его выступить против короля, доказывая, что Ричард собирается отомстить им, как отомстил он Аранделу и остальным. Норфолк же утверждал, что это Генрих подговаривал его совершить измену.

Ричард колебался; он ломал голову, пытаясь найти разумный и политически безопасный выход из положения. Был создан совет для рассмотрения этого вопроса и выработки компромисса, но и Херефорд, и Норфолк упрямо стояли каждый на своем, называя один другого изменником и лжецом. Ричард приказал решить спор между ними судебным поединком, но потом понял, что этот выход никуда не годится: победы Норфолк, его победу могли бы истолковать как факт, подтверждающий его обвинения в адрес короля, а победы Генрих, это еще больше укрепило бы репутацию феодала, популярного среди народа и потенциально опасного для Ричарда. Поэтому не успели Норфолк с Херефордом явиться на бой, как Ричард, почти наверняка действуя по совету Гонта, неожиданно отменил поединок и отправил сына Гонта в десятилетнее, а Норфолка в пожизненное изгнание. Разумеется, тем самым Ричард только отложил на будущее решение стоявшей перед ним неприятной проблемы.

Тем не менее тогда казалось, что по крайней мере на ближайшее время король одержал победу в своей борьбе за власть, причем добился этого с помощью правовых средств, укрепив традиционное англосаксонское уважение к правлению, основанному на законе, и проявив замечательную по тем временам умеренность по части расправы над врагами. Если бы он сумел в дальнейшем разумно пользоваться своей властью, английская история, возможно, развивалась бы совсем другим путем. Но если Ричард II и был лучшим королем, чем изображало его большинство историков, судьба оказалась не на его стороне.

Хотя удивительно много королей и пап в XIV веке были клиническими сумасшедшими, Ричард, как я уже говорил, вряд ли принадлежал к числу таковых, хотя, безусловно, владал расстроенной психикой. Конечно, свидетельство враждебного ему хрониста Уолсингема надо воспринимать критически, но, имея представление о личности Ричарда — идеалиста и политического визионера, человека с повышенной чувствительностью и бурными эмоциями, скрытного, коварного, если этого требовала необходимость, и вместе с тем глубоко религиозного, — можно поверить рассказу хрониста о том, что призрак Арандела являлся королю во сне, наводя на него такой ужас, что он ложился спать только под охраной чеширских лучников (хотя, наверное, не трех сотен, как сообщает Уолсингем). В средние века большинство людей верило, во всяком случае на практике, в привидения. Вероятно, правда и то, что Ричард распорядился убрать гробницу Арандела — распоряжение это было продиктовано отнюдь не безумием, а опасением, что люди могут начать поклоняться Аранделу как мученику, подобно тому как поклонялись они во времена Эдуарда II Томасу Ланкастеру.

Впрочем, несколько параноидный страх Ричарда, вероятно, являлся не больше как боязнью реальных врагов и склонных к предательству друзей вроде его любимого кузена герцога Омерельского, который впоследствии обманным путем заставит его топтаться на месте в Ирландии, давая Генриху время подавить сопротивление перевороту. Что касается присущей ему якобы мании величия, то не надо забывать, какое значение придавал Ричард пышному великолепию в своей политике. Как убедительно показал профессор Джонс, абсолютистская теория Ричарда, подобно абсолютистской теории Генриха VIII (или Педро Жестокого), требовала фактического обожествления короля. Мир внутри королевства зависел от полноты королевской власти над феодалами с их огромными частными армиями. А это в свою очередь требовало, чтобы король имел самый большой двор и самую большую армию в стране и чтобы персону короля почитали как священную и даже магическую. Отсюда упор Ричарда на символику, пышные зрелища, парадные церемонии; отсюда его пристрастие к высокому трону и его утверждение, будто им обнаружены в Кентерберийском соборе святые мощи, при помощи которых он может исцелять больных. Политика, а не мания величия побудила его поставить на службу королевской короне и рели-

гиозное благоговение, и силу воздействия искусства. Но после всего сказанного можно, впрочем, признать, что некоторая склонность к мании величия у него все-таки была.

Но, как бы мы это ни называли, политикой или сумасшествием, обращает на себя внимание тот факт, что его кажущаяся мания величия не отставала от его кажущейся мрачной паранойи. Добившись законодательского признания того, что требование реформы королевского двора является изменой, Ричард значительно увеличил свою свиту, превзойдя всех прежних английских королей по части расходования средств на придание двору блеска и пышности: устройство турниров, представлений-масок, пиршеств, строительство новых дворцов, замков и прочих сооружений, включая перестройку Вестминстерского аббатства. Как свидетельствует Адам Аск, по праздникам король Ричард имел обыкновение восседать на высоком троне с начала пиршества до вечерней молитвы, ни с кем не разговаривая и орлиным взором всматриваясь в своих придворных. Всякий поймавший его взгляд должен был немедленно опуститься на колени. А Уолсингем рассказывает, что король дня не мог прожить без прорицателей и прочих магов, которые твердили ему (и через него народу), что он станет величайшим из всех государей на свете. Просто оторопь берет, когда пытаешься представить себе, как Джеффри Чосер читает свои стихи перед подобным двором, где с высокого трона пристально взирает на него величественно-гордый король, окруженный целой свитой подобострастных монахов и предсказателей. Или представить себе, как реагировал король и как реагировали остальные слушатели на веселые, искрящиеся юмором нападки поэта на нарочито туманные речи магов или на софистику астрологов, ну, скажем, в «Рассказе франклина»:

Он вспомнил, как однажды там зашел
К товарищу и, посмотрев на стол,
Тотчас увидел, что на нем, раскрыт,
Учебник белой магии лежит.
(Товарищ книгу эту, зная, читал,
Хоть вообще он право изучал.)
В ней автор объяснял луны значенье,
К ней двадцати восьми жилищ влеченье,
И мало ли еще что было там,
Что кажется лишь болтовнею нам:
Святая вера ограждает нас
От наважденья и обмана глаз *.

* «Кентерберийские рассказы», с. 424.

В какой мере принимал король на свой счет откровенную критику, адресованную в «Рассказе студента» вымышленному молодому маркграфу, который думает только о забавах да соколиной охоте (пристрастие к соколиной охоте постоянно ставилось Ричарду в упрек) и не заботится о том, чтобы произвести на свет наследника, к большому расстройству и огорчению подданных?

Теперь, в конце 90-х годов, высокомерие Ричарда, стремившегося вопреки растущему противодействию сделать свою королевскую волю высшим законом Англии, стало почти непереносимым. Призвав к себе Джеффри Чосера, уединенно жившего на покое, он послал его путешествовать по всей стране — вероятно, Чосеру было поручено спланировать ряды сторонников Ричарда. Сам Ричард тоже принялся объезжать во главе своей армии всю Англию, чтобы запугать своих врагов, утратить их этой демонстрацией силы. И очень скоро стража из чеширских лучников перестала выглядеть ненужной мерой предосторожности короля, одержимого манией преследования: его начали ненавидеть.

3 февраля 1399 года Ричард лишился надежной политической опоры в лице Джона Гонта. Эта катастрофа означала не только то, что со смертью Гонта, скончавшегося в возрасте пятидесяти восьми лет, Ричард потерял главного своего сторонника и защитника. Состояние Гонта — как земельные владения, так и доходы от сдачи земель в аренду — было поистине огромно, а вместе с состоянием его сына и наследника Генриха Болингброка, герцога Херефордского, этого давнишнего врага короля, оно превысило бы состояние и могущество короны. В свете монархической теории Ричарда это представляло совершенно неразрешимую проблему. Отчаявшись решить ее, Ричард заменил Болингброку десятилетнее изгнание пожизненным и блокировал наследование им отцовских земель, но сохранил земельные владения Ланкастера в неприкосновенности, с тем чтобы впоследствии Генрих или его наследник могли просить о введении их в наследство. Это был наиболее умеренный образ действий. Генрих вернулся в Англию с войском вторжения и направился к своему родовому замку Понтефракт, где к нему примкнули огромные толпы простых людей, равно как и крупнейшие феодалы.

Ричард, которого эти события застали в Ирландии, настолько убедил себя в божественном происхождении своей власти, что даже теперь, вполне возможно, не утратил всегдашней уверенности в себе. Он так часто и с таким

чувством рассуждал о своих абсолютных правах и о защищающей его деснице божьей, он так горячо молился богу (как и его предшественник Эдуард II), он столько раз убеждался в присущей ему, словно святому, способности исцелять больных (во всяком случае, так ему казалось), что, может статься, чувствовал себя неуязвимым; в этом отношении прототип, вероятно, был схож с образом, нарисованным впоследствии Шекспиром, и мог говорить речи, не слишком отличавшиеся по содержанию от знаменитого монолога, с которым обращается шекспировский Ричард II к стороннику Болингброка графу Нортумберлендскому:

Мы в изумленье. Долго ждали мы,
Что трепетные ты согнешь колени
Перед своим законным королем.
И если государь я — как посмели
Твои колени должный страх забыть?
А если нет, то где десница божья,
Что от престола отрешила нас?
Ничья рука из плоти и из крови
Из наших рук не может вырвать скипетр,
А если кто отважится на это —
Тот святотатец, бунтовщик и вор.
Вы мните, что, сгубив изменой души,
Не только вы — все отрелись от нас,
Что мы бессильны, лишены друзей,
Но знайте, что господь мой всемогущий
С заоблачных высот на помощь нам
Пошлет всесокрушающее войско;
Оно сразит и вас, и ваших чад,
Живых и тех, что в чреве материнском,
За то, что вы, вассалы, взбунтовались,
Моей короне вздумали грозить.
Не Болингброк ли там? Скажи ему,
Что каждым шагом по моей стране
Он совершает тяжкую измену.
Иль хочет он оставить за собой
Кровавый след войны междоусобной?
Но, прежде чем он наш венец себе
На голову наденет, — десять тысяч
Разрубленных голов обезобразят
Лик Англии, измяв ее цветы,
И белоснежный мир ее заменят
Багровым гневом, и ее луга
Обрызжут английской священной кровью*.

Но Болингброк шагал-таки по английской земле, всемогущий господь отвел глаза в сторону, и Ричард, отрезанный, преданный друзьями, был вскоре побежден.

* Шекспир У. Полн. собр. соч., т. 3, с. 469—470.

Согласно официальной легенде, сочиненной Генрихом, король «с выражением радости на лице» вызвался отречься от престола и сам пожелал, чтобы Генрих стал его преемником. Ричард, утверждала эта легенда (притом в полном соответствии с истиной), был «человеком настроений». Рассказывали, что он попеременно плакал и шутил, в то время как королевство уплывало у него из рук. В сущности, его погубила не слабость, не нерешительность, а, скорее, самонадеянность. Когда граф Нортумберлендский поклялся телом Христовым, что величие и власть короля не пострадают, если он отправится в глубь страны, чтобы встретиться с мятежниками, король поверил ему и, бледный от гнева, промолвил: «С некоторых из них я велю заживо содрать кожу». (Несколько раньше он грозился предать Генриха такой лютой смерти, что об этом станут говорить даже в Турции.) Ричард встретился с Генрихом у замка Флинт и оказался пленником мятежной армии. Оттуда его доставили в Лондон, где толпы народа на улицах приветствовали Генриха как героя-победителя и свистели и улюлюкали вслед Ричарду, когда его везли в Тауэр. Вскоре после этого произошло неизбежное: поскольку держать короля в заточении — значит обречь королевство на бесконечные заговоры и кровопролитие, Ричарда убили в подземной темнице замка Понтефракт.

Чосер никак не комментировал происшедшее — или, во всяком случае, его комментарии не дошли до нас, но то, что он думал по поводу всего этого, несомненно, уже было выражено им раньше в послании к одному из своих друзей, сэру Филиппу ла Вашу, которому тогда перестало улыбаться счастье:

Беги льстецов, водись лишь с тем, кто прям.
Довольствуйся чем есть, не сетуй: «Мало!»
Величье шатко, в злобе свет упрям,
Богатство слепо, лесть имеет жало.
За счастьем гнаться, право, не пристало.
Смирйя себя, послушайся совета,
И правду ты узришь: не страшно это!

Поэт отдал дань вежливости новому королю, сыну своего покойного старого друга и покровителя, откланялся и вернулся восвояси, на покой.

Теперь, после того как мы остановились на том, что и как писал Чосер в последние годы своей жизни, нам остается коснуться — волей-неволей коротко, ибо све-

дения наши скудны, — вопроса о том, где он тогда жил и какими повседневными делами занимался. Как мы уже говорили ранее, в течение двух непродолжительных периодов времени он, по-видимому, исполнял обязанности лесничего Северопезертонского леса в Сомерсете, т. е. был его фактическим управителем. В чем конкретно состояли обязанности Чосера — заместителя лесничего, и какое он получал за это вознаграждение, нам не известно. Вообще говоря, он наверняка ведал содержанием и ремонтом всевозможных сооружений, оценивал сделанную работу, распределял обязанности между подчиненными, приказывал взять под стражу правонарушителей, иными словами, выполнял функции губернатора, юриста и начальника надсмотрщиками низшего ранга — подобного рода работу он много лет делал на службе у короля. Хотя занимаемая им должность заместителя лесничего, как правило, требовала проживания по месту службы, представляется крайне маловероятным, чтобы Чосер в самом деле перебрался в Пезертон. В 1390 и 1391 годах, когда он впервые замещал пезертонского лесничего, Чосер все еще являлся смотрителем королевских строительных работ. В 1398 году, когда он был назначен заместителем лесничего вторично, ему, вероятно, пришлось совершать поездки в разные концы Англии, обеспечивая поддержку королю (в мае 1398 года на его имя оформляются охранные грамоты, гласившие, что он путешествует «по делам короля») ¹, и, хотя в продолжение некоторого времени он регулярно получал очередные рентные платежи сам, обычно наличными, выплата 4 июня 1398 года была получена за него Уильямом Уэкскомбом, который являлся в том году королевским доверенным и который, видимо, переслал деньги Чосеру ². А в 1399 году Чосер жил в Лондоне. Таким образом, во время первого своего срока пребывания на должности заместителя лесничего он, должно быть, ездил на службу из дома в Гринвиче — дальняя, тяжелая дорога, — а во время второго срока он, надо полагать, ездил в Пезертон либо из Гринвича, либо из Лондона.

Чосер продолжал жить — во всяком случае, большую часть времени — в Гринвиче вплоть до 1397 года, а может быть, жил там и позже. Вопреки шуливой жалобе в стихотворном послании другу-поэту Генри Скогану, что, мол, Скоган находится в водовороте жизни, тогда как его, Чосера, удел — прозябать в провинциальной глуши, на самом-то деле в десятилетие 90-х годов Чосер почти никогда не жил вдали от Лондона, вдали от щедрого

покровительства своих патронов и рукоплесканий придворных слушателей. Рента, от которой он отказался в пользу Джона Сколби в период засилья Глостера, так и не была потом отобрана у Сколби, но в феврале 1394 года король назначил новую и большую ренту (20 фунтов стерлингов) «любезному эсквайру» Чосеру «по причине нашего особого благоволения и за хорошую службу»; 13 октября 1398 года Ричард вдобавок пожаловал Чосера большой бочкой вина ежегодно. О том, что Чосер не удалялся от двора и городской жизни, свидетельствует, помимо прочего, и тот факт, что он регулярно сам получал причитающиеся ему деньги в лондонском казначействе (лишь трижды деньги получал за него кто-то другой). Ведь, в конце концов, от его тихого жилища в Гринвиче было рукой подать до Лондона. Падение короля Ричарда никак не отразилось на положении Чосера — разве что изменило его к лучшему. В день своей коронации Генрих Ланкастер не только подтвердил назначенную Ричардом ренту в размере 20 фунтов стерлингов, но и пожаловал Чосера дополнительной ежегодной пенсией в 40 марок (6400 долларов) пожизненно (возможно, взамен ренты, дарованной Джоном Гонтом). Все это новый король сделал, между прочим, не потому, что Чосер просил его³, а, по-видимому, ради собственного удовольствия, притом не в обычном формальном порядке (в каком была подтверждена позднее в том же месяце рента, выплачивавшаяся Томасу Чосеру, посредством приложения малой государственной печати), а с вручением «официально заверенной копии» и с «письменным подтверждением короля», т. е. с проявлением особой монаршей милости. Через несколько дней Генрих подтвердил пожалование Ричарда Чосеру бочки вина ежегодно.

На первый взгляд может показаться странным, что Генрих IV оказывал такие знаки внимания поэту, который в 1398 году разъезжал по стране, укрепляя позиции сторонников короля Ричарда. Отчасти это объясняется, конечно, тем, что на Чосера смотрели как на типичного государственного служащего, преданного короне, а не какому-либо конкретному королю, а отчасти, быть может, и тем, что деятельность Чосера в поддержку Ричарда носила в основном символический и, следовательно, безобидный характер. Ведь это был знаменитый и широко почитаемый чтец, исполнитель стихов, который в тревожные, смутные времена мог заставить своих слушателей на время забыть гнев и обиды на несправедливости

и посмеяться над плутами и мошенниками или же подняться над сиюминутной политикой к более общим философским концепциям власти и вассалитета, прав и обязанностей, мирского и божественного. Коль скоро чтения Чосера были способны отвлекать мысли людей от политической злобы дня, то, значит, узурпатор Генрих IV нуждался в Чосере не меньше, чем Ричард II. Но, скорее всего, Генрих высоко ценил Чосера безотносительно к этим соображениям. Чосер был близким другом его семьи, даже дальним родственником — мужем сестры третьей жены его, Генриха, отца. В 1395 году, когда Ричард находился в зените своей популярности, а Англия была наполовину опьянена свалившимся на нее богатством после долгих лет лишений, Генрих подарил Чосеру мех для длинной пурпурной мантии — подарок такой же особенный и символический, как и большая бочка вина, подаренная поэту Ричардом несколько лет спустя. Дар Генриха явно мыслился как знак глубокого уважения — весь двор должен был заметить это и присоединиться к выражению почтительных чувств (цвет мантии и меховая опушка делали ее похожей на королевскую). Именно так истолковали подарок Генриха Джеффри Чосер и придворные. Чосер не принадлежал ни к политическим противникам Генриха Болингброка, ни к его сторонникам. Поэт готов был служить ему, если его таланты смогут оказаться полезны, если они получат возможность проявляться свободно от цензуры и искажений. Он доброжелательно относился к молодому лорду, принимая его со всеми достоинствами и недостатками, но замечал прежде всего достоинства. С такой же благожелательностью относился он, как рассказывали его современники, даже к самым беспомощным творениям поэтов, приходивших к нему за советом; он с неизменным интересом прочитывал их опусы и всегда находил в них что-нибудь хорошее. Ведь, помимо всего прочего, Чосер обладал душевным спокойствием, способностью понимать ближнего и входить в его положение. Во всех важных отношениях он был поистине образцом добродетели, «подлинным поэтом» в мильтоновском моралистическом смысле. Он придавал стиль любому двору, при котором служил; благодаря его присутствию двор выглядел заслуживающим доверия, да не только выглядел, но и становился лучше. Короче говоря, Чосер вызывал восхищение любителей поэзии повсюду от Нортумберленда до Флоренции не потому, что он занимал те или иные политические позиции, а потому, что своей славой поэта он придавал

политике особую атмосферу, и потому еще, что как человек и дипломат он сумел сохранить поэтическую независимость и способность сопереживать — шекспировскую способность переживать боль улитки или боль язычников, умерших много столетий назад, как свою собственную. Поэт, отбрасывающий отблеск благородной славы на все свое окружение, он бывал щедро вознаграждаем королями и баронами.

И он ожидал таких наград. Когда же, к счастью для нас, награды задерживались, он писал шуточные стихи-просьбы. Несколько последних вещей Чосера принадлежат к этому жанру, и в частности его полное озорства любовное послание к своей пустой мошне:

К тебе зываю я, моя мошна,
Внемли мольбе, мой свет, не будь пустою.
Мне, легкомысленная, будь верна.
Когда бы не был я любим тобою,
Давно бы спал под сенью гробовою.
Наполнись благодатью через край,
Иначе мне — ложись и помирай.

Того, что ты объявишься полна,
Как манны я небесной жду, не скрою.
На солнце ярко вспыхнет желтизна
И зазвенит — дотронься лишь рукою.
С тобой, тяжеловесной и тугою,
Отраднa жизнь, блаженна — прямо рай,
А без тебя — ложись и помирай.

Мошна моя, всесильна и мощна,
Спасительница, ты ценой люблюю
Из града вызволить меня должна,
Где я томлюсь, задавленный судьбою,
И, точно нищий брат, скорблю да ною.
Монетами наполнись через край,
Иначе мне — ложись и помирай.

Посвящение

Король — завоеватель Альбиона,
Свободно избранный наследник трона,
К тебе я обращаю этот стих.
Ты властен нас избавить от урона —
Припомни, сир, о жалобах моих.

Это стихотворение типично для остроумного стиля Чосера позднего периода творчества, стиля каламбурного и дерзкого. Идея первой строфы забавна, но не поразительна: легкость пустой мошны сравнивается с непостоянством женщины. Однако к третьей строфе весь декорум отброшен: подобно тому как благородная дама вроде Дантовой Беатриче может стать спасительницей

своего возлюбленного, вывести его из «града» — обычное средневековое обозначение для понятия «старый Иерусалим», т. е. материальный мир, — в новый Иерусалим, т. е. рай, так и его возлюбленная мощна, утверждает Чосер, может спасти его. Поскольку стихотворение адресовано королю Генриху («король — завоеватель Альбиона, / Свободно избранный наследник трона...»), мы можем заключить, что «старина седоголовый» продолжал шутить и дурачиться до самого конца. Употребленное им слово «град», по-видимому, означает — в буквальном смысле — не «город» в нашем современном понимании (хотя это было одно из возможных значений в XIV столетии), а «город» в значении «огороженное пространство», т. е. здание или группа строений, обнесенные стеной. В таком случае речь здесь идет о доме Чосера рядом с часовней богородицы внутри ограды Вестминстерского аббатства, где он, возможно, искал убежища от кредиторов. При всей своей щедрости король Генрих, похоже, так никогда и не выдал Чосеру достаточно средств, чтобы избавить его от необходимости отсиживаться в убежище.

Чосер переехал в дом меньшего размера у здания Вестминстерского аббатства, расположенный в саду при давно уже не существующей часовне богородицы, 24 декабря 1399 года и прожил там какую-то часть 1400 года. Переселение Чосера на территорию Вестминстерского аббатства — наряду с портретом, на котором состарившийся поэт с кротким видом держит четки, — иной раз истолковывается как свидетельство того, что к концу жизни он впал в религиозный фанатизм, утратив всяческое представление о том, что нужно человеку и что требуется богу. Те, кто считает так, ссылаются на «Отречение» в конце книги «Кентерберийских рассказов» и на историю, рассказанную Томасом Гаскойнем, ректором Оксфордского университета, в середине XV столетия. Рассуждая о людях, к которым слишком поздно пришло раскаяние, Гаскойнь упоминает среди прочих Иуду Искариота и поэта Джеффри Чосера.

Спору нет, многие люди века веры, почувствовав приближение смерти, испытывали перед нею страх и терзались угрызениями совести, но не похоже, чтобы Чосер был одним из них. Он был религиозен всю свою жизнь, а не только в беспомощном старческом возрасте: начиная с первой большой поэмы, его произведения исполнены глубокого и утешительного христианского духа — Чосер

твердо верует в любовь и милосердие божье и сомневается (вместе с Данте), что стяжатели-монахи и папы могут иметь какое-нибудь отношение к тому, попадет или нет грешник на небо. Позиция Чосера оставалась ясной и неизменной от начала до конца его творческого пути. Он превозносил и отстаивал одну добродетель — благожелательность, — которая подразумевает склонность доброго душой верить людям на слово, способность найти какое-то благородство даже в самом никудышном, жалком человеке. При всем том, что он изобличал многие пороки, только один порок — лицемерие — вызывал у него постоянные яростные нападки. Конкретные творческие интересы Чосера со временем менялись — от пронизательного исследования любви, духовной и физической, в ранних поэмах до увлечения пародией и рассчитанным эффектом безобразия в позднейших вещах, — но тема, главная мысль его творчества не менялась никогда: бог есть любовь, и лучшее в человеке — это тоже любовь, которая может получить выражение и в постели, и в пении у алтаря; зло — это отсутствие любви: страх, гордыня, похоть, фанатизм или высокоумная доктрина, побудившая человека думать только о себе, предавая забвению краеугольный камень христианской веры.

Невозможно поверить, чтобы Чосер, всю свою жизнь доказывавший, что господь добр и милостив, и придерживавшийся родственного взглядам Гонта и Уиклифа убеждения, что дух закона божия важнее его буквы, перед концом резко изменил свои воззрения на противоположные; невозможно поверить, чтобы после того, как он столько лет культивировал в своем собственном характере умение прощать, понимать и хвалить (способность, которая у людей, наделенных ею, в конце концов распространяется и на них самих, побуждая их со скромной благосклонностью и снисходительностью относиться к собственной персоне), Чосер в последние четверть часа своей жизни вдруг разуверился в милосердии божием, вскрикнул в малодушном ужасе и написал «Отречение».

Некоторые исследователи творчества Чосера полагают, что «Отречение» — художественный прием, своеобразная концовка «Кентерберийских рассказов», и, возможно, они правы. Эта точка зрения представляется тем более обоснованной в свете экспериментов с не заслуживающим доверия искусством, шутовским или пародийным, которым занимался Чосер в поздний период своего творчества, и в свете его интереса к учению номиналистов о том, что всякое видение мира, даже видение великого худож-

ника, является субъективным мнением, которое невозможно передать другим. Подобно тому как эконом из «Кентерберийских рассказов» бесконечно говорит во имя доказательства того, что говорить бессмысленно, Чосер посвящает жизнь искусству, а перед смертью наполовину в шутку, наполовину всерьез отрывается от своей жизни.

Но ведь в «Отречении» Чосера идет речь о всех его произведениях, а не только о тех, что вошли в «Кентерберийские рассказы», поэтому все-таки нельзя исключать того, что оно связано скорее с каким-то реальным чувством в жизни Чосера, чем с композицией «Кентерберийских рассказов». А если так, то что же тогда побудило этого безмятежно спокойного и убежденного христианина написать «Отречение»? Нам остается только гадать. Я позволю себе предложить свою собственную догадку — свою собственную беллетристическую версию.

Чосер, очевидно, был религиозен, хотя и без малейшей примеси иступленного фанатизма. В его эпоху большинство людей отличались повышенной религиозностью, а к размышлениям о райском блаженстве подталкивал Чосера и тот факт, что его жизнь, как и жизнь почти всех его современников, сложилась не слишком-то счастливо. Война, чума, несчастные случаи, старость и беспощадная судебная машина отнимали у него родных и друзей: в иной мир ушли его жена, коллеги-дипломаты, придворные поэты, а совсем недавно — Джон Гонт и король Ричард. Арендованный им дом при Вестминстерском аббатстве, ладный, с высокими трубами и многочисленными окнами, нравился Чосеру, но не только тем, что из его окон открывался вид на церковь. Его радовало, что другими окнами дом выходил в сад, где иногда прогуливались молодые и немолодые влюбленные пары (для чего и предназначаются сады), где порой злодей-кот подкрадывался к беззаботным птичкам, а терпеливые жабы часами сидели неподвижно в молитвенной позе, будто прося деву Марию послать муху. «Да, хорошо», — приговаривал Чосер, глядя в окно с видом замечтавшегося ребенка, каким он в глубине души по-прежнему оставался, как и все мы; и тут вдруг в голову приходила рифма, которую он мучительно искал, — являлась внезапно и словно ниоткуда, как всегда являются нужные рифмы, преобразив мысль, подобно тому как прикосновение меча преображает воина, посвящаемого в рыцари, и вот уже, точно по волшебству, потоком полились слова, так что его переписчик Адам, которого он однажды увековечил в добродушно-бранчливом стихотворении, в смятении

уставился на исписанные хозяином листы, покачал головой и вздохнул.

Предстояло еще столько сделать, а времени, как он начал подозревать, оставалось совсем мало. В последние годы у него появилась кое-какая юридическая практика, пополнявшая его доходы скромными, однако и не такими скудными адвокатскими гонорарами, но теперь он оставил это занятие, чтобы посвятить весь свой досуг окончательному улаживанию финансовых дел, созерцанию того, как меняется цвет листьев с переменой времен года, и, главное, приведению в порядок своих рукописей, объединению всего этого хаоса в одну законченную книгу, его отшлифованное «Полное собрание сочинений». Теперь он жил в доме один, если не считать слуг и бесконечного потока посетителей. Приходили Томас и Луис, служившие теперь в свите короля Генриха; заглядывал иногда какой-нибудь восторженный молодой поэт вроде Окклива; забредал порой давнишний сослуживец — королевский чиновник времен Эдуарда или Ричарда, этаким отставной придворный со слезящимися глазами и подагрической походкой, отправленный, как и он, на покой, все еще весьма почитаемый, но наполовину забытый. С таким гостем Чосер подчас засиживался до темноты: они играли в шахматы и пересказывали друг другу старые истории, покуда от усталости мысли их не начинали затуманиваться, а языки заплетаться.

Он беседовал со священниками, время от времени общался с друзьями-профессорами, был в курсе придворных сплетен, продолжал писать и перерабатывать старые вещи. Первые, черновые, варианты писались теперь, жаловался он Скогану, с натугой, без прежней легкости. Он то и дело терял нить, поэтические образы утрачивали былую живость и непосредственность; то, что выходило теперь из-под его пера, было сплошной техникой, сплошной иронией и насмешкой над собой; если в молодости его вдохновляли красота, истина и нотка комичного, то теперь его фатальным образом привлекала идея стихов как эстетического бедствия — поэмы, словно бы написанной самым скверным поэтом на свете, или же рассказа, излагаемого путающимся и не заслуживающим доверия повествователем. (Порой он втайне считал, что эти вещи принадлежат к числу лучшего из написанного им.) Он продолжал писать упорно, неистово, наперегонки с песочными часами, создавая иной раз новые произведения, но по большей части перерабатывая старые.

Он уже привел в порядок (более или менее) пролог к «Легенде о добрых женщинах», благоразумно изъяв из него упоминания о покойной королеве Анне. Но сделать оставалось неизмеримо больше — прежде всего придать общий смысл своему огромному труду, «Кентерберийским рассказам». Он круто изменил замысел этой вещи, когда многие рассказы уже были написаны (как признался он однажды вечером в частной беседе с Джоном Гонтон). Так сказать, поменял лошадей, переезжая через реку. Ему предстояло упорядочить все произведение, избавиться от непоследовательностей и противоречий, вызванных многочисленными изменениями, которые он сделал позднее, и по возможности заполнить пробелы недостающими рассказами. Это была непомерно трудная задача для человека его возраста, а может, кое в чем и глупая, как думалось ему порой в минуту усталости. «Обуян странной гордыней», — покаялся он, скорее в шутку, в исповедальне. Духовник, естественно, ухватился за это, а Чосер, скорбно улыбаясь, предоставил молодому дурню метать громы и молнии на его голову. В конце концов, для того духовник и приставлен (думал он тем временем), чтобы отчитывать исповедующегося, помогая ему избавляться от грехов. Кто он, Джеффри Чосер, такой, чтобы лишать добряка-священника отведенного ему места под солнцем, собственной партии в «великом гимне жизни» — кажется, так он написал когда-то. «В какой же это было поэме?» — припоминал он. Чосер поджал губы, постучал двумя пальцами себя по лбу, но так и не вспомнил. Подумал: «Увы, старею я, старею». Строчка для стихотворения. Он глубоко вздохнул, закрыл глаза; духовник все говорил. Многое в стихах Чосера он считает предосудительным... ну что ж, естественно, естественно. Он почти мальчик, этот священник, неопытный, полный идеализма юнец. Чосер вспомнил короля Ричарда и снова вздохнул. Конечно же, священник прав — с известной точкой зрения. Любой поступок, пусть даже самый благонамеренный, способен причинить кому-то вред; любая поэма о радостях этого мира, даже самая возвышенная, способна вызвать огорчение, если попадет на глаза не тому человеку, которому она предназначалась, читателю с узким, неразвитым умом... Священник перешел теперь к отпущению грехов. Чосер перекрестился, поднялся с колен. Опять осторожно кольнула эта странная боль, как будто слабо пискнула мышь в глубине сердца. «Не время болеть!» — с легкой тревогой подумал он.

Но через месяц-другой поэт понял, что с работой все кончено, он скоро умрет. В день смерти Чосера духовник и прочие священники еще настойчивей, чем обычно, требовали покаяния; конечно, это было правильно, хотя утомительно и глупо — как вся наша жизнь, горестно подумал старый поэт, оплакивая свою большую книгу, так и оставшуюся незаконченной. Рукописи в беспорядке разбросаны на столе, некоторые лучшие куски вообще отсутствуют: их взяли у него почитать, да так и не возвратили. Однако он старательно поборол подступивший приступ отчаяния и помолился, попросив бога укрепить его силы. Каждый вздох жег его пламенем, и время от времени он с ощущением предобморочной дурноты впадал в забытие. Ему было не до богословских споров — да и какая, собственно, разница? «В чем бы ни состояла истина, я скоро ее узнаю», — подумал он. Темнота, в которую он погрузился, наполнилась зловещим гулом — то ли ревом ветра, то ли рокотом волн, то ли звуками древнего кельтского песнопения. Почему-то ему вспомнилось раскидистое, залитое солнцем дерево. К его удивлению, дерево говорило человеческим голосом. Потом снова возник свет, до боли яркий, и донесся шум с улицы: звяканье железных подков, колокольный звон. С большим трудом — ему, кажется, опять пускали кровь, и он стал слаб, как ребенок, — Чосер приподнял голову, затем сделал какой-то знак рукой. Пятна вместо лиц, голоса. Никто не понял. «Дайте мою книгу», — выговорил он. Священники, насколько он мог видеть, не сдвинулись с места. Один из них протянул ему — вот глупец — молитвенник. Томас, а может, это был Адам-писец, принес огромное, толстое собрание его рукописей и положил его, тяжелое, как глыба, к нему на колени. «Последнюю страницу», — прошептал он. Наконец они поняли и забрали все, кроме последней страницы. Сверху на ней уже было что-то написано, но строчки расплывались перед глазами. «Перо и чернила», — вымолвил он. Какая-то фигура с расплывшимися очертаниями подала ему то и другое.

Затем с большим трудом он принялся выводить кривые, неровные буквы, чувствуя себя почему-то чуть-чуть хитрецом. Ладно, он даст им то, чего они добиваются, думал Чосер, понимая, что в каком-то отношении они, конечно, правы: теперь, когда он умирает, уходя темной, туманной дорогой вслед за Филиппой и Гонтом, беднягой Брембром, постоянно отдувавшимся толстяком с глазами навывкате, и Глостером, этим трагическим глупцом, не так уж трудно понять, что он мог бы больше сделать для того,

чтобы облегчить людям их смертный час. Ведь никому из живущих и тех, кто когда-либо будет жить на свете, не дано избежать того мучительного, немного пугающего, а главное, унижительного, что случилось даже с ним, Джеффри Чосером: тело его истощилось, глаза наполовину ослепли, голос превратился в какое-то змеиное шипение, и старуха-смерть заставила его стыдиться себя, как застарелого запаха кошачьего дерьма в доме (да, да, он должен был писать стихи, которые помогали бы людям пройти через это, — жизнеописания святых, трогательные, красивые песни о благодати Христа, о том, как глупо всю жизнь думать только о земном). Буква за буквой нацарапал он свое послание ко всем, к кому это могло иметь отношение:

«А теперь я прошу всякого, кто услышит это маленькое сочинение или прочтет оное и обнаружит там нечто отрадное для души, возблагодарить за то господу нашего Иисуса Христа, который есть источник всего разумного и благого. Буде кто обнаружит там нечто огорчительное для души, то его я прошу отнести это за счет слабого моего умения, а не за счет умысла, так как хотел бы выразить лучше, если бы умел. Ибо в нашей книге сказано: «Все, что ни пишется, пишется во имя учения нашего». И таково же мое намерение. Посему обращаюсь я к вам со смиренной просьбой: помолитесь за меня всемилосерднейшему господу, и да смилостивится надо мной Христос, и да простит он меня за мои прегрешения — за то, что переводил и писал сочинения о всяческой мирской суете, такие, как книга Троила, также книга Славы; книга пятнадцати Знатных жен, книга герцогины, книга Птичьего парламента в день св. Валентина, Кентерберийские рассказы — те из них, что коренятся в грехе, — книга Льва и многие прочие книги, коих не могу припомнить, многие песни и многие непристойные лэ, от каковых я ныне отказываюсь в этом моем отречении. Но не от перевода Бозэиева Утешения и других книг, как-то: житий святых, наставлений и нравоучительных назиданий, написанных мной в прославление господу нашему Иисусу Христу и божьей матери, благословенной девы Марии, и всех святых на небе и с мольбою ниспослать мне благодать ныне и присно, до скончания дней моих, так чтобы мог я оплакивать мои прегрешения, печься о спасении души моей и с истинным рвением каяться, исповедоваться и искупать грехи вплоть до конца моего земного пути по всеблагому милосердию того, кто есть царь над всеми царями и священник над всеми священниками и кто отдал

за нас бесценную кровь сердца своего, дабы в день Страшного суда я мог попасть в число тех, кто спасется».

Кончив писать, он отдал перо Луису. Черты лица мальчика виделись ему теперь отчетливо, все стало видно отчетливо, «душа его была в глазах» — еще одна строка из какой-то старой поэмы, с грустью отметил он, и тут ему иронично и щемяще-грустно подумалось: «Прощай, мой труд, моя любовь!» Затем он в панике понял, но только на одно мгновение, что он умер и падает, падает, устремляясь к Христу⁴.

Примечания автора

Глава первая

1. George Williams. A New View of Chaucer (Durham, North Carolina, Duke University Press, 1965, p. 10—16). Целый ряд исследователей, и в том числе Дж. М. Мэнли, полагает, что Чосер родился позже — в 1345 или 1346 году, — ссылаясь в обоснование своей точки зрения главным образом на то, что его поэма «Книга герцогини», написанная не ранее 1369 года, является-де слишком незрелым произведением для поэта почти тридцатилетнего возраста; однако все литературоведы, исследовавшие в последнее время поэму, в один голос утверждают, что на самом деле это один из маленьких шедевров Чосера, вещь тонкая и вполне зрелая.

В качестве другого довода в обоснование той точки зрения, что Чосер родился около 1345 года, приводят общепринятую в прошлом версию, согласно которой в 1357 году Чосер был пажом при дворе графини Ольстерской. Проведенный Уильямсом аналитический разбор этой версии слишком сложен, чтобы пытаться, хотя бы коротко, изложить его здесь, но он пришел к следующему справедливому заключению: «Расходные книги двора графини не доказывают и даже не подкрепляют гипотезу о том, что в 1357 году Чосер был пажом и, следовательно, мальчиком, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. В действительности эти записи свидетельствуют лишь о том, что в 1357 году он являлся служителем младшего ранга и, по всей вероятности, не пажом» (p. 13).

Как записано в официальных судебных протоколах процесса, проходившего в 1386 году, Чосер «носил оружие в продолжение двадцати семи лет», то есть с 1359 года. Поскольку королевскими призывами набирались в армию все годные к военной службе мужчины в возрасте от шестнадцати до шестидесяти лет, эта судебная запись истолковывалась в качестве доказательства того, что он впервые надел оружие в 1359 году и, следовательно, достиг в этом году шестнадцатилетнего возраста. Уильямс доказывает ошибочность этой теории: «По существу, после 1355 года не предпринималось военных походов, в которых Чосер мог бы принять участие (если не считать неофициального набега Черного принца во главе своей собственной частной армии в 1356 году). Иными словами, у Чосера просто не было случая выступить с оружием в руках на службе короля до осени 1359 года, если только он не родился раньше осени 1339 года. Следовательно, из этой записи в протоколах суда явствует только то, что осенью 1359 года Чосеру было по меньшей мере шестнадцать лет, но по ней невозможно определить, было ли ему только шестнадцать или несколькими годами больше» (p. 13—14). На мой взгляд, тот факт, что некоторые англичане, случилось, поступали на военную службу в пятнадцатилетнем возрасте, как это, по-видимому, сделал отец поэта, на самом деле не подрывает аргументацию Уильямса.

В заключение Уильямс пишет: «Единственный вывод, который позволяет нам сделать эта запись, состоит в том, что Чосер родился ранее 1346 года. Но, учитывая тот факт, что в 1360 году он занимал ответственное положение при дворе принца Лионеля и что должность придворного наверняка не могла быть предоставлена зеленому юнцу, мы должны исходить из того, что в 1360 году Чосеру было как минимум двадцать лет. Иначе говоря, он родился не позже 1340 года или, может быть, самого начала 1341 года, а возможно, чуть раньше 1340 года» (р. 16).

Мэнли, Рикерт и другие («Факты биографии Чосера» под редакцией Мартина М. Кроу и Клэр Олсон — сборник материалов, составленный Джоном М. Мэнли и Эдит Рикерт при участии Лилиан Дж. Редстоун и проч. London, Oxford University Press, 1966, называемый в дальнейшем Life-Records), приводят аргументы, разработанные еще до опубликования результатов анализа Уильямса, в соответствии с которыми относят вероятную дату рождения Чосера «скорее уж ближе к 1345, чем к 1340 году» (р. 9, п. 1).

2. Life-Records, p. 10.

3. F. J. Furnivall. Life-Records of Chaucer, Part II (Kegan Paul, Trench Trubner & Co. London, 1900), p. VII.

4. Приводя современные эквиваленты средневековых денежных сумм, я исходил из соотношения 1 шиллинг=12 долларам, 1 фунт стерлингов=около 240 долларов (по состоянию на июль месяц 1974 года, когда писались эти строки). Даже если бы не существовало такого дополнительного неудобства, как нынешняя инфляционная спираль, подобные оценки неизбежно являются чрезвычайно приблизительными, хотя бы уже потому, что некоторые вещи стоили в средние века дороже, чем теперь, например пуговицы (тогда это были ювелирные изделия), в то время как другие вещи, например строительная древесина, стоили много дешевле.

5. John Matthews Manly. Some New Light on Chaucer: Lectures Delivered at the Lowell Institute. Mass., Peter Smith Gloucester, 1959, p. 22.

6. Manly et al. в Life-Records высказывают предположение — неубедительное, на мой взгляд, — что эта поездка Джона Чосера, возможно, представляла собой военную экспедицию. Как я доказываю дальше, спутники Джона Чосера в большинстве своем являлись богатыми купцами, и уже сам состав группы говорит о том, что эта миссия имела дипломатический характер.

7. Life-Records of Chaucer, Part 2, p. 47—48.

8. См.: Coulton. Chaucer and His England, p. 16.

9. Coulton, p. 16—17.

10. Coulton, p. 17.

11. Coulton, p. 19—20.

12. Ср.: Manly. Some New Light on Chaucer, p. 25, и Life-Records, p. 4, n 10.

13. Manly, p. 47—48.

14. Life-Records, p. 5.

15. Даже в средневековье слово «рыцарство» имело различные значения для различных людей и в различных контекстах. В узко-правовом контексте оно означало в Англии владение земельным наделом на условиях несения военной службы и не имело никакого отношения к моральным нормам. В несколько более широком смысле оно означало просто «кавалерия» (сравни «шевалье»), а еще в более широком смысле — предполагаемое поведение «шевалье», или конного воина. Учрежденный королем Эдуардом III рыцарский суд распространял свою юрисдикцию на дела о правовых и нравственных проступках рыцарей

во времена войны и мира и, по-видимому, исходил из подразумеваемого предположения о том, что поведение рыцаря должно по меньшей мере приближаться к нормам, изложенным в различных французских книгах XIII столетия, трактующих о рыцарстве и рыцарственности, и в жизнеописаниях рыцарей, которых считали образцом для подражания. После смерти Эдуарда рыцарский суд занимался по преимуществу разбором споров о порядке старшинства, гербах и т. п. Можно доказывать, что слово «рыцарство» имело в XIV веке настолько широкое значение, что не означало ровным счетом ничего; однако, когда рыцарь говорил даме: «Я твой собственный рыцарь», считалось, что она должна ему верить.

16. Англо-нормандская элегия, приписываемая Эдуарду II, была обнаружена и опубликована П. Студером, который признает авторство Эдуарда (*Modern Language Review* 16 [1921], 34—36).

17. May McKisack. *The Fourteenth Century, 1307—1399* (London, Oxford University Press, 1959), p. 95—96.

18. McKisack, p. 21.

19. Хотя церковь считала ростовщичество тяжким грехом, оно было широко распространено по всей Европе. «Кагорсины» из южной Франции и «ломбардцы» из городов северной Италии, будучи явными христианами, открыто ссужали деньги под залог, иной раз выручая за это сумму, вдвое превосходящую ссуду. Ростовщичеством занимались и евреи, покада они не были изгнаны из большинства стран Западной Европы в конце XIII — начале XIV века. Обычно деньги ссужались под высокий (от 20 до 40%) процент, но и при всем том поразительно много ростовщиков прогорало — отчасти потому, что рыцарский кодекс чести не распространялся, как правило, на взаимоотношения с дельцами.

Глава вторая

1. См.: Edith Rickert. *Chaucer's World* (New York, Columbia University Press, 1948), p. 4—7, а более подробно об обитателях квартала Винтри-Уорд см. *Life-Records*, p. 10—12.

2. Derek Brewer. *Chaucer in His Time* (London, Thomas Nelson and Sons, 1963), p. 101.

3. G. G. Coulton. *Life in the Middle Ages* (New York, Macmillan Company, 1930), p. 120—121.

4. Rickert, p. 95—96.

5. Rickert, p. 97.

6. Rickert, p. 98.

7. G. G. Coulton. *Medieval Panorama: The English Scene from Conquest to Reformation* (New York, Macmillan Company, 1938), p. 105—106.

8. Coulton. *Life in Middle Ages*, v. 4, p. 210.

9. Coulton. *Medieval Panorama*, p. 115.

10. Rickert, p. 101—102.

11. Rickert, p. 119.

12. Rickert, p. 119.

13. См.: Coulton. *Medieval Panorama*, p. 392—393.

14. David Nicholas. *The Medieval West, 400—1450: A Preindustrial Civilization* (Homewood, Illinois, The Dorsey Press, 1973), p. 217, et passim.

15. Coulton. *Medieval Panorama*, p. 493.

16. Из *Chronicon Henrici Knighton*, цитируется по кн.: R. B. Dobson, ed. *The Peasants' Revolt of 1381* (London, Macmillan and Company, 1970), p. 59—63.

17. См.: Rickert, p. 121, n. 33.

18. Brewer, p. 127.
19. C. F. Spurgeon. Five Hundred Years of Chaucer Criticism and Allusion (Cambridge, Cambridge University Press, 1925), p. 114.

Глава третья

1. Marchette Chute. Geoffrey Chaucer of England (New York, E. P. Dutton, 1946), p. 42.
2. Дж. Дж. Коултон дает нам некоторое представление о том, как осуществлялась постановка мистерии, в своем труде Life in the Middle Ages (New York, Macmillan Company, 1930), v 2, p. 138—142. На основании дошедших до нас фрагментарных списков декораций, костюмов и т. д. и т. п. можно посчитать стоимость этих педжентов. Полный комплект декораций (для однодневного представления требовалось двадцать или более педжентов) мог стоить значительно дороже постановки современной пьесы на Бродвее.
3. Фруассар рассказывает о приснившемся Карлу VI чудесном сне о летающем коне. См.: Haldeen Braddy. Geoffrey Chaucer, Literary and Historical Studies (Port Washington, Kennikat Press, New York, 1971), p. 71—75.
4. Облегченное переложение Фруассара — Edith Rickert. Chaucer's World (New York, 1948), p. 214—215.
5. F. George Kay. Lady of the Sun: The Life and Times of Alice Perrers (New York, Barnes & Noble, 1966), p. 63.
6. Bernard J. Manning, in The Cambridge Medieval History (Cambridge, Cambridge University Press, 1932), p. 63.
7. Williams, p. 19.
8. G. G. Coulton. Chaucer and His England (New York, Russell & Russell, 1957).
9. Coulton. Chaucer and His England, p. 22—23.
10. См.: T. R. Lounsbury. Studies in Chaucer (New York, Harper and Brothers, 1899), v. 1, p. 56—57.

Глава четвертая

1. J. M. Manly. Some New Light on Chaucer (New York, Henry Holt and Company, 1926; переиздано: Gloucester, Mass., Peter Smith, 1959), p. 13.
2. Manly, p. 13.
3. Здесь и далее цитаты из Фортеस्कю приводятся по: Manly, p. 15—18.
4. G. G. Coulton. Medieval Panorama (London, Cambridge University Press, 1938), p. 402.
5. Chaucer in His Time (London, Nelson, 1963).
6. Williams, p. 47.
7. Цитируется по: Russell Krauss. Chaucerian Problems, Especially the Petherton Forestership and the Question of Thomas Chaucer in Three Chaucer Studies, ed. Carleton Brown (Folcroft, Pennsylvania, Folcroft Press, 1932, reprinted 1969), p. 146.
8. Krauss, loc. cit.
9. Krauss, p. 162—163.
10. Krauss, p. 163.
11. Williams, p. 50.
12. Williams, p. 48.
13. Согласно записи от 15 мая 1372 года в «Ланкастерской рас-

ходной книге», она получает дар за «хорошую и старательную службу» Бланш Ланкастер, которая умерла в 1369 году. См.: Krauss, p. 135, п. 11.

14. T. R. Lounsbury. *Studies in Chaucer, His Life and Writings.* (New York, Harper and Brothers, 1892), v. 1. p. 113—114.

Глава пятая

1. *Lady of the Sun: the Life and Times of Alice Perrers* (New York, Barnes & Noble, 1966).

2. Geoffrey Chaucer. *Literary and Historical Studies* (Port Washington, New York, Kennikat Press, 1971), p. 111.

3. Приводимая мною версия не является общепринятой. Согласно общепринятой версии, Алиса, хитрая стяжательница, сочла, что судьба посылает ей в лице Виндзора счастливый случай, а Виндзор рассчитывал на то, что Алиса поможет ему возвыситься. Эта общепринятая версия плохо согласуется с фактами, и особенно с тем фактом, что Алиса рисковала своей головой, стараясь спасти Виндзора, когда его заключили в Тауэр. Как бы то ни было, Чосер и многие другие из его окружения восхищались Уильямом Виндзором.

4. Kay, p. 12.

5. Kay, p. 22.

6. S. Luce (ed.). *Chroniques de J. Froissart* (Paris, 1888), VIII, 139, № 3.

7. Braddy, p. 112.

8. Цитируется по: Edith Rickert. *Chaucer's World* (New York, Columbia University Press, 1948), p. 278—279.

9. См.: G. G. Coulton. *Chaucer and His England*, p. 45.

Глава шестая

1. George Williams. *A New View of Chaucer* (Durham, North Carolina, Duke University Press, 1965), p. 26.

2. Braddy, p. 81.

Глава седьмая

1. Цитируется по сборнику: R. B. Dobson. *The Peasants' Revolt of 1381* (London, Macmillan, 1970), p. 92.

2. May McKisack. *The Fourteenth Century, 1307—1399* (London, Oxford University Press, 1959), p. 398.

3. Dobson, p. 92—93.

4. Dobson, p. 93.

5. Charles Oman. *The Great Revolt of 1381* (1906, Haskell House, New York, 1968), p. 1.

6. Oman, p. 190.

7. Dobson, p. 103—104.

8. Dobson, p. 126.

9. Версию Уолсингема, которой я придерживаюсь за исключением тех моментов, где она представляется явно ошибочной, см.: Dobson, p. 168—181. Мои цитаты воспроизводят в слегка измененном виде перевод Добсона. Ср.: McKisack, p. 412—414.

10. Aldous Huxley. *Essays New and Old* (London, Florence Press, 1926), p. 24; G. G. Coulton. *Chaucer and His England* (New York, Russell & Russell, 1957), p. 10—11.

11. «Chaucer and the Common People», n. p. (Carbondale, Illinois, Southern Illinois University Library,), p. 3.

12. George Williams. A New View of Chaucer (Durham, North Carolina, Duke University Press, 1965), p. 36.
13. McKisack, p. 425.

Глава восьмая

1. May McKisack. The Fourteenth Century, 1307—1399 (London, Oxford University Press, 1959), p. 431.
2. W. W. Skeat. The Oxford Haucer, Student's Edition (London, Oxford University Press, 1894), p. XIII.
3. Margaret Galway. Geoffrey Chaucer, J. P. and M. P., Modern Language Review 36 (1941), p. 5.
4. Galway, p. 4.
5. Life-Records, p. 356—358.
6. Richard H. Jones. The Royal Policy of Richard II.: Absolutism in the Middle Ages (New York, Barnes & Noble, 1968), p. 38.
7. McKisack, p. 454.
8. Galway, p. 15—16.
9. См.: Life-Records, p. 465—466.

Глава девятая

1. Life-Records, p. 62—63.
2. Life-Records, p. 524.
3. Во всяком случае, никакого прошения не было найдено. См.: Life-Records, p. 527.
4. Согласно старому устному преданию, Джеффри Чосер умер 25 октября 1400 года; предание это основывалось на ныне неразличимой надписи на надгробии Чосера, которое, по сообщению Джона Стоу, было установлено Николасом Бригхэмом в Вестминстерском аббатстве в 1556 году. См.; Life-Records, p. 547—549.

Комментарий

Введение

К с. 19

...хорошо темперированному... Баху... — Здесь: гармоничному, уравновешенному (от лат. *temperatio* — соразмерность). «Хорошо темперированный клавир» — название двухтомного собрания фуг и прелюдий Иоганна Себастьяна Баха (1685—1750), написанных во всех тональностях хроматической гаммы.

«Гольдбергские вариации» — известное клавирное произведение И. С. Баха.

К с. 20

О проказах королевы *Маб*, «родоприемницы у фей», посылающей людям сны, в которых сбываются их тайные мечты и желания, рассказывает Меркуцио в трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта» (акт I, сцена 4).

«Роман о Розе» — французская средневековая аллегорическая поэма. В ее первой части, созданной около 1240 г. Гильомом де Лоррисом, выражены идеалы куртуазной литературы: в иносказательной форме сновидения автор рассказывает о возвышенной любви поэта к Розе, олицетворению идеальной женской любви и божественной благодати. Во второй части поэмы, написанной двадцатью годами позже Жаном де Меном, речь идет уже о реальной земной любви, а куртуазные воззрения уступают место рационалистическим философским взглядам. «Роман о Розе» пользовался в эпоху позднего средневековья широкой популярностью как во Франции, так и далеко за ее пределами.

К с. 21

Джон Уиклиф (ок. 1320—1384) — английский религиозный деятель, реформатор церкви, писатель, переводчик Библии на английский язык. Выступал за подчинение духовной власти королю, секуляризацию церковной собственности, упрощение церковных обрядов, лишение духовенства социальных привилегий. В 1382 г. собор английских епископов объявил учение Уиклифа еретическим, и Уиклиф чудом избежал сожжения на костре. Его идеи оказали большое влияние на Я. Гуса и М. Лютера.

Уот Тайлер (?—1381) — один из руководителей крупнейшего крестьянского восстания в средневековой Англии, вероломно убитый приближенными короля 15 июня 1381 г.

Уильям Ленгленд (ок. 1330 — ок. 1400) — английский поэт, выходец из среды низшего духовенства, автор аллегорической поэмы «Видение о Петре Пахаре» (1362), написанной нерифмованным аллитерационным стихом в дидактическом жанре «видений» и посвященной обличению общественного уклада и нравов современной ему Англии.

К с. 22

...к овладению поэтическим мастерством, которому «так долга учеба». — Имеются в виду афористические начальные строки поэмы Чосера «Птичий парламент»:

Так жизнь кратка, и так долга учеба,
Так трудно постиженье мастерства.

К с. 23

Джон Донн (1572—1631) — английский поэт, сочетавший в своих стихах, написанных в разнообразных жанрах, глубину и усложненность мысли с непринужденной легкостью формы.

Адвентистский — связанный с верой в библейское пророчество о «втором пришествии Христа», гибели мира и наступлении «тысячелетнего царства божия».

Патристический — относящийся к произведениям так называемых отцов церкви, разработавших во II—VIII веках основы церковной догматики, богословия и христианской философии.

Экзегетика — трактовка канонических религиозных текстов, главным образом Библии.

Ересиаρχ — основатель религиозного учения в рамках христианской веры, признанного церковью еретическим.

К с. 26

Августин Блаженный (354—430) — один из виднейших отцов церкви, автор лирической автобиографии «Исповедь» и философского трактата «О граде божием». Христианский неоплатонизм Августина господствовал в западноевропейской философии и теологии вплоть до XIII века.

Джон Беньян (1628—1688) — английский писатель. В аллегорическом романе «Путь паломника» (1678—1684) сочетает религиозное морализаторство с критикой паразитического существования аристократии и корыстолюбия буржуазии, которым противопоставляет добродетели простых людей.

Алкуин, или Альбин (ок. 735—804) — англосаксонский ученый, писатель и теолог, автор богословских трактатов, учебников философии, грамматики, риторики, ближайший советник Карла Великого.

К с. 27

Томас Стернз Элиот (1888—1965) — англо-американский

поэт и критик, автор сборника стихов «Пруфрок и другие наблюдения» (1917), сборника литературно-критических статей «Священный лес» (1920), поэм «Бесплодная земля» (1922), «Полые люди» (1925), ряда стихотворных пьес. Мысль Т. С. Элиота о диалектическом сочетании традиционного и творчески индивидуального — одно из плодотворных положений его эстетики.

К с. 28

Абрисий Феодосий Макробий (V в. н. э.) — позднеримский писатель, комментатор «Сна Сципиона», являющегося частью трактата Цицерона «О государстве»; его комментарий к «Сну Сципиона», написанный в духе неоплатонизма, пользовался известностью в среде образованных людей средневековья.

...начиная от carpe diem и кончая теологическими концепциями Макробия и апостола Павла. — Carpe diem — слова из оды Горация («Оды». Книга I, ода II):

Dum loquimur, fugerit invida

Aetas: carpe diem...

Пока мы говорим, уходит время злое;

Лови текущий день... (Перевод А. Фета)

Следовательно, речь тут идет о многообразии этических воззрений, начиная от эпикурейской этики, объявляющей единственной целью жизни удовольствия, и кончая раннехристианским аскетизмом, требующим отказа от земных радостей.

К ст. 29

«Смерть Артура» — аллитерационная поэма, написанная в XIV веке неизвестным автором (некоторые исследователи приписывают авторство поэмы шотландскому поэту Хухону) и рассказывающая о событиях последних лет царствования короля Артура с многочисленными аллюзиями, касающимися современной поэту истории.

К с. 33

...рассказывает о своем «постыдном поступке»... — Сэр Гавейн, племянник короля Артура, слывший образцом рыцарственности, условившись с рыцарем, чьим гостем он оказался, делиться любыми охотничьими и прочими трофеями, утаивает зеленый пояс, делающий человека неуязвимым, который подарила сэру Гавейну жена рыцаря.

Джон Гауэр (ок. 1330—1408) — средневековый английский поэт, писавший на латыни, французском и английском языках; автор поэм «Зерцало размышляющего», «Глас вопиющего» (ок. 1382) и «Исповедь влюбленного», а также поэмы-хроники «Хроника в трех частях», повествующей о последних годах правления Ричарда II, в том числе и о его низложении (написана на латыни). Гауэр был другом Чосера. *Нравственный*

Гауэр — слова из посвящения («О нравственный Гауэр, к тебе обращаю я эту книгу»).

К с. 34

...влюбленный исповедуется своему духовнику — знатоку в делах любви. — Влюбленный герой поэмы «Исповедь влюбленного» по совету Венеры исповедуется жрецу любви Гению, а тот, постоянно прерывая исповедь, рассказывает ему поучительные истории о семи смертных грехах и способах искупления их. Диалог между духовником и влюбленным поэтом включает в себя множество анекдотов, рассказов, притч, которые они излагают друг другу: один — в назидание, другой — чтобы облегчить свое сердце. В поэме ощущается влияние Чосера.
К с. 36

...в широком боэцианском смысле... — *Бозций*, или, точнее, Аниций Манлий Северин (480—524) — позднее римский философ и государственный деятель. В трактате «Утешение философское», написанном в тюрьме в ожидании казни и окрашенном в стоические тона, развивает христианские и неоплатонические идеи, толкует о ничтожестве земных благ, преимуществе чистой совести, душевного спокойствия и любви к ближнему. Трактат пользовался широкой известностью в средние века и оказал влияние на литературу.

Уильям Оккам (ок. 1285—1349) — средневековый английский теолог, логик, церковно-политический писатель и философ, крупнейший представитель номинализма. Утверждал, что понятия, не сводимые к интуитивному знанию и не поддающиеся проверке опытом, должны исключаться из науки. Им сформулирован принцип «Сущности не следует умножать без необходимости», получивший наименование «бритвы Оккама». Он выступал за разделение сфер философии и теологии; в политике — против папских притязаний на светскую власть.

Фома Аквинский, или Фома Аквинат (ок. 1225—1274) — средневековый итальянский философ и теолог, крупнейший представитель идеалистической философии католицизма. Монах-доминиканец, доктор Парижского университета, он читал курсы лекций в Париже, Кёльне, Риме, Болонье, Неаполе. Главные сочинения — «Сумма против язычников», «Сумма теологии» и «Комментарии к сочинениям Аристотеля». Фома Аквинский отступал от господствовавшего в католической философии платоновского направления и положил в основу своего учения идеи Аристотеля, приспособив их к христианскому вероучению. Философ-энциклопедист, он упорядочил и завершил систему средневековой схоластики. Католическая церковь причислила его к «учителям церкви» и в 1323 г. канонизировала как святого.

Роберт Гростест (?—1253) — английский церковный дея-

тель и ученый, первый ректор Оксфордского университета, перевел с греческого ряд богословских и философских сочинений, и в частности «Никомахову этику» Аристотеля. Выступал против папских посягательств на вмешательство в дела английской церкви.

Роджер Бэкон (ок. 1214—1292) — средневековый английский ученый-естествоиспытатель, философ, математик, профессор Оксфордского университета. Отдавая в своих работах дань алхимии, астрологии и магии, Роджер Бэкон одновременно выдвинул ряд смелых научных догадок и сделал важные открытия в области оптики. Считал основой всякого познания опыт и стремился отделить философию от богословия.

К с. 37

Джованни Бонавентура (1221—1274) — итальянский философ-мистик, представитель средневековой схоластики, глава францисканского ордена. Будучи последователем августиновского неоплатонизма, развивал учение об условиях и ступенях созерцания бога; условием познания истины считал благочестивую жизнь и молитву.

К с. 39

Уильям Годвин (1736—1836) — английский писатель, публицист и историк, автор четырехтомного «Жизнеописания Джеффри Чосера» (1803).

Глава первая

К с. 42

Уильям Моррис (1834—1896) — английский писатель, художник и теоретик искусства. В творчестве тяготел к средневековым мотивам; издал «Сочинения Джеффри Чосера» по образцу инкунабул, основал (1867) Общество по охране старинных зданий.

Винтри-Ворд — район средневекового Лондона, примыкавший к набережной Темзы, где сгружали свой товар винооторговцы из Бордо.

...отдавшей ему этот дом в ленное владение... — Лен, или фео́д, — наследственное земельное владение либо прочее недвижимое имущество, пожалованное сеньором вассалу при условии несения службы или уплаты установленных обычаем взносов. В эпоху феодализма передача недвижимости в ленное владение практиковалась чаще, чем непосредственная купля-продажа или сдача в аренду, более характерные для эпохи развитых товарно-денежных отношений.

К с. 43

Уолбрук — речка, которая протекала через Лондон, деля его на две части, брала начало в болотах к северу от городской

стены и впадала в Темзу у ворот Даунгейт. Ныне течет под землей в трубах.

...украшает венком шест отцовской таверны... — Шест с венком служил вывеской средневековым английским пивным.

Смитфилдская площадь — ровное открытое пространство к северо-западу от городской стены средневекового Лондона, где проводились турниры и судебные поединки, устраивались ярмарки. Место встречи короля Ричарда II с восставшими крестьянами и убийства их предводителя Уота Тайлера (1381). К с. 48

Маршалси — долговая тюрьма в лондонском предместье Соуерк, находившаяся под надзором королевского маршала. К с. 58

Манор — название феодального наследственного земельного владения в средневековой Англии. В манор, как правило, входили наряду с собственно господскими землями, которые назывались доменом, земли свободных крестьян (фригольдеров), зависимых крестьян-держателей (вилланов), а также общинные угодья. Управление манором обычно осуществляли управляющие-стюарды.

К с. 62

Жан Фруассар (ок. 1337 — после 1404) — французский поэт, автор знаменитых хроник. Фруассар, долго служивший при дворе английского короля, а затем при дворах крупных французских феодалов, объездивший для сбора материалов Англию, Шотландию, Францию, Бельгию, Испанию и Италию, отразил в своих «Хрониках» события периода 1325—1400 гг. Историк и певец рыцарства, Фруассар дал красочное описание Столетней войны, прославлявшее доблесть и ратные подвиги английских и французских королей и рыцарей.

К с. 76

Эно, или Геннегау — графство, находившееся на территории нынешней Бельгии; в 1299—1354 гг. графы Эно являлись и графами Голландии.

К с. 79

...порядки, сохранившиеся в его собственном домене. — В средневековой Англии доменом называлась часть манора, на которой феодал вел собственное хозяйство (см. прим. к с. 58 — *манор*), а также вся совокупность наследственных земельных владений крупного феодала.

Глава вторая

К с. 83

Ордонансы Эдуарда II — совокупность королевских указов, изданных в годы правления короля Эдуарда II (1307—1327)

и регламентировавших самые различные стороны жизни средневековой Англии.

К с. 86

Королева Гиневра, или Дженевра — жена короля Артура в легендах «артуровского цикла»

К с. 88

Эразм Роттердамский (1469—1536) — гуманист эпохи Возрождения, филолог, богослов и писатель, автор философской сатиры «Похвала глупости» (1509) и бытовой сатиры «Разговоры запросто» (1519—1535).

Джон Рассел (1792—1878) — английский государственный деятель, занимал важные правительственные посты, в том числе премьер-министра; автор нескольких исторических и биографических книг.

К с. 98

Феодосий — имеется в виду Феодосий I, или Феодосий Великий (ок. 347—395), римский император (379—395), признавший христианство государственной религией и запретивший языческие культы.

К с. 99

«*Cesta Romanorum*» («Деяния римские») — сборник написанных по-латыни нравоучительных рассказов, рыцарских романов и житий святых, составленный в Англии в начале XIV века неизвестным автором. Служил источником сюжетов для многих позднейших произведений, в том числе Чосера и Шекспира.

К с. 103

«*Рассказ аббатисы*» в русском переводе «Кентерберийских рассказов» опущен.

К с. 104

Иоанн Златоуст (ок. 350—407) — крупный деятель и идеолог восточно-христианской церкви; фанатично преследовал еретиков, проповедовал аскетизм и бичевал пороки.

К с. 109

Колокольчик несли перед гробом... — звон колокольчика должен был призывать всех встречных помолиться об усопшем.

К с. 112

Томизм (от лат. Thomas — Фома) — направление в католической философии, основанное Фомой Аквинским, проповедующее гармонию разума и веры и рассматривающее мир как иерархическую, ступенчатую систему.

К с. 113

Святой Гутлак (ум. в 714 г.) — англосаксонский отшельник, канонизированный церковью. Легенда о нем — знатном юноше, который вел буйную, распутную жизнь, но потом раскаялся, удалился в пустыню, поборол дьявольские искушения и прославился как чудотворец и исцелитель, — излагается в старинной англосаксонской поэме.

К с. 115

Перводвигатель... — Неподвижный перводвигатель — одна из категорий философского учения Аристотеля и его последователей; мыслился как конечный источник всякого движения.

Бертран Рассел (1872—1970) — современный английский философ, писатель и общественный деятель.

К с. 123

Чарлз Доджсон (1832—1898) — английский писатель, математик и логик, автор сказок «Алиса в Стране чудес» (1865) и «В Зазеркалье» (1871), выступавший под литературным псевдонимом Льюис Кэрролл.

Глава третья

К с. 131

Гильом де Машо (ок. 1300—1377) — крупный французский поэт и композитор, канонизатор поэтических форм во французской поэзии XIV века. Сочинял церковную музыку (мотеты, первую в истории музыки мессу), а также многочисленные песни светского содержания с инструментальным сопровождением.

К с. 133

День св. Георгия (23 апреля). — Этот день во времена Эдуарда III отмечался с большой придворной пышностью: св. Георгия считали покровителем Англии и патроном ордена Подвязки.

Виндзорский замок (графство Беркшир) — одна из королевских резиденций.

К с. 134

Маска — придворное праздничное представление с танцами, песнями, декламацией и хороводом ряженных.

К с. 139

Мелюзина — русалка французских легенд, легендарная прародительница графов Пуату.

К с. 140

Эдуард Исповедник (ок. 1003—1066) — король Англии (с 1042), опиравшийся на нормандских феодалов; после нормандского завоевания Англии (1066) образ Эдуарда был идеализирован.

Томас Бекет (1118—1170) — архиепископ Кентерберийский, канцлер Англии. Противился политике короля Генриха II, пытавшегося подчинить церковь светской власти. Убит по приказу короля прямо в Кентерберийском соборе; канонизирован католической церковью в 1173 г.

К с. 141

Чипсайд — главная рыночная площадь средневекового Лондона; на ней также проводились турниры и судебные поединки,

устраивались театральные представления, народные празднества и гулянья.

К с. 165

Лэ (Le) — жанр средневековой куртуазной литературы; обычно это небольшая стихотворная новелла, излагающая какое-нибудь предание, сказочное приключение.

К с. 175

Рафаэль Холиншед (? — ок. 1580) — английский хронист, составитель и один из авторов обширного свода хроник, известного под названием «Хроники Англии, Шотландии и Ирландии» (т. 1—3, 1577); в этом своде, именуемом также «Хроники Холиншеда», содержится богатый фактический и документальный материал, послуживший в дальнейшем источником сюжетов для исторических пьес У. Шекспира и других драматургов.

Глава четвертая

К с. 178

Эташ Дешан (ок. 1346 — ок. 1407) — средневековый французский поэт, автор многочисленных лэ, рондо и более тысячи баллад; в хвалебном стихотворении, адресованном Чосеру, называл его «великим переводчиком».

Судебные инны — четыре корпорации барристеров (юристов, имеющих право выступать в судах высших инстанций), которым принадлежит исключительное право приема в адвокатуру. Возникли в XIII и XIV веках как школы подготовки юристов в Лондоне. Первоначально они представляли собой гильдии, где ученики обучались у опытных юристов в качестве подмастерьев. У каждой гильдии имелась группа строений, где жили учащиеся и преподаватели; эти здания, собственно, и назывались иннами (слово «inn» в переводе значит «студенческое общежитие», «постоялый двор», «подворье» — отсюда «судебного подворья эконома» в «Кентерберийских рассказах»). Старые названия иннов сохранились и поныне: «Внутренний темпл», «Средний темпл», «Инн Линкольна», «Инн Грея».

К с. 180

«Рассказ о Мелибее» — рассказ, не вошедший в русское издание «Кентерберийских рассказов».

К с. 185

Канцлерские инны — школы подготовки солиситоров, или стряпчих (юристов, имеющих право выступать в судах низших инстанций и подготавливающих дела для барристеров); в прошлом канцлерские инны были прикреплены к тому или другому судебному инну.

К с. 189

Святая Фридесвида — патронесса одного из оксфордских приходов.

К с. 190

Мертон-колледж — старейший колледж Оксфордского университета, основанный в 1264 г. канцлером Англии и епископом Рочестерским Уолтером де Мертоном; предание связывает его с именами Роджера Бэкона и Уиклифа.

К с. 192

Альфред Великий (ок. 849—901) — король англосаксонского королевства Уэссекс на юго-западе Англии (с 871). Объединил вокруг Уэссекса ряд англосаксонских королевств, реорганизовал армию, создал большой флот, построил много крепостей; составил общеанглийский судебник «Правда короля Альфреда». Способствовал развитию просвещения и литературы. Перевел «Утешение философское» Боэция, сделав некоторые добавления от себя. При нем и, возможно, при его участии начала составляться «Англосаксонская хроника».

К с. 195

Альфред Норт Уайтхед (1861—1947) — англо-американский философ, логик и математик, профессор Лондонского и Гарвардского университетов, автор (совместно с Б. Расселом) основополагающего труда по математической логике «Основания математики» (т. 1—3, 1910—1913) и философских трудов «Процесс и реальность» (1929), «Приключения идей» (1933). В своей философии пытался сочетать элементы материализма и идеализма.

К с. 197

Холистическое мышление. — Здесь: мышление, воспринимающее мироздание в целостности (от греч. holos — целое).
К с. 200

Дунс Скот (ок. 1265—1308) — монах-францисканец, философ, один из крупнейших представителей средневековой схоластики. Преподавал в Оксфордском, Парижском и Кёльнском университетах. Выступал с резкой критикой томизма, стремился отделить философию от теологии, доказывая невозможность рационалистического обоснования идеи творения из ничего. Многие идеи Дунса Скота получили развитие в учении У. Оккама.
К с. 201

Порфирий (ок. 233 — ок. 304) — греческий философ-идеалист, комментатор Платона и Аристотеля, автор многочисленных сочинений по истории, математике, логике. Его труд «Введение к категориям Аристотеля» являлся в средние века главным источником знакомства с Аристотелевой логикой.
К с. 202

Крез вещей сон увидел встарь... — История о вещем сне Креза изложена Чосером в «Рассказе монаха» («Кентерберийские рассказы», с. 211—212); первоисточник этой истории — «Роман о Розе».

К с. 204

Лолларды — участники религиозного движения, преимущественно крестьянского, в Англии XIV века, принявшего характер антикатолической ереси. Использовали в своем учении и требованиях некоторые идеи и аргументы Уиклифа, но делали из них более радикальные выводы. Выступая на улицах городов и селений, на рыночных площадях, ратовали за отмену церковной десятины, секуляризацию церковных земель и церковного имущества, ликвидацию монастырей; были сторонниками аскетической строгости в жизни. Подвергались преследованиям и казням.

Библейский фундаментализм. — Здесь: беспрекословное принятие в качестве «фундамента» веры всего текста Библии, исключаяющее возможность аллегорического истолкования библейских чудес.

К с. 207

Коронер — должностное лицо, в обязанности которого входит разбирательство дел о насильственной или внезапной смерти при сомнительных обстоятельствах; проводит расследование обычно с присяжными.

К с. 227

Черный рыцарь и Белая дама — иносказательные имена Джона Гонта и Бланш Ланкастер в элегической поэме Чосера «Книга герцогини»; Алла и Констанца — герои «Рассказа юриста» из «Кентерберийских рассказов».

Глава пятая

К с. 232

Ты, Педро, лучший цвет испанской славы... — строка из «Рассказа монаха»; см. «Кентерберийские рассказы», с. 212.

К с. 242

Вольфрам фон Эшенбах (ок. 1170 — ок. 1220) — немецкий поэт-миннезингер, автор эпического рыцарского романа «Парсифаль» (1198—1210).

Людовик Святой — французский король Людовик IX (1214—1270; правил с 1226), возглавивший два крестовых похода.

К с. 243

Томас Мэлори (ок. 1417—1471) — английский писатель, автор прозаической эпопеи «Смерть Артура» (1469), представляющей собой компиляцию легенд «артуровского цикла»; выразитель мрачных настроений эпохи Столетней войны и войны Алой и Белой розы, Мэлори изобразил крушение феодального рыцарства.

К с. 244

Герцогство Аквитания, или Гиень, занимало юго-западную

часть территории нынешней Франции и в описываемый период находилось под властью английского короля.

К с. 261

Капер — вооруженное судно, принадлежащее частному лицу и занимающееся захватом либо потоплением вражеских кораблей, военных и торговых, а также морским разбоем вообще; владелец или капитан такого судна.

К с. 263

Генри Джеймс (1843—1916) — американский писатель, долгое время живший в Европе и поднимавший в своих книгах проблемы влияния более старой европейской культуры на американскую культуру и жизнь и несходства американского и европейского характеров. Автор многочисленных психологических романов, рассказов и нескольких томов путевых очерков.

Джон Рескин (1819—1900) — английский писатель, историк и теоретик искусства. В своих трудах «Семь светочей архитектуры» (1849) и «Камни Венеции» (1851—1853) проводил мысль о единстве красоты и добра, прославлял готическую архитектуру, противопоставляя ее «тлетворному искусству Ренессанса».

К с. 264

«*Маленький Масгрейв и леди Барнард*» — название старинной английской баллады.

Мотет — жанр многоголосой вокальной музыки; возник и культивировался во Франции. Первоначально представлял собой музыкальное произведение на два голоса, в котором к голосу, основанному на напевах литургии, присоединялся новый голос, чаще всего с вариантом того же текста. Французский поэт и композитор Гильом де Машо много сделал для развития этого музыкального жанра.

К с. 265

Батистерий — здание, в котором производился обряд крещения, как правило, круглое или многогранное, увенчанное куполом.

К с. 266

Подеста — глава исполнительной и судебной власти во многих средневековых городах-коммунах Италии.

К с. 267

Джотто ди Бондоне (1266—1337) — итальянский живописец, представитель искусства проторенессанса. Вносил в религиозные сюжеты земное начало, придавая сценам евангельских легенд яркую жизненную убедительность. Автор проекта кампанилы (колокольни) флорентийского собора, строительство которой было начато в 1334 г.

К с. 268

Андреа Пизано (Андреа да Понтедэра; ок. 1290—1348 или

1349) — итальянский скульптор и зодчий. В его скульптурных работах, в частности в рельефах южных дверей баптистерия и рельефах кампанилы флорентийского собора, переплетаются тенденции позднеготического и проторенессансного искусства, ясность композиции сочетается с изяществом форм.

К с. 272

«*Сова и соловей*» — английская дидактическая светская поэма, близкая по жанру к французским стихотворным «спорам» или «диспутам». Созданная между 1200 и 1220 гг., эта поэма в форме спора двух птиц противопоставляет два полярных жизнеощущения: аскезу и радость бытия. Язык поэмы отличается живостью, избытком острых словечек, народных присловий.

Глава шестая

К с. 288

Рейдер — военный корабль, занимающийся преследованием и потоплением военных и торговых судов противника или их захватом, нанесением ударов по неприятельским портам и прибрежным городам.

К с. 291

...*Вторая пастушеская пьеса*... Уэйкфилдского цикла. — Уэйкфилдский цикл — один из четырех дошедших до нашего времени рукописных сборников английских средневековых пьес (всего 32 пьесы), названный так по предположительному месту исполнения пьес. «Вторая пастушеская пьеса» изображает вифлеемских пастухов, поклоняющихся Христу, но основу ее сюжета составляет история неудачного похищения ягненка овцекрадом Маком и его женой Гилл.

К с. 296

Александр Поп (1688—1744) — английский поэт и критик, автор сатир «Дунсиада» (1728), «Новая Дунсиада» (1742), «Подражание Горацию» (1733—1738), в которых он с иронией изображает общественные и литературные нравы своего времени, бичует невежество и тупость, рисует сатирические портреты своих знаменитых современников, изничтожает своих литературных противников.

К с. 297

Природа — аллегорическая фигура в поэме-видении «Птичий парламент»; заснувший поэт видит двор Природы, где в день св. Валентина собираются все птицы, чтобы подыскать себе пару. Название поэмы «The Parleмент of Foules» (совр fowl) воспринималось на слух почти так же, как «The Parleмент of Fooles» — «Парламент дураков», «Совет дураков».

К с. 298

Импичмент — особая процедура привлечения к суду парла-

мента высших должностных лиц государства, обвиняемых в преступлении.

К с. 302

Девять героев древности (Nine Worthies), — В предисловии к поэме «Смерть Артура» героями древности названы «три язычника, три иудея и три христианина»: троянец Гектор, Александр Македонский, Юлий Цезарь, Иисус Навин, царь Давид, Иуда Маккавей, король Артур, Карл Великий и Готфрид Бульонский; Шекспир («Бесплодные усилия любви», акт V, сцена 2) причисляет к героям древности Геракла и Помпея.

К с. 303

«*Рассказ о Навуходоносоре*» — рассказ, не включенный в русский перевод «Кентерберийских рассказов».

К с. 304

История Уголино, вождя итальянских гвельфов, захватившего власть в Пизе, свергнутого и умершего голодной смертью (1289) в тюрьме, куда он был заточен с двумя своими сыновьями и двумя внуками, описана Данте в 33-й песни «Ада».

К с. 308

Нимрод — по библейскому преданию, царь вавилонский, строитель Ниневии.

Глава седьмая

К с. 314

Юбилей царствования короля Эдуарда... — В 1377 году отмечалось пятидесятилетие коронации Эдуарда III.

К с. 322

Джон Болл (?—1381) — английский сельский священник, один из вожаков крестьянского восстания Уота Тайлера. Проповедовал лоллардские взгляды. Странствуя с начала 60-х годов по Англии, обличал богатство и пороки духовенства, требовал отмены церковной десятины, конфискации церковного имущества. Ратовал за социальное переустройство общества, доказывал несправедливость дворянских привилегий, требовал уравнивания сословий и имуществ. Казнен после подавления восстания.

К с. 328

Манориальная система — система феодального землевладения в Англии (см. прим. к с. 58 — *манор*). По мере разложения манориальной системы в результате развития товарно-денежных отношений происходило раскрепощение вилланов, а барщина заменялась денежным оброком.

К с. 329

Джек Стро (?—1381) — один из вожаков крестьянского восстания, предводительствовал крестьянским отрядом из

Эссекса. Возглавил лондонские низы, когда они учинили погром фламандским купцам, разорявшим английских ремесленников. Показания Джека Стро на суде проливают свет на намерения и цели восставших. Казнен после подавления восстания. К с. 332

На встрече короля с крестьянами, состоявшейся 14 июня 1381 г. в лондонском предместье *Майл-Энд*, Ричард II был вынужден пообещать исполнить требования восставших об отмене крепостного состояния и барщины, установлении умеренной денежной ренты и амнистии всем участникам восстания. К с. 333

Требования, выдвинутые восставшими крестьянами 15 июня на *Смитфилдской площади*, шли дальше программы требований, на которых они настаивали накануне. Помимо отмены крепостного права они добивались теперь возврата крестьянам отнятых сеньорами общинных угодий, уравнивания всех сословий, упразднения дворянских привилегий, отмены рабочих статутов, секуляризации церковных и монастырских земель и раздела их между крестьянами — т. е. радикального переустройства общества. К с. 347

Антенор — в «Илиаде» Гомера троянский старец, друг и мудрый советник Приама; в послегомеровской легенде — предатель, вознамерившийся сдать город грекам.

Глава восьмая

К с. 362

Фригольдеры (букв. «свободные держатели») — пожизненные либо наследственные владельцы земли в средневековой Англии; фригольдерами могли быть феодалы, горожане и лично свободные крестьяне, обязанные выплачивать лорду манора твердо установленную ренту.

Уолтер Уильям Скит (1835—1912) — английский ученый, знаток ранней английской литературы, выпустивший семитомное научное издание сочинений Чосера (1894—1897). К с. 376

Вестминстер-холл — дворцовый зал, единственная сохранившаяся до наших дней часть старого Вестминстерского дворца. Один из самых больших залов в средневековой Европе, Вестминстер-холл был построен в 1097—1099 гг. и подвергся существенной перестройке в годы правления Ричарда II (1394—1399). Использовался для устройства пышных празднеств, проведения сессий парламента и заседаний высших судов Англии.

Тайберн — печально известное место публичных казней в Лондоне; получило название по речке Тайберн, которая текла с севера на юг и впадала в Темзу.

К с. 381

Кристофер Рен (1632—1723) — крупный английский зодчий и ученый, представитель английского классицизма. Построил после опустошительного лондонского пожара 1666 г. множество жилых домов и церквей. В 1668 г. был назначен генеральным смотрителем королевских строительных работ. Главные произведения Рена: собор св. Павла в Лондоне (1675—1710), ансамбли госпиталей в Челси и Гринвиче, здания колледжей и церкви в Оксфорде и Кембридже.

Глава девятая

К с. 395

Солипсический — свойственный солипсизму, философскому учению, представляющему собой доведенный до крайних выводов субъективный идеализм; солипсизм признает единственной реальностью сознание субъекта, его «я», и отрицает существование внешнего мира вне этого сознания.

К с. 397

«Рассказ врача» — это *сущее бедствие*. — В переводе на русский язык беспомощность и несостоятельность рассказчика, естественно, не могла быть передана полно.

К с. 398

Льюис Кэрролл (см. прим. к с. 123 — *Чарлз Доджсон*), помимо книг «Алиса в Стране чудес» и «В Зазеркалье», написал поэтический сборник «Фантасмагория и другие стихи» (1869), ироиколическую поэму абсурда «Охота на акулу» (1876), книгу «Рифма и смысл» (1889).

Роберт Саути (1774—1843) — английский поэт, представитель «озерной школы», автор многих стихов и поэм на исторические и фантастические темы; с годами склонялся от радикальных, бунтарских настроений к мистике, религиозной дидактике. Русскому читателю известна его баллада «Суд божий над епископом» в вольном переводе В. А. Жуковского.

К с. 406

Тауэр-хилл — площадь в Лондоне около Тауэра, на которой казнили узников Тауэра, обвиненных в измене.

К с. 417

Принадлежность «Отречения» Чосеру оспаривается многими исследователями. Некоторые считают, что оно было приписано Чосеру каким-нибудь позднейшим переписчиком, решившим позаботиться таким образом о спасении заблудшей души автора греховных сочинений.

В. Воронин

СОДЕРЖАНИЕ

Джон Гарднер и его книга о жизни и времени Чосера. 3. <i>Гачечиладзе</i>	5
Введение	17
Глава первая Родословная Чосера и несколько слов об истории Англии XIV века	41
Глава вторая Детство и юность Чосера. Школьная учеба. Жизнь на острове колокольного звона и призрак смерти (около 1340— 1357)	83
Глава третья Чосер — молодой придворный, воин и, может быть, влюб- ленный (1357—1360)	129
Глава четвертая Дальнейшее образование Чосера, краткое изложение не- которых важных для Чосера идей XIV века, женитьба поэта на Филиппе Розт — догадки и порочащие сплетни (1360—1367)	177
Глава пятая Значительные вехи и важные влияния. Педро Жестокий. Две смерти. Эта бесстыжая женщина и распутная шлюха Алиса Перрерс и итальянское гуманистическое искусство (1367—1373)	229
Глава шестая Приключения Чосера — прославленного поэта, королевского чиновника и дипломата — в последние годы жизни короля Эдуарда III (1374—1377), а также некоторые суждения по поводу честности Чосера и замечания о его поэзии	277
Глава седьмая Жизнь в годы несовершеннолетия Ричарда II. Крестьянское восстание и его последствия (1377—1385)	309
Глава восьмая Возвышение Глостера и судьба Чосера — сторонника короля в годину испытаний (1385—1389)	356

Глава девятая	
Смерть Глостера, Джона Гонта и героя этой книги	388
Примечания автора	425
Комментарий	431

Редактор *З. В. Федотова*
Художник *Е. Л. Гольдин*
Художественный редактор *А. Н. Алтушин*
Технический редактор *Г. И. Немтинова*
Корректор *Н. А. Лукашина*

ИБ № 2176

Сдано в набор 03.01.86. Подписано в печать 29.09.86. Формат 84X108^{1/32}.
Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Условн.-
печ. л. 23,52. Усл. кр.-отг. 23,52. Уч.-изд. л. 26,18. Тираж 30 000 экз. Заказ № 51.
Цена 2 р. 90 к. Изд. № 2049

Издательство «Радуга» Государственного комитета СССР по делам изда-
тельств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 119859, Зубовский буль-
вар, 17

Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового
Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евге-
нии Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г Ленинград,
Л-52, Измайловский проспект, 29.

Джон
Гарднер

ЖИЗНЬ
И ВРЕМЯ
ЧОСЕРА

